

И О В Ъ І Ѹ
М Ѹ Р

7



1963

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 7

Июль, 1963 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| Е. ДРАБКИНА — Удивительные люди | 3 |
| ГОВОРЯТ ПАРТИЙНЫЕ РАБОТНИКИ. В. Загорский — Рузаевские огни. | |
| А. Козлов — Воспитывать нового человека! К. Катушев — По Ильичу. | |
| П. Давыдов — Уменьше убеждать. М. Сергеев — Главное условие | 28 |
| МАКСИМ ТАНК — Из новой книги стихов. С белорусского. Авторизованный перевод Я. Хелемского | 53 |
| А. СОЛЖЕНИЦЫН — Для пользы дела, рассказ | 58 |
| МАРГАРИТА АЛИГЕР — Японские заметки, стихи | 91 |
| Н. МЕЛЬНИКОВ — Строится мост. Из записок корреспондента | 94 |
| ВАДИМ ШЕФНЕР — Под Лугой, стихотворение | 126 |
| АНТонио МАЛЛАРДИ — Левантаццо. Перевел с итальянского Л. Вершинин | 127 |
| ПУБЛИЦИСТИКА | |
| И. ЕРМАШЕВ — Вечный огонь | 173 |
| ГОДЫ «ИСКРЫ». Автобиографические высказывания В. И. Ленина (1900—1903). Обзор составлен Б. Яковлевым | 186 |
| НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ | |
| Е. ГНЕДИН — На Западе — перемены. Новые черты стачечной борьбы в странах «Общего рынка» | 208 |
| ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ | |
| ЕФИМ ДОРОШ — Художник и книга | 222 |
| К 70-летию со дня рождения В. В. Маяковского | |
| СОВРЕМЕННОСТИ О МАЯКОВСКОМ. Б. Лавренев — 1913-й, 1918-й... Я. Черняк — В незабываемые дни. П. Незнамов — Там, где жил Маяковский. В. Гоффеншефер — Два разговора | 229 |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| | 244 |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| А. Турков. По долгу справедливости.— Р. Зернова. Внимательный взгляд.— Ф. Светов. В поисках трудностей и напастей — Эд. Вальдман. О «кибернетических» повестях Геннадия Гора.— Т. Мотылева. Новое о Томасе Манне. | |
| <i>Политика и наука</i> | |
| Ю. Шарапов. Живые ленинские черты.— Я. Борисов. Языком фактов и документов.— Валерия Герасимова. Расту умом и сердцем — О. Лацис. Красноречивые цифры.— Л. Клецкий. Свет правды и туман фальсификации.— И. Миндлин. Вместо науки. | 262 |
| КОРОТКО О КНИГАХ | 279 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 286 |

Шестьдесят лет тому назад состоялся II съезд РСДРП. Это был съезд, на котором фактически возникла партия нового типа — ленинская большевистская партия.

«Большевизм, — писал впоследствии Владимир Ильич, — существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года».

II съезд партии — важнейшая веха не только в истории борьбы рабочего класса России, но и всего мирового революционного движения.

От поистине «удивительных людей» дореволюционного большевистского подполья до многомиллионной армии коммунистов наших дней как бы передается непрерывная эстафета партии, созданной гением Ленина. Те, кто изучал марксизм-ленинизм в нелегальных кружках и, становясь профессиональным революционером, посвящал себя высокому подвигу, — связаны самым близким и кровным родством с поколением коммунистов, посылающим своих сыновей в космические просторы.

Под знаменем партии Ленина пройден огромный, славный исторический путь. Нашему поколению выпало счастье стать современниками и участниками окончательной победы социализма в СССР, выхода нашей Родины на исходные рубежи коммунизма. Последнее прожитое нами десятилетие по праву называют великим. Оно принесло нам множество выдающихся побед, ознаменовалось восстановлением ленинских норм в жизни партии и всего народа.

Сегодня, как и всегда, в основе партийной работы во всех ее звеньях неугасимо горит большевистская мысль, неустанно продолжается творческое развитие богатого идейного наследства, накопленного в течение шести десятилетий.

Это еще раз ярко подтвердил Пленум Центрального Комитета КПСС, состоявшийся в июне нынешнего года. В своих решениях Пленум подчеркнул, что на современном этапе главная задача идеологической работы партии — воспитание нового человека, непримиримая борьба с буржуазной идеологией, с пережитками прошлого в сознании людей. Пленум уделил большое внимание советской литературе и искусству — могучему средству воспитания нового человека. Изображать действительность с жизнеутверждающих позиций, правдиво показывать героину и романтику борьбы за новое общество — призывает партия всех деятелей советского искусства и литературы. Мы за великое и подлинно новаторское искусство коммунизма — против формализма, против серости и ремесленничества.

Неотделимыми стали задачи идейного воспитания коммунистов и беспартийных от всех иных задач, выдвигаемых жизнью. Вечный огонь ленинской мысли и тесная, постоянная связь партии с народом — залог нашего победоносного движения к высотам коммунизма.

Е. ДРАБКИНА

★

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Вообще говоря, чисто внешний ход событий мог бы быть несколько иным.

Пятеро «бундовцев» вместо того, чтобы покинуть II съезд партии, когда он отверг их требования, могли ограничиться очередной истерической декларацией. Два «экономиста» могли последовать их примеру.

При таком обороте дел соотношение между «твердыми искровцами» — с одной стороны, и «мягкими искровцами», «болотом» и «анти-искровцами» — с другой, осталось бы к моменту раскола партии примерно таким, каким оно было во время голосования первого параграфа Устава: Ленин и его единомышленники имели бы меньше голосов, чем Мартов и иже с ним.

Тогда — если верить законам формальной логики — революционное крыло партии должно было бы называться «меньшевиками», а оппортунистическое — «большевиками».

Дико! Немыслимо! Невероятно!

И дело тут не в традиции, не в привычке, сложившейся за шесть десятилетий. Такое чувство испытывали участники борьбы с самого начала, с первых же дней раскола партии.

В. П. Новиков («товарищ Владимир»), в те времена молодой рабочий с текстильной фабрики Цинделя, только-только вовлеченный в рево-

Из книги «Под одной звездой...».

люционно-марксистские кружки, рассказывает, что после раскола он спросил кого-то из старших товарищей о его причинах. Тот объяснил. Новиков сразу потянулся к большевикам. «Кроме того,— вспоминает он,— само слово меньшевик казалось мне чем-то унижительным».

При этом как-то очень быстро, пожалуй, даже сразу, произошло переосмысление названий обеих партий. Вместо того чтоб видеть в них термины, отражающие итоги голосования по определенному вопросу, их стали расшифровывать как выражение программных и тактических установок.

Участник знаменитой Обуховской обороны Сергей Николаевич Сулимов, отсидев по обуховскому делу семь месяцев в одиночке и проведя около года в ссылке, осенью 1903 года бежал и нелегально вернулся в Питер, ничего не зная ни о II съезде партии, ни о том, что там произошло.

Осторожно пробираясь в родные края, он решил остановиться в деревне Леснозаводской, между Фарфоровым заводом и селом Александровским, у своего старого товарища С. Иванова. Самого Иванова дома не было. Сулимов застал лишь его старуху мать. Та ему обрадовалась, усадила за стол, стала угощать «кофеем». Тут же спросила:

— Ты, Сережа, в каких будешь: в меньшевиках или в большевиках? Сулимов не понял.

Тогда старуха по-своему объяснила ему причины раскола, как она поняла их по спорам, происходившим между товарищами сына у нее на квартире: большевики — это те, кто хочет для народа больше, меньшевикам же много не нужно, с них хватит и по меньше...

Так было уже в 1903 году. Ну, а о 1905 и тем паче о 1917 годах и говорить нечего — большевики за то, чтоб дать народу все: мир, хлеб, землю, свободу! Ну, а меньшевики?.. (Оратор сплевывает.) «Понятное дело: меньшевики — это же меньшевики!»

Прожившая весь свой век около Обуховского завода, старуха Иванова вряд ли вникала в вопросы программы и тактики российской социал-демократии. Толкование, которое она, жена и мать рабочего, дала причинам партийного раскола, сложилось у нее, когда она не столько умом, сколько сердцем прислушивалась и приглядывалась к своему сыну и его товарищам.

В размежевке, которая тогда происходила, огромную, порой решающую роль (разумеется, после социальных и экономических факторов) играл внутренний потенциал человеческой личности, ее склад, направление душевной деятельности, то личное, что неотделимо от общественного, от социального.

Уже известный нам В. П. Новиков, рассказывая, как он стал большевиком, вспоминает случай, который, по его словам, окончательно убедил его «в несостоятельности меньшевистской теории».

Как-то знакомый меньшевик увидел у Новикова револьвер. Спросил, зачем он его носит. Новиков ответил, что оружие для него «символ революции» и носит он его «как знак преданности революции».

Меньшевик, криво усмехнувшись, высказал по сему поводу несколько скептических замечаний. «После этого,— говорит Новиков,— я убедился, что меньшевики совершенно безнадежный для революции народ».

Суть конфликта тут, разумеется, не в том, надо ли носить при себе револьвер или нет. Суть в ином. Здесь столкнулись два диаметрально противоположных человеческих характера.

Ибо большевики и меньшевики — это не только два разных политических направления, это разные люди. Люди разной силы, разной воли, разной страсти, разной отваги, разной моральной конструкции,

разной интенсивности революционного чувства, разной концепции жизни и человека.

Случайно возникшие названия, отражавшие соотношение голосов на выборах центральных учреждений партии, были бы быстро забыты, как забылось многое другое, если бы в них не была заложена та внутренняя правда, благодаря которой меньшевики прочно остались именно меньшевиками, а с нашей партией навек сжилось, срослось, спаялось победительное имя большевиков.

Эта партия была детищем Ленина. Она была его любовью. Говоря об отношении Ленина к партии, один из старейших большевиков, В. К. Карпинский, нашел неожиданные, но удивительно верные слова: «Владимир Ильич положительно влюблен в свою партию!»

И так же влюбленно относился он к людям этой партии — профессиональным революционерам, чья жизнь ежечасно и ежесекундно принадлежала революции. Для Ленина они — высший тип человеческой личности, «теин в чаю», как говаривал Чернышевский. Вообще скупой на поэтические сравнения, Ленин уподобляет их «жнецам», которые умеют не только «косить сегодняшние плевелы», то есть бороться против мерзостей старого мира, но и «жать завтрашнюю пшеницу». — строить новый мир.

Ранней весной 1895 года молодой Горький повстречал одного из этих людей — Александра Карповича Петрова.

Было это в Нижнем. Горький сотрудничал тогда в «Русском богатстве». Интересовался бытом и нравами рабочих и всяческими интересными фигурами.

Его внимание не могли не привлечь представители нового, боевого революционного направления, с шумом врывавшегося в те годы на авансцену полусонной российской действительности. Познакомившись с А. К. Петровым и узнав, что он из числа этих самых «марксистов», Горький забросал Петрова вопросами, пытливо выпрашивая, в чем же видит Петров свое призвание.

— В чем? — переспросил Петров. — Да в том, чтоб организовать, организовать и еще раз организовать рабочий класс...

— И что же, организуете? — продолжал свои вопросы Горький.

— Да, понемногу, — отвечал Петров. — В Казани три года проработал по этой части и намереваюсь года два до ареста проработать в Нижнем.

— Ну, а дальше как?

— Дальше — тюрьма, ссылка, откуда побег на нелегальное положение и — снова организация.

— До каких же пор?

— До социальной революции.

Чем дальше идет время, тем выше, тем мощнее поднимаются над общим фоном истории человечества эти необыкновенные люди. Тем сильнее манят они к себе. Тем повелительнее овладевает нами стремление познать их жизнь, увидеть ее с неизвестной, малоизученной стороны, проникнуть в их чувства, воскресить их лица, движения, поступки, подвиги, каждую мелочь, каждый бытовой психологический штрих, соучаствовать в драматических подробностях пережитых ими событий. Словом, снова обрести этих бесконечно дорогих нам людей, обрести со всем тем, что дали нам XX и XXII съезды нашей партии.

Увы, многое из того, что мы могли бы узнать, утрачено, утрачено без возврата. Почти все они ушли из жизни задолго до того, как наступает пора мемуаров. Они не сохраняли архивов. В годы подполья они стара-

лись вытравить всякий свой след, уничтожить каждый клочок бумаги, сжечь все, что можно сжечь.

Тем дороже для нас то, что сохранилось, что спасено. Тем больше говорит уцелевший чудом обрывок записки, написанные на ходу воспоминания, перечеркнутое накрест желтыми полосами письмо из тюрьмы (так тюремная цензура проверяла, нет ли между строк текста, вписанного химическими чернилами),— все, что помогает нам сквозь годы, сквозь выцветшие буквы, сквозь потускневшие от времени краски воскресить отдельный штрих, а порой и яркий, законченный образ во всей правде того, что было тогда великого, страшного и прекрасного...

Жизнь каждого из этих людей разделялась на два совершенно отчетливых, отличающихся друг от друга периода: то, что было до, и то, что было после их приобщения к революции.

До было детство. Как правило, безрадостное.

Передо мной около полутора ста автобиографий людей ленинского поколения нашей партии. Редко у кого осталась добрая память о первых годах своей жизни.

«Мрачны и тягостны воспоминания моего детства,— пишет участник «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» М. А. Сильвин.— Решительно ничего радостного... ласкающего, никакого внимания в семье к нам, детям, я не могу припомнить... Жили мы в небольшой полутемной комнате в подвальном этаже... два окна выходили на улицу, вровень с тротуаром, и третье — на задний двор, прямо на помойную яму... Постели, собственно, у меня, как и у остальных моих братьев и сестер, не было. На голый сундук с горбатой крышкой, стоявший в углу кухни, а иной раз прямо на пол бросали какую-нибудь рухлядь — старое пальто или что-нибудь в этом роде, клали подушку с наволочкой, которая, по видимому, никогда не стиралась, клали рваное, просаленное ватное одеяло,— это и было моей постелью... Позже, уже взрослым, мне случилось иногда вспоминать детство в интимных беседах с тем или иным близким другом, вышедшим из той же среды. Впечатления были общие...»

Среда, о которой пишет М. А. Сильвин,— это среда «замызганного чиновничества», находившаяся отнюдь не на самой низшей ступени «государства Российского». Детство в деревне, особенно если на него пришелся голодный 1891 — 92 год, было куда страшнее. Изба, топящаяся «по-черному». Обнаженные слуги и стропила, солому с которых скормили последней кляче, но та все равно сдохла. Люди, как мухи, мрут от голода и «карючки», их стаскивают на кладбище и заливают могилы известкой.

Но и в обычный, не «голодный» год отец еще с осени запродаст кулаку свой будущий урожай за пуд «мучки». Отдаст долги — и снова уже с новины остаются без хлеба. С земли прокормить себя и семью он не может — и он вынужден, как это делал отец Ивана Ивановича Кутузова, хотя бы на часть года подаваться «на заработки».

«Бедность заставляла моего отца жить на два фронта,— рассказывает И. И. Кутузов.— Летом — деревня, зимой — город Москва, завод и фабрика. И не видать было Ивану Захарову конца, когда пройдет эта трудная пора, чтобы оправдать себя и не ходить с рукой».

Но не в одной нужде дело. Детство может быть безрадостным и в богатой семье.

Евгения Богдановна Бош и Елена Федоровна Розмирович выросли в семье арендатора, который, скопив денег, купил имение и сделался помещиком. И обе они с ужасом и отвращением рассказывают о своих детских годах. «Общий тон нашей жизни был необычайно суров,— пишет

Е. Ф. Розмирович.— Все усилия семьи были направлены на увеличение состояния, к дальнейшему обогащению. Берегли каждую копейку, часами обсуждали даже незначительные затраты».

Были, конечно, исключения. Вадим Николаевич Подбельский был сыном известного революционера, который дал пощечину министру народного просвещения Сабурову. Сосланный за это в Якутскую область, Николай Подбельский был убит во время знаменитой «первой якутской бойни», а жена его за участие в вооруженном сопротивлении осуждена на каторгу. Детство Вадима прошло у чужих людей, которые подобрали мальчика, оставшегося сиротой. Оно было трудным, но тяжелым не было.

Тепло вспоминает о своих родителях Надежда Константиновна Крупская. Это были люди, рано захваченные революционными идеями. В доме у них с самых ранних лет она видела революционеров самых различных направлений.

В хорошей семье рос Леонид Борисович Красин. А о семье Елены Дмитриевны Стасовой и говорить нечего: и отец ее Дмитрий Васильевич, и дядя Владимир Васильевич Стасов принадлежали к числу самых передовых людей своего времени.

Но это были исключения. Правило же заставило мальчишку Лебедева, в будущем известного литературного критика Валерьяна Полянского, убегать несколько раз из дому от жестокого обращения и скрываться в лесу или же питаться подаянием, собирая «трынки» и «семишки» (1—2 копейки). Не раз в минуты отчаяния он проклинал бога в наивной надежде, что бог поразит его за это на месте.

Но вот босоное детство кончалось. Наступали годы учения. Кому — где. В церковноприходской школе. В духовной семинарии с ее бурсой. В хедере и ешиботе. В медресе. В казенной гимназии.

Везде одно и то же. Везде закон божий (хотя и с разными богами), священное писание, коран, талмуд.

Везде тупая зубрежка, мертвые языки, мертвая премудрость. Задачи, подобные той, что приводит в своих воспоминаниях В. Н. Соколов.

Одновременно из разных мест по направлению к Мекке двигались два паломника. Чтобы заранее расположить к себе Магомета, один из них полз на четвереньках, а другой — вперед пятками. Расстояние между правой ладонью и левой ступней первого составляло столько-то. Длина внешнего и внутреннего шага второго — столько-то. Обоим в одинаковой мере было присуще стремление приблизить момент поклонения священной гробнице. Однако первый через такие-то промежутки времени падал носом на землю, теряя при этом столько-то минут, а второй отклонялся от прямой линии под углом в столько-то градусов. Спрашивается...

Но даже подобная «наука» суждена была далеко не всем.

Проходив две зимы в церковноприходскую школу, где он не столько учился, сколько чистил от снега дорожку к дому дьячка, бегал у дьячихи на посылках, подавал в алтарь просфоры с поминаниями за упокой, таскал подсвечники и читал псалтырь над покойниками, летом был подпаском, а потом пастухом, Иван Иванович Кутузов, когда ему стукнуло четырнадцать лет, студенкой зимой уехал на заработки в Москву. «Крепко сжималось мое сердце,— рассказывает он.— Жалко было покидать родные поля, дремучие леса, родную деревню...»

Несколько слов В. П. Новикова лучше длинных примеров и рассуждений покажут, чем была обстановка и условия труда на тогдашних фабриках. Вспоминая три десятка лет спустя о своей работе у Цинделя,

он говорил: «Скажу только, что в последующее время и до настоящего, когда случается мне переживать тяжелые моменты, вследствие физического недомогания или подавленного состояния духа,— я всегда вижу себя во сне работающим на этой фабрике».

Тяжелы были условия работы, ужасна жизнь в «спальне» — фабричной казарме; калечило душу другое: дикость, бескультурье, пьянство.

Вот Сормово середины девяностых годов.

«Там слесаря группами охотились на группы чертежников, которых предпочитали им местные девушки,— рассказывает А. К. Петров,— а котельщики в свою очередь охотились за слесарями и токарями, и на этой почве происходили групповые частые побоища, иногда кончавшиеся увечьями и даже убийством».

На льду Москвы-реки «стенка на стенку» сшибались в рукопашной Дангаузровка и Симонова слобода. В Ростове-на-Дону деповские рабочие железнодорожных мастерских встречали весну тем, что отправлялись на Темерницкую балку драться «на кулачках» с заводскими и фабричными рабочими. «Чугунщики» (металлисты) презрительно относились к столярам, звали их «чурошниками» и «гроботесами». Столяры не оставались в долгу, и по сему поводу обе партии взаимно раскашивали носы и выворачивали скулы.

Было, конечно, и иное — стихийный протест, бунты, стачки...

В учебниках, и особенно в пересказах учебников, какие мы, увы, слишком часто слышим от наших лекторов и их слушателей, все выглядит предельно просто: «Во главе...», «Осуществляя...»

А вот попробуй, глядя на то, как «стенка» идет на «стенку», решить на всю жизнь: «Мое призвание — организовать, организовать и еще раз организовать рабочий класс...»!

Чтоб стать большевиком, каждый должен был проделать огромную внутреннюю ломку и совершить бесконечное множество разрывов — с религией, с друзьями, порой с семьей, с рабством, воспитывавшимся всем строем окружающей жизни. Сколько мужества нужно было, чтоб решиться сделать первый шаг — чаще всего им был бунт против религии,— не убоившись «божьей кары», «оскоромиться» в постный день, когда положены только репа с квасом; съесть кусок «трефного» мяса; взглянуть в открытое лицо женщины, хотя это запрещено и Аллахом и Магометом, его пророком.

У каждого этот процесс проходил по-своему. Но каждый пережил такой полный перелом во всех понятиях, верованиях, устремлениях...

Толчок этому перелому чаще всего давала книга.

«С тех пор участь моя была решена», — так определяет Аарон Александрович Солыч впечатление, которое произвела на него гектографированная брошюрка, содержавшая изложение взглядов Карла Маркса.

Книга эта не обязательно была нелегальной, не обязательно чисто политической.

В жизни воспитанника шестого класса Нижегородской военной гимназии «имени графа Аракчеева» Сережи Мицкевича такую роль сыграла тургеневская «Новь». «Эта книга произвела полный переворот в моей душе», — писал он.

До того настроенный верноподданнически, религиозный, свято соблюдавший посты, прочтя «Новь», он, как рассказывал потом Сергей Иванович, «увидел, что революционеры не изверги... а идейные люди, борющиеся за благо народа». Затем он прочел Писарева, который был под строгим запретом (за найденную у ученика книгу Писарева исключали из учебного заведения). Писарев произвел на него столь сильное впечат-

ление, что он решил отказаться от военной карьеры и стал революционером, а затем большевиком.

Для многих рабочих такими книгами оказались легальные произведения художественной литературы, распространявшиеся людьми, так или иначе связанными с революционным подпольем: «Спартак» Джованьоли, «История крестьянина» Эркмана-Шатриана, «93-й год» Виктора Гюго, «Углекопы» Золя.

Вслед за ними приходил черед «запрещенных листочков» — таких, как «Царь Голод» или «Пауки и мухи». Ну, а дальше шла уже прямая нелегалщина.

«Я жил с братом в общей спальне, насчитывающей около трехсот коек, расположенных сплошными нарами в несколько рядов... — вспоминает В. П. Новиков. — Это был для меня период страстного увлечения чтением. Среди шума и гама фабричной казармы я ложился незаметно на свою койку и читал без усталости. Каждую минуту свободного времени старался провести за книгой; читал ночью, иногда до утра. Любимыми писателями были русские классики, а любимыми героями — революционеры. Мое восхищение ими было настолько велико, что я старательно выучивал наизусть целые страницы, где они доказывали правоту своих идей».

Естественным следствием такого восхищения книжными революционерами было желание познакомиться с живыми революционерами и сделаться самому революционером.

Потом был кружок.

Потом — первая нелегальная работа.

Приходил день, когда он становился членом партии.

И наступал какой-то момент, в который он превращался в профессионального революционера, то есть в человека, который профессионально занимается революционной деятельностью.

Отныне он, как об этом прекрасно сказал по собственному опыту профессионального революционера Андрей Сергеевич Бубнов, «...еже-секундно чувствовал себя солдатом революции и членом партии, находящимся в ее полном распоряжении. С революционной работы он уходил в тюрьму, в ссылку и выходил «на волю» только для того, чтобы немедленно взяться за партийную работу. И ни в тюрьме, ни в ссылке он не бросал своей работы (применительно к обстоятельствам) или подготовки к ней».

С началом революционной деятельности, а тем более со вступлением в партию и переходом на профессиональную революционную работу наступал полный жизненный переворот.

Особенно глубоко это чувствуют рабочие.

Рассказывая о том, как он бывал на подпольных собраниях в овраге за Калитниками или у забора Андроньевского монастыря в Москве, рабочий Дорофеев пишет: «Придешь, бывало, в овраг, вслушаешься в слова оратора и так хорошо, сильно себя почувствуешь среди товарищей! И уже поздно вечером бежишь на квартиру, точно из школы. Новые переживания, вера в будущее, словно несешь с собой непобедимую товарищескую силу, опору. И не дождешься следующего собрания».

С первых своих шагов на революционном поприще подпольщик должен был овладеть правилами нелегальной деятельности. От профессио-

нального революционера требовалось совершенное владение множеством знаний и навыков.

Прежде всего он должен был досконально изучить науку подпольной работы — конспирацию.

Как всякая наука, она имела некий свод общих правил: вместо своего имени иметь партийную «кличку»; на улицах, при посторонних не раскладываться с членами организации; снимать квартиры с отдельным ходом и глухими стенами; не хранить писем и фотографий товарищей по подполью; раньше, чем войти в квартиру члена организации, удостовериться, что условленные знаки, предупреждающие, что все в порядке, находятся на месте.

Конспирация с ее явками, адресами, паспортами, встречами и проводами должна определять весь образ жизни. Обнаружив за собой слежку, надо уметь «замести хвост», то есть уйти от наблюдателей, а в случае неминуемой опасности ареста — «очиститься», уничтожив все, что не должно попасть в руки полиции. Если тебе поручено что-то сохранить, ты должен это спрятать, как говаривали тогда, так, «чтоб не только кто-нибудь, а сам черт не нашел бы».

Набираясь опыта, настоящий конспиратор с годами превращался в сгусток внимания, наблюдательности, мгновенных реакций, безошибочного интуитивного чутья. Наметанный глаз сразу выделял в толпе подозрительную фигуру с подвижной, все запоминающей физиономией. Этот же глаз при встрече с новым пополнением партии быстро определял людей, из которых выйдет революционный толк, и тех, от кого не только не будет толка, а будет один вред. Недаром тогда полушутя-полусерьезно говорили, что подполье — это великолепная экспериментальная школа для изучения человеческой психологии.

Жизнь эта была полна оvasностей, полна неожиданностей.

Вот, к примеру, такое.

Осенью 1903 года Абель Сафронович Енукидзе и его брат Семен решили создать в Баку новую подпольную типографию, продолжающую деятельность знаменитой искровской типографии, известной в конспиративной переписке под именем «Нины».

Для этого Семен Енукидзе, разыгрывавший богатого барина, снял дом в той части Баку, которая была населена преимущественно азербайджанцами, татарами и выходцами из Ирана и называлась поэтому в просторечии «мусульманской». Поселился там с фиктивной матерью и братом. Затем тайком привел в дом несколько работников типографии.

Дело наладилось быстро. В задней половине дома, выходящей в глухой двор и составлявшей в таких домах «женскую половину», была установлена печатная машина. Первым изданием новой типографии было «Извещение о Втором съезде РСДРП», присланное из-за границы на мелких листках папиросной бумаги.

Типография была тщательно законспирирована. Постели и вещи ее работников на день убирались в задние комнаты, а сами они не появлялись в передней половине, выходящей на улицу. Так что, зайдя сюда случайный посетитель, он ушел бы, ничего не заметив.

Такие посетители бывали. То и дело у входных дверей звенел колокольчик.

— Кто там?

— Зелень, вот зелень! Кому, редиска, огурцы, кинза, зеленый лук? Снова звонок.

— Кто пожаловал?

— Мациони! Холодный мациони!

Опять звонок. На этот раз водовоз.

И так весь день...

На праздники приходили городовые. Им полагалось «дать» и «поднести».

А как-то черт принес самого господина околоточного надзирателя. Тот долго сидел, развалившись в кресле, пыхтел, вытирал платком лоб, вел речи о том, что все «мусульмане» — воры и разбойники, и предложил свои услуги, буде таковые понадобятся. За предложение поблагодарили и сунули «красненькую». «Услугами» не воспользовались.

Но вот в одно не прекрасное утро, в дни празднования новруз-байрама, к Семену Енукидзе явился хозяин дома, привел с собой великолепного барана с позолоченными рогами и головой, выкрашенной хной, и объявил Семену, что он, хозяин, решил отправиться в Мекку к гробнице пророка, а по сему случаю продает дом дальнему родственнику, который скоро придет сюда вместе со своими братьями, чтоб осмотреть покупку.

От неожиданности Семен так переменялся в лице, что хозяин заметил это и спросил, что с ним.

Семен нашелся. Объяснил, что его огорчило то, что он должен расстаться со столь почтенным и уважаемым хозяином.

Хозяин стал утешать его, что новый хозяин будет еще лучше. Он, мол, очень хороший и почтенный человек. Он — хаджи, побывал в Мекке.

На вопрос Семена, не потребует ли новый владелец, чтобы жильцы освободили дом, старый хозяин ответил, что у покупателя много домов и он даже заинтересован в том, чтоб жильцы остались.

В ожидании неганных гостей работники типографии со всем барахлом забралась в комнату, в которой стояла машина, заперли двери, окна, ставни. Прислушивались, притаив дыхание.

Около часу дня пожаловало шестеро почтенных седобородых старцев. Семен встретил их у порога и стал водить по дому. Так подошли они к той комнате, в которой находилась типография со всем ее криминалом.

Остановившись у двери, Семен сказал, что это комната матери и сестры, и, если хаджи желают осмотреть ее, он просит их повременить, чтобы перевести женщин в другие комнаты. Но верные сыны пророка запротестовали против подобной кощунственной мысли и ушли, дружественно распротистившись с Семеном.

Значительную часть профессиональных революционеров составляли так называемые «нелегалы», которые жили под чужим именем, по чужим или фальшивым паспортам, а то и без паспортов.

Вообще переход на нелегальное положение не был обязателен для работника партийного подполья, да и не мог быть обязателен, потому что партии нужны были не только нелегальные, но и легальные люди. Надо помнить также, что на средства партии жили лишь единицы, вообще же партийные работники добывали средства к существованию своим личным трудом, а для «нелегала» это было крайне сложно.

Чаще всего бывало так: человек сколько-то времени работал легально, потом переходил на нелегальное положение, в несчастливый день «проваливался», подлог обнаруживался, в тюрьме человека возвращали в «первобытное состояние», отправляли под своим именем в ссылку. Он либо отбывал срок, либо бежал — и в зависимости от обстоятельств тот же цикл с различными вариациями повторялся снова.

На нелегальное положение обычно переходили либо в интересах дела, либо для того, чтоб спастись от грозящего ареста, либо после побега из тюрьмы или ссылки. В какой-то момент человек вместо своего имени, скажем, Николай, становился по паспорту Провом, для одних

товарищей — «Сергеем», для других — «Дятлом», для третьих — «Феклой». А там — переезд в другой город, другой паспорт, другие ключки, и через сколько-то времени он начинал забывать, как же нарекли его при крещении.

Одно из правил подпольной работы гласило, что члены партии должны быть известны в организации под кличками. Но по какому признаку давалась товарищу та или иная кличка?

Были среди этих кличек ничем не мотивированные или ничего не говорящие. Федора, скажем, начинали звать «товарищ Степан», а Владимира — «товарищ Мирон».

Были глубоко мотивированные. Такая, как «Старик», данная партией молодому, двадцатитрехлетнему Ленину.

В основе некоторых лежало какое-то сходство: завязатого курильщика прозывали «Сигарычем»; товарища, выделявшегося своей отчаянной храбростью и находчивостью, — «Чертом», пылкого оратора — «Маратом».

Основу других, наоборот, составляло «антисходство»: шустрого вьюна называли «Налимом», длинного поджарого дядю — «Санчо Пансой», коротконогого толстяка — «Дон-Кихотом».

Случалось, что какая-нибудь кличка — например, «Воробей» — в одном случае по принципу сходства давалась маленькому, худому, подвижному человеку, а в другом — по принципу «антисходства» — присваивалась какому-нибудь увальню.

Итак, переход на нелегальное положение совершен. В кармане лежит паспорт. Но тут же возникает вопрос: какого же происхождения этот паспорт?

Возможно, что этот паспорт изготовлен специально занимающимися этим делом людьми, которых прозывают «прачками». Раздобыв чей-то паспорт, они промывают его раствором щавелевой кислоты и других химикалий, а затем на чистом бланке вдохновенно вписывают все положенное.

У такого паспорта то достоинство, что приметы, которые в нем значатся, совпадают с приметами его нового владельца. Крупнейший его недостаток — что в случае, ежели он покажется дворнику или полицейским чинам подозрительным, на место выдачи, которое в нем проставлено, посылается запрос, оттуда следует ответ, что такой паспорт не выдавался, а это влечет за собой соответственные неприятности для его владельца.

Но возможно, что паспорт не поддельный и даже приметы его подходящие. Однако и тут возможны неожиданные казусы вроде того, который произошел с С. И. Гусевым.

Безав из ссылки и приехав в Петербург, Сергей Иванович Гусев получил через товарищей паспорт, о котором отзывались как о совершенно надежном. Снял комнату. Дал паспорт на прописку. Но несколько дней спустя за ним пришел городской и препроводил в участок. Оказалось, что подлинный владелец паспорта за дебош в ресторане в пьяном виде присужден к двухнедельной отсидке в полицейской камере.

Делать было нечего, пришлось сесть под арест. На беду этот владелец паспорта был электротехником, и пристав решил воспользоваться этим, чтоб сделать у себя в участке электропроводку. Вот и пришлось Гусеву выкручиваться, разыгрывая из себя придиричивого мастера, недовольного то проводом, то инструментом и часами рассуждавшего насчет всяких «коэффициентов» и «гальванизмов».

Случалось и хуже. Одному товарищу попал паспорт беглого уголовника, осужденного к повешению. И два года его таскали «на опознание» по тюрьмам и этапам.

Какой ни на есть, но паспорт в кармане. Получены «связи», вызубрены наизусть адреса «явок». Партийный подпольщик приступает к очередному циклу своей деятельности.

Он знает, что ему отпущен неопределенный, но наверняка короткий срок. Дамокловым мечом висит над ним постоянная угроза ареста. Идя по улице, он осторожно оглядывается, проверяя, не следует ли за ним неотступная тень. Подходя к дому, где находится явочная квартира, глядит, стоит ли на окне, как то было условлено, горшок герани.

Работу, которую он успевает проделать, подчас губят последовавшие за нею провалы. Аресты вырывают то одного товарища, то другого. Только что сколоченная организация распадается под ударами. Приходится снова и снова налаживать, сколачивать, штопать, штопать...

Все это так. Но нет в его жизни большего счастья, чем эти короткие месяцы, а то и дни между тюрьмой и тюрьмой...

День прошел благополучно.

Он начался в семь часов утра на Васильевском острове, в «меблирашке», куда на одну ночь пустил переночевать случайно повстречавшийся приятель по годам детства. К девяти надо было встретиться с товарищем с завода Розенкранца. Пришлось то на конке, а больше на своих на двоих отмахать на Выборгскую сторону. Не зря кто-то пошутил, что революционеру прежде всего нужно иметь хорошие ноги, а голова — дело второстепенное. Товарищ с Розенкранца принес прокламацию, врученную ему «Максом». Эту прокламацию надо в двенадцать часов передать в Публичной библиотеке девушке, сидящей за третьим столом слева у самого окна. У девушки синие глаза, и она будет читать «Историю цивилизации в Англии». На спинке стула рядом с ней будет висеть газовый шарфик. Надо сесть на этот стул и сказать: «Что-то жарко». На это девушка с синими глазами развернет и положит перед собой книгу. В эту книгу и надо засунуть прокламацию. После этого можно отправиться пообедать в кухмистерскую. В три часа на Мытнинской улице заседание комитета. Оттуда, переменяв две конки и даже раскошелившись на извозчика, чтоб наверняка не привести с собой хвостов, — на Забалканский проспект, где назначено свидание с «Михилом», только что приехавшим из Парижа, от Ильича. Как всегда, масса новых вопросов, все дьявольски интересно. Просидели до одиннадцати вечера. Но где же сегодня ночевать?

Явочная квартира. Появляется приезжий. Спрашивает некоего товарища, которого знает под кличкой «Мирон».

Если явка не «перевалочная», встреча происходит на ней же. Если «перевалочная», приезжего, проверив, направляют на следующую явку. Оттуда, быть может, на третью.

И вот два взрослых человека, с бородой и усами, сидят друг против друга и ведут следующий разговор:

— Товарищ Мирон?

— К вашим услугам.

— Битва русских с кабардинцами...

— Или прекрасная магометанка, умирающая и так далее...

— Где читали вы эту книгу?

— Там, где ловят женихов.

— Хорошо ли там жилось?

— Кормили хорошо, спать было холодно...

Это пароль «трех степеней доверия». Если один из собеседников знал одну лишь первую реплику, это значило, что он может получить только ответ на вопрос, который привез с собою. Знание второй реплики позволяло быть с ним в меру откровенным, но не называть ничьих имен. И только знание третьей реплики означало, что с ним можно разговаривать с полной откровенностью.

В. Н. Соколов, рассказывая об этом пароле, сделал тонкое психологическое наблюдение: к третьей реплике оба собеседника обычно уже смеялись. Благодаря этому, помимо всех прочих своих достоинств, этот неуклюжий пароль обладал еще одним: незнакомые до того люди согласны приходили в хорошее настроение и легче понимали друг друга.

Работа в подполье завладевала человеком полностью, целиком, «со всеми потрохами», употребляя любимое выражение Якова Михайловича Свердлова. Он жил только ею, думал только о ней, воспринимал все окружающее сквозь нее.

Вот уже знакомый нам В. Н. Соколов едет парходом из Саратова в Самару, Казань, Нижний, чтоб наладить транспорт литературы, издаваемой бакинской типографией.

Перегоны на Волге большие. Восходы, закаты, многоверстые заволжские луга, Жигули...

Глядя на изрезанные оврагами и поросшие лесом Жигули, В. Н. Соколов прикидывает:

— Этот лес достаточно укромен, чтобы скрыть, скажем, хорошую типографию. Бакенщик всегда может посадить на парход на ходу. Парход может вызвать бакенщика для доставки пассажира на берег. Кто он, откуда, почему и зачем — парход не знает. Случайно принят и случайно слез, и никому до него нет дела. И если мы заведем двух бакенщиков...

В то самое время, когда В. Н. Соколов ехал по Волге, А. С. Енукидзе, работавший в типографии, продукцию которой должен был переправлять В. Н. Соколов, сидел в кабинете жандармского ротмистра Карпова. Неделю назад Енукидзе был арестован в Баку на улице — и чуть ли не каждый день его возили из Баиловской тюрьмы на допросы в жандармское управление.

За несколько дней до ареста Енукидзе узнал о выходе двадцать второго номера «Искры», в котором был напечатан проект партийной программы, а также ленинской брошюры «Что делать?». Оба эти издания были уже отправлены из Женевы в Баку и должны были бы уже прийти, но транспорт где-то задержался. Не провалился ли?

В самый разгар этого тревожного ожидания Енукидзе и был арестован. И вот сейчас, в то время, когда он сидел на допросе, в кабинет ротмистра Карпова принесли два больших чемодана. Карпов встал из-за стола, поднял крышки чемоданов, сказал, обращаясь к Енукидзе:

— Полнобуйтесь, господин Енукидзе! Это ваши вещи?

Енукидзе посмотрел — и увидел, что чемоданы доверху полны заграничными изданиями «Искры». Это был тот самый транспорт искровских изданий, который они ждали.

Ох, и досадно же!

Карпов готовился задать какой-то вопрос. Но тут его вызвали к начальнику управления. Уходя, он оставил Енукидзе в кабинете и наказал стоявшему тут же жандарму: «Смотри за ним!»

У Енукидзе была в эту минуту одна лишь мысль: во что бы то ни стало, любой ценой завладеть хоть чем-нибудь из того, что находится в чемоданах. Мысль дерзкая и отчаянная, ибо он знал, что его отправ-

ляют в Тифлис, в Метехскую тюрьму — значит, предстоит несколько обысков. Но будь что будет!

— Земляк,— негромко сказал он, обращаясь к жандарму.— А земляк! Позволь поглядеть книжечки!

Жандарм хмуро проворчал:

— Гляди. Только скоренько...

Первое, что увидел Енукидзе в чемоданах, были долгожданный двадцать второй номер «Искры» и ленинское «Что делать?».

Как? Подержать в руках и положить обратно? Полно! Да мыслимо ли это?

— Земляк,— снова позвал Енукидзе жандарма.— А нельзя ли мне эти две книжечки взять с собой?

Жандарм сначала решительно отказал. Потом буркнул:

— Ладно, бери... Только поосторожнее.

По дороге в Тифлис Енукидзе ловко спрятал драгоценный подарок, полученный в жандармском управлении, и благополучно пронес его в Метехский замок.

Эти партийные документы создали целую эпоху в жизни Метехской тюрьмы. В политических камерах устроили настоящие школы по изучению проекта партийной программы и ленинского «Что делать?».

Неизвестно, где провести эту ночь. На вокзале? Там полным-полно шпииков. Снять номер в гостинице? Придется дать в прописку паспорт, а он всем бы хорош, но вместо печати к нему приложен медный пятак с затертыми хлебным мякишем буквами, чтоб на бумаге отпечатался только орел. Работа неважная... К тому же на номер в гостинице нет денег. Остается направить стопы за Невскую заставу. Прошагаешь полночи, зато ночлег будет...

Еще день, отданный кропотливым поискам живых связей. Тут завязан узелок. Там удалось что-то наладить. На таком-то заводе начал работать кружок. В таком-то районе, видимо, удастся провести партийную конференцию. Нет, время потрачено не зря.

Но уже «спущено» предписание относительно имярека: «разыскать, арестовать и препроводить, куда следует». За спиной уже маячат неотвязные тени в гороховых пальто. Слежка становится все неотрывнее. Кольцо сжимается все плотнее и плотнее. Еще день... Еще час... И —

Не пылит дорога,
Не дрожат листья.
Погоди немного —
Попадешь в «Кресты».

О, российские тюрьмы, остроги, крепости, каторжные централы, участки, казематы, каталажки, полицейские «части», именуемые в просторечии «блошницами» или «клоповниками», тюремные замки, предварилки, пересылки! Вы, о которых народная мудрость говорила: «Тюрьма, что могила: всякому место есть». И она же добавляла: «Умного ищи в тюрьме, а дурака — в полах»...

Тюрьмы бывали разные: большие и маленькие, деревянные и каменные; старинные остроги, выстроенные задолго до времен Очакова и покоренья Крыма, и сооружения новейшего стиля, усердно возводившиеся после 1905 года и соединявшие достижения русской и американской тюремной мысли.

В одних тюрьмах стояла мертвая тишина. В других шум не умолкал ни днем, ни ночью. Там — одиночка. Здесь — общие камеры. Но везде окно, затянутое чугунной решеткой. Везде дверь, замкнутая снаружи на железные замки и засовы. А в углу камеры — почти неизменная параша.

И вот человек, который энное количество времени жил в непрерывном напряжении, не зная ни дня, ни ночи, мотался по адресам и явкам, вечно спешил, вечно не успевал, вечно был на ногах, страдал за каждую минуту, потерянную зря, в междуделье, — этот человек вдруг оказывался в остановившемся мире, где время существует только для того, чтобы его убивать, пространство равно семи шагам в длину и трем шагам в ширину, а единственную форму движения составляет монотонная ходьба из одного угла камеры в другой, руки назад, глаза в пол.

Но у него был верный друг — книга!

«Книга в одиночке — это целый мир, захватывающий, увлекающий, — рассказывает С. Н. Сулимов. — С книгой беседуешь, книга тебе друг, воспитатель твой. С книгой незаметно летит ненужное время, книга заставляет не замечать одиночества. Она вливает бодрость, ставит тебя выше будничных житейских мелочей».

Страсть к чтению столь велика, что с книгой забывается все.

«Тяжело, душно, тесно, — пишет из тюрьмы Алексей Ведерников-Сибиряк, отбывающий в центральном приговоре на шесть лет каторжных работ. — Если бы вы видели все подробности нашей жизни, вы бы ужаснулись...»

И тут же просит: «Книг! Книг! Книг!»

«Когда у меня есть хорошие книги, — пишет он, — то жизнь кажется даже приятной, и я иногда думаю, что если бы был на воле, то многого даже не узнал бы из того, что знаю сейчас, так как у меня едва ли хватило бы времени все это прочесть».

Интересен перечень книг, которые просит прислать ему этот бывший слесарь, все образование которого составляла церковноприходская школа: Мережковский, Куприн, Андреев, книги по детской литературе и воспитанию детей, воздухоплаванию, стенографии, интегральному исчислению.

Недаром ряд делегатов VI съезда партии, заполняя анкеты делегатов съезда, на вопрос о полученном образовании отвечал: «Тюремное».

Когда берешь в руки ставший от времени каким-то легким и слабым листок бумаги, перекрещенный желтыми полосами, и знаешь, что это письмо из тюрьмы, всегда ждешь, что тебе предстоит прочесть что-то тяжелое и страшное.

Но нет!

«За меня не беспокойтесь, — пишет на волю родным Аркадий Федорович Иванов. — Во мне растет и ширится огромная внутренняя жизнь. Каждый час моего пребывания в каземате заполнен каким-то интересным и полезным делом. Сплю без кошмаров и «баланду» поглощаю с отменным аппетитом».

Такие письма — не исключение, а правило.

Но, может быть, их тон продиктован желанием успокоить родных и друзей?

Было и это. Но не только это.

Вот, к примеру, рассказ о том, как вел себя в «Крестах» Емельян Ярославский, попавший туда в пору реакции, когда тюремный режим ухудшался чуть ли не с каждым днем.

«Усиление тюремных репрессий, — вспоминает А. Васильев, — на него (Емельяна. — Е. Д.) действовало как раз в противоположном направлении. Он всегда был весел и с каждым нововведением в тюремной жизни, направленным на усиление репрессий, становился лишь более шутлив по этому поводу да отвечал на каждое такое нововведение все большим количеством острот. В тюрьме он был первым по добыванию новостей из-за ее стен и по распространению их среди своей братии. Во всех ново-

стях он быстро ориентировался и мог сейчас же дать им истолкование, как вполне убежденный, незыблемый большевик и марксист».

Как прекрасно это неожиданное выражение: «незыблемый большевик»!

Емельян Ярославский был арестован 29 мая 1907 года в Петербурге, у Финляндского вокзала, когда он возвращался с Лондонского съезда партии. Доклад о съезде вместо того, чтоб сделать его перед партийной организацией, делегатом которой он был, он сделал в «Крестах», перед товарищами по тюремной камере. Затем написал его и пустил по тюрьме.

Там же, в «Крестах», он написал поэму «Сон большевика».

Над седой равниной моря
Ветер тучи собирает.
Между тучами и морем
Громко песня раздается.—
Большевик поет ту песню.
В этой песне жажда боя
И уверенность в победе...

Емельян Ярославский назвал свою поэму «шутливой». В ней и на самом деле много шутки — и по поводу «Аксельродика», который «тихо ходит... песню слушая, вздыхает». И по адресу Мартынова, желчно укоряющего Ленина — «агитатора за восстание». Мягкий шутливый тон сохраняет автор и тогда, когда он рассказывает о встрече с Лениным:

Вот уж берег Альбиона
Видит даже близорукий...
Там на берегу высоком
Ленин машет шляпой белой...

Но потом тон поэмы поднимается до пафоса, чтоб оборваться трагическим финалом:

Восхищенный этим видом,
Громче песнь свою победы
Запевает якобинец...
.
Где-то шаркают опорки,
И стучат ключами где-то,
И звонок протяжно-долго
Раздается в коридоре...
«Спаси, господи!» несется...
Кипяток... Прогулка... Книга...
Нет ни моря, нет ни песен...
Часового штык да клетка!

Дни и ночи. Ночи и дни. Лишь зачеркнутые клеточки самодельного тюремного календаря отмечают их длинную череду.

Но вот открывается волчок, и надзиратель объявляет: «Собирайся с вещами!»

В тюремной канцелярии дают расписаться под казенной бумагой, из коей известно, что министр внутренних дел утвердил предложение особого совещания при министерстве внутренних дел, признавшего, что «преследование такого-то в европейской части России является весьма вредным для общественной безопасности», а посему он подлежит высылке в административном порядке в такой-то край под гласный надзор полиции.

Вызов «с вещами» может быть и на суд. А приговор — и каторжный, и смертная казнь.

Дальше — этап, странствование от пересылки к пересылке, уголовники, грубость конвоя. Повсюду грязь, окурки, заплыванные полы...

Но после нескольких лет, проведенных в каменном мешке, даже это кажется счастьем.

«Свобода! Свобода! — пишет Алексей Ведерников-Сибиряк на пути из Ярославского каторжного централа в ссылку. — Скоро буду бродить совершенно свободно без надзирателя по родному сибирскому лесу. Мне даже кажется как-то странным идти куда вздумается, без надзора. А окна будут без решеток — и если вздумается, то можно в любое время вылезти в окно. Вам может показаться смешным, но я серьезно говорю, что после шести лет сидения за решеткой, когда я впервые после освобождения шел по улицам Ярославля до вокзала и видел в домах окна, я считал их не настоящими, а устроенными только для украшения, так как они были без решеток и на них были навешены занавески и наставлены цветочные горшки».

Дальше — ссылка. В места «столь» и «не столь» отдаленные. Вроде Березова, куда Сергей Иванович Гусев попал без малого два столетия спустя после Меншикова, но застал там все почти в таком же виде, как было при опальном князе: сотня домиков, две церкви, кладбище, деревянная каланча. «И все! — пишет Гусев товарищу по тюремной камере. — Все это можно обойти в десять минут: все улицы, все лавки, церкви, каланчу, кладбище...»

Гусев тяжело болен. Он сидит без денег, без книг, без газет. Но и теперь, по собственному его признанию, он не разучился хохотать, находить смешное и изобретать его в случае надобности.

Так, описывая в одном из писем свою «деятельность на поприще пропитания живота своего», он заключает свой рассказ следующим выводом: «Замечательнее всего, что я обнаруживаю в кулинарном деле неожиданные для самого себя таланты... Вероятно, во мне погиб гениальный повар, и несомненно, что среди марксистов я — наилучший повар, и среди поваров — наилучший марксист».

Разбирая архивы, перечитывая письма и воспоминания, обнаруживаешь интересную вещь: многим тюрьма и каторга давались менее тяжело, чем ссылка.

В чем тут причина? В том, что на каторге люди были в коллективе и те страдания, которые они переносили, объединяли их между собой.

В ином положении был ссыльный, попавший на какой-нибудь «станок» или маленькую глухую деревушку, да и в такой город, как Березов. Он лишен права на труд. Ему запрещено выходить даже за околицу. Заработка нет. Он берется за все: кузнечит, слесарит, делает жестяную работу, чинит самовары, гонит смолу и деготь, катает пимы, пасет скот. Но все эти заработки столь мизерны, что он обречен на холод и голод.

Другое дело там, где есть сплоченная колония. Там налажена и учеба, и экономическая жизнь ссыльных, да и политическая жизнь тоже бьет ключом.

Достаточно вспомнить нарымскую ссылку тех времен, когда в ней были Свердлов, Куйбышев, Голощекин, Аркадий Иванов, В. Косарев. Там даже первомайские демонстрации устраивались, а охранное отделение систематически доносило в департамент полиции, что находящиеся там административно-ссыльные снабжаются нелегальной литературой из Лондона и Берна. Что из Франции ими получены материалы по подготовке созыва общепартийной конференции. Что ссыльные отправили письмо

в Париж на имя неизвестного охранному отделению лица, но подлинным адресатом, судя по тексту письма, является «известный государственный преступник В. Ульянов».

Однако ссылка — это всегда ссылка. И лучшее из всего, что можно сделать, находясь в ссылке, это — бежать!

Почему до сих пор никто не написал повесть большевистских побегов? Трудно найти что-нибудь более увлекательное по своему уму, дерзости, отваге, находчивости, нечеловеческому упорству.

В партии были люди, на счету которых имелось пять, семь, десять, даже тринадцать побегов. И каких побегов! Но главное — эти побегии совершались не для того, чтоб из ссылки скрыться где-нибудь в «тихой заводи», но чтоб сразу же с головой уйти в нелегальную партийную работу, заведомо зная, что это дело неминуемо окончится новым арестом и новой, еще более далекой и трудной ссылкой.

Вот Виктор Павлович Ногин. Рабочий-красильщик с фабрики Паля за Невской заставой. Участник рабочего движения с девяностых годов прошлого века. Один из активных организаторов знаменитых забастовок на фабриках Паля и Маквелла.

В 1898 году арестован. Просидел год в «предварилке». Выслан в Полтаву. Тотчас бежал.

Оказался в Англии. В 1901 году в качестве агента «Искры» поехал в Россию. Работал в Москве и Петербурге. Арестован. Просидел год. Выслан в Енисейскую губернию. Бежал.

Попал в Женеву. Полтора месяца спустя вернулся в Россию, работал в Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Москве. Арестован в марте 1904 года. Отправлен в тюрьму польского города Ломжа. Просидел там семнадцать месяцев. Выслан в село Кузьмино на Кольском полуострове. Восемь дней спустя бежал.

Пожив короткое время в Женеве, в конце 1905 года вернулся в Россию. Работал в Петербурге, Баку, Москве. Был делегатом Москвы на Лондонском съезде партии. Арестован в 1907 году по делу Московского комитета. Четыре месяца Таганской тюрьмы. Ссылка в Березовский уезд Тобольской губернии. Через неделю по прибытии в ссылку бежал.

В январе 1909 года арестован в Белоострове при попытке проехать по фальшивому паспорту в Финляндию. Летом возвращен на прежнее место ссылки, в Березовский уезд Тобольской губернии. Четыре дня спустя бежал.

В начале 1910 года, как член ЦК, избранного Лондонским съездом, участвовал в пленуме ЦК в Париже. Оттуда вернулся нелегально в Москву, потом поехал в Баку, снова приехал в Москву. Арестован по доносу провокатора Малиновского. Сослан в Туринск Тобольской губернии. Через несколько дней бежал.

Нелегально поселился в Туле. Вел партийную работу вплоть до дня ареста в марте 1911 года. На этот раз сослан в Верхоянск. Шел туда этапом год. Первое, о чем подумал, прибыв на место ссылки: «Можно ли бежать?» Понял: невозможно!

Да, бежать оттуда было невозможно...

«После отлета птиц,— писал потом В. П. Ногин,— в Верхоянске наступает мертвая тишина. В начале зимы ее нарушают лишь звенящие звуки, несущиеся с Яны, когда лед на ней еще тонкий. Этот звон... возникает от легкого сотрясения льда на Яне, которое вызывается течением».

Кругом безлюдные тысячеверстные пространства. Зимой — снега, летом — непроходимые болота. Этот край был до того пустынен, так мало было в нем жизни, что постоянно думалось о небытии. «Начинаешь

представлять себе землю, покрытую трещинами, замерзшую и безжизненную, а себя — последним человеком, оставшимся на ней, — пишет Ногин. — Забываешь о пространстве, о времени, сближаешься с вечностью».

Нигде ссылка не знала такого высокого процента самоубийств и случаев душевного помешательства. Все толкало к тому, чтоб впасть в страцию, утопить тоску на дне бутылки, потерять веру в будущее.

Так случилось со многими. Но не с большевиком Ногиним.

Против тоски он нашел верное лекарство — работу.

Но какую работу можно было делать здесь, на полюсе холода?

Изучать окружающую жизнь.

Время Виктора Павловича Ногина было заполнено до предела: он отмечал день за днем время прилета и отлета птиц, появление цветов, признаки весны или наступления зимы. Производил тщательные метеорологические наблюдения. Попытался найти удовлетворительную гипотезу для объяснения особенностей местного рельефа — например, янских дугообразных впадин, которые он называл «амфитеатрами».

Но больше всего увлекли его полярные сияния. Он возился с каким-то угломерным инструментом, производил подсчеты, выводил формулы, чтоб найти объяснение этому явлению.

«Наблюдая полярные сияния, — пишет он, — я увлекался и забывал, что нахожусь в Верхоянске; забывал о всех своих мрачных мыслях и видел перед собою только землю, охваченную от полюса до полюса лучами сияний. Мне хотелось понять это явление и поставить его в связь с другими явлениями природы. Я строил ряд гипотез. Может быть, они и не выдержали бы научной критики, но мысль об этом не останавливала меня. Я думал и уходил мыслями далеко от всех тех пут, которые давили меня».

Параллельно с этим В. П. Ногин с такой же серьезностью и пытливостью изучал условия жизни местного населения.

Хотя и раньше ему приходилось бывать в очень глухих углах, но такого, как здесь, он еще не видел. Тут не было известно даже употребление колеса! История словно отодвинулась на несколько тысячелетий назад, к первобытному обществу, в котором, однако, имеются урядники, станковые, водка, сифилис и купцы, обманывающие и грабящие несчастных якутов.

И еще одним занимался Ногин: расспрашивая местных жителей, собирая сохранившиеся на руках письма и вещественные памятники, он восстанавливал трагическую историю якутской ссылки.

Ему и сейчас бывало трудно. И сейчас бывали минуты, когда он чувствовал себя настолько изъятым из жизни, что переставал ощущать жизнь в себе самом. Но все же основным, что определяло весь тонус его существования, была работа, было творческое горение, плодом которого явилась изумительная книга «На полюсе холода», полная наблюдательности, эпической силы и тонкого юмора.

Виктор Павлович Ногин не был ученым. Он не имел высшего образования. И даже среднего.

Он, как и другие товарищи по партии, прожившие такую же, а порой еще более трудную и бурную жизнь, — все они были большевиками ленинской школы. В этом разгадка необыкновенной природы этих людей.

Огромнейшее место во всей их жизни занимал Ленин.

Приезжаем из-за границы они первым долгом задавали вопрос: видел ли он Ленина? Встречаясь между собой, говорили: «Вчера получено письмо от Ленина...» Или: «А знаете, что думает Владимир Ильич по поводу последней стачки?» Или: «Приходите, сегодня будет делать доклад това-

рищ, побывавший в Женеве у Ленина». «Ленин пишет...», «Ленин считает...»

Яков Михайлович Свердлов, который всю жизнь провел в России — то в подполье, то в тюрьмах и ссылках, и впервые встретился с Лениным после революции, в апреле 1917 года, рассказывал, что у него была сложившаяся еще в молодые годы привычка перед тем, как заснуть, «поговорить» с Лениным — отчитаться перед ним в прожитом дне, посмотреть на все сделанное «ленинскими глазами», выслушать его критические замечания, найти вместе с ним правильные решения.

Но Ленин был в их душе не только Лениным. «Для нас, местных подпольщиков, не бывавших в эмиграции и не работавших под его непосредственным руководством за границей,— пишет А. Шлихтер,— товарищ Ленин и тогда уже был не только и не просто Ленин, а именно «Ильич». Его авторитет и обаяние как нашего большевистского вождя и товарища в лучшем смысле этого слова уже тогда прочно закрепили в нашей партии отношение к товарищу Ленину, как к близкому, родному, нашему Ильичу».

При всем своем историческом величии, он был так человечен; у него, говоря словами А. В. Луначарского, рядом с ясным, всеобъемлющим умом было такое горячее, всеобъемлющее сердце; моральная и умственная стороны натуры существовали в нем в такой необычайной гармонии; весь он был столь доброжелательный, такой чистый идейно, такой прекрасный в каждом малейшем своем проявлении, исполненный такого обаяния, что, выступая вскоре после смерти Владимира Ильича на собрании московской художественной интеллигенции, Анатолий Васильевич воскликнул: «О! Если бы искусство, которое мы будем творить с сегодняшнего дня, было бы достойно того человека, который стоял во главе нас, это было бы поистине великое искусство!»

Было бы очень интересно взять какой-то условный день, скажем 1912 года, и попытаться воссоздать такой День большевистской партии, как это делалось дважды с Днем мира.

В этот день Владимир Ильич Ленин был в Париже и готовился к переезду в Краков, чтобы оперативнее руководить «Правдой» и всей российской работой. Быть может, в этот день он работал над своей статьей «Памяти Герцена». Той статьей, в которой он, сопоставив три поколения, три класса, действовавших в русской революции — дворянских революционеров-декабристов, «молодых штурманов будущей бури» — революционеров-разночинцев и пролетарских революционеров,— писал: «Буря, это — движение самих масс... Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах».

Яков Михайлович Свердлов в этот день находился в нарымской ссылке и разрабатывал планы очередного побега, который ему потом удалось осуществить.— Серго Орджоникидзе отбывал каторжный приговор в Шлиссельбурге.— Валерьян Владимирович Куйбышев и Аркадий Федорович Иванов в числе восемнадцати товарищей в этот день находились в Томской тюрьме, куда были посажены за организацию первомайской демонстрации нарымских ссыльных.— Григорий Иванович Петровский выступал перед выборщиками в Государственную думу, баллотировавшись по рабочей курии Екатеринославской губернии.— Степан Георгиевич Шаумян жил под гласным надзором полиции в Астрахани и вел нелегальную переписку с Лениным.— Николай Васильевич Крыленко налаживал большевистские подпольные связи.— Василий Андреевич Шелгунов в очередной раз сидел в «Крестах»...

В этот день в городе Брисбене (Австралия) в больницу привезли человека, дежурившего в пикете у бастующего завода и сильно избитого

полицейскими и штрейкбрехерами. Это был Федор Андреевич Сергеев, известный в партии под именем «Артем».

Начав свою революционную и тюремную «карьеру» восемнадцатилетним юношей, Артем быстро сделался профессиональным революционером, работал в Екатеринославской губернии, переходя с завода на завод в качестве рабочего, ездил кочегаром на паровозе — все для того, чтоб наладить партийные связи. Возглавлял Харьковскую партийную организацию и руководил вооруженным восстанием в декабре 1905 года. Был арестован, но бежал из тюрьмы.

В 1906 году работал на Урале. Сунув в карман кусок хлеба, по неделям объезжал заводы Пермской губернии, проводя по ночам собрания рабочих и членов партии, а днем передвигаясь, как придется, с одного завода на другой.

Все это кончилось арестом, ссылкой, побегом. Артем долго бродил по тайге, пока не заболел и вынужден был зайти в деревню. Там его выдали. Просидев положенное время в тюрьме, он был осужден на каторжные работы. Но бежал.

Через Дайрен и Нагасаки он попал в Шанхай. Работал кули. «Китай — сейчас вулкан», — писал он. Из Китая уехал потом в Австралию, где был сначала чернорабочим на железной дороге, потом докером. И в Китае, и в Австралии вел большевистскую работу среди русских эмигрантов. В Австралии вступил в Австралийскую социалистическую партию, принимал активное участие в рабочем движении, в годы первой мировой войны играл крупнейшую роль в антимилитаристской борьбе... «Я был, есть и буду членом своей партии, в каком бы уголке земного шара я ни находился», — писал он из Австралии...

В этот же день на сахарной плантации, принадлежащей американскому сахарному тресту «Юнайтед Стейтс шугар энд рифайнинг компани», на острове Оаху (Гавайские острова) надсмотрщик поднял бич, чтобы ударить за какую-то провинность рабочего-«туземца». Однако его руку перехватил, крикнув: «Не смей его бить!» — высокий человек, одетый в лохмотья, на лице которого выделялись горящие темные глаза.

Человек этот был рабочим с этой же плантации. Звали его Александр Минкин. Родился он в 1887 году в нишей еврейской семье в бывшем Царстве Польском. Когда ему стукнуло восемь лет, его отдали в «мальчишки» сначала в посудный магазин, потом в аптеку. Мыл посуду, нянчил хозяйских детей, таскал провизию с базара.

В двенадцать лет мать отвезла его в Варшаву, отдала в ученье часовщику. Оттуда он сбежал, поступил в типографию. И не прошло года — стал читать «запрещенные книжки» и выполнять партийные поручения.

За участие в первомайской демонстрации в Варшаве был арестован. Ему было тогда шестнадцать лет. Посидел в знаменитой варшавской «цитадели», был выслан в Тобольскую губернию. Из ссылки бежал на Урал, перешел на нелегальное положение, работал в Перми и Екатеринбургe, принимал участие в вооруженных столкновениях в октябрьские дни 1905 года, был ранен в голову.

В 1906 году он исчез из поля зрения полиции. Ни агенты «внутреннего», ни агенты «наружного» наблюдения не знали, куда он скрылся. Охранка решила, что он за границей. На деле же он был в Перми, где организовал большую типографию и замуравал себя в ней на несколько месяцев.

Год спустя он был арестован по делу Уральского комитета партии и после двух лет Екатеринбургской тюрьмы сослан на вечное поселение в Восточную Сибирь. Через полгода бежал.

Во Владивостоке, сговорившись с кем-то из команды, спрятался в трюме парохода, уходившего на Гавайские острова. Когда после недели

качки и темноты он вылез наверх и перед ним возникли Гаваи, всплывающие из вод Тихого океана, он был потрясен их необыкновенной красотой. И так же потрясен был он, когда увидел худые, ссутулившиеся спины коренных жителей острова — канак, их лачуги из пальмовых листьев, детишек, копающихся в отбросах, самодовольных американцев, чувствующих себя здесь безграничными властителями.

Чтоб заработать денег на дальнейший путь, он поступил рабочим на сахарную плантацию. Но на билет денег собрать не смог — и отправился дальше, в Соединенные Штаты, снова в пароходном трюме.

Там, в Штатах, он страшно бедствовал. Работал на самых тяжелых работах. Заболел туберкулезом. Спасся только благодаря тому, что поступил батраком на ферму и работал на открытом воздухе. Поправившись, вернулся в город. Лос-Анжелос—Чикаго—Нью-Йорк. Работа в Федерации русских рабочих при Американской социалистической партии. Участие в забастовках плечом к плечу с американскими рабочими...

В этот же день Париж остался без такси. Бастующие шоферы собрались на площади, перед домом своего профессионального союза. Устроили митинг. В числе прочих ораторов, выступавших с импровизированной трибуны, был человек с молодым лицом и снежно-седой головой, говоривший на варварском французском языке.

Его подлинное имя было Зиновий Яковлевич Литвин. По паспорту в данный момент он числился финляндским гражданином Виллоненом. Среди своих имел кличку «Иголкин». Но все его звали «Седой» — так поражало сочетание молодого лица и белоснежной головы.

Он посидел в шестнадцать лет. В тюрьме.

Сын заводского сторожа из николаевских солдат и прачки, которая, чтоб прокормить громадную семью, прирабатывала, кухаря на свадьбах и именинах, он в тринадцать лет сбежал от отцовских побоев и, научившись паять, рубить и пилить, кочевал по московским заводам, поработав и на нефтяном заводе в Анненгофской роще, и на гвоздильном заводе Гужона, и на заводе Бари за Симоновской слободой.

Товарищ по заводу сунул ему брошюрку, напечатанную на гектографе. Запомнились навсегда слова: «Один ест за сто человек, а другой голодает». Связался с кружками. В 1896 году арестован, освобожден, снова арестован. Больше года просидел в Таганке. Был много бит, один раз собственной рукой господина Зубатова. В тюрьму пришел с черной головой, вышел полуседым.

Потом ссылка, побег, Петербург, Путиловский завод, арест, год «предварилки». На этот раз вышел почти седым.

Дальше Тифлис — и Метехский замок. Нижний Новгород — и Нижегородская тюрьма. Москва — и снова Таганка.

В декабре 1905 года, уже совсем седым, он руководил вооруженным восстанием на Пресне. Затем был одним из руководителей Свеаборгского восстания. После поражения бежал. Попал в Париж. Участвовал в нашуемшей забастовке шоферов такси.

Когда забастовка окончилась, французские товарищи предупредили его, что ему грозит арест и выдача русской полиции. Он уехал в Канаду. Как разъездной агитатор проделал путь от Виннипега до Нью-Йорка. Испытал все прелести американской эмиграции. Проработал около полугода на заводе Форда в Детройте. Вернулся во Францию.

Но на роду ему было все же написано посидеть во французских тюрьмах. При расстреле взбунтовавшихся солдат русского экспедиционного корпуса у одного из них обнаружили письмо «Седого». Его арестовали в Брэй-сюр-Сомм, продержали три месяца в военной тюрьме. Затем арестовали вторично. На этот раз за распространение брошюры о Циммер-

вальдской конференции. Выйдя из тюрьмы, он тут же возобновил анти-милитаристскую деятельность...

Яков Михайлович Свердлов, говоря о таких людях, выражал свое восхищение словами: «У д и в и т е л ь н е й ш и е ч е л о в е ч и н ы !...»

Они действительно были удивительными, эти люди — умные, энергичные, волевые, обладающие тем замечательнейшим из талантов, который один рабочий в разговоре с Лениным назвал «талант победности».

Были ли у них недостатки? Конечно, были. Но тут хочется вспомнить слова Александра Довженко: «Боец и с недостатками все же боец, а муха без недостатков — всего лишь безупречная муха».

Мне выпало счастье знать многих из них. Обязана я этим счастьем тому, что мои родители были членами большевистской партии с самого ее основания.

Я видела этих людей сначала глазами ребенка, потом глазами подростка и взрослого человека. И сейчас, сидя в архиве, пытаюсь соединить то, что сохранила моя память, с тем, что рассказывают подернутые желтизной архивные документы.

Они были веселые, сильные, озорные. Бурно спорили, много курили, пили много чаю.

У них были теплые, добрые руки. В сказках, которые они мне рассказывали, Змей-Горыныч расхаживал в жандармском мундире, а Иванушка-дурачок, женившись на царевне, говорил: «И на черта нам с тобой, Марьюшка, это самое царство? Давай-ка лучше раздадим его и пойдем гулять вольными людьми по белу свету».

Любимое выражение их было: «Жив курилка!»

Любимое занятие — чтение. Даже в разгар самого бурного спора кто-нибудь непременно сидел в углу, уткнувшись носом в книгу. Книжки торчали из карманов пальто и пиджаков. Всю обстановку комнаты могли составлять табуретка и колченогий стол, но на столе непременно лежали книги.

На протяжении многих лет своей жизни они бывали тем, кого Хемингуэй по совсем иному поводу назвал «мужчины без женщин». Поэтому они умели делать все — починить, пришить, приколотить, сварить. Только не знали, сколько сахара надо класть в кашу, а манная каша у них получалась «с шишками».

И песни пели неподходящие. Когда тебе поют такую песню, под нее не заснешь...

Архив старой партийки, которая в сознании всех, кто ее знал, запечатлелась как сплошная Суровость. И вдруг листок с записью на французском языке: «Un jour de pluie» — «Дождливый день». «Идет дождь. И душа печальна; человеку для счастья нужно солнце...»

Любимейшим их автором был Салтыков-Щедрин с его эзоповым языком, внезапно раскрывающим свои полунамеки. Особенно любил его Михаил Степанович Ольминский, но и многие другие постоянно поминали то «премудрого пескаря», то «самоотверженного зайца», то «карася-идеалиста», то «вяленую воблю», у которой вычистили внутренности и повесили ее на веревочке на солнце, а когда кожа на брюхе сморщилась, голова подсохла и мозг, какой в голове был, выветрился, она с удовлетворением сказала: «Как это хорошо! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести...»

Эта вобла да еще «самоотверженный заяц», благородно ожидавший, пока волк изволит его слопать, применялись с самым широким диапазоном — от разоблачения позиции меньшевиков в вопросах подготовки вооруженного восстания до воспитания (в качестве указующего примера) гражданских чувств у нас, детей большевистских семей.

В числе талантов, которые требовались от истинного подпольщика-большевика, был талант литературный. И не только для писания статей и листовок, без чего таким статьям и листовкам цена была бы грош, но и для многого другого.

Вот, например, В. Н. Соколов рассказывает, как он, работая в Смоленске, получил для писем в Вильно адрес некоего штабс-капитана Клопова. Письма должны были посылаться по почте. В таких случаях писался обычными чернилами «скелет», то есть мнимый текст письма, а между строк «химией» — невидимый подлинный текст.

Но от чьего имени писать неведомому штабс-капитану такие «скелеты», чтоб они не вызвали подозрений, если переписка, паче чаяния, попадет в поле зрения охранки?

Так родился на свет некий мифический унтер-офицер роты штабс-капитана Клопова, вышедший в запас, но не забывший своего прежнего начальника. Переписка шла на протяжении месяцев. Одно письмо продолжало другое — и из письма в письмо плелась безграмотная хроника унтер-офицерской жизни в родных краях.

Этакую штуку без литературного дара не состряпашь!

И нужен был талант актерский. И не просто, а со способностью мгновенного перевоплощения и полного «вживания в образ». Иначе невозможно жить по чужим паспортам, а тем более скрываться после побегов.

Наиболее талантлив в этом был знаменитый Камó. Но вот безынтесный рассказ В. Т. Качкова, давшего приют С. И. Гусеву, бежавшему из Березова, о том, как Гусев скрывался в Касимове.

«Он приехал в Касимов под видом отдыхающего оперного артиста Бориса Николаевича Грэна, — пишет В. Т. Качков. — Был он прекрасно одет, в накрахмаленном воротничке, в прекрасном галстуке, с небольшим саквояжем и портпледом, чисто выбрит».

Поселился Гусев у старой прожившейся дворянки Баташовой, женщины независимой, умной, языкатой, хорошо образованной. Она играла на рояле, Гусев пел.

Появление такого человека не могло ускользнуть от местного исправника, и он пригласил «господина Грэна» к себе.

«Прифрантившись, Сергей Иванович отправился к исправнику, — продолжает свой рассказ В. Т. Качков, — и потом комически передавал, как рассказывал ему разные истории из своей актерской жизни и обещал по его просьбе, когда отдохнет, дать для касимовской публики публичный концерт».

В том, что рассказал С. И. Гусев о своем визите к касимовскому исправнику, чувствуется озорство, которым нередко грешили даже весьма почтенные по возрасту и партийному стажу товарищи.

Впрочем, именно такое озорство нередко оказывало им неплохую услугу.

Помню, в 1923 году в Кремле была устроена выставка Истпарта, посвященная двадцатилетию II съезда. Историко-партийные фонды только начинали собираться, так что выставка была небольшая.

Пошли мы туда с Антоном Пегровичем Станчинским, старым другом нашей семьи. Ходили по залам, рассматривали экспонаты. Но вдруг

Антон Петрович обнаружил все признаки крайнего волнения: замер, побледнел, покраснел, уставился взглядом в одну точку.

Этой точкой был второй номер журнала «Саратовский рабочий», напечатанный нелегально в 1899 году. Но Станчинского поразил не вид самого журнала, а надпись на нем, сделанная карандашом, печатными буквами: «Полковнику Александру Ильичу Иванову на добрую память от почитателей его таланта». Ибо этот самый экземпляр журнала Станчинский за двадцать четыре года до того собственноручно отправил в жандармское управление — и вот сейчас увидел его!

Дело было так: приехав в 1899 году в Саратов, А. П. Станчинский узнал, что незадолго до того в Саратове вышел первый номер марксистского журнала «Саратовский рабочий». В жандармских кругах поднялся переполох, и глава местного жандармского управления, полковник Иванов, лез из кожи, стараясь разыскать виновников крамолы.

Хотя господин жандармский полковник не отличался чрезмерной сообразительностью, ему удалось арестовать ряд товарищей, прикосновенных к выпуску журнала. Но прямых улик у него не было. Поэтому надо было спешить с выпуском второго номера, чтоб доказать этим, что подлинная редакция не разыскана.

За это дело и взялся А. П. Станчинский. И через несколько дней второй номер был отпечатан.

Теперь можно было бы ждать, что полковник Иванов получит этот номер по своим каналам. Но захотелось подшутить. И, сделав дарственную надпись от имени поклонников жандармских талантов полковника Иванова и положив журнал в конверт с адресом: «Здесь. Жандармское управление», Станчинский опустил пакет в почтовый ящик неподалеку от жандармского управления. А теперь, четверть века спустя, увидел свой «дар» на выставке Истпарта!

Они любили шутку, смех, забавные истории. Любили подмечать даже в самом серьезном деле смешную сторону.

Вот, к примеру, рассказ В. Н. Соколова о том, как к нему, работавшему в то время на партийной «технике», которая требовала особых конспиративных навыков, прислали из Киева очень хорошего, но совершенно не пригодного для этой работы товарища, считавшего себя литератором.

Поломав себе голову над тем, что же ему поручить, Соколов решил: паспорта и шифровки, ибо эта работа приучает к точности, аккуратности и соблюдению меры вещей. «А у литераторов,— усмехаясь, подумал Соколов,— всегда это было в отсутствии. Значит, сразу убиваем двух зайцев: окультуриваем литературу и облагораживаем уголовную подделку видов на жительство».

Существует такое выражение: «Violon d'Ingres» — «Скрипка Энгра».

Знаменитый французский живописец Энгр отдавал каждую свободную минуту игре на скрипке. «Скрипка Энгра» сделалась синонимом второй страсти, которая владеет человеком наряду с его основным призыванием.

А вот другая скрипка — «скрипка Красикова».

Случайно избежав провала во время больших арестов в Москве весной 1904 года, П. А. Красиков уехал в Женеву. Паспорта у него не было. Границу он перешел нелегально. В одной руке у него при этом был небольшой чемоданчик, а в другой — футляр, в котором лежала... скрипка.

Изучая архивы, я неожиданно для себя обнаружила в списке членов марксистского подпольного кружка в Орле имя Михаила Михайловича Пришвина.

Из воспоминаний Леонида Борисовича Красина я узнала, что Вера Федоровна Комиссаржевская, приезжая на гастроли на Кавказ, отдавала часть оборов на нужды нашей партии.

А Емельян Ярославский, рассказывая о том, как на пасху 1906 года он вместе с несколькими товарищами бежал под звон пасхальных колоколов из Сушевского полицейского арестного дома, заканчивает свой рассказ воспоминанием о том, как после побега он «провел несколько незабвенных часов у музыканта — композитора Рахманинова». «Говорят, — пишет далее Е. Ярославский, — наш рассказ о побеге дал ему тему для одного из его музыкальных произведений...»

Вот неожиданное имя!

На другой день после закрытия II съезда партии делегаты съезда — большевики пошли на Хайгетское кладбище возложить цветы на могилу Маркса. Долго стояли они у могилы. А когда уходили, Сергей Иванович Гусев сорвал листок вечнозеленого мирта, росшего в ногах великого учителя. Сорвал — и спрятал в нагрудном кармане, около сердца.

В тот же день Гусев покинул Лондон, чтоб объехать с докладами о съезде южные города России — и на протяжении трех с лишним лет то вел подпольную работу в России, то пробираясь нелегально за границу, много раз менял паспорта, изменял наружность, пережил, работая в большевистском подполье, «кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин», одесские погромы и разгул реакции после подавления декабрьского вооруженного восстания в Москве, не менее десятка раз уходил из-под самого носа полиции, ночи напролет бродил по улицам, не имея ночлега, каждую минуту ждал ареста — но зеленый листок мирта все время был с ним.

В конце 1906 года он был арестован. Во время обыска жандарм обнаружил листок. Что за листок, откуда — этого жандарм не знал, но своим верхним жандармским чутьем почувствовал крамолу и отобрал листок.

У Гусева было такое чувство, словно у него умер друг.

Да, были они веселые, были они храбрые, были они мужественные, были несгибаемые. Но сколько горького и трудного выпало на их долю...

Никто так хорошо не рассказывал о годах большевистского подполья, как Пантелеймон Николаевич Лепешинский. Помню, он стоял на трибуне Зеленого театра Парка культуры и отдыха, ветер шевелил его белоснежные кудри, глаза его горели голубым огнем, слова его звучали молодым вдохновением и безграничной верой в прошлое, в настоящее, в будущее.

Но он же сказал: «Если бы мы устроили «неделю воспоминаний», перед нашим взором встали бы неисчислимые толпы призраков, бесконечные вереницы бледных теней павших и замученных темными силами контрреволюции...»

Шестьдесят лет назад Ленин, думая о России и о своих верных соратниках, этих удивительнейших людях, которых не могли сломить ни тюрьмы, ни каторга, ни тяжелейшие условия подпольной работы, воскликнул: «...дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

И перевернули!..



ГОВОРЯТ ПАРТИЙНЫЕ РАБОТНИКИ

В. ЗАГОРСКИЙ,

*секретарь парткома Рузаевского производственного
управления Кокчетавской области*

★

Рузаевские огни

Наша Рузаевка — не та, что известна как крупный железнодорожный узел на магистрали Москва—Куйбышев и районный центр Мордовской АССР. Это совсем другая, пока еще не помеченная ни на одной из крупномасштабных географических карт, но все же составляющая существенную частицу того «русского чуда», каким явилось освоение целинных земель на востоке страны. Это целинная Рузаевка. И она одна — точнее сказать: совхозы одного только нашего Рузаевского производственного управления Кокчетавской области Целинного края — способна давать десятки миллионов пудов зерна ежегодно!

А ведь именно здесь, на далекой окраине Союза, по выражению В. И. Ленина, некогда царили «патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость». На примере нашего Рузаевского — не самого лучшего и не самого худшего из производственных совхозных управлений Целинного края — можно увидеть, какой огромный путь прошла наша страна, наш народ.

Сельцо Федоровка (ныне Рузаевка) — так сказать, резиденция нашего управления — почти ровесник II съезда РСДРП. Потянувшиеся «за землицей» переселенцы Орловщины, Полтавщины, Мордовии, Чувашии в 1901 году заложили здесь, где степная речка Шарык впадает в Акан, несколько глинобитных построек. К 1917 году это уже был поселок с двумя кабаками, деревянной церковью, начальной школой (на пятьдесят детей) и 474 домовладениями — волостной центр огромной ковыльной территории.

Нынешним своим именем поселок стал называться после очищения нашего края от колчаковцев и других белогвардейских банд. На одном из первых своих собраний уцелевшие от расстрелов немногочисленные большевики волостного центра приняли решение переименовать его в честь славного большевика — учителя-мордвина Ивана Петровича Рузаева, уроженца Федоровки, героически боровшегося против колчаковцев и расстрелянного ими.

На теперешней улице Рузаева, на площади, где расположен партком управления, где недавно отстроен новый широкоэкранный кинотеатр «Целинный», как раз напротив окаймленного цветником памятника В. И. Ленину, сохранилась невзрачная саманная хатка с тремя подслеповатыми окнами. Это домик рано овдовевшей матери Ивана Петровича. Старожилы помнят, как в ясный день 9 мая 1919 года вели

на расстрел Рузаева и его друзей. Среди них была и одна девушка, фамилия которой, к сожалению, до сих пор не установлена. Молодой учитель шел впереди с гордо поднятой головой. Поравнявшись с родительской хаткой, он снял фуражку, поклонился и сказал убитой горем матери, валявшейся в пыли:

— Не убивайтесь, родные. Мы боролись за правое дело. Оно победит...

Я не принадлежу к числу рузаевских старожил. И когда гляжу на бескрайние темно-зеленые поля, на великое царство машин, на сплошные россыпи вечерних электроогней по обоим берегам Ишима и его притоков,— мне трудно представить не только дооктябрьскую убогую Федоровскую волость, но и «доцелинный» Рузаевский район. Невольно приходится прибегать к воспоминаниям стариков и к статистике.

Впрочем, и в статистике нелегко отыскать вполне сопоставимые показатели. Очень многое до неузнаваемости переменялось на нашей земле.

Итак, всего теперь обрабатываемых земель в рузаевском управлении (здесь, как и в дальнейшем, цифры округленные) полмиллиона гектаров. Если сравнить размеры пашни с 1953 годом, то рост будет примерно в двенадцать раз, в сравнении же с дооктябрьским периодом — примерно в пятнадцать раз! Вот оно, чудесное преобразование района, который в Целинном крае еще считается зоной не только нового, но и старого земледелия.

В годы становления советской власти Владимир Ильич мечтал о ста тысячах тракторов. Тогда были известны пятнадцатисильные тракторы, исчисление велось в расчете на эти мощности. О комбайнах и автомашинах для деревни речь тогда еще не шла. Недавно вместе с начальником нашего управления М. Ф. Борисовым мы попробовали прикинуть: а сколько теперь в наших пятнадцати рузаевских совхозах и обслуживающих их предприятиях энергетических мощностей, если перевести их на пятнадцатисильные? Учили, конечно, и тракторы, и комбайны, и автомашины, и электрогенераторы. Прикинули и даже сами поразились: около пятидесяти тысяч моторов, то есть половина мощностей, о которых мечтал Ильич для всей тогдашней деревенской Руси. А ведь у нас на подходе еще 225-сильные «кировцы» и другая широкозахватная чудотехника, которой перевооружается за последние годы поднятая целина.

Пятого августа 1921 года Владимир Ильич отправил Петропавловскому ревкому телеграмму, в которой подчеркивал исключительное значение «ударной продовольственной железнодорожной линии Петропавловск—Кокчетав...». По ней прошли первые поезда еще при жизни В. И. Ленина в 1922 году. А ныне и Рузаевский район, где раньше не было ни одного рельса, превратился в место скрещения железнодорожных и шоссейных — гудронированных и грейдерных — магистралей. Бывшее село Пески — теперь поселок Трудовой, крупная узловая станция. От нее лучами расходятся железные дороги — на Кустанай, на Курган, и строящиеся — на Атбасар, на Кокчетав.

Мы законно восхищаем и поражаем весь мир полетами в космос и другими дерзновенными свершениями. Но вот она, созидательная, преобразующая сила большевизма, — в повседневной жизни мало кому еще известной Рузаевки, подобных которой в одном только Казахстане великое множество.

Что же осталось от прежней Федоровской волости с ее островками переселенческих поселений и пашен, редкими дымными зимовьями кочевников-скотоводов, с ее многоукладной убогой экономикой? Почти ничего. Разве только сам Ишим. Да и его диковато-красивые, обрывистые берега сплошь усеяны теперь почти сливающимися одна с другой центральными усадьбами новых совхозов и хлебоприемными пунктами.

Сравнения того, «что было и что стало», можно продолжить. О мужестве и подвигах покорителей целины на территории одного только нашего управления можно писать целые книги. Будем надеяться, что в этом нам помогут советские писатели, вдохновленные решениями июньского Пленума ЦК КПСС.

Но и в кратком журнальном выступлении нельзя утаить наши грехи, обойти молчанием дела сегодняшние и некоторые планы на завтра.

За нами есть и долги. Они накопились за последние годы. О них напоминают и ЦК КПСС, и лично Н. С. Хрушев. Напоминает о них и советский народ устами, к примеру, рядовой колхозной доярки.

Зимой нынешнего года один из первозачинателей совхоза «Целинный», руководитель бригады коммунистического труда Иван Мелентьевич Тахтай побывал на родине у своей старушки матери, доярки совхоза «Львовский» Херсонской области. Хорошо встретила мать сына-целинника.

— Угостила,— рассказывал он,— и галушками со сметаной, и варениками с сыром, и коржиками с маком, и винцом со своего виноградника. Но после первых же рюмок трогает она меня за плечо и говорит укоризненно: «Вот что, сынок,— мы ведь газеты читаем, речи Никиты Сергеевича по радио слушаем — объясни-ка ты мне, почему за вами должок? Что это у вас — год родит, да год погодит?»

Вот именно — год родит, да год погодит! В 1956 году государство получило от нас тридцать четыре миллиона пудов зерна. В 1958 году — двадцать два. А в некоторые годы взнос рузаевцев в закрома родины составлял всего пять—семь миллионов пудов и даже того меньше. Всего за девять лет со дня освоения новых земель совхозы нашего теперешнего управления продали государству сто тридцать семь миллионов пудов — в среднем по пятнадцати миллионов пудов ежегодно. Конечно, и сто тридцать семь миллионов пудов за девять лет, и ежегодные пятнадцать миллионов пудов от одного управления — цифры немалые. Особенно если учесть, что прежде рузаевцы не давали и по миллиону пудов. Однако для восторга нет оснований.

Разве достигнутое соответствует нашим земельным и техническим богатствам, требованиям страны, нацеленной новой Программой партии на коммунистическое изобилие? В том-то и дело, что мы еще не добились устойчивой, все возрастающей урожайности и высокой рентабельности, не создали мощной и дешевой кормовой базы для **большого** животноводства — нашей второй целины.

Отрадно, однако, что кой в чем равняться уже есть на кого. Например, совхоз «Победа Ильича», центральная усадьба которого расположена в самой Рузаевке, за все эти годы ни разу не собирал меньше тонны зерна с гектара, что для начала борьбы за устойчивость урожайности не так уж плохо. В среднем это хозяйство давало государству свыше одного миллиона двухсот тысяч пудов зерна ежегодно. Руководит совхозом ученый-агроном, член бюро парткома управления И. И. Грошев. Здесь выросли мастера высокой и устойчивой урожайности — бригадиры А. А. Лоос и другие, которые по своим знаниям целинной агротехники уже теперь, как говорится, «заткнут за пояс» и иных агрономов со стажем. Добавим, что в «Победе Ильича» выращиваются неплохие урожаи гороха, кукурузы на силос, а животноводческое хозяйство под руководством главного инженера, чудесного человека и коммуниста М. М. Безлера, успешно механизмуется...

Устойчивая и все растущая урожайность! А если жестокая засуха? Если за все лето — ни одного дождя, как это случилось в прошлом году в некоторых совхозах нашего левобережья Ишима? Тогда что же — руки складывать?

До начала сева, еще в марте, решили мы с начальником производственного управления провести большой совет. Предварительно специалисты управления поглубже вникли в опыт лучших бригад и механизированных отрядов совхоза «Победа Ильича», а также съездили за консультацией в Шортландинский Всесоюзный научно-исследовательский институт зернового хозяйства.

С этого большого совета на расширенном пленуме и начал работу партком производственного управления. Был именно производственный, деловой совет с людьми, чьи знания, опыт и труд во многом определяют успехи. И большинство которых, кстати говоря, участвует уже в десятой целинной весне. Каждый говорил о том, что подсказывал ему опыт, без оглядки на стандартные рекомендации и на то, как воспримут его выступление «вышестоящие товарищи».

Основной тезис, вокруг которого вращалось обсуждение, не так уж нов: смелее отступать от «всеобщих» стандартов, переходить к своей, целинной культуре земледелия, к своей системе обработки земли и новым формам организации и оплаты труда.

— Теперь уже ясно, — говорили наши коммунисты, — что на целине нельзя ориентироваться только на плуг как на главное орудие обработки почвы. Нам необходимы: глубокорыхлитель, плоскорез, кольчатый каток и сеялка-культиватор...

В самом деле, взять хотя бы проблему сеялки-культиватора. В прошлом году у нас, на левобережье Ишима, почти не выпадало дождей. Однако в почве были накоплены солидные запасы влаги, которые при правильном использовании могли бы обеспечить приличную урожайность. На отдельных участках и было получено по десять—двенадцать центнеров зерна. Значит, и при самых неблагоприятных условиях можно получать удовлетворительные урожаи. Но в большинстве случаев **грунтовую** влагу растеряли еще весной. Бессмысленным и бессистемным ковырянием иссушили почвы. Неоднократные предпосевные обработки полей в этих совхозах были надолго оторваны от самого сева. Виновники этого — сами руководители хозяйств: следовало бы работать иначе, сеять «потокм». Но насколько бы облегчилось дело, если бы имелись орудия, которые все работы — культивацию, истребляющую всходы сорняков, сев и послепосевное прикатывание — проводили бы в одной совмещенной операции, при одном заезде на поле! Такая посевная машина и есть сеялка-культиватор, или, как мы ее условно называем, «посевной комбайн».

Кстати говоря, и сеялка-культиватор, и другие новые машины не только уже созданы конструкторами и проверены на производстве, но и запущены в серию. Однако на целинных полях таких орудий пока еще единицы. В этом случае дело за машиностроителями.

Устойчивая урожайность зависит от целого комплекса агротехнических мер. Но и в частном, важном вопросе — о сохранении влаги весной, о ликвидации разрыва между обработкой и севом — учтены ли у нас прошлогодние уроки? Да, в основном учтены. На расширенном пленуме парткома по докладу главного агронома управления был одобрен такой стратегический план: вести посевную поточным способом, вести ее так, чтобы, как говорится, сеялки наступали на пятки культиваторов, а катки — на пятки сеялок. Так и проведена нынешняя посевная. Прошла она без суеты, без авралов, в напряженном, но ровном, деловом ритме. Мы ее закончили первыми в Кокчетавской области.

Обильная грунтовая влага есть, и она сбережена. Если даже засуха и повторится, на небо поглядывать не будем.

Жизнь идет вперед, опыт накапливается, возможности увеличиваются. Стремительный рост преобразенной Рузаевки выдвигает перед нами

все новые и новые проблемы. Расширение производства и кадры — одна из них. Недостаток местных, устойчивых, квалифицированных кадров — все еще главная помеха и трудность, мешающая брать сполна богатства целины. Правда, если говорить о нашем управлении, то население у нас со дня распахки целины увеличилось в пять с лишком раз. Новоселы, как правило, люди чудесные. Но большинство приехало сюда с одним энтузиазмом, без какой-либо механизаторской квалификации. «Механизаторский всеобуч» уже приносит свои плоды. Во всяком случае нынешнюю посевную мы провели своими силами. Не потребуются дорогостоящие сезонники, и на время жатвы сами управимся. Но разве это все? Настала пора всерьез решать задачу расширения объема производства и более полного круглогодичного использования производственных ресурсов и рабочей силы. Тут определенно поможет мощное развитие животноводства. Вот сюда и направляем в первую очередь свои усилия. Но целинной Рузаевке нужна и промышленность. Новым землям позарез нужны аграрно-промышленные комбинаты, в которых, как говорится в Программе партии, «сельское хозяйство органически сочетается с промышленной переработкой его продукции...» Естественно, что такие комбинаты будут складываться постепенно, в меру экономической целесообразности. Мы считаем, что в наших условиях такие комбинаты целесообразно прежде всего создавать на базе развитого совхоза «Победа Ильича» в самой Рузаевке, и здесь же полезно организовать швейное и другие производства для обслуживания местного населения. В нашем «Зернограде» — так мы называем узловую станцию Пески с ее мощным элеватором — уже начинает складываться один из промышленных центров Целинного края. Там достраивается крупный завод железобетонных изделий для индустриального домостроения и иного строительства на целине. По нашим соображениям, в этом центре, удобном по транспортным условиям, целесообразно также создать мукомольную и мясную промышленность с сезонной работой. В периоды «пик» рабочие предприятий будут участвовать в уборке урожая.

Вот каковы наши заявки, наши наметки.

А недавно по решению краевых организаций мы приступили к такому интересному эксперименту: при нашем производственном управлении создается специальный хозрасчетный отдел капитального строительства. Таким образом, и сельскохозяйственное производство, и предприятия по заготовке строительных материалов, и само строительство в совхозах — все будет объединено единым планированием и управлением. Оправдает ли себя такое новшество — покажет жизнь, наша работа. Но нам представляется, что оно полезно и целесообразно. Объединение строительных организаций под единым управлением поможет перевести все еще отстающий строительный фронт на индустриальные рельсы и снимет ведомственные перегородки, подчас еще мешающие более гибкому и успешному использованию производственных возможностей и людей.

Правильному и равномерному использованию рабочей силы в течение всего года мешают и организационные неувязки. У нас, кроме совхозных коллективов, много различных специализированных учреждений и организаций ведомственного подчинения: автотранспортных, строительных, хлебозаготовительных и других. Сельскохозяйственные работы цикличны. Не обходится без цикличности и работа большинства специализированных учреждений и предприятий. Только циклы не всегда совпадают во времени. Казалось бы, такое несовпадение только помогает маневренному использованию рабочей силы. Но это не всегда так. Вот типичный случай. Нынешней весной в совхозе «Урожайный» ощущалась напряженность с рабочей силой. Обратились за помощью в хлебоприемный пункт с таким же названием «Урожайный», к директору т. Помиленко

«Сейчас вы нам поможете, а после сева мы вам». Директор в помощи отказал, ссылаясь на категорическое запрещение «Хлебопродукта»... По-своему он прав: «категорическое запрещение» у него на руках.

В условиях сельскохозяйственного производства совершенно необходимо гибкое маневрирование рабочей силой, независимо от ведомственного подчинения. Тогда и люди полнее будут использованы, и рабочих рук потребуются меньше, и возрастет благосостояние самих работников, и текучесть кадров постепенно исчезнет.

А вот еще вопрос, тесно связанный и с трудовыми резервами, и со всем нашим бытом. По инициативе домохозяйек «Берликовского» и «Западного» совхозов в прошлом году у нас родилось начинание под девизом: «Муж — комбайнер, жена — шофер», которое было подхвачено затем по всему Целинному краю. Ведь во время жатвы комбайнер — все еще самая дефицитная специальность. Возник вопрос: почему бы шоферам-целинникам не освоить и профессию комбайнера. А кто же на машинах?

«Да мы — жены!» — ответили домохозяйки этих совхозов. Сейчас уже свыше трехсот молодых женщин из наших совхозов закончили курсы и получили водительские права. Во время уборки, как и в прошлогоднюю жатву, они будут возить зерно на тока и склады.

Очень многие женщины уже настолько втянулись в водительскую работу и полюбили ее, что стали заправскими шоферами и работают круглый год. Такова в «Западном» молодая коммунистка Анна Матвеевна Свергун, депутат нашего райсовета.

Но спрашиваю ее недавно о некоторых подругах-домохозяйках:

— Почему, например, Нина Белоус сидит дома?..

— У нее ребенок ясельного возраста. В ясли не берут...

Целинный край — край молодежный. По справке загса, в одном только совхозе «Ломоносовский», где полторы тысячи жителей, в прошлом году родилось сто семьдесят два малыша.

Ясли и другие детские учреждения существуют в каждом хозяйстве. В совхозе «Западный» построен и хорошо оборудован детский сад с прекрасным видом на Ишим, с цветниками. Но он рассчитан только на пятьдесят ребятишек. Нынче строится еще один — такого же типа. А рождаемость обгоняет: заявок на места в детских учреждениях в этом совхозе более двухсот! Тут трудность, которую мы обязаны безотлагательно преодолеть. В данном случае буквально «трудность роста»!

Надо отметить, что «палаточной романтики» на целине давно уже нет. Даже для бригадных станов палатки и вагончики теперь уже не характерны. Везде на станах умывальные или души, светлые и чистые спальни, с удобными кроватями, с хорошим постельным бельем. В столовых — каждому свой прибор, на столах — и горчичницы, и перечницы, и салфеточки, цветочки в вазах... «Одним словом, как в хорошем ресторане!» — утверждают механизаторы. Однако и жилищное и культурно-бытовое строительство (клубы, детские учреждения, школы, больницы) все еще отстает от растущих нужд.

Я назвал лишь несколько больших и малых задач, которые уже решаются и которые нам еще предстоит решить. В конечном счете все зависит от того, как мы, коммунисты, сумеем повести за собой наш замечательный целинный народ, как сумеем руководить им.

«Теперь, после завершения организационной перестройки, — подчеркивает Н. С. Хрущев, — на первый план выдвигается вопрос о методах работы партийных органов, о таком стиле руководства хозяйством, который позволил бы с наибольшей полнотой реализовать наши богатейшие возможности».

Можем ли мы сказать, что уже овладели таким стилем руководства? Ответить утвердительно — означало бы проявить самонадеянность, сказать заведомую неправду.

Но мы в поисках. Во всяком случае с бумажкой как с методом руководства в нашем парткоме покончено полностью и, уверен, навсегда: вся работа строится на живом, непосредственном общении с людьми. Боевой дух, идейность и «результативность» в работе совхозных партийных организаций, усиление организаторской и воспитательной работы среди механизаторов и животноводов, особенно молодежи, — вот главная наша работа. С этой целью мы создаем и укрепляем партийно-комсомольские группы в бригадах, на фермах, в механизированных отрядах. На многие партийно-комсомольские группы создавали общественные контрольные посты над качеством работы, они стали настоящими организаторами и вожаками коммунистического соревнования. А опереться нам есть на кого.

Старожилы рассказывают, что после разгрома белогвардейцев, когда решался вопрос о переименовании Федоровки в Рузаевку, на собрание партийной ячейки пришло всего четверо уцелевших от расстрелов большевиков. Теперь у нас около двух тысяч членов и кандидатов партии и свыше трех тысяч комсомольцев...

Недавно в совхозе «Западный» состоялось собрание первых новоселов-ветеранов, которые преодолели все трудности организационного периода и до сих пор работают в хозяйстве. Пришло сто три человека. Много было ярких воспоминаний. Но больше всего, видимо, поразила воображение и запечатлелась в памяти первооткрывателей апрельская переправа через Ишим. Переправа не только людей, но и техники. Без моста, когда вот-вот начнется ледоход! Бывшим фронтовикам Отечественной войны, которых немало оказалось среди новоселов, эта переправа напомнила кому форсирование Днепра, кому Буга или Вислы...

Перегонять технику практически уже было невозможно. Но как же быть? Не перебросить тракторы и плуги, не доставить посевные грузы на левый берег — значило сорвать сев.

Особенное мужество, бесстрашие и смекалку проявил бывший солдат Н. И. Ращупкин. Видя нерешительность молодых трактористов, он то и дело командовал: «Освобождай кабину — я поведу!» По утлому дощатому настилу один за другим перегонял Николай Ильич тяжелые С-80. Не обошлось и без аварии. Вдруг подломилась льдина. Трактор плюхнулся в воду, но тракторист не растерялся: выбрался на кабину, принял и укрепил, купаясь в ледяной воде, тросы. Машина была вытянута на левый берег. Н. И. Ращупкин — коммунист. На целине он овладел всеми механизаторскими специальностями. Теперь работает техником. С наступлением уборки первым становится на комбайн. Готовясь к нынешней, десятой, юбилейной, жатве, свою самоходку отремонтировал уже к 1 мая. У него двое детей-«целинников».

И таких замечательных людей очень много у нас. Именно такие люди и заставили целину работать на коммунизм.

Нет, недаром сложили свои геройские головы незабываемый учитель Рузаев и его друзья — первые большевики-ленинцы когда-то глухой Федоровки! Правое дело победило. Идеи большевизма преобразовывают мир, воспитывают новых чудесных людей...

А. КОЗЛОВ,

*секретарь парткома Коломенского
тепловозостроительного завода имени В. В. Куйбышева*

★

Воспитывать нового человека!

Недавно у нас прошло общезаводское партийное собрание.

Должен сразу сказать: такие собрания, когда мы созываем сразу всех коммунистов завода, бывают нечасто: раз в два-три месяца. Не простое это дело — собрать вместе три тысячи человек. И каждый раз партком тщательно готовится к собранию, а оно становится событием в богатой событиями заводской жизни.

Партсобрание, о котором я хочу рассказать, было посвящено воспитательной работе, воспитанию нового человека — строителя коммунизма. Коренная, важнейшая тема.

Пока заполнялся людьми театр Дворца культуры, пока рассаживались и переговаривались участники собрания, пока они пожимали руки и перебрасывались обычными шуточками с товарищами, я задумался. Задумался о том, какой могучий отряд великой армии коммунистов составляют наши заводские товарищи. Три тысячи передовых людей, единомышленники, спаянные в крепчайшую организацию, объединенные общим мировоззрением и единством цели. Могучая это сила, с нею горы можно ворожать. Я вглядывался в лица — большинство товарищей мне **хорошо известны**, свыше трех десятков лет проработал я на заводе, **и** вырос здесь, и сроднился, и счастье довелось испытать, бывали и горькие часы — все вместе, в одной рабочей семье коломенцев.

Наш завод старый, один из старейших машиностроительных заводов страны; нынче осенью ему исполнится сто лет. Но это только «по паспорту» да еще по революционным рабочим традициям, накопленным за истекшее столетие. Наш ветеран поистине молод, современен, идет в ногу с веком. Производство оснащено универсальным и сложным специальным оборудованием, сгруппированным в поточные линии. Для конструкторских расчетов применяются электронные машины, в лабораториях используются сложнейшие приборы.

И машины, которые мы выпускаем, вполне современны. Несколько лет назад вместо сданных в архив паровозов из ворот завода стали выезжать красавцы тепловозы. Мощные пассажирские тепловозы, первоклассные дизели разных марок, передвижные электростанции — вот наша основная продукция. Проходит испытания опытный образец газотурбовоза — могучая и очень перспективная наша коломенская машина, выпущенная впервые в СССР.

Создано все это творческой мыслью и золотыми руками этих вот людей, моих товарищей, которые шумят сейчас в зале... Им по плечу большие задачи в создании новой техники, в росте производительности труда, в формировании нового человека.

Вглядываюсь в лица и размышляю о том, как вместе со всей страной, как вместе со старым нашим коломенским гигантом претерпевает качественные изменения и людской состав. Эта закономерность нашего поступательного движения нашла свое отражение и в составе заводской парторганизации. Перед собранием мы составили короткую справку — постарались проследить динамику ее роста за последние три года — по образовательному цензу, возрасту, стажу. Значительно возросло число коммунистов с высшим и средним образованием, и соответ-

ственно уменьшилось число тех, кто получил неполное среднее и начальное образование. Это вполне естественно, если учесть тот массовый поход за знаниями, который мы наблюдаем повсюду в Советской стране. Отмечу далее, что более трети состава заводской партийной организации — свыше тысячи человек — составляют люди в возрасте от тридцати до сорока лет. Самый лучший возраст. И за последние три года в партию принято у нас около пятисот человек — подлинно цвет рабочего класса и технической интеллигенции завода. Мудрено ли, что люди учатся, набираются сил, непрестанно идут вперед. И ведут за собой всю массу рабочих, инженеров, служащих завода.

Коммунисты — вожаки коллектива. Главную свою задачу они видят в том, чтобы на каждом участке создать обстановку высокого трудового накала, помочь каждому работать творчески, в том, чтобы ставить все новые рубежи и брать их, воспитывать и увлекать. А для этого во всей воспитательной и организационной работе заводской партийной организации необходимо доходить до каждого человека. Вот в чем ключ! Не огульный, массовый «охват», а индивидуальная вдумчивая работа с каждым в отдельности может принести — и приносит! — успех...

Итак, началось партийное собрание. Оно, повторяю, посвящено задачам воспитательной работы в заводском коллективе. Не стремясь в этих коротких заметках к широкому охвату темы, я попытаюсь затронуть несколько интересных и существенных, на мой взгляд, вопросов — так, как ставились они на нашем собрании. Следует сделать одну оговорку: читатель не увидит в моих заметках ссылок на хорошие и худые примеры. Не потому, разумеется, что я не располагаю подобным материалом. Нет, заводская жизнь позволяет без особых затруднений подкреплять тезисы конкретными примерами, взятыми из практики. И передовиков, отличнейших людей, у нас превеликое множество, и отстающих — увы! — пока еще хватает... Так что, поверьте, за примерами далеко ходить не приходится. Просто здесь они, думается, излишни. Да и, по совести говоря, не люблю я перечислять дежурные фамилии, заканчивая списки трафаретным «и многие другие...».

Итак, о чем шла речь на собрании?

Соревнование за коммунистический труд — замечательное движение современности, могучий рычаг коммунистического воспитания. На нашем заводе более десяти тысяч человек участвуют в этом движении; пять тысяч работников удостоены почетного звания ударников и членов бригад коммунистического труда. Есть участки, цехи, и притом немалые, которые по достоинству названы коммунистическими. Словом, показатели на этом фронте совсем неплохи. Тем не менее коммунистов завода они не устраивают.

Дело в том, что движение за коммунистический труд немислимо без постоянного стремления вперед, творческого горения, непрестанных исканий. И прежде всего — без неустанной борьбы за повышение производительности труда. Но для этого каждый участник соревнования должен отчетливо представлять, какое место он занимает на производстве и что он может и должен сделать — у себя, на своем участке, на своем станке. Ведь вполне очевидно, что общие обязательства цеха складываются из личных обязательств работников и, наоборот, индивидуальные обязательства вытекают из коллективных. Простая взаимосвязь, не правда ли? К сожалению, однако, об этом иной раз забывают. И тогда на сцену выходит формализм.

Еще один момент. Известны случаи, когда работник, получив звание ударника коммунистического труда, на этом как бы успокаивается. Достиг определенной ступени — и стоп. Надо подтолкнуть такого человека,

объяснить, что звание не дается пожизненно, что оно обязывает... Коммунисты наши считают, что каждый работник, удостоенный звания ударника коммунистического труда, должен в известные сроки отчитаться перед товарищами: как идут дела, чего достиг и чего добивается сейчас.

Искусство партийного руководства заключается в том, чтобы, возглавляя движение за коммунистический труд, обязательно доходить до каждого человека.

Обсуждался — и, конечно, не впервые — вопрос об учебе: политической, общеобразовательной, технической, экономической. И опять-таки, если взять общие показатели, они выглядят весьма внушительно. Большинство работников завода тянется к знаниям, понимает, что без широкого технического и общего кругозора в наши дни на заводе не то что не будешь попевать за жизнью — просто не проживешь... Больше пяти-сот человек у нас учатся в вечерних институтах, почти столько же в техникумах и еще почти столько же в общеобразовательных школах. А всякого рода курсами, кружками, семинарами охвачены тысячи и тысячи тепловозостроителей Коломны.

Показатели, бесспорно, весьма солидные. Однако и они сегодня уже не удовлетворяют нас.

Товарищи законно ставят вопрос о создании на заводе школ технического обучения с более фундаментальной программой. О том, чтобы ни один рабочий не оставался без среднего образования. О глубоком и планомерном экономическом обучении кадров, в первую голову командного состава всех рангов. О самообразовании.

Мне хочется со всей решительностью высказаться в пользу самообразования. Мы, к сожалению, недостаточно воодушевляем наших товарищей, тех, кто постоянно работает над книгой (не только время от времени почитывает, а самостоятельно и, главное, систематически занимается). Кажется мне, что не только в Коломне, но и во многих других местах как-то недооценивают самообразования. Даже самый термин этот редко услышишь. Между тем для пожилых, семейных людей, да и для молодежи самообразование — наряду с другими разнообразными формами занятий — может сыграть немалую роль. При соответствующем периодическом контроле, конечно, и при постоянной поддержке, умной консультации и внимании со стороны общественных организаций. Попутно скажу, что очень мало еще выходит пособий и руководств для тех, кто хочет учиться сам.

Разумеется, не всякий может успешно заниматься самообразованием. Нужны известные навыки, воля, умение организовать себя. Другому больше пользы принесут занятия в группе, в среде товарищей. И тут — как всегда и во всем! — необходим дифференцированный подход, учет нужд, запросов и стремлений.

Опять мы сталкиваемся с задачей: доходить в нашей партийно-массовой воспитательной работе до каждого человека. Аксиома! Доказательств она не требует, но попробуйте ее решить! Особенно ежели этих «человеков» тысячи. И если даже в одной, самой спаянной бригаде не сыскать двух одинаковых людей?!

Как же держать в поле зрения партийной организации всю эту огромную массу людей, объединенных в сфере производства, в сфере труда? И какими путями действительно дойти до каждого? Тут на помощь приходят организационные принципы великой Коммунистической партии, принципы, заложенные шестьдесят лет назад В. И. Лениным.

Ни одиннадцать членов заводского парткома, сколь бы энергично они ни работали, ни сорок пять партийных бюро цехов и подразделений

завода, как бы хорошо они ни были подобраны, ни сотни партийных активистов — членов комиссий не в состоянии, конечно, дойти до отдельного человека. А вот партийные группы — на участке, в бригаде, в мастерской, в пролете, — партийные группы должны и могут вести свою воспитательную работу применительно к каждому отдельно взятому человеку. Знать каждого, помогать каждому, направлять, влиять, вести — вот задача. И вполне реальная задача.

На заводе — три тысячи коммунистов. Три тысячи принадлежат к великой, славной и закаленной армии идейных бойцов-единомышленников. Пусть каждый из них ведет за собой нескольких товарищей, пусть будет правофланговым в этой шеренге.

Конечно, все это далеко не просто. И все же задам здесь риторический вопрос: может коммунист влиять на своих сотоварищей (в одних случаях их будет пять, в других трое, а в третьих даже и все десять)? Безоговорочно обязан. На то он и коммунист, боец партии.

Мои друзья, руководители заводских общественных организаций, не прочь порой козырнуть четырехзначной цифрой агитаторов. Что ж, цифра действительно внушительная. При приеме в партию, когда спрашиваешь товарища, какую общественную работу он ведет, нередко слышишь в ответ: «Агитатор». Приятно.

Неприятно, однако, другое. Отстает качество нашей агитации. К чему, например, увлечение читками? Если в прежние времена, когда коломенский рабочий был в массе своей не шибко грамотен, чтение вслух — в обеденный перерыв или после смены — имело определенный смысл, то нынче, я думаю, «коэффициент полезного действия» таких читок крайне низок. Каждый сам прочитывает газету, слушает радио, смотрит телепрограмму — и громкая читка в группе или бригаде часто приобретает формальный характер. Прочтет агитатор тот или иной материал, а вот на то, чтобы прокомментировать его, времени не осталось — обеденный перерыв окончился; а на острые вопросы, если таковые возникнут, и вовсе не ответит: не подготовлен...

Может быть, я здесь немного и сгустил краски, но сделал это заведомо, чтобы яснее выявить основную мысль: агитация наша должна быть боевой, наступательной, действенной. И коммунист не вправе не быть агитатором.

Первое место при этом в нашей агитационной работе должен занять разговор по душам. С глазу на глаз либо в группе, в компании. Разговор неторопливый, задушевный. Неформальный, товарищеский. Смелый, не обходящий острых углов, даже резкий, если потребуется. И всегда до конца правдивый, принципиальный, партийный. В этом отношении агитатору есть у кого поучиться: вы понимаете, что я говорю о выступлениях Никиты Сергеевича Хрущева.

Вести такой разговор, конечно, неизмеримо труднее, чем отбарабанивать вслух газетную статью. Но зато эффект получается огромный.

В одном из «Ленинских сборников» я прочитал набросанный рукой Владимира Ильича в декабре 1921 года план тезисов. Прочитую один из разделов:

«...Связь с массой.

Жить в гуще.

Знать настроения.

Знать все.

Понимать массу.

Уметь подойти.

Завоевать ее абсолютное доверие» («Ленинский сборник» XXXVI, стр. 389).

Коммунистическая партия Советского Союза давно завоевала абсолютное доверие всего нашего народа. Но для нас эти беглые ленинские строки были и остаются боевой программой действий. И большое счастье коммуниста — жить в гуще, бороться под знаменем партии.

Предвижу: прочитав в журнале мои заметки, наши коломенские друзья-товарищи останутся недовольными. Чего, дескать, секретарь парткома в самокритику ударился? Предоставили человеку трибуну в дни славного шестидесятилетия II съезда партии, да еще накануне сотой годовщины существования завода, а он толкует о недостатках. Будто нет у нас, на Коломенском тепловозостроительном, и радостной коммунистической нови, и производственной героики, и поразительных успехов в формировании нового человека?!

«Есть, есть, товарищи!» — отвечу я своим будущим оппонентам. И заранее приму все упреки. Может быть, действительно следовало по-иному использовать отведенную мне журнальную «площадь» — рассказать о немалом опыте, накопленном коммунистами старейшего завода. Однако вспомните ленинское указание о том, что лучший способ отпраздновать годовщину — это сосредоточить внимание на нерешенных задачах. Вот и захотелось мне затронуть здесь несколько не решенных еще вопросов, имеющих, однако, общее значение.

К. КАТУШЕВ,

*секретарь парткома Горьковского
автомобильного завода*

★

По Ильичу

Начало коммунизма Ленин видел в том, что забота о сохранении и умножении общественного богатства станет кровным делом рядовых рабочих. Мы, коммунисты, стараемся терпеливо и настойчиво воспитывать в людях новое отношение к труду, глубокое понимание ими своего долга перед обществом, чтобы, как нам указывал Ильич, «втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатой родник...».

Общее, государственное, народное так же дорого и ценно, как свое собственное, общественное — предмет личной заботы каждого. Такая черта — главная в коммунистическом мировоззрении — все шире и острее проявляется в советских людях, в их помыслах и делах. И это, пожалуй, самые важные ростки коммунизма.

Горьковский автомобильный завод с самого своего рождения — а родился он в годы первой пятилетки — стал местом многих патриотических начинаний нашего рабочего класса. Здесь началось стахановское движение автомобилестроителей и вообще машиностроителей. Здесь во время Великой Отечественной войны возникли одни из первых в стране фронтовые бригады. Здесь и в послевоенные годы было немало подлинных героев труда, передовиков социалистического соревнования. Но никогда еще трудовой накал в коллективе не был так силен, никогда прежде новаторство, творческая инициатива рабочих, специалистов, служащих

не проявлялись так смело и широко, как в последние годы. По-ленински беспощадное разоблачение и осуждение чуждого нашему строю культа личности на последних партийных съездах, решительное искоренение административных, приказных методов партийного и государственного руководства расковали народную инициативу. С новой силой зажглось в наших людях сознание того, что именно они — хозяева своей страны. Обострилось чувство ответственности за государственные дела.

А восстановление ленинского духа во взаимоотношениях людей и во всех сферах их деятельности вселило добрые чувства, радость и вдохновение в наших сердцах.

Удивительно ли, что так поднялась трудовая активность народа!

Поддерживать инициативу трудящихся, воспитывать их на лучших образцах коммунистической сознательности, коммунистического труда и быта особенно важно. Тут партийная организация держит своего рода экзамен на политическую зрелость и дальновзоркость. Ведь важно не только заразить тысячи людей желанием работать лучше и лучше, принести как можно больше пользы общему делу, но и суметь направить трудовую энергию масс в нужное русло, в рамки полезного, разумного. Вспомним, как предостерегал нас Владимир Ильич от «политической трескотни», от «организационной суетливости или организационного прожектерства», призывал оставаться всегда «на деловой почве», «быть трезвым». В обстановке всеобщего подъема особенно важно действовать без излишней шумихи и торопливости, ажиотажа. Спокойно и вдумчиво оценивать явления. Видеть тенденции и перспективы развития, не ослепляясь первыми достижениями, не поддаваясь первым, внешним впечатлениям, не впадая в азарт безудержной погони за голыми цифрами (а разве не было и так?), не соблазняясь легким, но непрочным успехом.

Вот взять хотя бы такой пример из жизни нашего завода.

Во время XXII съезда партии в кузнечном корпусе родился замечательный почин. Кузнецы Арефий Огнев, Андрей Перевозчиков, Дмитрий Карцев, Иван Гаврилов, добившись высоких результатов в предсъездовском соревновании, предложили администрации повысить им нормы выработки. Их предложение приняли, и эти рабочие стали из месяца в месяц наращивать производительность труда.

Они составили продуманные до мелочей «личные планы», в которых не только определили свои обязательства, но и потребовали от администрации выполнения определенных организационных и технических мероприятий. Осуществление этих требований помогает рабочим успешно справляться со своими обязательствами, работать по повышенным нормам. Производительность труда растет непрерывно.

Таким образом, соревнование становится более конкретным и целеустремленным, освобождается от элементов формализма, связывает теснейшим взаимным практическим контролем рабочих и администрацию.

Разумеется, мы, горячо поддержав это начинание, решили вовлечь в него как можно больше рабочих. Но как?

Прежде всего только на основе сознательного, вдумчивого подхода самих рабочих, понимания ими особенностей такого рода обязательств, как принятые на себя кузнецами.

Надо сказать, не все на заводе сразу же увидели основные отличия новой формы соревнования. Часть рабочих считала, что это, в общем-то, то же самое, что было прежде. Полоса в газете «Автозаводец», написанная по поручению парткома начальником кузнечного корпуса Б. С. Аleshинным и редактором многотиражки В. С. Плаксиным, толково и обстоятельно объяснила особенности соревнования по личным планам.

Некоторые рабочие, поддавшись общему увлечению, поторопились, требуя повысить и им нормы выработки. И — получили отказ. Почему? Потому что выполнение ими повышенных норм не было обеспечено техникой и условиями производства.

Стремление к увеличению выработки необходимо было увязать прежде всего с практическими возможностями роста производительности труда. Мы разъясняли и рабочим и руководителям корпусов, цехов, смен, участков, что работа по личным планам преследует цель повышения производительности труда вовсе не любой ценой, не за счет физических усилий рабочих, а лишь одним путем: благодаря улучшению условий и организации труда, большей технической оснащенности рабочих мест. Поэтому каждое предложение повысить норму мы всесторонне обсуждаем, проверяем, достаточно ли оно обосновано.

Мы старались предупреждать товарищей, особенно руководителей, от слишком поспешных действий, от возможных ошибок, от опасного увлечения эффектными обязательствами без учета реальных возможностей. Пусть на первых порах число работающих по личным планам и не будет столь велико, зато движение станет на прочные рельсы, будет непрерывно развиваться и расти.

А что могло произойти в противном случае? Нормы бы повысили, но выполнять их не удавалось бы. В результате снизился бы заработок рабочих. А разве в этом наша цель?!

Мало того, люди понесли бы не только материальный, но и моральный урон, так как невыполнение повышенных норм, несмотря на очень напряженную работу, с одной стороны, подорвало бы уверенность рабочих в своих силах, а с другой, отпугнуло, оттолкнуло от новой формы соревнования. Важному делу с самого начала был бы нанесен серьезный ущерб.

Все это партком старался терпеливо и убедительно разъяснить хозяйственникам, активу, обсуждая на своих заседаниях вопросы, связанные с новой формой соревнования, освещая эти вопросы на страницах нашей многотиражки «Автозаводец».

Сейчас в таком соревновании у нас участвует около шестидесяти процентов рабочих. Но дело ведь не только в количестве. Мы не ограничивались простой его пропагандой, а старались раздвинуть его рамки, обогатить дополнительными возможностями, новыми формами. Мы стали вовлекать в него инженерно-технических работников. Они также берут личные обязательства: осуществлять конкретные предложения рабочих, составлять единые цеховые планы организационно-технических мероприятий и так далее. Мы ориентируем рабочих на то, чтобы их обязательства предусматривали не одно лишь простое количественное перевыполнение нормы, а отвечали бы общим нуждам и стремлениям коллектива (скажем, обучение передовым приемам труда, сменщика, подручного — основной профессии).

«Изучать, пропагандировать, организовывать». Так определил когда-то задачу революционных марксистов Вильгельм Либкнехт. Мне кажется, эта сжатая формула, которую весьма одобрительно оценивал Владимир Ильич, должна определять и наш стиль работы. Приведенным примером я и хотел показать, как мы стараемся следовать ей на практике.

* * *

Идейное воспитание людей невозможно без постоянного и глубокого общения руководителей с массами. Не формального, поверхностного, к которому «о б я з ы в а е т» должность, а искреннего, рожденного подлинным интересом и внутренней потребностью. Владимир Ильич учит

нас «...жить в гуще рабочей жизни, знать ее вдоль и поперек, уметь безошибочно определить... настроение массы, ее действительные стремления, потребности, мысли, уметь определить, без тени фальшивой идеализации, степень ее сознательности и силу влияния тех или иных предубеждений и пережитков старины, уметь завоевать себе безграничное доверие массы товарищеским отношением к ней, заботливым удовлетворением ее нужд».

За последнее время мы в парткоме все чаще и чаще приглядываемся к тому, в каких взаимоотношениях с подчиненными находятся руководители — от мастера до директора предприятия. Какое и действительное влияние оказывает тот или иной хозяйственник, партийный руководитель на рабочих? Знает ли их нужды, настроение, запросы? Интересуется ли ими, реагирует ли на них?

Когда мы отмечали девяносто третью годовщину рождения Владимира Ильича, в цехах выступали с докладами руководящие партийные и хозяйственные работники завода. Рабочие внимательно слушали рассказ о жизни и деятельности В. И. Ленина. А потом посыпались вопросы докладчикам. И среди них такие:

— Вот вы говорили о деловитости Ленина, о его нетерпимости к фразе. О его простоте и скромности. Быть таким должен стремиться каждый руководитель, верно? Почему же начальник корпуса не выполняет обещаний, данных коллективу, не улучшает условий труда? Почему не заботится о людях?

— Заместитель начальника нашего цеха станки видит, а нас — нет. Никогда ни о чем не спросит, не посоветуется. Разве этому учил Ленин?

— А почему старший мастер грубо разговаривает с рабочими, не считается с ними?

Это и вопросы и одновременно критика. Прямая, неллицеприятная, требовательная. В духе самого Ильича.

По инициативе коммунистов — специалистов железнодорожного цеха две с половиной тысячи инженеров и техников завода бесплатно ведут обучение рабочих. Польза предприятию от этого, конечно, огромная. Но еще большая польза, чем сэкономленный заводом благодаря бесплатному преподаванию миллион рублей, заключается в моральном выигрыше, в авторитете и уважении, которое завоевали этим специалисты в глазах всего заводского коллектива. Завоевали пониманием нужд и желаний рабочих, товарищеским отношением к ним.

Партком постоянно следит за тем, как руководители относятся к рабочим: советуются ли, считаются ли с ними, не проявляют ли пренебрежительности, высокомерия, барства. За последнее мы строго призываем к ответу работников всех постов и рангов, независимо от их заслуг и квалификации. Начальник энергоцеха Ш., например, за грубое, хамское отношение к рабочим был снят с должности и переведен рядовым инженером на другой участок. Это послужило хорошим уроком и ему и другим.

Порой, однако, мы сталкиваемся, казалось бы, с противоположным явлением. Руководитель вроде бы и близок и общителен с подчиненными, а их уважением все равно не пользуется. Почему же? Да потому, что его близость к людям, чисто внешняя общительность с ними фальшивы. Ни подлинного интереса, ни душевного отношения к ним он не испытывает. Такой человек никого, кроме себя, не обманывает: окружающие видят его насквозь.

Начальником второго сборочного цеха когда-то работал Б. Он рабочих по плечу похлопывал, и грубовато, «под рабочего», разговаривал, и сам за детали хватался — а уважения большого в цехе не заслужил.

Люди чувствовали и понимали, что многое делается напоказ. В действительности-то начальник с подчиненными мало считался, их мнением не дорожил. А без настоящей поддержки коллектива ему приходилось туго. Были срывы в работе цеха. Нарушалась трудовая дисциплина. Начальника цеха вынуждены были освободить от должности и вместо него назначили молодого инженера т. Бабича. Он и работает, и строит свои отношения с подчиненными совершенно иначе. Не поддакивает им по всякому случаю, не выказывает без конца свое «расположение» и не старается вымазаться в масле, если нет в этом необходимости.

Бабич достаточно требователен и строг. Надо — и поспорит и накажет. Но он никогда не позволит себе хоть бы чуть-чуть повисить голос на кого-либо. Всякое распоряжение разъяснит так, чтобы подчиненный не только понял суть дела, но и почувствовал его важность, проникся желанием как можно быстрее и лучше его выполнить. А самое главное — начальник цеха прислушивается к окружающим, советуется с ними. Словом, совершенно другие взаимоотношения, другая атмосфера в коллективе. Удивительно ли, что дела здесь пошли совсем иначе? Один за другим отдельные участки, а затем и весь цех завоевал и звание коллектива коммунистического труда. Цех заслужил право показать свои достижения на ВДНХ.

Можно привести множество примеров, фактов из жизни нашего многотысячного коллектива, подтверждающих мудрость ленинского указания: «Руководитель-коммунист тем и только тем должен доказать свое право на руководство, что он н а х о д и т себе м н о г и х... помощников... что он у м е е т и м помочь работать, и х выдвинуть, и х опыт показать и учесть».

Ленинской меркой мы стараемся оценивать наши поступки, замыслы, достижения. С ленинской требовательностью — относиться к промахам, недостаткам, ошибкам.

П. ДАВИДОВ,

секретарь Щелковского горкома КПСС

★

Умение убеждать

Чем бы ни занимался в наше время партийный работник любого масштаба, вся его деятельность должна быть пронизана доброй заботой о человеке, о том, чтобы ему лучше жилось. Программа партии, осуществление семилетки открывает для этого широкие возможности. В этом мы убеждаемся повседневно.

Когда на XXII съезде КПСС выступила известная текстильщица Мария Ивановна Рожнева, общее внимание в ее речи привлекло предложение о ликвидации ночных смен на текстильных предприятиях. «Мне,— говорила Мария Ивановна,— матери двух детей, депутату Верховного Совета РСФСР, знающему запросы многих женщин-избирателей, думается, что постепенную ликвидацию ночных смен и увеличение продолжительности отпусков следовало бы начать с текстильных предприятий, где преобладает женский труд».

В самом деле, нелегко работницам, имеющим ребенка, а подчас и двух детей, работать около ста смен в году ночью. На некоторых предприятиях сразу же откликнулись на этот призыв. Стали прикидывать,

как свести до минимума ночные смены, не снижая при этом выпуск тканей, поскольку потребность в них непрерывно растет.

В Ярославле, Омске, Краснодаре нашли правильное решение. По внедренному там новому графику количество ночных смен резко сократилось: в продолжение месяца работница занята ночью не больше двух раз. Вместе с этим графиком введено еще одно новшество: работницы через каждые пять рабочих дней получают два дня отдыха, правда за счет увеличения рабочего дня до восьми часов.

У нас в Щелкове — городе небольшом — девять текстильных предприятий, на которых работают двадцать две тысячи человек. Среди них не менее семидесяти пяти процентов женщин.

Само собой разумеется, что организовать переход этих предприятий на новый график — стало для нас, работников городского комитета партии, главным делом.

Мы поехали на предприятия, работающие по новому графику, и убедились в неоспоримых его преимуществах. Действительно, ночные смены сводятся к минимуму, и это заметно сказывается на улучшении здоровья рабочих и создает благоприятные условия для их отдыха.

Никаких сомнений в выгоде нового графика для рабочих у нас не возникло. Что же оставалось делать? Принять решение о немедленном его введении?.. Если бы мы так поступили, то допустили бы грубую ошибку. Новый график вносил серьезные изменения в быт более чем двадцати тысяч работниц и их семей. Можно ли было вводить его простым приказом, не считаясь с их мнением?

В августе прошлого года мы провели широкий опрос, самый настоящий плебисцит, чтобы выяснить сторонников и противников нового графика. Результат его был для нас, откровенно говоря, совершенно неожиданным. За введение нового графика высказалось меньше пятидесяти процентов рабочих.

Представляете себе ситуацию! Мы предлагаем то, что, по нашему убеждению, должно резко улучшить условия труда и быта многих тысяч рабочих, а многие из них возражают, голосуют против!

Почему же так происходит?

Городской комитет партии внимательно разобрался во всех обстоятельствах. И нам открылись причины этого: привычка работниц к сложившимся условиям труда, возникшие у них сомнения, которые нельзя было не учесть при переходе на новый график. Некоторые из этих возражений уж очень наглядно показали, что при проведении мероприятий, затрагивающих интересы многих людей, нельзя действовать скопом, нужно поговорить с ними, убедить их в целесообразности нового.

Против перехода на новый график высказалось, например, много молодых девушек. Что испугало их? Да, они работают ночью. Это не легко, но зато много интереснее отдыхать в воскресенье, со всеми. А по новому графику выходные дни часто падают на будние дни. Семейных женщин волновало, что их выходные дни не будут совпадать с выходными днями мужей, детей. Некоторых работников смущало, что при переходе на новый график снизится заработок, поскольку ночные смены, как известно, оплачиваются выше, чем дневные.

Сочетать график с пожеланием всех работников не представляется, конечно, возможным, но обязательно нужно было перестроить работу клубов, яслей, транспорта, организовать отдых работниц в будние дни. Мужья многих наших работниц работают, так же как и они, на текстильных фабриках. Несложно было организовать дело так, чтобы их выходные дни совпадали. Пришлось подумать, как предотвратить снижение заработка при переходе на новый график.

Многое, оказывается, можно сделать, если прислушаться к мнению людей, советоваться с ними.

Весь партийный актив был привлечен для разъяснения преимуществ нового графика. Одновременно мы организовали поездку наших работников на предприятия, где уже работают по-новому. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать! В эти делегации обязательно включали работниц, особенно рьяно выступавших против нового графика:

— Поезжайте, посмотрите, прикиньте все сами.

Делегаты отчитывались затем на собраниях. Наибольшее впечатление производили отчеты «противников» графика, которые после личного ознакомления с опытом работы по-новому становились его защитниками.

Помню, как на одном из этих собраний помощник мастера Валентин Николаевич Рыков, убежденный, как нам казалось, сторонник сохранения старого порядка, докладывая рабочим о том, что он увидел в Краснодаре, закончил свое выступление:

— Да за этот график тем, кто его придумал, нужно Ленинскую премию дать!

И все же не всех удалось сразу переубедить. При повторном опросе за новый режим работы высказалось до семидесяти пяти процентов рабочих.

Коллектив одной из наших фабрик раньше других стал работать по-новому. Теперь у нас был уже свой наглядный пример. Все текстильщицы города живо интересовались ходом дел на этом предприятии. Бюро горкома обсудило первый его опыт. Никогда еще у нас не было такого интересного, живого обмена мнениями. В нем участвовали представители предприятий, рабочие, инженеры.

Ныне уже восемь фабрик работают по новому графику, и ни у кого уже не возникает сомнений в его преимуществе. Многое изменилось в жизни рабочих. В сравнении с прошлым годом более чем вдвое сократились пропуски по болезни. Повысилась производительность труда, а следовательно, и заработки. Семейные работницы посвящали обычно воскресный день хозяйственным делам. Теперь же при двухдневном непрерывном отдыхе они потянулись в клуб, на экскурсии.

Борьба за новый график, обсуждение всех деталей, связанных с его введением, стала для работников партийного аппарата практическим приложением ленинского стиля работы: непосредственная связь с массами, изучение их нужд и забота — не на бумаге, а на деле — о человеке.

Когда встал вопрос о приспособлении работы клубов, яслей, детских садов к условиям нового графика, работницы высказывали предложения, над которыми мы раньше не задумывались.

Щелково находится недалеко от Москвы. Но мало что было сделано нами для приобщения трудящихся города к многообразной культурной жизни столицы. И вот среди возражений против введения нового графика мы обнаружили и такие: в воскресенье в московских театрах дневные представления, можно посмотреть хорошую пьесу и не поздно вернуться домой. А в будние дни таких спектаклей нет.

Возможно, соображение это покажется не таким уж значительным. Но с этим нельзя согласиться. Рядом с нами центр мировой культуры, а мы, признаться, и не задумывались, как воспользоваться широчайшими возможностями эстетического воспитания молодежи, рабочих. Да и только ли мы?

Во всех наших делах мы стремимся советоваться с трудящимися. Потому что самый верный путь к достижению цели — это живая связь с народом, повседневное воспитание людей.

Не так давно уж очень часто стали поступать к нам тревожные сигналы из одного и того же предприятия: жаловались на неправильное распределение квартир в новых домах, нарушение трудовых законов. Возмущались тем, что директор выдвигает людей на ответственные работы, не сообразуясь с деловыми соображениями и мнением общественности. Одним словом, все эти сигналы давали типичную картину подмены единоначалия самоуправством.

Присмотрелись к директору — предприятие крупное, союзного значения. Управляет им много лет член партии, дело знает. А вот найти общий язык с общественными организациями не может. Убежден в какой-то своей исключительности и критике, мол, не подлежит. Не считает нужным выступать на рабочих собраниях. Взялся возглавлять кружок для изучающих философию, но так и не приступил к занятиям.

И вот сидит он, директор крупнейшего предприятия, на бюро, видимо уверенный еще в своей неуязвимости и при этом, повторяю, неплохой специалист.

Почему он ни разу не выступил после ноябрьского Пленума на рабочем собрании, не поговорил с ними по поводу их жалоб?

— Да так, не пришлось...

Ответ настораживает членов бюро.

— А почему директор предприятия ни разу не пришел на занятия по философии?

— Нет времени у меня,— отвечает он.

Члены бюро, партийные активисты, в том числе и работники предприятия, подвергли директора резкой критике за барское отношение к рабочему коллективу.

Да, времена меняются. В прошлом директор усмотрел бы в этом поход против него, склоку, побежал бы жаловаться в министерство. На этот раз он предпочел прислушаться к критике. Он понял, что речь идет не о какой-либо придирке, а о восстановлении ленинских норм нашей жизни, понял неотвратимость этого процесса. И призадумался. Мы внимательно наблюдаем, как он постепенно находит общий язык с партийной организацией завода и с общественными организациями.

Сложные задачи стоят перед нами в области коммунистического воспитания, особенно молодежи, искоренения хулиганства, тунеядства, пьянства. Как бороться с этими явлениями? Общие слова ничего не дают. Необходима борьба за каждого человека, сползающего с твердой советской почвы. Ведется ли у нас такая работа? Конечно, ведется. Но если мы учитываем каждую прочитанную лекцию, то эту работу не учтешь. Да и сами мы не придаем ей того значения, какое она заслуживает.

В литературе часто изображается молодой человек, который сначала подпал под влияние улицы, а затем перестроился, закончил без отрыва от производства техникум, потом высшее учебное заведение. Да, в жизни таких примеров немало. Но самый-то процесс перестройки не прост. Он идет не самотеклом. Человек меняется под влиянием общества. Но, конечно, влияние это оказывают какие-то определенные люди добрым словом, своим примером, участием в судьбе. Я испытал это на себе. Партийным работником стал не так давно, после XX съезда партии. Долгое время работал так же, как и отец, мать, сестры, на текстильной фабрике. И так сложилось, что в нашей семье никто не учился — ни родители, ни сестры. Когда я иной раз задумываюсь, как случилось, что я вопреки семейной традиции без отрыва закончил техникум, а затем и вуз, в памяти встает много добрых людей, которые подтолкнули меня на это советом, душевным разговором, подтолкнули и помогли.

А как учесть эту их работу? Нет ведь более благородного дела, чем

вот такая идущая от души забота о судьбе молодого человека. Что нужно сделать, чтоб усилить и расширить влияние старых рабочих, партийных работников, лучшей части интеллигенции на молодежь, особенно ту ее часть, которая находится в процессе формирования, на которую подспудно пытаются оказать влияние чуждые нашей общественной морали люди?

Не так давно я был в одном из наших общежитий, о котором шла недобрая слава в связи с несколькими имевшими место там хулиганскими поступками. Очень неплохое общежитие. Государство затратило немало денег на оборудование. И молодежь живет там хорошая, в основном учащиеся. Беда в том, что о материальной стороне дела позаботились, а о том, чтобы умело организовать их досуг, влияя на них не только в часы занятий, но и в быту, никто не позаботился. Вот и получилось, что несколько хулиганов пытаются задавать тон в общежитии и не получают отпора. Ни преподаватели, ни кадровые рабочие предприятий в общежитии не бывают, не присматриваются к жизни молодежи. «Мероприятия» какие-то проводятся, а вот до простой беседы с молодежью и дружеского совета не додумаются.

Нет, пора нам переходить от общих разговоров к душевному слову. В этом я вижу основной метод воспитания молодежи. Как практически это сделать? Почему бы нам не прикрепить к молодежным общежитиям цвет нашего партийного и рабочего актива, преподавателей? Вот тебе общественное задание: помогай людям правильно жить, поддерживай добрые начинания, присмотришь, что волнует их. Помогни им крепко стать на ноги. Если бы два-три таких человека регулярно бывали в том общежитии, о котором я говорил выше, хулиганы не посмели бы там распыляться.

Нужно копить опыт воспитательной работы в общежитиях рабочей молодежи, обогащать его.

Большую помощь партии в воспитании молодежи может оказать литература, кино. Нам жизненно необходимо привести в действие силу положительного примера, конечно не схематичного, а во всей его жизненной реальности и красоте, показать борьбу нового со старым.

Велика воспитательная роль хорошей книги, рассказа. Я приведу один пример.

При переходе на новый график в текстильной промышленности нам пришлось убеждать в целесообразности его не только рабочих, но и некоторых директоров предприятий. Так произошло с директором одной из фабрик — назовем ее здесь Клавдией Петровной. Директор она неплохой. Но очень уж ревниво относится к своему авторитету.

Клавдия Петровна категорически высказалась против перехода на новый график. Ну что ж, у каждого может быть своя точка зрения. Вскоре мы, однако, убедились, что эта точка зрения директора не подтверждается никакими конкретными соображениями. В чем же тогда дело? Все в той же чрезмерной заботе о собственном авторитете, в чрезмерной амбициозности. В то время как Клавдия Петровна находилась в отпуске, партийная организация высказалась за переход на новый график, имея в виду, конечно, согласовать свое решение с директором. Но Клавдия Петровна усмотрела в этом ущемление своего авторитета и вступила в конфликт с партийной организацией.

Проще, конечно, было бы поставить вопрос: может ли стоять во главе предприятия директор, выступающий против прогрессивных новшеств? Но Клавдия Петровна директор-то, в общем, неплохой. Как помочь ей освободиться от вредящей делу амбициозности? Прикидывали мы и нашли такой выход. В нашей городской газете «За коммунизм» появился рассказ «Крушение пьедестала». Он воспроизводил точь-в-

точь ситуацию, в которой оказалась наша Клавдия Петровна со своей нелепой амбицией.

Самый жестокий разнос на бюро горкома не дал бы такого результата, как этот нехитрый рассказец. Весь город узнал, конечно, в героине рассказа Клавдию Петровну. И она сама, поглядев на себя со стороны, поняла, что вела себя неправильно.

Забываясь о людях, работая с ними, воспитывая их, мы, партийные работники, должны неустанно вырабатывать в себе умение убеждать людей. Это великое искусство, которым в совершенстве владел Ленин.

В арсенале наших средств идеологического воспитания трудящихся, особенно же молодежи, литература — одно из самых сильных боевых средств.

Хотелось бы, чтобы повседневная работа по формированию коммунистического сознания, которую ведет партия, нашла талантливое отражение в труде наших писателей.

Это очень помогло бы нам.

М. СЕРГЕЕВ,

*секретарь Свердловского промышленного
обкома КПСС*

★

Главное условие

Время, в которое мы живем, — сложное и беспокойное время. Беспокойное оно, я бы сказал, в самом лучшем смысле этого слова: **весь** наш народ и каждый советский человек в отдельности, вся наша партия и каждый коммунист в отдельности — пребывают как бы в непрестанном поиске лучшего, в непрестанной борьбе со всем, что мешает, что тормозит поступательное движение советского общества. Поэтому-то жизнь и вносит каждодневно свои поправки в, казалось бы, уже давно установившиеся порядки, нормы, законы. Поэтому то, что необходимо было и удовлетворяло нас вчера, — сегодня требует улучшений. Умение чутко реагировать на все новое, выдвигаемое жизнью, новыми ее условиями и обстоятельствами, умение предвидеть возможное — главная и отличительная черта нашей партии.

Коммунисты Свердловской партийной организации все более убеждаются, что перестройка партийных организаций по производственному принципу была очень необходима. Уже сейчас она дает ощутимые плоды. Городские, районные комитеты партии, промышленно-производственные парткомы стали глубже вникать в деятельность предприятий, влиять на ее результаты. Вот один из многих примеров.

В решающие предновогодние недели наметилось серьезное отставание Асбестовского рудоуправления. В парткоме Сысертского промышленного района встревожились. В чем причины? Какие срочные меры **необходимы**?

Секретарь парткома Леонид Михайлович Нецветаев решил **глубже** вникнуть в дела этого рудоуправления. Он побывал в карьере, на обогатительной фабрике, подолгу беседовал с рабочими, мастерами, инженерами, которые откровенно рассказали ему о своих бедах. И только один человек пытался затушевать недостатки, оптимистически заверял: «Положение выправим», ничем, однако, не подкрепляя свои слова. Этим человеком был директор рудоуправления Н. Я. Ярославцев.

Вызвать его на заседание парткома и «пропесочить»? Бывший райком партии не скупился на взыскания... Нецветаев решил поступить иначе. — Созовем партсобрание, — предложил он, — и пусть директор узнает, что думают о нем в коллективе.

Коммунисты высказали директору горькую правду о том, что он оторвался от масс, не заботился по-настоящему о сырьевой базе и развитии производства. Они смело вскрывали причины, мешающие рудопроизводству выйти в число передовых предприятий промышленного района.

Собрание было поучительным не только для руководителей, но и для всех коммунистов, дало им хорошую зарядку.

Работники парткома — постоянно в гуще народа. Они появляются то на одном, то на другом предприятии, изучают положение дел, выискивают внутренние резервы производства, добиваются устранения недостатков, распространяют передовой опыт. Побывав на Арамильской суконной фабрике, они увидели, какие замечательные плоды приносит ежедневный учет результатов производственной деятельности. Как поступали в таких случаях иные райкомы раньше? Проводили заседание бюро и выносили решение, обязывающее руководителей всех предприятий внедрять то или иное начинание.

Партком, возглавляемый Нецветаевым, отказался от подобных методов руководства и нашел наиболее действенную форму передачи передового опыта. Директора предприятий, секретари партийных и комсомольских организаций, председатели заводских и фабричных комитетов были приглашены на суконную фабрику. Здесь им рассказали, как ведется учет, и непосредственно на рабочих местах показали, какую пользу он приносит. По своей действенности такой семинар не идет ни в какое сравнение с самой грозной директивой.

Эти примеры из деятельности парткома Сысертского промышленного района приведены для того, чтобы показать, как велико значение непосредственной связи партийных руководителей с массами — с рабочими, мастерами, инженерами, техниками — с коммунистами и беспартийными.

Быть всегда с массами и во главе масс — таков один из важнейших заветов В. И. Ленина. На революционных традициях, на ленинских заветах воспитываются наши партийные кадры. Вот почему в дни, когда мы отмечаем шестидесятилетие II съезда РСДРП, положившего начало созданию большевистской партии, хочется бросить хотя бы беглый взгляд на славный путь одного из ее многочисленных отрядов. Я имею в виду нашу Свердловскую областную организацию.

Один местный историк познакомился недавно в московском архиве с интереснейшим документом, подготовленным к X съезду партии (1921). Екатеринбургская губерния названа в нем «самой промышленной губернией на Урале, богатой своим пролетарским ядром и партийно-большевистскими традициями»¹. Из всех уральских губерний, говорится далее в этом документе, «нужно прежде всего выделить Екатеринбургскую — красу и гордость пролетарского движения, никогда не знавшую меньшевистских увлечений и всегда стоявшую в центре большевизма»².

Это высокая оценка, данная нашей организации более сорока лет назад, обязывает нас быть и сегодня такой же надежной опорой Центрального Комитета, быть застрельщиком славных дел в эти вдохновенные годы строительства коммунизма.

Создавая партию, В. И. Ленин в уральских революционерах, так же как и в петроградских, московских, донецких, видел своих верных сто-

¹ ЦПА ИМЛ. ф. 17, оп. 13, ед. хр. 1222. л. 1.

² Там же. л. 40.

ронников. Он направлял на Урал своих ближайших соратников. Под руководством Я. М. Свердлова и Артема (Ф. А. Сергеева) уральская организация выросла, идейно закалилась, стала одной из крупнейших в стране. Накануне Октябрьской революции она насчитывала свыше тридцати тысяч большевиков и по численности занимала в партии третье место после Петрограда и Москвы. Она поистине была бастионом большевизма в нашем огромном крае.

Самоотверженность и героизм проявили уральцы и в годы гражданской войны, и в годы восстановления разрушенного колчаковцами и иностранными интервентами народного хозяйства.

«Громаднейшей и богатейшей областью» называл В. И. Ленин Урал. Намечая пути социалистического преобразования страны, вождь партии считал индустриальное развитие Урала первоочередной задачей советской власти.

...Штурмовые годы первых пятилеток. Уральские большевики во главе с крупным деятелем партии И. Д. Кабаковым борются за создание мощной тяжелой индустрии, превращают Урал в край металлургии и машиностроения. Многие из построенных тогда заводов по своей мощности и техническому оснащению превосходили передовые предприятия Европы и Америки. Уже тогда началось у нас в стране создание материально-технической базы коммунизма, которое с таким огромным размахом развернулось сейчас. И надо ли говорить, что Урал и поныне играет в этом важнейшую роль: ведь по размерам производственных фондов промышленность Свердловской области занимает одно из первых мест в Российской Федерации.

Уральские машиностроители давно уже стали активными борцами за технический прогресс. Ломая старые понятия и нормы, они создают все новые и новые машины, совершенствуют отечественную технику. В 1962 году предприятия области освоили производство двухсот пятидесяти новых образцов машин и оборудования. Свыше двухсот новых образцов машин, аппаратов и приборов они дадут и в текущем году. Первоклассные машины с маркой «Уралмаш», «Уралхиммаш», «Уралэлектроаппарат» и других заводов работают во всех районах нашей страны и во многих зарубежных странах.

Как далеко смотрел Владимир Ильич, когда писал о самоотверженной заботе рядовых рабочих, стремящихся увеличить производительность труда! Он уже тогда видел ростки коммунизма, которые дали ныне такую могучую поросль.

Какой бы трудной ни казалась дорога, каким бы крутым ни был подъем, но когда видишь цель, хочется поскорее преодолеть остаток пути. Не потому ли шлифовщик «Уралвагонзавода» Г. Аксенов и токарь А. Вычегжанин в канун пятого года семилетки обратились к руководству цеха с просьбой увеличить им норму выработки на пятнадцать процентов. Они умело использовали выявленные ими резервы производства и сейчас перевыполняют новые нормы. Почин новаторов подхвачен повсеместно.

Мы гордимся высокой оценкой, которую дал инициативе Г. Аксенова и А. Вычегжанина товарищ Н. С. Хрущев на недавнем совещании работников промышленности и строительства РСФСР. «Такое проявление заботы об увеличении производства, о повышении производительности труда,— сказал Никита Сергеевич,— возможно только в условиях социализма, в условиях строительства коммунизма. Такое отношение к труду проявляют люди, у которых выработалось сознание, что они работают на себя, на свой народ, во имя светлого будущего».

Воспитание этого сознания у наших людей мы считаем своей важнейшей задачей. И если предприятия Свердловской области стали родиной таких начинаний, как создание фронтовых бригад, развертывание дви-

жения тысячников, движения за совмещение профессий, создание общественных конструкторских бюро и бюро и групп экономического анализа, то это прежде всего результат народной инициативы и большой организаторской работы наших парткомов.

В последнее время к руководству партийными комитетами пришли молодые, с хорошей идейно-теоретической подготовкой, образованные коммунисты. Вот красноречивая цифра: девяносто процентов первых секретарей горкомов, городских райкомов партии и промышленно-производственных парткомов имеют высшее образование. Свердловский, Серовский, Верхне-Салдинский и ряд других горкомов возглавляют инженеры. Л. М. Нецветаев, о котором я упоминал в начале этой статьи, работал ранее технологом, начальником цеха, директором завода. Приобретенный им опыт очень пригодился сейчас, на партийной работе. Именно поэтому в районе успешно проведен общественный смотр резервов производства и получило большой размах движение за пересмотр норм и расценок.

Создание материально-технической базы коммунизма — наша главная, первостепенная задача. Но не менее важная и сложная проблема — воспитание нового человека.

Не будем скрывать: находятся и по сей день такие партийные руководители, которые считают, что главное — провести побольше вечеров, лекций, бесед, увеличить охват ими рабочих и служащих. Но таких руководителей становится все меньше. На смену им приходят новые, вдумчивые партийные работники, понимающие, что дело не в количестве «проведенных мероприятий», не в «проценте охвата», а в кропотливой работе с каждым трудящимся и членом его семьи. А чтобы она была плодотворной, надо досконально изучить тех, кого хочешь воспитывать. С этого и начал Тагилстроевский райком партии Нижнего Тагила.

Не так-то просто изучить каждую семью, если в районе их более тридцати трех тысяч. Но коммунистов это не остановило. Дом за домом, квартал за кварталом обходили они квартиры трудящихся, заходили в них во второй и в третий раз. Беседовали с сотнями людей, отвечали на самые разнообразные вопросы (от размера цен на овощи до проблемы разоружения) и в свою очередь задавали вопросы, вникали в быт людей, изучали их интересы. Жители доброжелательно встречают работников райкома и активистов. Нередкими стали ответные визиты граждан в райком.

Постепенно выявилось несколько сот таких семей, которые требовали особенно пристального внимания со стороны райкома. Что это за семьи? В одних обнаружили сектанты, другие имели в своем составе пьяниц и лиц, ведущих аморальный образ жизни, третьи постоянно ссорились с соседями.

И тагилстроевские коммунисты начали борьбу за человека. За выработку у него правильного мировоззрения, достойного поведения. В квартиры сектантов стали заходить опытные пропагандисты. Кропотливую работу, например, вел коммунист Бутаков с В. — членом секции иеговистов. Шли дни, все больше прояснялось сознание В. И вскоре она порвала с иеговистами, стала читать книги, ходить в кино, поступила в вечернюю школу. Подобные примеры не единичны. Имеют своих «подшефных» сектантов и секретарь Тагилстроевского райкома т. Рыбаков, и заведующая идеологическим отделом т. Андреева. Плодотворным оказалось также индивидуальное шефство над подростками, которые сбивались с пути.

Мы изучаем опыт Тагилстроевского райкома, чтобы распространить его по всей области. Много сделано, еще больше предстоит сделать. Воспитание нового человека — задача сложная, кропотливая. Решение ее требует настойчивости, выдержки и, разумеется, времени. Одно не-

сомненно: нужна дифференцированная работа с различными группами населения, нужен индивидуальный подход с учетом уровня развития, характера, наклонности, привычек каждого человека, до сознания которого мы хотим донести глубину наших идей.

Как и первые две программы партии, третья ее программа выражает подлинные интересы трудящихся. Все делается во имя народа, для блага народа.

Шестьдесят лет минуло со II съезда, принявшего первую программу нашей партии. А какие громадные преобразования произошли за это время в стране! Как расцвел Урал, как изменилась жизнь, как выросла культура!

Но мы, уральские коммунисты, не обольщаем себя успехами, мы видим еще немало недостатков в нашей работе и жизни, видим много нерешенных вопросов и новых проблем. Есть предприятия, которые не справляются с выполнением планов, не все благополучно и с качеством изделий. Чтобы помочь им, надо прежде всего найти истинные причины отставания. Нас справедливо критиковали за то, что некоторые заводы продолжают выпускать устаревшие марки изделий. Недостаточно на наших предприятиях механизированы вспомогательные операции. Коммунисты области прилагают энергичные усилия, чтобы устранить эти и многие другие недостатки.

Радостная мысль о теперь уже недалеком прекрасном коммунистическом грядущем пронизывает все наши стремления и надежды.



МАКСИМ ТАНК
★
ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ

С белорусского

* * *

Хочу я морем голову накрыть,
Чтоб слез моих никто не мог
увидеть.

М. П. Яснажевская.

Когда покидаешь Отчизну,
Становятся снами
И люди, и дюны,
И сосны твои, и луга.
Завидуешь мачте —
Ее расставанье с друзьями
Значительно дольше —
Ей дольше видны берега.

И дольше она
Голоса провожающих слышит,
И порт, от тебя заслоненный,
Пред нею простерт.
Качается мачта
И чаек на рее колышет,
Крылатых землячек
Печальный, прощальный эскорт.

Я знаю, смешны
Эти жалобы с дальних дорог
В наш век, открывающий трассы
В межзвездном просторе.
Но вспомнились строки:
«Накрыть бы мне голову морем,
Чтоб слезы мои
Посторонний увидеть не мог».

Космонавт

Он сделал первый шаг.
Впервые в жизни
Прошел по свежевывытому полу.

Совет семейный так решил отметить
 Победу эту:
 Заменяли мокрый
 Его скафандр сухим и очень теплым.
 И понесли к фотографу героя.
 — Вам на коне?

На лодке?

На ракете?

Договорились.
 Вот готовый снимок.
 Летит счастливый космонавт среди звезд,
 И соску он жует с большим кольцом,
 Похожую на копию Сатурна.

Топится баня

Старая баня топится снова.
 Помню, с отцом, не жалея усилий,
 Ее возвели мы из бревен сосновых,
 Каменку из валунов сложили.

Ольховые выдолбили колоды,
 Навесили двери — пожалуйста мыться!
 Полók склотили особого рода,
 Широкий, чтоб невзначай не свалиться.

Коль нужен веник, свежий, пахучий,
 С предбанником рядом — густая роща.
 Ступай в березник — куда уж лучше!
 Ломай да вяжи — чего уж проще!

Сколько людей в этой баньке тесной
 Мылось, махало веником хлестким,
 Сколько бойцов, партизан известных —
 Хоть вешай мемориальные доски!

Мне видеть бани получше случалось,
 Мне скамьи мраморные знакомы.
 Но след лихолетья, пыль и усталость
 Нигде не выпаришь так, как дома.

Опять глаза выедает чадом,
 Но всех зову я париться, мыться.
 Из печки камни и гильзы снарядов
 Я выгребаю и грею водицу.

Бульканье в гулком котле нарастает.
 А чтоб не чувствовалось угара,
 Каменку я, не скупясь, поливаю —
 Аж открываются двери от пара.

Ничто не забыто. Все пышет зноем.
 Дрова, прогорев, мерцают багрово.
 Слышу, соседи шумят за стеною.
 Что ж вы замешкались? Баня готова!

Таблица умножения

Веками таблицу эту
Во всем изучают мире.
И я по наивности верил,
Что дважды два — четыре,

Пока в года испытаний
Я правило не усвоил,
Что дважды два — не четыре,
А больше примерно вдвое.

Опять же, когда счастливые
Дни я считать начинаю,
То дважды два — не четыре,
А меньше. Я твердо знаю.

И пусть мне поставят двойку,
Напомнят о Пифагоре,
Я мерить одною мерой
Не стану — счастье и горе.

* * *

Сушатся сети рыбацкие.
В их густой паутине дрожат
Вечерние крупные звезды,
Космы осенних туманов,
Отблески наших костров,
Дыхание ветра
И твой удивительный смех.

И так мне досадно,
Когда поутру
Вижу невод, уже опустевший.
Перед тем, как закинуть его,
Я старательно перебираю
Все ячейки сетей:
Я ищу вчерашние звезды,
И осенний туман,
И костров отмерцавших блики,
И дыхание ветра,
И твой удивительный смех.

Может, мне лишь приснилось,
Что вечером ты приходила
Этот невод развесить?
Может, не было этого
И не встречались впотьмах
Наши руки, от соли набрякшие,
И от счастья припухшие
Губы?

* * *

Подряд листаю старые святцы я:
 Понедельник — день мученика Бонифация,
 А вторник — праведника Трофима.
 Среда — преподобного Игната,
 Четверг — опять безгрешное имя.
 И так все дни, все земные даты
 Заполнены лодырями святыми.

Подряд листаю старые святцы,
 А тружеников не могу доискаться.
 Здесь нет ни пахарей, ни рабочих,
 Здесь нет отца моего, между прочим,
 Который век свой провел за плугом,
 Здесь нет и сельского кузнеца,
 Который был соседом и другом,
 Самым надежным другом отца.

* * *

Солнце, которое ты видишь
 На Парк-авеню и в Гарлеме,—
 Совсем не одно и то же солнце.

Деревья, которые растут
 На Парк-авеню и в Гарлеме,—
 Это разные деревья.

И дождь осенний, который шумит
 На Парк-авеню и в Гарлеме,—
 Это разные дожди.

И только руки, которые ищут
 На Парк-авеню и в Гарлеме
 Работы и хлеба,—
 Одни и те же руки.

У пирса

Видишь весы у причалов Гудзона?
 Бросишь монетку и взвесить сумеешь
 С дубинкою полицейского Джона,
 Нимфу из Гарлема, сажи чернее,
 Иль бизнесмена с его загнутой
 Лапой, похожей на лапу медведя,
 Иль фокстерьера — его как игрушку
 Из парикмахерской вынесла леди.

Докер молчит. Сколько месяцев здесь он
 Стоит и глядит на чаек у мола.
 Где же весы, что сумеют взвесить
 Боль безработного, гнев и голод?

Во Флоренции

Чудак, какой чудак!
После дорог, искоженных тобой,
Ты захотел еще Флоренцию увидеть.

Взойти на старый мост,
Чьи арки, словно руки
Любимой, что воспета на века
В сонетах и канцонах.

Ты захотел оставить сердце
На площади Сеньории.
Минуту постоять
Перед бессмертным Данте.

Здесь каждый камень
Его пылает строкой.
И ежедневно стаи голубей
Великий кормит с мраморной ладони.

Ну, вот ты здесь.
Но почему ты онемел?
Здесь мало вдохновенья одного.
Флоренция!
Здесь промолчать грешно.
Но и откликнуться стихами страшно.

Авторизованный перевод Я. Хелемского.



А. СОЛЖЕНИЦЫН

★

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Рассказ

1

- **ФФ** аиночка, у кого расписание электриков?
- А вам на что, когда вы радист?!
- Фаина Валерьяновна, выходной уровень — децибелл на двадцать пониже. Вот товарищ новый, я — для него.
- Извиняюсь. Вы что у нас будете вести?
- Силовое электрооборудование. И теорию электропривода.
- Шум такой, ничего не слышно. А еще преподаватели!.. Расписание вон, в угол взяли, там смотрите.
- Сусанна Самойловна! Здравствуйте!
- Лидия Георгиевна? Лидочка! Как вы чудно выглядите! Где вы лето проводили?
- Да где же! — на стройке весь июль!
- На стройке? Так у вас отпуск был или нет?
- Считайте, что и не было. Три недели вместо восьми. Ну, да не жалко! А вы немножко бледненькая.
- Григорий Лаврентьич! Так по электрикам у вас что? — только на два дня расписание?
- По всем отделениям — только до второго сентября. Временное. Товарищи, кто там уходит? Товарищи! Внимание! Тише. Повторяю: Федор Михеевич просил никого не расходиться.
- А где он?
- В новом здании. Сейчас вернется — будем решать вопрос с переездом.
- Так надо же решать скорей! Уже иногородние приезжают. Посылать их на квартиры? Или будет общежитие?
- Черт знает, дотянули! Ну почему у нас никогда ничего вовремя нельзя сделать?
- Я, Марья Диомидовна, в новом здании делюсь на две комнаты, хватит! Теоретических основ электротехники — отдельно, электроизмерений — отдельно.
- И я тоже: электронные и ионные приборы — отдельно, только изоляционные материалы остались со светотехникой.
- Ну, за вас я больше всего рад. А то ведь у вас не лаборатория, а склад недобитого стекла.
- Всё же в ящиках — в коридоре, в подвале, кошмар! А теперь прогнали мы там стеллажики, и пойдут у нас: игнитрончики на своем, тиратрончики на своем, генераторные лампы...
- Да бросьте вы курить, Виталий! Когда закуривают — спрашивают дам.

— Разрешите представить: наш новый преподаватель Анатолий Германович, инженер. А это — Сусанна Самойловна, завкафедрой математики.

— Будет уж вам зло шутить! Какая завкафедрой?..

— Ну, председатель предметной комиссии. Чем не завкафедрой? Только что денег не платят... И вот еще познакомьтесь — Лидия Георгиевна, очень типичный для нашего техникума человек.

— Как раз самый не типичный, не верьте! Вот вы с первого дня будете типичнее меня.

— Вы заключаете так по моей наружности? Это не благодаря ли очкам?

— Да потому что вы — инженер, и, конечно, профилирующий. А меня легко заменить, я здесь так, лишний человек.

— Что же вы ведете?

— Русский язык. И литературу.

— Причем по улыбке Лидии Георгиевны вы можете догадаться, что сама себя она лишним человеком не считает. Начнем с того, что она — вождь нашей молодежи.

— Вот как? Вас выбрала молодежь?

— Нет, меня назначило партбюро. Я от партбюро прикреплена к комитету комсомола.

— Но, Лидочка, не скромничайте: комсомольцы просили именно вас! И уже четвертый год подряд.

— Добавлю: половину успеха в постройке нового здания я лично отношу за счет Лидии Георгиевны...

— Теперь вы взялись вышучивать меня?

— Я не пойму — кто строил ваше новое здание? Разве не трест? Вы сами?

— И трест, и мы сами, тут целая история.

— Так расскажите, Лидия Георгиевна. Все равно ждать.

— Нам объявили так: у треста в этом году на все работы денег не хватит. Трест будет строить еще года два. А мы — можем помочь? Можете! К первому сентября получите здание! И мы — схватились! Собрали общее комсомольское...

— А где тут можно собрать?..

— Да включая коридоры и лестницу, в аудиториях репродукторы, такого зала, конечно... Да, собрали собрание. Беремся? Беремся! Разбились по бригадам. Сперва над каждой поставили преподавателя, но ребята: не надо! мы сами! Мы, признаться, очень боялись за младшеньких, которые из семилетки, ведь им по четырнадцать — пятнадцать, попадет куда-нибудь под кран или свалится. За ними-таки взрослые надглядывали, а старшие отказались.

— И не было пустой толкотни?

— Старались, чтоб не было. Прораб давал нам в партбюро на неделю заявку, когда каких рабочих сколько нужно, создали мы такой вроде штаб, там распределяли, какой бригаде идти, ходили и в будние дни, кто до занятий, кто после, мы ведь двусменные. И воскресений много проработали. А на лето решили: каждый в каникулы должен отработать две недели. Иногородним, конечно, старались сделать эти две недели с краю каникул, но кому и посередине попало — приезжали и посередине.

— Это просто что-то удивительное.

— Это еще все не удивительно. Удивительно то, что не пришлось никому давать взысканий. Ребят как подменили. Не то что мы — строители удивлялись. Они мне сами говорили: мы хуже работаем, честное слово.

— Поразительно.

— Вы сомневаетесь? Спросите вот кого угодно.

— Н-не то что сомневаюсь... Вероятно, энтузиазм есть естественное и одно из лучших состояний человека. Но слово это у нас как-то... затрепали, затаскали. Очень не бережно обращаются с ним, хотя бы по радио. На заводе же я обычно слышу: а что я за это получу? а какая расценка? пишите наряд. И это никого не удивляет: материальная заинтересованность, все нормально.

— Да! Что сделали еще! — срисовали с проекта, соорудили макет нового здания и на городских демонстрациях носили его впереди колонны — как наш символ!

— Лидия Георгиевна начала с эмоциональной стороны вопроса, а чтобы понять, надо начать с хозяйственной. Существует наш техникум уже семь лет, и как дали нам это здание за железной дорогой, а тогда еще и за городской чертой, так мы тут и застряли. Потом соорудили одноэтажное крылышко для мастерских, да еще дали нам зданье в полкилометре отсюда — а все равно нескладно. Тогда Михеич добился участка под застройку в самом городе. Стояли там малые домики, их надо было снести...

— Это, конечно, сделали моментально?..

— Экскаваторами выкопали котлованы и заложили сразу два фундамента: под техникум и под общежитие, рядом. Начали еще строить первый этаж — и все замялось. С тех пор года три не было, не было, не было средств. То в какой-то титульный список нас не включали, то министерства делились, то потом объединялись, нас передавали — а там снег падал, и таял, и шли дожди, и все было на месте. Но вот недавно создали совнархозы, нас подчинили совнархозу, он нам двинул денежки с первого июля прошлого года, и тут...

— Слушайте, тетя Дуся, откройте вы окно, накурили мужчины просто бессовестно!

— Но не выходить же с каждой папиросой?

— Ну и учительская не для этого!

— И какие вам достались работы?

— Да очень многие. Копали канавы от котельной..

— Да все вообще канавы! Для кабеля, для... И закапывали всё сами!

— Потом кирпич разгружали с машин, штабелевали его в клетки подъемника. Из подвалов землю выносили.

— А мусор со всех этажей носилками! Батареи разносили по комнатам! трубы! паркет! Мыли, скребли.

— Ну, одним словом, от строителей были только специалисты, разнорабочих не было.

— Да и специалистов обучили своих. Отдельно мы создали две бригады: учеников штукатуров и учеников маляров. Ох, и наловчились же они! Загляденье!

— Простите, это на улице? Где это?..

— Не хотим, не хотим тосковать

При лучин-нушке да при свече!

Будем-будем-будем-будем выпускать

И диоды!

И триоды!

И тетроды!

И пентоды!

И побольше ламп СВЧ!

— Это ваши студенты? Что они поют?

— Не подходя к окну, могу сказать, что это — третий курс вакуумного.

— Черти, здорово у них получается. Как бы на них глянуть? В окно мы их увидим?

— Подойдемте... Марианна Казимировна, стульчик ваш можно чуть повернуть?

— Что вы, что вы! Сейчас модно платье силуэта «бочонок», вы еще не видели? Талия узкая, ниже талии расширяется и драпируется в мелкие зажимы, а потом опять сильно сужается и кончается на середине икр...

— Вот там дальше, за Монастырской протокой, знаю я озерко — каких я карасей там брал!..

— Лидочка, куда вы ломитесь, тут народ сидит.

— Сюда, Анатолий Германович. Вот, перегнитесь. Видите, кучкой стоят и девочки и мальчики.

— В самолетах, ракетах, квартирах простых
Всюду светятся радио лампы!
На Земле, на Луне — Электроника, ты,
Как лучом, развернешь нам таланты!

— Да с каким напором! Просто очень убежденно.

— Ну, это же их гордость, собственный «Гимн электроников», потому так и поют. Этим напором они на городском смотре выбили себе вторую премию! Причем заметьте: поют-то одни девчонки, а мальчишки сейчас безголодые, они и на смотре стояли только для виду, но зато в припеве оглушительно кричат: лам!-пы! талан!-ты!

— Я почему к ним присматриваюсь с некоторой робостью — я привык со взрослыми. Один раз в школу, где сынишка учится, пошел прочесть лекцию «Достижения науки и техники» — так перед сыном со стыда сгорел: не слушают меня, и все, что хочешь, то и делай. И завуч по столу стучал, и его не слушают. Потом, правда, сын мне объяснил: раздевалку заперли и никого не пускали домой. У нас, говорит, часто так, когда какая-нибудь делегация приедет или мероприятие. Ребята на зло и разговаривают.

— Но техникум со школой не сравнить. тут обстановка другая. Здесь нет благополучных бездельников, кто только годы отсиживает. И здесь у директора права другие — стипендия, общежитие... Впрочем, общежития-то у нас семь лет и нет, живут на частных квартирах.

— Платит техникум?

— Техникум платит каждому по тридцать рублей. по нормам считается, что этого достаточно. А койка стоит в месяц сто рублей, получше — сто пятьдесят. Так некогорые одну койку на двоих снимают. И так — годами. Конечно, надоело. И вот вы как бы усумнились в природе нашего энтузиазма, а сомнений тут нет: надоело жить плохо, хотим жить хорошо! Разве не с этого начинались и субботники?

— Верно.

— Так и мы. Вот высуньтесь в окно.

— И побольше ламп СВЧ!

— Сколько здесь до переезда?

— Метров шестьсот.

— Но эти шестьсот метров надо пройти! И многим — два раза в день сюда и два раза отсюда. Сейчас лето и дня три дождя уже не было — а все равно лужи перескакивать. Никогда прилично не оденешься, из

сапог у нас не вылезают, в городе давно сухо, а мы туда чумазые приходим.

— Л а м!-пы!

— Вот собрались и поговорили: до каких пор будем мучиться? Не аудитории, а каморки. Ни одного вечера не устроишь, если клубного зала не снимешь. По вечерам-то ребята больше всего истосковались.

— Т а л а н!-ты!

— Лидия Георгиевна! А, Лидия Георгиевна!

— Я!

— Вас тут очень ребята спрашивают. Вы можете выбраться?

— Иду, хорошо! Простите меня!..

— Ну, это ж был знаменитый гол! — спиной к воротам и через себя, через голову, с конца штрафной площадки — пад самую перекладину!!

— Ваша шляпка? — уже нет! старо! Теперь носят — только в форме перевернутого цветного горшка!

— Марианна Казимировна, я вас потревожу...

— Часть подвала намечая забрать под тир, уж ребятам обещал.

— Я не уйду, Григорий Лаврентьевич, я — на лестнице буду...

2

— ...Ну, кто тут меня? Здравствуйте, ребятки! Кого еще не видела — здравствуйте, здравствуйте!

— С победой, Лидия Георгиевна!

— ...Лидия Георгиевна!

— ...Георгиевна!

— С победой и вас, мальчики! И вас, девочки! Всех вас! — Лидия Георгиевна подняла руку высоко над головой, чтобы всем было видно, и затрепетала пальцами. — Заработали честно! — с победой и с новым учебным годом! На новом месте!

— Ура-а-а!!!...

— А кто там так старательно от меня прячется? Лина?! Ты косу срезала? Такую косу?!

— Да кто теперь их носит, Лидия Георгиевна!

— Ай-я-яй, что с нами делает мода, девочки-и!

В сине-зеленом костюмчике с выложенным поверх черным воротником блузки, подтянутая, очень складная, с открытым лицом, Лидия Георгиевна стояла на верхней площадке лестницы, у дверей учительской, и оглядывала молодежь, отеснившую ее с трех сторон — из узкого коридора справа, из узкого коридора слева и снизу по неширокой лестнице. Обычно здесь не было много света, но в сегодняшний солнечный день довольно было, чтобы различать все цвета, а здесь на косынках, платочках, блузках, платьях и ковбойских рубашках были, кажется, все цвета и оттенки их — белые, желтые, розовые, красные, голубые, зеленые и коричневые. — пятнами, разводами, полосками, клетками и сплошными полями.

Девушки избегали стоять вплотную с юношами, но подруги с подругами и друзья с друзьями стояли тесно, слитно, переключая подбородки через плечи впереди стоящих и подтягиваясь за шею их, чтобы лучше видеть, — и все это вместе сияло, радовалось, шумело и чего-то ждало от Лидии Георгиевны.

Она озиралась, и ей хорошо было видно, как за лето преуспели новые девичьи прически: где-то еще мелькали, правда, и наивные короткие косички с цветными бантиками, и скромные проборчики, и менее скром-

— Давайте скорей, да здесь общежитие устроим!

— Давайте скорей, пока дождя нет!

— Вот что, Игорь! — Лидия Георгиевна повелительным движением приложила щепотку пальцев к груди юноши в красно-коричневой рубашке (у нее получалось это, как у генерала, вынудившего из кармана медаль и уверенно прикалывающего ее солдату). — Кто тут есть из комитета?

— Да почти все. На улице некоторые.

— Так! Сейчас соберитесь. Напишите, только разборчиво, список групп. Против каждой проставьте, сколько человек, и прикиньте, кому какую лабораторию, какой кабинет переносить — где тяжести больше, где меньше. Если удастся — придерживайтесь классных руководителей, но чтобы ребятам было по возрасту. И сейчас же мы с таким проектом пойдем к Федор Михеичу, утвердим — и каждую группу прямо в распоряжение преподавателя!

— Есть! — выпрямился Игорь. — Эх, последнее заседание в коридоре, а там уж у нас комната будет! Алё! Комитет! Генка! Рита! Где соберемся?

— А мы, ребятки, пошли на улицу! — звонко кликнула Лидия Георгиевна. — Там и Федор Михеича раньше увидим.

Повалили громко вниз и на улицу, освобождая лестницу.

Снаружи на пустыре перед техникумом, где плохо привились маленькие деревца, было еще сотни две ребят. Третьекурсники вакуумного все так же стояли тесной гурьбой, девушки — обмышку и, друг другу глядя в глаза, настаивали:

— И побольше ламп СВЧ!

Младшие играли в третьего лишнего и в догонялки. Догнав, с аппетитом врезали ладонью между лопатками.

— Зачем по спине лупишь? — возмутилась кругленькая девочка.

— Не по спине, а по хребтине! — важно поправил ее мальчишка в приплюснутой кепочке и с волейбольной камерой за поясом. Но заметив, как Лидия Георгиевна угрожала ему пальцем, сам же прыснул и побежал.

Еще моложе — поступившие из семилеток новички — стояли кучками, чисто одетые, робкие и на все внимательно оглядывались.

Несколько мальчиков пришли с велосипедами и катали девочек на рамах.

По небу шли белые пуховые облака, как взбитые. Иногда они закрывали солнце.

— Ой, хоть бы дождя не было! — вздыхали девчонки.

Особняком стояли и разговаривали трое четверокурсников с радиотехнического отделения — две девушки в блузках и юноша в рубашке, все на выпуск. Блузки девушек были в незатейливую полоску, рубашка мальчишка — резкого желтого цвета и вся запятнана причудливыми изображениями пальм, кораблей и катамаранов. Лидия Георгиевна отметила эту разницу, и у нее пробежала давно удивляющая ее мысль: раньше — старшие братья ее и потом ее сверстники — одевались как-то очень просто, серенько; все цвета, украшения и придумки принадлежали девушкам, как и должно быть. Но вот с какого-то года началось неестественное состязание — мальчики стали одеваться с большой заботой и даже пестрее, цветнее девочек, надевать какие-то и носки бешеного цвета, как будто не им предстояло ухаживать, а за ними; и все чаще не они брали девушек под руку, а девушки брали их. Лидию Георгиевну смутно беспокоила эта неестественность, она боялась, что мальчишки теряют здесь что-то внутренне важное.

— Ну, Валерик,— спросила она у этого юноши в желтой рубашке с катамаранами.— Как ты ощущаешь, за лето — поумнел?

Валерик улыбнулся снисходительно:

— Где уж нам, Лидия Георгиевна! Поглупел, конечно.

— И тебя это не беспокоит? Вот тебя девушки не будут... уважать.

— Бу-удут!

По лицам обеих девушек видно было, что его уверенность имеет основание.

— А что ты за лето прочел?

— Да почти ничего, Лидия Георгиевна,— все так же снисходительно отвечал Валерик. Ему, кажется, не очень хотелось продолжать этот разговор.

— Но почему же? — расстроилась Лидия Георгиевна.— Зачем же я тебя учила?

— Наверно, по программе надо было,— рассудил Валерик.

— А если книжки читать — тогда уж ни кино, ни телевизора!.. Когда же успеть-то? — затараторили обе девушки.— Телевизор — без выходных!

Подходили и другие четверокурсники.

Лидия Георгиевна нахмурилась. Лоб ее был далеко открыт заброшенными назад пышными светлыми волосами, и видно было все огорчение ее и все затруднение.

— Конечно, ребятаки, не в нашем же техникуме, где вы изучаете телевизоры, мне вас агитировать против телевидения. Смотрите на здоровье, но все-таки... с выходными. И всё же... не приравняйте. Телевизионная передача — это мотылек, она живет один день...

— Зато интересно, живо! — настаивала молодежь.— И танцуют...

— И на лыжах с трамплина!..

— И мотогонки!..

— А книга живет? — в е к а! — воскликнула Лидия Георгиевна грозно, но улыбаясь.

— Книга? И книга — один день! — возразил очень серьезный мальчик, сутулый, даже почти с горбом.

— Откуда ты это взял?! — возмутилась Лидия Георгиевна.

— А вон, в книжный магазин пойдите,— сказал сутулый мальчик.— На витринах сколько этих романов желтеет, полки все ими забиты. Через год придешь — и стоят на том же месте. Я в одном дворе с магазином живу, знаю: их потом складывают и назад увозят. Шофер говорит: в макулатуру, опять на бумагу. Так для чего печатали?

В позапрошлом учебном году эти ребята кончали у нее второй курс, но ничего подобного не говорили! Они тогда так исправно отвечали все, что требуется, и получали четверки и пятерки!

Начинался разговор, который не здесь — на ногах, у входа и под общий галдеж — надо было вести. Но и бросить его не хотелось, нельзя было.

— Так надо же посмотреть еще, к а к и е книги увозят!

— Я смотрел, пожалуйста, вам скажу! — настаивал на своем сутулый мальчик, и косая умная морщинка легла через его лоб.— Некоторые из них и в газетах очень хвалили...

Но другие говорили свое и забили его. Аникин, круглый отличник, здоровяк с фотоаппаратом через плечо, протеснился и сказал (его всегда слушали):

— Лидия Георгиевна, давайте говорить откровенно. Вы нам на прощанье дали длиннющий список книг. Но какую ни возьми — ведь меньше пятисот страниц нет. Сколько ее читать? Два месяца? А то так эпопея, трилогия, продолжение следует. Для кого их печатают, а?

— Для критиков! — отозвались ему.

— Деньги зарабатывать!

— Вот разве что! — согласился Аникин. — Потому что человеку техническому, а таких у нас в стране большинство, — надо же читать когда-то и свою техническую литературу, и свои специальные журналы, иначе болван будешь, с завода выгонят, и правильно.

— Правильно! — кричали ребята. — А спортивные журналы когда читать?

— А «Советский экран»?

— Лидия Георгиевна, — разошелся Аникин, — в наш век писать длинно — это со стороны литераторов, по-моему, просто бессовестно! Почему мы в наших схемах должны искать самые экономные решения? При защите дипломных проектов — я в прошлом году присутствовал — все время перебивают: а короче нельзя? а проще? дешевле? А в «Литературной газете» что пишут? Мол, в образах схематичность, в композиции расхлябанность, но зато какие высокие идеи! Все равно, как у нас бы сказать: ток идти не будет, работать устройство не будет, но зато как правильно выбраны конденсаторы! Почему не скажут: такой-то роман надо было написать в десять раз короче! А таким-то нечего было и мозги загромождать!

— Ну, насчет краткости я согласна! — решительно сказала Лидия Георгиевна, выбрасывая руку вперед.

Все увеличивающаяся вокруг нее кучка взывала удовлетворенно. За это и любили ее ребята, что она не солжет: согласна так согласна.

— Но поймите, ребята! Книга запечатлевает нашего современника, нас самих и наши великие свершения!..

— Теперь мемуары! — из третьего ряда закричал, торопясь, мальчик в очках, со смешным коротким ежиком. — Каждый, кто лет пятьдесят прожил, обязательно печатает мемуары: как родился, как женился, это ж каждый дурак может написать!

— Смотря как написать! — прогремела учительница. — Если — о времени и о себе!

— И чего только вспоминают! — возмущался очкастенький. — Приступ лихорадки застал меня в огороде! Приехал в город, а в гостинице мест нет...

Его оттеснили и заглушили.

— Насчет сжатости, Лидия Георгиевна, дайте слово! — И как бы поднял руку.

— Насчет классиков дайте скажу!.. — И тоже как бы поднял.

Видя их возбужденные лица, Лидия Георгиевна улыбалась счастливо. Пусть волнуются, пусть насаждают — спорящих можно переуверить. Лишь равнодушия больше всего она боялась в молодежи.

— Ну! — дала она слово тому, кто просил насчет сжатости.

Это был взъерошенный Чурсанов в серой рубашке с вывернутым и уже подлатанным воротником. Отец его умер, у матери-дворничихи он был не один, были еще меньше, поэтому после седьмого класса он понужден был в техникум. По литературе и русскому языку он тянулся, правда, между двойкой и тройкой, но еще с пионерских лет сам собирал приемники и в техникуме считался гениальным радистом: он поврежденные умел искать без схемы, как будто чувствовал, где оно.

— Слушайте! — объявил Чурсанов резким голосом. — Аникин верно сказал: времени мало, надо экономить. Поэтому что я делаю? Художественной литературы — вообще не читаю!

Расхохотались.

— Ты же просил насчет сжатости!

— А я — насчет чего? — удивился Чурсанов. — Я — радио включу, последние известия, обозреватель, пожалуйста, а сам одеваюсь, или обедаю, или чего руками дома делаю — вот и экономлю время.

Опять смеялись.

— Чего гогочете? — удивлялся Чурсанов.

— И совсем не смешно! — поддержала Марта Почтенных, крупная широколицая некрасивая девушка с богатыми черными косами вроспуск на концах. — Лидия Георгиевна, а вы не согласны? Книгу интересно какую читать? Когда из нее можно узнать, чего больше нигде не узнаешь, только вот в ней! А если в книге то же самое, что по радио, и то же самое, что в газете, — так на что она и книга? В газете — короче, ясней...

— И — правильной! Уж газета не ошибется! — крикнули еще.

— А — форма? — кокетливо спросила их розовенькая девушка со светлыми кудерьками по плечи.

— Чего — форма? В газете разве форма плохая?

— Ху-до-же-ствен-на-я! — на каждом слоге покачивая головой, сказала розовенькая.

— В чем форма? — недоумевал Чурсанов. — Что кто-нибудь кого-нибудь полюбит, ты это ищешь?

— Да друзья мои, ну, конечно же, форма! — горячилась уже и Лидия Георгиевна и собранную горсточку пальцев, как бы самое любимое убеждение, поднесла к своей груди. — Ведь книга должна нам дать глубины психологии, объяснить нам тонкие...

Но ее уже обстояли со всех сторон, не все ее слышали, а говорили и галдели друг с другом.

Лицо Лидии Георгиевны расплалось.

— Нет, погодите! — смиряла она бунтарей. — Я вам этого так не оставлю! Теперь у нас будет большой актовый зал, в сентябре же устроим диспут, и я, — она властно положила руки на плечи Аникина и Почтенных, — вытаску на трибуну всех, кто сейчас выступал, и чтобы вы...

— Едет! Едет!! Едет!!! — закричали младшие, а потом и старшие. Младшие забежали друг за другом еще, еще быстрее, старшие расступились, обернулись. Из окон второго этажа высунулись учителя и студенты.

От переезда, трудно покачиваясь на бугорках и иногда расшлепывая лужи колесом, сюда шел побитый грузовой техникумский «газик». Уже видно было через стекло кабины и директора с шофером, которых перекачивало вправо и влево. Те ученики, которые бросились навпередки с криками встречать директора, первые заметили, что лицо Федора Михеевича почему-то совсем не радостно.

И замолчали.

По обе стороны грузовика они сопроводили его, пока он остановился. Федор Михеевич, в простом и не новом синем костюме, приземистый, с непокрытой, уже седеющей головой, вышел из кабины и осмотрелся. Ему надо было идти ко входу, но заставлена была и прямая дорожка туда, и с боков подковою плотно стояла молодежь, смотрела и ждала. А у самых нетерпеливых вырывалось сперва потише:

— Ну как, Федор Михеич?

— Когда?

— Когда?..

Потом и громче из задних рядов:

— Переезжаем?

— Когда переезжаем?

Он еще раз обвел десятки ждущих спрашивающих глаз. Видно, что ответа не донести было до второго этажа, ответить было здесь. «Когда?», «Когда переезжаем?» — эти вопросы ребята задавали всю весну и все лето. Но и директор, и классные руководители только усмехались: «От вас зависит. Как работать будете». Сейчас же Федору Михеевичу оставалось вздохнуть и сказать, не скрыв досады:

— Придется, товарищи, немного подождать. У строителей не все готово.

У него голос был всегда глуховатый, как простуженный.

Толпа студентов вздохнула.

— Опять подождать...

— Опять не готово!..

— Так послезавтра ж — первое сентября!..

— Так что? Опять на квартиры идти?..

Студент в ярко-желтой рубашке с катамаранами усмехнулся и сказал своим девушкам:

— Я вам говорил? Как закон. И это еще не все, подождите.

Стали кричать:

— А мы сами доделать не можем, Федор Михеич?

Директор улыбнулся:

— Что? — понравилось самим? Нет, этого — не можем.

Девочки из переднего ряда убежденно уговаривали:

— Федор Михеич! А давайте все равно переедем! Ну что там осталось?

Директор, широколобый, ширококостый, смотрел на них с затруднением:

— Ну что, девочки, я вам буду все объяснять?.. Ну кой-где полы не высохли...

— А мы там ходить не будем!

— Доски проложим!

— ...Шпингалетов многих нет...

— Ну и пусть, сейчас лето!

— ...Отопительную систему еще надо опробовать...

— Фу! Так это к зиме!

— ...Да и еще там мелочей разных...

Федор Михеевич только махнул рукой. На лбу его согналось много морщинок, и все горизонтальные. Не рассказывать же было ребятам, что нужен акт о приемке здания; что подписывают его подрядчик и заказчик; подрядчик-то, пожалуй, и подпишет, ему бы сдать поскорей, да и Федору Михеевичу так дорого сейчас время, что и он подписал бы, если б техникум сам был заказчик; но заказчиком техникум быть не мог, потому что не имел штатов для архтехстройконтроля; вместо него заказчиком был отдел капитального строительства завода релейной аппаратуры, а заводу этому совсем нечего было спешить и нарушать порядок. Директор завода Хабалыгин, который все лето обещал Федору Михеевичу, что в августе примет здание в любом случае, недавно сказал: «Нет уж, товарищи! Пока последнего шурупа не ввернут, мы акта не подпишем!» По сути-то он был и прав.

А девочки ныли:

— Ой! Так хочется переехать, Федор Михеич! Так настроились!

— Чего вы настроились?! — резковато прикрикнул на девочек Чурсанов, стоявший выше других на бугорке. — Так и так на месяц в колхоз поедем, не все равно из какого здания — из того или из этого?

— Да-а-а!.. В колхоз!.. — вспомнили и другие. За летним строительством они и забыли.

— В этом году не поедем! — твердо сказала Лидия Георгиевна сзади.

Тут только заметил ее Федор Михеевич.

— Почему не поедем, Лидия Георгиевна? Почему? — стали ее спрашивать.

— Надо областную газету читать, друзья мои! Статья была.

— Статья-а..?

— Все равно поедем...

Федор Михеевич рассторонил студентов и пошел к дверям. Лидия Георгиевна нагнала его на лестнице. Лестница такая и была как раз, чтоб только двоим идти рядом.

— Федор Михееич! Но в сентябре-то они сдадут?

— Сдадут,— ответил он рассеянно.

— У нас есть хороший план — как все перетащить с обеда субботы до утра понедельника. Так что мы учебного дня не потеряем. Раскрепим все группы по лабораториям. Комитет сейчас делает.

— Очень хорошо,— кивал директор, думая о своем. Его смущало все-таки, что недоделки действительно оставались ничтожные, и заказчик мог это предвидеть две и три недели назад, и вполне можно было ускорить и принять здание. Но в некоторых мелочах было так, будто заказчик сам затягивал.

— Теперь, Федор Михееич!.. Мы на комитете обсуждали Енгальчева, и он нам слово давал, мы за него ручаемся. С первого сентября верните ему стипендию! — Она смотрела просительно и убежденно.

— Заступница,— покачал головой директор и посмотрел на нее голубоватыми глазами.— А он — опять?

— Нет, нет! — уверяла она уже на верху лестницы, в виду других преподавателей и секретаря.

— Ну, смотрите.

Он пошел в свой небольшой кабинетик, тем временем послав за завучем и заведующими отделениями. Он хотел от них услышать и убедиться, что они готовы начать новый год при всех обстоятельствах и необходимое для этого сделали уже и без него.

Вообще Федор Михеевич за долгие годы в этом техникуме старался руководить так, чтобы побольше крутилось без него и поменьше требовалось его единоличных решений. Окончив еще до войны институт связи, он же не мог вникнуть во все новые специальности быстроизменяемой техники и быть умнее своих инженеров. Человек умеренный, нечестолюбивый, он понимал роль руководителя не как капризного прихотника, а лишь как точку благообразного завершения и соединения друг другу доверяющих, друг к другу приработавшихся людей.

Секретарь Фаина, очень независимая и уже не совсем молодая девица, обвязанная цветной косынкой под подбородок так, что свободный конец ее от быстрого хода треугольным флажком трепыхался позади темени, внесла, положила перед директором заполненный диплом и открыла пузырек с тушью.

— Что это? — не понял Федор Михеевич.

— Это — Гомозиной диплом, которая по болезни защищала вот...

— А-а...

Он проверил перо, макнул еще, потом пальцами левой руки плотно, как браслетом, охватил кисть правой и тогда только расписался.

В его второе ранение, в Трансильвании, ему не только ключицу сломало и она срослась неровно, но и сильно контузило. Он стал слышать хуже, и еще дрожали у него руки, так что ответственной подписи он не давал одною правою рукой.

Часа через полтора многие разошлись. Остались те преподаватели с лаборантами, кому надо было готовить практические занятия. Толпились студенты в бухгалтерии регистрировать частные квартиры. Лидия Георгиевна с комитетом составили свой план, как перебираться, и утвердили его у директора и заведующих отделений.

Федор Михеевич еще сидел с завучем, когда Фаина с трепыханием флажка на голове ворвалась в кабинет и сенсационно объявила, что идут с переезда две «волги» и не иначе, как сюда. Директор выглянул в окно и увидел, что две «волги» — цвета морской волны и серая, — переваливаясь на бугорках, шли действительно сюда.

Без сомнения, это могло быть только начальство, и полагалось бы спуститься встретить его. Но никакого начальства он не ждал и остался стоять у открытого окна второго этажа.

Большие белые клубящиеся облака с заметной скоростью переходили по небу.

Легковые подружили ко входу, и из них вышло пять человек в шляпах: двое — в твердых зеленых, как было принято среди руководства в этом городе, остальные — в светлых. Переднего Федор Михеевич тут же и узнал: это был Всеволод Борисович Хабалыгин, директор завода релейных приборов и он же — «титулдержатель» на постройку нового здания техникума. Он был начальник большой руки и ворочал не такими делами, как Федор Михеевич, но относился к нему всегда приятно. Сегодня с утра уже дважды Федор Михеевич звонил Хабалыгину — попросить, чтобы тот смягчился и все-таки разрешил бы своему ОКСу принять здание техникума с перечнем недоделок. Но оба раза ему ответили, что Всеволода Борисовича нет.

Сейчас у Федора Михеевича мелькнула догадка, и он сказал своему высокому художу, как жердь, завучу:

— Слушай, Гриша! Может, это комиссия, чтоб ускорить, а? Вот бы!

И он поспешил встретить гостей. Деловой суровый завуч, которого очень боялись студенты, пошел за ним.

Федор Михеевич только успел спуститься на один марш — и уже все пятеро друг за другом поднимались к той же площадке. Первым шел невысокий Хабалыгин. Ему не было еще шестидесяти, но он очень огузнул, давно миновал седьмой пуд веса и изнемогал от толщины. Виски его были посеребрены.

— А-а,— одобительно протянул он руку директору техникума. И, взойдя на площадку, обернулся.— Вот,— сказал он,— товарищ из нашего министерства.

Товарищ из министерства был моложе гораздо, но тоже дебил порядочно. Он дал на мгновение Федору Михеевичу подержать концы своих трех белых, нежных пальцев и прошел выше.

Впрочем, «наше» министерство уже второй год сюда не относилось, с тех пор как техникум отошел к совнархозу.

— А я ведь вам два раза звонил сегодня! — обрадованно улыбался Федор Михеевич Хабалыгину и тронул его за рукав.— Я очень хотел вас просить...

— Вот,— сказал Хабалыгин,— товарищ из комитета по делам...— Он и назвал, по каким именно делам, но Федор Михеевич растерялся и недослышал.

Товарищ из Комитета по Делах был и вовсе молодой человек, стройный, хорош собой и до мелочей модно одетый.

— А вот,— сказал Хабалыгин,— инспектор по электронике из...— Он и назвал, откуда «из», но при этом стал уже подниматься по лестнице, и Федор Михеевич опять недослышал.

Инспектор по электронике был низенький черненький вежливый человек с небольшими, лишь под носом, черными усиками.

А последним шел инструктор промышленного отдела обкома партии, которого Федор Михеевич хорошо знал. Они поздоровались.

В руках ни у кого ничего не было.

На верхней площадке около перил, замыкающих пролет, стоял, как солдат, вытянувшийся строгий завуч. Одни кивнули ему, другие нет.

Поднял наверх свое уширенное тело и Хабалыгин. На узкой лестнице техникума, пожалуй, ни пойти с ним рядом, ни разминуться было нельзя. Поднявшись, он отпыхивался. Только постоянно оживленный, энергичный его вид отклонял желание посочувствовать ему — как в ходьбе и движении он борется со своим избыточным телом, вся неблагоприятная жирность которого еще была припрятана умелыми портными.

— Пройдемте ко мне? — пригласил Федор Михеевич наверху.

— Да нет, что ж расслаживаться! — возразил Хабалыгин. — Веди нас, директор, сразу показывай, как живешь. А, товарищи?

Товарищ из Комитета по Делах, отодвинув рукав импортного пыльника, посмотрел на часы и сказал:

— Конечно.

— Да как живу? — вздохнул Федор Михеевич. И поправился на множественное: — Не живем, а мучаемся. В две смены. В лабораториях не хватает рабочих мест. В одной комнате разные практикумы, то и дело приборы со столов убирать, новые ставить.

Он смотрел то на одного, то на другого и говорил таким тоном, будто оправдывался и извинялся.

— Ну, уж ты распишешь та-кого! — заколыхался не то в кашле, не то в смехе Хабалыгин. Обвисающие складки на его шее, как гривенка у вола, тоже заколыхались. — Удивляться надо, как ты семь лет тут прожил!

Федор Михеевич поднял кустистые светлые брови над светлыми глазами:

— Так, Всеволод Борисович, не столько ж было отделений! И потоки меньше!

— Ну, веди-веди, посмотрим!

Директор кивнул завучу, чтобы везде было открыто, и повел показывать. Гости пошли, не снимая плащей и шляп.

Вошли в просторную комнату с обмыкающими стеллажами по стенам, забитыми аппаратурой. Преподаватель, лаборантка в синем халатике и студент-старшекурсник, тот самый Чурсанов с залатанным воротом, готовили практикум. Комната была на юг и залита солнцем.

— Ну! — сказал Хабалыгин весело. — Чем плохо? Прекрасное помещение!

— Но вы же поймите, — обиделся Федор Михеевич, — ведь здесь три лаборатории одна на другой: основ радиотехники и антенн, радиопередающих устройств и радиоприемных устройств.

— Ну так что из этого?! — Товарищ из министерства тоже обиженно повернул крупную взрачную голову. — А вы думаете, у нас в министерстве после реорганизации столы просторнее стоят? Еще тесней.

— И тем более — родственные лаборатории! — Хабалыгин, очень довольный, похлопал директора по плечу. — Не прибедняйся, товарищ дорогой, не прибедняйся!

Федор Михеевич взглянул на него озадаченно.

Хабалыгин время от времени двигал губами и тяжелыми щеками, будто только что прилично закусил, но еще не почистил зубов и кое-где там застряла еда.

— А это — зачем? — Товарищ из Комитета по Дела́м стоял перед странными, очень уж просторными, как на великана, резиновыми сапогами с закатанными голенищами и чуть потрагивал их острым носком полуботинка.

— Высоковольтные боты, — тихо пояснил преподаватель.

— Боты??

— Высоковольтные! — громко крикнул Чурсанов с дерзостью человека, которому нечего терять.

— А-а-а, ну да, ну да, — сказал товарищ из Комитета по Дела́м и прошел за другими.

Инструктор обкома, выходя последним, спросил у Чурсанова:

— А зачем они?

— Когда передатчик ремонтируют, — ответил Чурсанов.

Федор Михеевич собрался показывать каждую комнату, но, миновав несколько, гости вошли в аудиторию. На стенах висели таблицы английских времен и наглядные картинки. Полки шкафа были загромождены стереометрическими моделями.

Инспектор по электронике пересчитал столы (их оказалось тринадцать) и, двумя пальцами пригладив свои колкие усики, спросил:

— По сколько человек у вас в группах? По тридцать?

— Да, в основном...

— Значит, по трое — не сидят.

Пошли дальше.

В небольшой лаборатории телевидения штук десять телевизоров разных марок, новехонькие и полуразобранные, стояли на столах.

— Работают? Все? — кивнул на них товарищ из Комитета по Дела́м.

— Каким надо — те работают, — тихо ответил молодой франтоватый лаборант. На нем был песочный костюм с каким-то техническим значком в лацкане и яркий галстук.

Лежала пачка инструкций к работам, и, перекладывая их, инспектор прочитывал вполголоса:

— «Настройка телевизора по испытательной таблице», «Использование телевизора в виде усилителя», «Построение сигналов изображения»...

— Ну вот, тут и стеллажей нет, обходитесь! — заметил Хабалыгин.

Федор Михеевич все меньше понимал — чего же хотела эта комиссия?

— Так потому, что всё — рядом, в препараторской. Покажи, Володя.

— Еще и препараторская есть? Замечательно живете!

Дверь в препараторскую была, как в кладовку, — меньше обычной. Тонкий, изящный лаборант легко туда вошел, товарищ из министерства не без труда впучился за ним, но сразу почувствовал, что там не походишь. Остальные только засовывали туда головы, по очереди.

Препараторская оказалась узким ущельем между двумя рядами стеллажей до потолка. Лаборант жестами экскурсовода проводил рукою снизу доверху:

— Вот имущество телевизионной лаборатории. Вот — лаборатории электропитания. Вот — радиотехнических измерений.

Приборы со стрелками, ящики черные, коричневые и желтые забивали все полки.

— А это зачем? — ткнул пальцем товарищ из министерства.

Он доглядел, что лаборант все-таки выиграл место на стене, и в этом местечке, не заставленном приборами, приколота была цветная вырезка по контурам — погрудный портрет молодой женщины. Из нашего журнала или из заграничного была вырезана эта грешница, понять без подписи было нельзя — а просто была красивая женщина с темно-каштановыми волосами, в блузке с красной прошивкой двумя дугами. Подбородком

касаясь переплетенных рук своих, отоленных до локтей, она склонила голову чуть набок и смотрела взглядом совершенно не служебным на молоденького лаборанта и на опытного товарища из министерства.

— Вот, говорите — места нет,— буркнул тот, с трудом разворачиваясь на выход,— а черт-те что развешиваете.

И, еще разок покосившись на красавицу, вышел.

По техникуму уже пронеслась весть о какой-то страшной комиссии, и там и сям то выглядывали из дверей, то мелькали по коридору лица.

Лидия Георгиевна попалась комиссии как раз навстречу. Она посторонилась, как бы влипла спиной и ладонями в стену, и проводила их тревожным взглядом. Она не слышала их разговора, но по виду директора могла понять, что совершается что-то неладное.

Федор Михеевич задержал под локоть инструктора обкома и, отстав с ним, спросил тихо:

— Слушай! А кто вообще эту комиссию прислал? Почему из совнархоза никого нет?

— Виктор Вавилыч мне велел сопровождать, я и сам не знаю.

Все на той же верхней лестничной площадке Хабалыгин прокашлялся, еще поколыхав лишними желтоватыми складками жира на шее, и закурил.

— Та-ак. Ну, и дальше в том же роде.

Товарищ из Комитета по Делах посмотрел на ручные часы:

— В общем, ясно.

Инспектор по электронике прогладил двумя пальцами усики и ничего не сказал.

Товарищ из министерства спросил:

— Кроме этого — сколько еще зданий?

— Еще два, но...

— Еще-о два??

— Но — каких? Одноэтажных. Совсем не удобных. И разбросаны. Пойдемте посмотрим.

— Там и мастерские?

— Да вообще вы понимаете, в каких условиях мы живем? — приходя в себя от какой-то скованности гостеприимства или зачарованности высоким положением гостей, заволновался Федор Михеевич.— Ведь у нас нет общежития! — вот это здание теперь пойдет под общежитие. Ребята и девочки живут на частных квартирах по всему городу, иногда слышат ругань, пьянство наблюдают. Вся воспитательная работа у нас к черту летит, где ж ее проводить? — на этой лестнице?

— Ну! Ну-у! — раздались протестующие голоса комиссии.

— Воспитательная работа — это в ваших руках! — строго сказал молодой человек из Комитета по Делах.

— Тут уж вы ни на кого не ссылайтесь! — добавил инструктор обкома.

— Тут уж вам оправданий нет...— развел короткими руками и Хабалыгин.

Федор Михеевич невольно покрутил головой и даже потряс плечами — то ли чтоб его не жалили со всех сторон, то ли чтобы стряхнуть с себя это беспомощное положение отвечающего. Если самому не спросить — видно, ничего не поймешь и не узнаешь. Кустистые белые брови его сошлись.

— Простите. Я все-таки хотел бы знать — кем вы уполномочены? И по какому вопросу?

Товарищ из министерства приподнял шляпу и отер лоб платком. Без шляпы он был еще представительней. Волосы, хотя уже и редкие, но очень величавые, украшали его темя.

— А вы еще не знаете? — покойно удивился он. — Имеется такое постановление нашего министерства и вот, — он кивнул, — комитета, что важный номерной научно-исследовательский институт, запланированный открыть в вашем городе, будет размещен в тех зданиях, которые первоначально предполагалось отдать вашему техникуму. Так ведь, Всеволод Борисович?

— Так. Так, — подтвердил Хабалыгин кивками головы в твердой зеленой шляпе. — Так, так, — с сочувствием посмотрел он на директора техникума и дружески потрепал его по плечу. — Годика два, товарищ дорогой, ты еще впо-олне пробудешь здесь, а за это время тебе новое здание отстроят, еще лучше! Так и а до, милый, не горюй. Так надо! Для пользы дела.

И без того приземистый, Федор Михеевич еще осел и странно смотрел, будто его перелобанили прямым ударом палки.

— А как же... — совсем не главное пришло ему на язык, — мы тут не красили, не ремонтировали?.. — Когда Федор Михеевич расстраивался, голос его, и без того простуженный, очень падал, до сиплости.

— Ну-у, ничего! — успокаивал Хабалыгин. — Небось в прошлом году красили.

Товарищ из Комитета по Дела м спустился с одной ступеньки.

Было так много, так много сразу сказать им, что директор техникума и вовсе не находился, что же сказать.

— Но какое отношение я имею к вашему министерству? — сипло протестовал он, заступая дорогу гостям. — Мы — местный совнархоз. Для такой передачи вам надо иметь решение правительства!

— Совершенно верно, — мягко отстранила его комиссия, уже спускаясь. — Вот мы и подготавливаем материалы для такого решения. Через два дня оно будет.

И все пятеро они пошли вниз, а директор стоял, взявшись за верхние перила, и смотрел в пролет неосмысленно.

— Федор Михеич! — выступила из коридора Лидия Георгиевна, почему-то держась за горло — загоревшее на стройке горло, открытое отложным воротником. — Что они сказали, Федор Михеич?

— Здание забирают, — совсем невыразительно, малозвучным, осевшим голосом сказал директор, не посмотрев на нее.

И пошел в свой кабинет.

— Как? Ка-ак? — не сразу вскрикнула она. — Новое? — забирают?! — И побежала за ним, цокая каблучками. В двери кабинета она соткнулась с бухгалтершей, оттеснила ее и вбежала за директором.

Он медленно шел к своему столу.

— Слу-у-ушайте! — почти пропела Лидочка ему в спину не своим голосом. — Слу-у-ушайте! Зачем же так несправедливо? Ведь это же несправедливо! — все громче кричала она — то самое, что и он должен был им крикнуть, но он же был директор и не женщина. Откуда-то много слез щедро катилось по ее лицу. — Что ж мы ребятам скажем? Значит, мы ребят — о б м а н у л и?..

Кажется, никогда он ее и не видел плачущей.

Директор сел в свое кресло и бессмысленно смотрел в стол перед собой. Весь лоб его сложился в одни морщинки — мелкие и все горизонтальные.

Бухгалтер — старая сухенькая женщина с узлом жидких волос на затылке, стояла тут же с чековой книжкой в руках.

Она все слышала и поняла. Она бы ушла сейчас и не надоедала, но она только что звонила в банк и ей ответили, что можно приехать получить. Чек уже был выписан, проставлена сумма, дата.

И она все-таки подошла, положила перед директором длинную книжку с голубыми полосками и придерживала ее рукой.

Федор Михеевич омакнул перо, браслетом пальцев левой руки охватил кисть правой и поднес уже расписаться — но, даже сцепленные, руки его плясали.

Он попробовал расписаться на бумажке. Перо начало писать непохожее что-то, потом ковырнуло бумагу и брызнуло.

Федор Михеевич поднял глаза на бухгалтера и улыбнулся.

Бухгалтер закусила губы, взяла чековую книжку и вышла поспешно.

4

Все это так сразу обвалилось на директора, комиссия прошла так победно и быстро, что он при ней не доискался нужных слов и по уходу ее не мог сообразить нужного порядка действий.

Он позвонил в совнархоз, в отдел учебных заведений. Там только всё и услышали от него, возмутились и обещали выяснить. Это могло бы его подбодрить.

Но не подбодрило.

Комиссия-то приезжала неспроста...

Федору Михеевичу было так стыдно сейчас — стыдно перед студентами, перед преподавателями, перед всеми, кого он призывал строить, уверенно обещая им переезд; и было у него так разрушено сейчас все, что он месяцами и даже годами со своими помощниками обсуждал над планом здания, — что ему легче теперь было бы, кажется, сменить свою собственную квартиру на худшую, только б новое здание отдали техникуму.

В голове у него затмилось, и чего-то он никак не мог сообразить.

Никому ничего не сказав и на голову ничего не надев, он вышел наружу, чтобы прояснилось.

А выйдя, пошел к переезду, не замечая этого сам, все перетеребливая в уме те десятки жизненных важностей, которые терял техникум вместе с новым зданием. Перед ним опустился шлагбаум — Федор Михеевич остановился, хотя мог поднырнуть. Издали показался длинный товарный поезд. Он подкатил и с грохотом пронесся под уклон. Ничего этого Федор Михеевич не заметил сознательно. Шлагбаум подняли — он пошел дальше.

Когда он ясно понял, где он, — это было уже во дворе нового здания. Ноги сами принесли его сюда. Парадный ход, полностью отделанный и отзеркаленный, был заперт. Федор Михеевич шел со двора, уже распланированного, очищенного и приведенного в порядок студентами. Двор был велик, на нем предполагали развернуть хорошую физкультурную площадку.

Во дворе стоял грузовик строителей, и сантехники с шумом бросали в него какие-то кронштейны, трубы, еще что-то, но Федор Михеевич не придал значения.

Он вошел внутрь и с удовольствием гулко шел по каменным плиткам просторного вестибюля с двумя гардеробными по бокам на тысячу мест. Поворотные треугольники из алюминиевых труб с крючками и рожками для шапок сверкали там — и как будто от этого их блеска просветилось директору то простое, чего он до сих пор не подумал, потому что думал все время за техникум, а не за нового хозяина: да что же будет этот институт делать с таким зданием? Вот эти раздевалки, например, надо сломать, потому что в институте не будет и ста человек. А физкультурный зал с огромной шведской стенкой, вделанными кольцами, турником, решетками и сетками на окнах? Это все теперь срывать и выворачивать?

А мастерские с бетонными основаниями — по числу учебных станков? А вся система электропроводки? А вся планировка здания по аудиториям? Доски? Большая аудитория амфитеатром? Актный зал?.. А...?

А между тем мимо него прошли маляры, прошли два плотника с инструментом — и все к выходу.

— Э! Слушайте! — опомнился директор. — Товарищи!

Те уходили.

— Братцы!

Те обернулись.

— Куда это вы? Время рабочее!

— Всё-о, директор! — весело сказал младший из плотников, а старший мрачно пошел своей дорогой. — Закуривай! Мы уходим.

— Да куда уходите?

— Снимают. Начальство приказало.

— Как снимают?

— Ну, как снимают, не знаешь? На другой объект. Чтоб сегодня же в одномашку там приступить. — И еще прежде замечав, что седенький директор этот — мужик не гордый, плотник вернулся и похлопал его по руке: — Закурить-то дай, директор.

Федор Михеевич протянул ему помятую пачку.

— Да где ж начальник стройучастка?

— У-ехал уже! Самый первый.

— А что сказал?

— Сказал: кончай, это уже не наше! Другая власть забирает.

— Ну, а доделывать кто? — рассердился Федор Михеевич. — Чего скалишься-то? Сколько тут доделать осталось, а? — Он когда супил брови, у него лицо выходило сердитое.

— Фу-у! — уже дыма и догоняя товарищей, крикнул плотник. — Не знаешь, как делается? Сактируют, передадут под копирочку — все в порядке, приветик!

Федор Михеевич проводил взглядом веселого плотника в измазанной спечовке. Убегал, сверкая подковками ботинок, тот самый совнархоз, который пришел на это злополучное, три года в фундаменте застывшее здание и поднял его, обвершил и озеркалил.

Совнархоз убегал, но мысль о переделках, о неисчислимых и совершенно нелепых переделках в этом здании вернула директору силу сопротивления. Он понял, что правда — на его стороне! Он тоже почти побежал, так же стуча по гулкому полу вестибюля.

Комната, где был действующий телефон, оказалась заперта. Федор Михеевич поспешил наружу. Крепчающий ветер взметывал и пошвыривал песком. Грузовик со строителями уже выходил из ворот. Сторож был за воротами, но директор не стал теперь возвращаться, а нащупал пятнадцать копеек и пошел к автомату.

Он позвонил секретарю горкома Грачикову. Секретарша ответила, что у Грачикова совещание. Он назвал, попросил узнать, примет ли его секретарь горкома и когда. Ответ был: через час.

Федор Михеевич пошел, опять пешком. Идя и сидя потом перед кабинетом Грачикова, он в памяти перебирал все этажи и все аудитории нового здания и, казалось ему, не находил такого места, где бы институту не пришлось или ломать стенку, или ставить новую. И в записной книжке он стал прикидывать, во что это обойдется.

Иван Капитонович Грачилов был для Федора Михеевича не просто секретарь горкома, но еще и фронтовой приятель. Они воевали в одном полку, правда — недолго вместе. Федор Михеевич был начальником связи полка, Грачилов прибыл из госпиталя уже позже и заменил убитого командира батальона. Они распознались тогда, что земляки, и виделись,

и по телефону иногда калякали, когда тихо бывало ночью, вспоминали свои места. Тут убило командира роты в батальоне Грачикова. Как всегда в полку, штабными командирами затыкали все пробоины, и Федора Михеевича послали командиром роты, временно. Это «временно» обернулось двумя сутками: через двое суток его ранило, а из госпиталя он уже в ту дивизию не попал.

Сейчас он сидел и вспомнил, что как-то все неприятности у него всегда сходятся на последние дни августа: это ранение в сорок втором году в батальоне Грачикова было двадцать девятого августа, то есть вчера. А в сорок четвертом году его ранило тридцатого августа.

Как раз сегодня.

Из кабинета стали выходить, и Федора Михеевича позвали.

— Беда случилась, Иван Капитоныч! — глухо, с захрипом, прямо с порога предупредил директор. — Беда!..

Он сел на стул (Грачиков велел выносить из кабинета все эти кресла, в которых люди утонули и еле поднимались подбородком до стола) и стал рассказывать. Грачиков склонил голову об руку, щекою на ладонь, и слушал.

Лицо Ивана Капитоновича природа вырубил грубовато: губы ему оставила толстые, нос широкий, уши большие. Но хотя волосы у него были черные и чуб стоял как-то наискось, придавая ему грозность, — все вместе лицо его было такое выразительно русское, что невозможно было переодеть его ни в какой чужестранный костюм или мундир, чтоб его тотчас же не признали за русака.

— Ну, скажи, Иван Капитонович, — волновался директор, — ну разве это не глупо? Я уж не говорю — для техникума, но с государственной точки зрения — разве не глупо?

— Глупо, — уверенно приговорил Грачиков, не меняя телоположения.

— Слушай, во что обойдутся переделки, вот я прикинул на бумажке. Все здание стоит четыре миллиона, так? А переделок если не на два миллиона, так на полтора, вот смотри...

И из записной книжки он вычитывал названия работ и сколько это может стоить. Он все больше чувствовал свою неопровержимую правоту.

Грачиков же неподвижно, спокойно слушал и думал. Он как-то говорил Федору Михеевичу, что едва ли не главное освобождение от проклятой войны ощутил в том, что с него была снята обязанность принимать решения единоличные и мгновенные, а правильные или неправильные — разберемся на том свете. Грачиков очень любил решать дела не спехом, а толком — самому подумать и людей послушать. И не по нутру ему было кончать разговоры и совещания приказами, он старался собеседников убедить до конца, чтобы те сказали: «Да, это верно», или его убедили бы, что — неверно. И как бы упорно ему ни возражали, он не терял выдержанного приветливого образа разговора. Все это отнимало, конечно, время; первый секретарь обкома Кнорозов быстро заметил за ним эту слабость и в своей неоспоримой лаконичной манере швырнул ему как-то: «Размазня ты, а не работник! Не советский у тебя стиль!» Но Грачиков обопнул на своем: «Почему? Наоборот. Я — советно работаю, с народом я советуюсь».

Секретарем горкома Грачиков стал с последней городской конференции, после больших и разнообразных успехов того завода, где он был секретарем парткома.

— А про этот институт научно-исследовательский ты слышал что-нибудь, Иван Капитонович? Откуда он взялся?

— Слышал.— Грачиков все так же держал и голову и руку.— Говорили о нем еще весной. Потом затянулось.

— Да-а,— посетовал директор техникума.— Принял бы Хабалыгин здание, въехали бы мы числа двадцатого августа — и уж нас не ущипнешь. Помолчали.

В молчанье этом Федор Михеевич почувствовал, как из-под ног его и от рук уходит та твердь, за которую он только что держался. Полтора миллиона переделок не сотрясли кабинета, Грачиков не схватил двумя руками две телефонные трубки, не вскочил, не побежал никуда.

— А что? Очень важный институт, да? — осевшим голосом спросил Федор Михеевич.

Грачиков вздохнул:

— Раз почтовый ящик — уж тут не спрашивай. Все у нас важное.

Вздохнул и директор.

— Иван Капитоныч, но что же делать? Ведь они постановление правительства возьмут — тогда кончено. Ведь тут два дня каких-нибудь, тут срок.

Грачиков думал.

Федор Михеевич еще довернулся в его сторону, так что коленями уперся в письменный стол, налег на стол и обеими руками подпер голову.

— Слушай. А что, если прямо в Совет Министров телеграммку отстучать? Сейчас как раз такое время — связь школы с жизнью... От моего имени. Я не боюсь.

Грачиков посмотрел на него с минуту, очень внимательно. И вдруг сдрогнула с лица его вся грозность и обернулась сочувственной улыбкой. Грачиков заговорил, как любил — чуть певуче, фразами длинными, законченными, с каким-то хлебосольным оттенком:

— Федор Михеевич, душа ты моя, как ты это себе представляешь — постановление правительства? Ты думаешь, сидит весь Совмин за длинным столом и толкуют, как быть с твоим зданием, да? Только им и дела. И тут как раз твою телеграммку подносят, да?.. Постановление правительства — значит, что на днях этого министра или этого председателя комитета должен принять кто-то из зампредов. Министр придет на доклад с несколькими бумагами и между прочим скажет: вот этот НИИ, сами, мол, знаете, первейшей необходимости, решили в том городе дилсоцировать, а тут и здание готово кстати. Зампред спросит: а для кого строили? Министр ему: для техникума, но техникум пока расположен вполне терпимо, мы послали авторитетную комиссию, товарищи изучили вопрос на месте. Ну, перед тем, как визу ставить, зампред еще спросит: а обком не возражает? Понимаешь — обком! И телеграммку твою сюда же назад и вернут: проверьте факты! — Грачиков чмокнул толстыми губами.— Эти вещи вблизи рассматривать, тут вся сила в обкоме.

Теперь он положил руку на трубку, но еще не снимал ее.

— Мне вот то не нравится, что там инструктор обкома был и не возражал. Если и Виктор Вавилыч уже согласие дал — о, брат, плохо. Он ведь решений не меняет.

Виктора Вавиловича Кнорозова Грачиков, конечно, побаивался — да и кто в области его не боялся!

Он снял трубку.

— Это Коневский?.. Грачиков говорит. Слушай, Виктор Вавилыч у себя?.. А когда вернется?.. Вот как... Ну, если все-таки сегодня вернется — скажи, что я очень прошу меня принять... Хоть с квартиры вечером...

Он положил трубку и еще на рычагах покатал ее ладонью — в одну сторону, в другую, туда, сюда. Посмотрел на усеченную черную пирамиду телефона, перевел глаза на Федора Михеевича, убравшего голову в руки.

— Вообще, Михеич, — задушевно сказал Грачиков, — люблю я техникумы. Техникумы — люблю. У нас все за академиками гонятся, меньше инженера образования и не признают. Нам же в промышленности всего насущней техники нужны. А техникумы — на задворках, не твой один. А ведь вы! — ведь вы вот каких детей принимаете, — (он показал рукой лишь немного выше стола, каких детей Федор Михеевич никогда не принимал), — и через четыре года, — (он выставил большой палец рожком), — во специалисты получаются. Я ж у тебя на защите проектов был весной, ты помнишь?

— Помню, — невесело кивнул Федор Михеевич.

За этим большим деловым столом, к которому поперек еще был приставлен другой, под зеленой скатертью, Иван Капитонович говорил с таким доброжелательством, как если б на столах этих были расставлены не чернильный прибор, утыкалка для ручек, календарь, пресс-папье, телефоны, графин, поднос, пепельница, а — на белой скатерти тарелки с соленым, печеным и заливным и хозяин уговаривал бы гостя отведать и с собой даже взять.

— Какой-то мальчишка лет девятнадцати, может быть, первый раз галстук надел, и пиджак у него не от этих брюк — или это модно теперь? — развесил по всей доске чертежи, выставил на стол какой-то регулятор-индикатор-калибратор, который сам же он и сделал, индикатор этот пощелкивает, помигивает, а парень ходит, палочкой по чертежам помахи-вает и так это чешет, мне просто завидно стало! Какие слова у него, какие понятия: недостатки существующих индикаторов; принцип действия моего; задаемся величиной анодного тока; показания датчиков; экономическая эффективность; коэффициент конструктивной преемственности! — да черт же тебя дери, а? Ведь пацан!.. Я сидел — и за себя расстроился. Думаю, ну а я полвека землю потоптал — какая ж у меня специальность? Что когда-то за станком стоял? Так уж те станки давно повыбрасывали. Что я историю партии знаю и марксистскую диалектику? — так ее все должны знать, тут нашего преимущества нет. Хватит! Пришло такое время, что без специальности — не партработник. Вот такие ж пацаны и на заводе у меня делами ворочали. Так я каким голосом буду ему давать указания повышать производительность?.. Я сам и глазами и ушами набирался, сколько мог. Был бы я помоложе, Михеич, сейчас с удовольствием в твой техникум катнул бы, на вечернее...

И вида, что директор совсем уныл, рассмеялся:

— ..в старое здание!

Но Федор Михеевич не улыбнулся. Он опять вобрал голову в плечи и сидел как отемяшенный.

Тут секретарша напомнила, что Грачикова ждут.

5

Хотя никто ничего студентам не объявлял, но к следующему утру уже все знали.

Утром запасмурнело. Натягивало дождь.

Кто приходил в техникум — собирались снаружи кучками, но холодно было. В аудитории не пускали — дежурные студенты убирали там, в лаборатории тем более не пускали, там налаживали, — и опять стали сходиться и толпиться на той же лестнице.

Гудели. Девчонки ахали и хныкали. Все говорили о здании, об общезжитии, о квартирах. Мишка Зимин, крепыш, отличавшийся рекордами на копке траншей, громко заорал:

— Так что ж, ребята, мы — зря ишачили? Зря, выходит? А, Игорь? Чего теперь объяснить будешь?

Игорь, член комитета, тот чернявенький парень в красно-коричневой клетчатой рубашке, который вчера готовил список, каким группам какую лабораторию переносить, стоял на верхней площадке в смущении.

— Ну, подожди, разберутся...

— Кто разберется?

— Ну, мы разберемся... Может, напишем куда...

— А правда, девчонки! — убежденно заговорила девочка с тощеньким подбором, с лицом сурово-старательной ученицы. — Давайте в Москву жалобу писать! Неужели не добьемся?

Она самая смиренная была, но дошло у нее до края, хоть техникум бросать: доплачивать за койку дальше по семидесяти рублей из стипендии она не могла.

— Эх, накатать бы! — прихлопнула ладошкой по перилам другая — завлекательная, со смоляными тонкими кудрями, в спортивной свободной курточке. — Да все девятьсот подпишемся, а?

— Правильно!..

— Верно!..

— А вы узнайте раньше — можно такие подписи собирать? — охладили их с другой стороны.

Валька Rogozкин, первый легкоатлет техникума, лучший бегун на сто и четыреста метров, первый прыгун и первый крикун, как бы лежал на наклонных перилах лестницы: одну ногу он держал спущенной на ступеньку, вторую занес через перила и грудью прилег на них; на перилах же сплел он и руки, на них упер подбородок и в раскоряченном таком положении, пренебрегая шиканьем девчонок, смотрел вверх — туда, где стоял Игорь, а на изломе перил бесстрашно сидел, как бы не чувствуя за спиной шестиметрового пролета, смуглый, плечистый, очень спокойный Валька Гугуев.

— Слушайте меня, э! — пронзительно закричал Валька Rogozкин. — Эт все ерунда! Давайте лучше — все как один — не придем завтра!

— На стадион! — поддержали его.

— Кто это тебе разрешит? — насторожился Игорь.

— А кто должен разрешать? — вылутился Rogozкин. — Конечно, никто не разрешит! А мы — не придем! Да будь спок, ребята! — вдохновлялся он и кричал еще громче: — Через несколько дней совсем другая комиссия придет, на самолете прилетит — и назад нам наше здание отдадут, еще и прибавят!

Заволновались.

— А стипендии не лишат?

— Это бильно!

— Исключить могут!

— Это — не метод! — перекрикивал Игорь. — Это — не наш метод! И из головы выбрось!

Не заметили за гамом, как по лестнице поднималась тетя Дуся с оцинкованным ведром. Поравнявшись с Rogozкиным, она перевела ведро в другую руку, а той рукой размахнулась и с чувством бы вмазала ему пятерней пониже спины, да он увидел прежде и соскочил проворно, так что рука тети Дуси лишь чуть-чуть по нему прошла.

— Э-э! — взвopil Rogozкин. — Теть Дуся! — Он полшутя грозил ей пальцем. — Это не метод! Я в другой раз...

— В другой раз ляжь еще так! — погрозила пятерней и тетя Дуся. — Я тебя отпояжу, не очухаешься! Перила для этого сделаны, да?

Все громко смеялись. Очень все в техникуме любили тетю Дусю за решительность.

Она шла выше, раздвигая студентов. Лицо ее было морщинисто, но подвижно и сходилось к решительному подбородку. Может быть, по природе достойна она была лучшего поста, чем занимала.

— Эт все ерунда, тетя Дуся! — модной среди ребят приговоркой остановил ее Мишка Зимин. — А вот скажите — зачем здание отдали?

— А ты не знаешь? — прикинулась тетя Дуся. — Там паркетных полов дуже много. Все натирать — с ума спятишь.

И пошла, погремливая ведром.

Дружно смеялись.

— А ну, Валька! Отколи! — сказали ребята Гугуеву, заметив с верхней площадки группу новых девушек, вошедших со двора. — Люська идет!

Валька Гугуев прыгнул с угла перил, раздвинул соседей, стал перед верхними замыкающими прямыми перилами очень серьезно, утвердил на них руки ладонями, примерился, обхватил — и вдруг легким толчком ног взбросил свое ладное тело вверх и мягко, уверенно вышел в стойку над пропастью.

Это был смертный номер.

По лестнице прошел угомон. Все запрокинули головы. Мальчишки смотрели с уважением, восхищенные девчонки замерли с ужасом.

Та самая Люся, для которой все это делалось, уже успела взойти на несколько ступенек, обернулась теперь и, широко раскрыв голубенькие глаза, смотрела круто вверх, откуда человек, стоящий вниз головой, сейчас бы рухнул прямо на нее и на камни, если бы упал — но он не падал! — он, незаметнейше балансируя, а почти неподвижно, выжимал свою стойку над лестничным пролетом и совсем не торопился выходить из нее. При этом к пролету он был обращен беззащитной спиной, вытянутые во всю длину и сложенные вместе ноги еще, как нарочно, нависали по дуге над пустотой, а голова — голова была ниже всего и тоже вывернута к спине, а потому Валька мог прямо смотреть на Люсю — крохотную, тоненькую, запахнутую в светлый плащик с поднятым воротником, но без берета, и это особенно шло ей, с короткими беленькими волосами, примоченными дождем.

Но разглядывал ли он ее? — даже в пасмурном свете лестницы видно было, как лицо и шея смельчака потемнели от прилившей крови.

И вдруг раздались оклики вполголоса:

— Атас! Атас!

Гугуев тотчас перекачнулся в сторону площадки, мягко стал на ноги и невинно облегся о те же самые перила.

За такой аттракцион вполне можно было лишиться стипендии, как его уже раз и лишали за то, что он по всему техникуму дал на десять минут раньше звонок с урока (опаздывали в кино).

По лестнице, еще не успевшей зашуметь и послушно расступавшейся перед ним, поднимался сумрачный долговязый завуч Григорий Лаврентьевич.

Он слышал это «атас», знал, что так ребята предупреждают об опасности, и понимал, что тишина его встретила неестественная. Но не заметил виновника.

Тем более что Рогозкин, вечный зачинала споров, тут же к нему и привязался.

— Григорий Лаврентьевич! — на всю лестницу резко закричал Рогозкин. — А зачем здание отдали, а? Сами строили!

И нарочито-дурашливо склонил голову набок, ожидая ответа. Он еще из школы пришел с этой манерой смешить публику, особенно на уроках.

Все молчали и ждали, что скажет завуч.

Вот так — и вся жизнь преподавателя: одному на всех надо быстро найтись и каждый раз по-новому.

Григорий Лаврентьевич долгим придирчивым взглядом посмотрел на Rogozkina. Тот выдержал взгляд, все так же держа голову набок.

— А вот, — сказал медленно завуч, — ты техникум кончишь... Хотя... где ж тебе кончить!

— Это вы на соревнования намекаете? — скороговоркой отразил Rogozkin. — (Каждую весну и каждую осень он пропускал занятий вволю — то из-за областных соревнований, то всероссийских. Но успевал нагнать, двоек не было.) — Зря вы, зря! У меня, если хотите знать, уже даже зреют, — он смешно покрутил пальцем около виска, — идеи дипломного проекта!

— Ну-у?? Это хорошо. Так вот, кончишь техникум — куда работать пойдешь?

— Куда пошлют! — с преувеличенной бойкостью отрапортовал Rogozkin, выправляя голову и вытягиваясь.

— Вот в то здание, может, и пошлют. Или другие туда попадут. Так ваша работа и оправдается. Все наше будет.

— О! Это здорово! Я согласен! Спасибо! — очень, очень обрадованно сказал Rogozkin.

И завуч пошел уже своей дорогой. Но не успел уйти в коридор, как Rogozkin с той же легкостью отверг:

— Не! Григорий Лаврентьич! Я раздумал! Я — сам в то здание не хочу!

— А куда? — покосился завуч.

— На целину хочу! — крикнул Rogozkin.

— Ну, пиши заявление, — чуть улыбнулся завуч.

И пошел по коридору в кабинет директора.

Самого Федора Михеевича не было: он вчера не попал на прием и опять был сегодня в обкоме. Но у нескольких преподавателей, ожидавших сейчас в кабинете звонка директора, уже не было надежды на успех.

Капли дождя там и сям разбились на стеклах. Неровное, в бугорках, пространство до переезда овлажнело и потемнело.

Начальники отделений сидели над простынями расписаний, передавая друг другу цветные карандаши и резинки и согласовывая комнаты, часы и людей. Секретарь партбюро Яков Ананьевич за маленьким столиком у окна, близ партийного сейфа, разбирался в скоросшивателях. Лидия Георгиевна стояла у того же окна. С быстротой, с какой умеют меняться женщины, она, вчера такая веселая, быстрая, молодая, сегодня выглядела пожилым, больным человеком. И одета была не в сине-зеленое, а в темное.

Яков Ананьевич, невысокий, уже лысоватый, очень аккуратный, хорошо выбритый, с чистой розовой кожей щек, разговаривал, но при этом не покидал свою работу: каждую бумажку в папке он перелистывал осторожно, как живую, не заламывая, а если она была отпечатана на папиросной бумаге, так даже и нежно.

Он говорил очень мягко, негромко, но вместе с тем вразумительно:

— Нет, товарищи. Нет. Никакого общего собрания. И никаких собраний по отделениям, ни курсовых, ни даже классных мы по этому поводу

собирать не будем. Это значило бы слишком заострять внимание на данном вопросе. Незачем. Узнать они узнают, стихийно.

— Да они уже знают,— сказал завуч.— Но они объяснений требуют.

— Ну что ж,— не найдя тут противоречия, спокойно ответил Яков Ананьевич,— в частных беседах можете отвечать, это неизбежно. Как надо отвечать? Отвечать надо так: это — институт, важный для родины. Он родственен нам по профилю, а электроника сейчас — основа технического прогресса, и никто не должен ставить ей препятствий, а напротив — расчищать дорогу.

Все молчали, и Яков Ананьевич еще перелистнул бережно две-три бумажки, не находя нужной.

— Да наконец и этого можно ничего не разъяснять, а отвечать коротко: этот институт — государственного значения, и не нам с вами обсуждать целесообразность.

Он еще перелистнул и нашел нужное, и еще раз поднял ясные спокойные глаза:

— А собирать собрания? Как-то особенно обсуждать данный вопрос? Нет, это была бы политическая ошибка. Даже напротив: если учащиеся или комитет комсомола будут настаивать на собрании — надо их от этого отвести.

— Я не согласна!! — резко обернулась к нему Лидия Георгиевна, и вздрогнули все ее отброшенные, по затылок стриженные волосы.

Яков Ананьевич благорассудно смотрел на нее и спросил все так же бережно:

— Но с чем вы тут можете быть не согласны, Лидия Георгиевна?

— Прежде всего с тем,— она корпусом, рукой и головой подалась навстречу,— с тем прежде всего... Вот — с тоном вашим! Вы не только уже примирились, но вы как будто — довольны! да! — просто-таки довольны, что у нас отобрали это здание!

Яков Ананьевич развел кистями — не всеми руками, а именно только кистями:

— Но, Лидия Георгиевна, если это — государственная необходимость, то почему я могу быть ею недоволен?

— А главное, не согласна — с принципом вашим! самым вашим принципом! — И уж она не устояла на месте, стала ходить по малому простору кабинета и размахивала руками.— Уж так, как я, никто из вас с ребятами не сталкивается, потому что я с комсомольцами с утра до вечера! И я понимаю, как будет выглядеть то, что вы нам диктуете: ребята сочтут, и правильно сочтут, что мы боимся правды! Будут они за это нас уважать, да?.. Значит, когда у нас хорошее случится, мы о нем объявляем, вывешиваем на стенах, передаем через радиоузел, да? А о дурном или о трудном — пусть узнают, откуда хотят, и шепчутся, как хотят? Нет! — голос ее зазвенел, но злосчастным образом второй раз за эти сутки подошел к самой грани слез.— Нет! Нельзя так жить, а с молодыми — особенно! Ленин учил: не бойтесь гласности! Гласность есть меч исцеляющий!

Не ко времени слезы загородили ей горло, и она вышла быстро, чтобы не расплакаться.

Яков Ананьевич огорченно посмотрел ей вслед и с большим сокрушением, закрыв глаза, покачал головой.

Лидия Георгиевна быстро шла по полутемному коридору, зажав комочек носового платка в руке. Там и здесь ребята убирали, переносили прошлогодние щиты — результаты соцсоревнования, карикатуры на прогульщиков, стенные газеты.

В расширении, у чулана, где стояли ящики с вакуумными трубками, двое мальчиков с третьего курса окликнули ее: они при разборке сняли сверху и теперь не знали, что делать с макетом — с тем самым объемным макетом, который, подняв на четырех шестах, они несли на октябрьской и Первомайской демонстрациях перед колонной техникума.

Утвержденное на ящиках, здание, такое уже известное и любимое в мелочах, живо стояло перед ними: белое, с положенными в тех самых местах, где надо, голубыми и зеленоватыми отливами; с теми же двумя характерными полубашенками, вырастающими из пилястров; с теми же подъездами — большим и малым; с огромными окнами актового зала и точным счетом обыкновенных окон в четыре этажа, каждое из которых уже было кому-то предназначено.

— Может, его это...? — не глядя в глаза и виновато обминаясь, спросил один из мальчиков, — ...порубить? Чего! И так повернуться негде...

6

Иван Капитонович Грачиков не любил военных воспоминаний, а своих — особенно. Потому не любил, что на войне худого черпал мерой, а доброго — ложкой. Потому что каждый день и шаг войны связаны были в его пехотинской памяти со страданиями, жертвами и смертями хороших людей.

Также не любил он, что и на втором десятке лет после войны жужжат военными словами там, где они совсем не надобны. На заводе он и сам не говорил и других отучал говорить: «На фронте наступления за внедрение передовой техники... бросим в прорыв... форсируем рубеж... подтянем резервы...» Он считал, что все выражения эти, вселяющие войну и в самый мир, утомляют людей. А русский язык расчудесно обможется и без них.

Но сегодня он изменил своему правилу. В приемной первого секретаря обкома он сидел с директором техникума, ожидая (в то время как в его собственной приемной сидели другие люди и ждали его самого). Грачиков нервничал, звонил отсюда своей секретарше, выкурил две папиросы. Потом присмотрелся к голове Федора Михеевича, безрадостно вобранной в плечи, и показалось ему, что вчера тут было засеяно сиденою меньше полполя, а сегодня больше. И чтобы тот не кручинился, Грачиков стал ему рассказывать один смешной случай, который произошел с людьми, знакомыми им обоим, в те короткие дни, когда дивизия их отдыхала во втором эшелоне. Это было уже в сорок третьем году, после ранения Федора Михеевича.

Однако зря он рассказывал — Федор Михеевич не рассмеялся. А сам Грачиков так и знал, что лучше не разживлять воспоминаний войны. По связи их, уже невольной, пришел ему в голову и следующий день, когда дивизия получила срочный приказ перейти Сож и развернуться.

Там был разбитый мост. Саперы ночью отремонтировали его, и Грачиков поставлен был дежурным офицером у входа на переправу: никого не пропускать, пока не пройдет их дивизия. А мост был тесен, края развалены, негладок настил, и скопиться нельзя было, потому что «юнкерсы» одномоторные два раза выкруживали из-за леса и бросались пикировать, правда бомбы в воду. И переправа, начавшаяся еще до рассвета, затянулась за полдень. Тут подсобрались и другие части, тоже охотники переправиться, но ждали очереди в мелком соснычке. Вдруг выехало шесть каких-то крытых (ординарец Грачикова называл «скрытых») новеньких машин, одна в одну, и сразу, обгоняя колонну дивизии, полезли

втиснуться на переправу. «Сто-о-ой!» — свирепо кричал Грачиков переднему шоферу и бежал ему наперехват, а тот ехал. Рука Грачикова едва было не дернулась или, кажется, уже дернулась к кобуре. Тут пожилой офицер в плащнакидке из первой кабины открыл дверцу и так же свирепо крикнул: «А ну-ка, сюда, майор!» — и повертом плеча сбросил полнакидки — и оказался генерал-лейтенантом. Грачиков подбежал, робея. «Куда руку тянул? — грозно кричал генерал. — Под трибунал хочешь? А ну, пропусти мои машины!» Пока он не приказал пропустить его машины, Грачиков готов был выяснять все по-хорошему, без крика, и, может, еще пропустил бы. Но когда сталкивались лбами справедливость и несправедливость, а у второй-то лоб от природы крепче, — ноги Грачикова как в землю встали, и уж ему было все равно, что с ним будет. Он вытянулся, козырнул и открыл: «Не пропушу, товарищ генерал-лейтенант!» — «Да ты что-о? — взвопил генерал и сошел на подножку. — Как фамилия??» — «Майор Грачиков, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите узнать вашу!» — «Завтра же будешь в штрафной!» — яровал тот. «Хорошо, а сегодня займите очередь!» — отбил Грачиков, шагнул перед радиатор их машины и стал, чувствуя, что наливается до бурости вся шея его и лицо, но зная, что не соступит. Генерал запахнулся во гнев, подумал, захлопнул дверцу, и повернули шесть его машин...

Наконец от Кнорозова вышли несколько человек — из областного сельхозуправления и из сельскохозяйственного отдела обкома. Секретарь Кнорозова Коневский (он держался с таким пошибом и такой у него был письменный стол, что новичок вполне бы его и принял за секретаря обкома) сходил в кабинет и вернулся.

— Виктор Вавилович примет вас одного! — объявил он непреклонно.

Грачиков мигнул Федору Михеевичу и пошел.

У Кнорозова еще задержался главный зоотехник. Вывернув голову, сколько мог, и извернувшись весь так, будто сами кости у него были гибкие, зоотехник смотрел в большой лист, лежавший перед Кнорозовым, где были красивые цветные диаграммы и цифры.

Грачиков поздоровался.

Высокий гологоловый Кнорозов не обернулся к нему, только скопился:

— Сельского хозяйства на тебе нет. А ходишь — пристаешь. Жил бы спокойно.

Сельским хозяйством он часто попрекал Грачикова, как будто городская промышленность не оправдывала своего хлеба. А сейчас, как знал Грачиков, Кнорозов надумал с сельским хозяйством не только напиться, но и прославиться.

— Так вот, — сказал Кнорозов зоотехнику, медленно и веско опуская пять выставленных длинных пальцев полукружием на большой лист, будто ставя огромную печать. Он сидел ровно, не нуждаясь в спинке кресла для поддержки, и четкие жесткие линии ограничивали его фигуру и для смотрящего спереди и для смотрящего сбоку. — Так вот. Я говорю вам то, что вам сейчас нужно. А нужно вам — то, что я сейчас говорю.

— Ясно, Виктор Вавилович, — поклонился главный зоотехник.

— Возьми же. — Кнорозов освободил лист.

Зоотехник осторожно, двумя руками, выбрал лист со стола Кнорозова, скатал в трубку и, опустив голову, плешью вперед, пересек этот очень просторный, со многими стульями, рассчитанный на многолюдные заседания кабинет.

Думая, что сейчас пойдет за директором техникума, Грачиков не сел, только уперся в кожаную спинку кресла перед собой,

Кнорозов, даже сидя за столом, выказывал свою статность. Долгая голова еще увyshала его. Хотя был он далеко не молод, отсутствие волос не старило его, но даже молодило. Он не делал ни одного лишнего движения, и кожа лица его тоже без надобности не двигалась, отчего лицо казалось отлитым навсегда и не выражало мелких минутных переживаний. Размазанная улыбка расстроила бы это лицо, нарушила бы его законченность.

— Виктор Вавилович! — выговаривая все звуки полностью, сказал Грачиков. Полупевучим говорком своим он как бы наперед склонял к мягкости и собеседника. — Я — ненадолго. Мы тут с директором — насчет здания электронного техникума. Приезжала московская комиссия, завила, что здание передается НИИ. Это — с вашего ведома?

Все так же глядя не на Грачикова, а перед собой вперед, в те дали, которые видны были ему одному, он растворил губы лишь настолько, насколько это было нужно, и отрубисто ответил:

— Да.

И, собственно, разговор был окончен.

Да?..

Да.

Кнорозов гордился тем, что он никогда не отступал от сказанного. Как прежде в Москве слово Сталина, так в этой области еще и теперь слово Кнорозова никогда не менялось и не отменялось. И хотя Сталина давно уже не было, Кнорозов — был. Он был один из видных представителей «волевого стиля руководства» и усматривал в этом самую большую свою заслугу. Он не представлял себе, чтобы можно было руководить как-нибудь иначе.

Чувствуя, что начинает волноваться, Грачиков заставлял себя говорить все приветливее и дружелюбнее:

— Виктор Вавилович! А почему бы им не построить себе специальное, для них приспособленное здание? Ведь тут одних внутренних переделок...

— Сроки! — отрубил Кнорозов. — Тематика — на руках. Объект должен открыться немедленно.

— Но окупит ли это переделки, Виктор Вавилович? И... — поспешил он, чтобы Кнорозов не кончил разговора, — и, главное, воспитательная сторона! Студенты техникума совершенно бесплатно и с большим подъемом трудились там год, они...

Кнорозов повернул голову — только голову, не плечи — на Грачикова и, уже отзванивая металлом, сказал:

— Я не понимаю. Ты — секретарь горкома. Мне ли тебе объяснять, как бороться за честь города? В нашем городе не бывало и нет ни одного НИИ. Не так легко было нашим людям добиться его. Пока министерство не раздумало — надо пользоваться случаем. Мы этим сразу переходим в другой класс городов — масштаба Горького, Свердловска.

Он прищурился. То ли видел свой город уже превращенным в Свердловск. То ли внутренне примерял себя к каким-то новым высоким постам.

Но Грачикова не только не убедили и не прибили его фразы, падающие, как стальные балки, а он почувствовал подступ одной из тех решающих минут жизни, когда ноги его сами вращались в землю, и он не мог отойти.

Оттого что сталкивались справедливость и несправедливость.

— Виктор Вавилович! — уже не сказал, а отчеканил он тоже, резче, чем бы хотел. — Мы — не бароны средневековые, чтобы подмалевывать себе погуще герб. Честь нашего города в том, что эти ребята строили — и радовались, и мы обязаны их поддержать! А если здание отнять —

у них на всю жизнь закоренится, что их обманули. Обманули раз — значит, могут и еще раз!

— Обсуждать нам — нечего! — грохнула швеллерная балка побольше прежних. — Решение — принято!

Оранжевая вспышка разорвалась в глазах Грачикова. Налились и побурели шея его и лицо.

— В конце концов что́ нам дороже? камни или люди? — выкрикнул Грачиков. — Что́ мы над камнями этими трясемся?

Кнорозов поднялся во всю свою ражующую фигуру, и увиделось, что он — из стали весь, без сочленений.

— Де-ма-го-гия! — прогремел он над головой слушника.

И такая была воля и сила в нем, что, кажется, протяни он длань — и отлетела бы у Грачикова голова.

Но уже говорить или молчать — не зависело от Грачикова. Он уже не мог иначе.

— Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить, Виктор Вавилович!! — упоенно крикнул он. — Это — дольше и трудней! А в камнях мы если завтра даже всё достроим, так у нас еще никакого коммунизма не будет!!

И замолчали оба.

И стояли не шевелясь.

Иван Капитонович заметил, что пальцам его больно. Это впился он в спинку кресла. Отпустил.

— Не дозрел ты до секретаря горкома, — тихо обронил Кнорозов. — Это мы проглядели.

— Ну, и не буду, подумаешь! — уже с легкостью отозвался Грачиков, потому что главное он высказал. — Работу себе найду.

— Какую это? — насторожился Кнорозов.

— Черновую, какую! Полюбите нас черненькими! — говорил Грачиков в полный голос.

Ему и правда до тошноты опостыло так работать, чтоб с ним не советовались, не обсуждали, а только верхоправили. На заводе у них такого порядка не было.

Кнорозов долгим полусвистом выпустил воздух через сжатые зубы.

Положил руку на трубку.

Взял ее.

Сел.

— Саша. Соедини с Хабалыгиным.

Соединяли.

Здесь, в кабинете — ни слова.

— Хабалыгин?.. Скажи, а что ты будешь делать с неприспособленным зданием?..

(Разве «будет делать» — Хабалыгин?..)

— ...Как — небольшие? Очень большие... Сроки — это я понимаю... В общем, пока довольно с тебя над одним зданием голову ломать...

(«С тебя?..»)

— ...Соседнего — не дам. Построишь еще лучше.

Положил трубку.

— Ну, позови директора.

Грачиков пошел звать, уже думая над новым: Хабалыгин переходит в НИИ?

Вошли с директором.

Федор Михеевич вытянулся и уставился в секретаря обкома. Он любил его. Он всегда им восхищался. Он радовался, когда попадал к нему на совещания и здесь мог зачерпнуть, зарядиться от всесобирающей воли и энергии Кнорозова. И потом, до следующего совещания, бодро хотелось выполнять то, что было поручено на предыдущем: повышать ли успеваемость, копать ли картошку, собирать металлолом. То и дорого было Федору Михеевичу в Кнорозове, что да так да, а нет так нет. Диалектика диалектикой, но, как и многие другие, Федор Михеевич любил однозначную определенность.

И сейчас он вошел не оспаривать, а выслушать приговор о своем здании.

— Что, обидели? — спросил Кнорозов.

Федор Михеевич слабо улыбнулся.

— Выше голову! — тихо твердо сказал Кнорозов. — От каких же ты трудностей теряешься!

— Я не теряюсь, — хриловато сказал Федор Михеевич и прокашлялся.

— Там у тебя рядом общежитие начато? Достроишь — будет техникум. Ясно?

— Ясно, да, — заверил Федор Михеевич.

Но в этот раз как-то не получил заряда бодрости. Закружились сразу мысли: что это — на зиму глядя; что учебный год — на старом месте; что опять-таки и новый техникум будет без актового и физкультурного залов; и общежития при нем не будет.

— Только, Виктор Вавилович! — озабоченно высказал Федор Михеевич вслух. — Тогда проект придется менять. Комнатки — маленькие, на четырех человек, а надо их — в аудитории, в лаборатории...

— Со-гла-суете! — отсекая движением руки, отпустил их Кнорозов. Уж такими-то мелочами его могли бы не тревожить.

По пути в раздевалку Грачиков похлопал директора по спине:

— Ну, Михеич, и то ничего. Постройшь.

— И перекрытие над подвалом менять, — разглядывал новые и новые заботы директор. — Для станков-то его мощней надо. А из-за перекрытия, значит, и первый этаж разбирать, какой уже построили.

— Да-а... — сказал Грачиков. — Ну что ж, рассматривай так, что тебе в хорошем месте дали участок земли, и котлован уже выкопан, и фундамент заложен. Тут перспектива верная: к весне построишь и влезешь, мы с совнархозом подождем. Скажи — хорошо хоть это здание отбили.

Оба в темных плащах и фуражках, они вышли на улицу. Дул прохладный, но приятный ветер и нес на себе мелкие свежие капли.

— Между прочим, — нахмурился Грачиков, — ты не знаешь, Хабалыгин в министерстве на каком счету?

— Всеволод Борисыч? О-о! Он там большой человек! Он мне давно говорил: у него там дружки-и! А ты думаешь — он мог бы помочь? — с минутной надеждой спросил Федор Михеевич. Но и сам себя опроверг: — Нет. Если б мог помочь, он бы тут же и возражал, когда с комиссией ходил. А он — соглашался...

Прочно расставив ноги, Грачиков смотрел вдоль улицы. Еще спросил:

— Он что? специалист по релейным приборам?

— Да ну, какой специалист. Он и трансформаторами занимался. Просто — руководитель с опытом.

— А почему, собственно, он с комиссией ходил, ты не знаешь?

— Правда, — только теперь высветился этот вопрос в смятенной со вчерашнего дня голове Федора Михеевича. — А почему?

— Ну, бувай! — вздохнул Грачиков, с размаху подал и крепко пожал ему руку.

Он шел к себе, обдумывая Хабалыгина. Конечно, такой НИИ — не заводик релейной аппаратуры. Тут директору и ставка не та, и почет не тот, и к лауреатству можно славировать.

Сам Грачиков твердо вывел для себя, что не надо ждать, пока член партии пойдет вперекос с уголовным кодексом. Что того, кто не особняком, не дачными хоромами, но последней мелочью покорыстовался от своей должности, от своего положения и связей, — надо немедленно из партии изгонять. Не на вид ставить, не выговор давать, а только изгонять, потому что тут не проступок, не ошибка, не слабость — а здесь совсем чуждое сознание, внутренний капиталист в голове.

Изловили и клеймили в областной газете какого-то шофера с женой учительницей, которые развели при доме цветник, а цветы продавали на базаре.

Но как поймать Хабалыгина?..

Пешком, медленно пошел Федор Михеевич, чтоб его хорошенько продумало. От бессонницы, и от двух порошков нембутала, и от всего, что он передумал за эти сутки, внутри у него стояло что-то неповоротливое, отравное — но ветром этим свежим оно по маленьким кусочкам из него выдувалось.

Что ж, думал он, начнем опять сначала. Соберем всех девятьсот и объясним: здания у нас, ребята, нет. Надо строить. Поможем — будет быстрее.

Ну, сперва со скрипом.

Потом еще раз увлекутся, как увлекает работа сама по себе.

Поверят.

И построят.

Еще годок переживем и в старом, ладно.

...А пришел, сам не замечая, — к новому, сверкающему металлом и стеклом.

Второе, рядом, — чуть поднялось из земли, заплыло песком и глиной.

В безлукавой памяти Федора Михеевича после вопросов Грачикова зашевелились какие-то оборванные, повисшие нити о Хабалыгине — и кончиками тянулись друг к другу связаться: и как он оттягивал прием объекта в августе, и его радостный вид в комиссии.

И странно — о ком он только начал доумевать по дороге сюда, того и увидел первого на заднем большом дворе строительного участка: Всеволод Борисович Хабалыгин в твердой зеленой шляпе и хорошем коричневом пальто решительно ходил по размокшей глине, пренебрегая тем, что измазал полуботинки, и распорядился несколькими рабочими, видно своими же. Двое рабочих и шофер стягивали из кузова грузовика столбы — и свежеекрашенные, и уже посеревшие, послужившие в столбовской службе, с отрубленными гнилыми концами. Двое других рабочих, наклонясь, что-то делали, как показывал им Хабалыгин командными взмахами коротких рук.

Федор Михеевич подошел ближе и разглядел, что они забивают колья — но забивают не по-честному, не по прямой, а с каким-то хитрым долгим выступом, чтобы побольше двора прихватить к институту и поменьше оставить техникуму.

— Да Всеволод Борисович! Имейте же вы совесть! Что вы делаете? — вскричал обделенный директор. — Ребятам в пятнадцать—шестнадцать лет дышать надо! побегать! — куда я их буду выпускать?

Хабалыгин как раз занял важную точку, откуда определялась последняя линия его злонаходчивого забора. Расставив ноги поперек будущей черты, он утвердился и уже поднял руку для взмаха, когда услышал Федора Михеевича, подступившего к нему вплотную. Так и держа ладонь ребром перед головой, Хабалыгин лишь чуть повернул голову (да шея и зашеек у него были такие, что особенно головой не разворочаешься), чуть подобрал верхней губой нелегкие щеки свои, оклычился и проворчал:

— Чтó? Чтo-чтó?

Не дожидаясь ответа, он отвернулся, в створе ладони проверил своих разметчиков, одного выровнял кивками четырех сложенных пальцев и окончательно, взмахнув короткой рукою, прорубил ею воздух.

Не только воздух, он разрубил, кажется, и самую землю. Нет, не разрубил — он так взмахнул, как бы проложил некую великую трассу. Он взмахнул, как древний полководец, показавший путь войскам. Как первый капитан, наконец-то проложивший верный азимут к Северному полюсу.

И лишь исполнив свой долг, он обернулся к Федору Михеевичу и объяснил ему:

— Так — надо, товарищ дорогой.

— Для чего — н а д о? — озлился Федор Михеевич и затряс головой.— Для пользы дела, да? Да? Ну, подожди! — сжал он кулаки. Но говорить ему стало не под силу, он отвернулся и быстро зашагал к улице, бормоча:— Ну, подожди, боров! Ну, подожди, хряк!..

Рабочие подносили столбы.



МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

ЯПОНСКИЕ ЗАМЕТКИ

Япония для туристов

Япония, Япония!

Что вам показать, посторонние?

Что бы вы повидать хотели?

Поглядите прежде всего, какие у нас отели.

Пожалуй, они уже лучше, чем в Штатах,

там нет, вероятно, таких современных,

таких новеньких и богатых.

А наши заводы, наши машины...

А сколько на улицах наших народу!

Мы будем кланяться низко-низко,

ничего не делая вам в угоду.

Мы распахнем вам свои магазины

и стерильные наши уборные,

но скроем от вас за семью замками

чувства тайные, думы упорные.

Это наша маленькая страна — острова, вулканы, работа...

А вот наши древние города: Никко, Киото.

А вот рабочие города: Осака и Нагоя...

Или вам хочется посмотреть что-то совсем другое?

Япония, Япония,

чайная церемония,

пахнущие старым деревом невысокие плавные храмы,

театры, в которых с утра и до вечера

идут старинные драмы,

и иероглифы, иероглифы — рекламы, рекламы, рекламы.

Любые товары, любые изделия, какие угодно утехи.

Видите, как мы живем богато, какие у нас успехи.

Война? Это было очень давно. Мы уже и забыли об этом.

Все что угодно в Японии есть, все залито шумом и светом.

Может быть, шума больше, чем надо, чуть-чуть,

может быть, света больше, чем надо, чуть-чуть,

может быть, люди веселы и довольны больше, чем надо,

чуть-чуть,

но это мало кому заметно и, в общем, не в этом суть.

Мы, японцы, решили между собой: давайте сильней шуметь,
 пусть боль, и чувства, и мысли глушит гремящая медь,
 чтобы люди не стали вглядываться и не вздумали нас жалеть.
 Жалость невыносима.

О, Хиросима!

Искусство составлять букеты

Берет японец ветку вишни
 в жемчужно-розовом цвету,
 срезает все, что видит лишним,
 что нарушает красоту.

И острый нож кромсает, мучит
 живую зелень, нежный цвет.
 Но он становится все лучше,
 неповторимый тот букет,

исполненный такого чувства,
 что не добавить ничего.
 Произведение искусства,
 дитя жестокости его.

Он, как японская картина,
 он словно утренний рассвет:
 светло, и ярко, и едино,
 и лишних красок в гамме нет.

О, сердобольные поэты,
 неплохо б поучиться нам
 искусству создавать букеты,
 не зная жалости к цветам.

Театр Но

Позабытое давно,
 вспоминаю отчего-то
 представление театра Но
 в старом городе Киото.

Вместо люстр пылал закат,
 на лужайке возле храма
 несколько часов подряд
 шла классическая драма,
 пряча боль, печаль и гнев
 под раскрашенную маской,
 руки трепетно воздев,
 притворяясь только сказкой.
 Незатейливый сюжет
 пересказывать не будем.

Он, нехитрый, сколько лет,
нет, столетий нужен людям.
Ибо в нем в конце концов,
хоть недешево порою,
побеждают подлецов
благородные герои.
Зло сражается с добром,
рассыпаясь мелким бесом,
а толпа сидит кругом
и взирает с интересом.
Любознательный народ
будто впрямь поверил сказке.
Он на помощь не придет,
не вмешается, но ждет
торжествующей развязки.
Люди, люди, сказки нет
в этой драме, в этой драке.
Этот спор на много лет.
Это ваша жизнь, зеваки!
Не актеры, а народ...
Не лужайка — поле боя...
Ну, а вдруг злодей убьет
благородного героя?
Что вы скажете тогда
с любопытством вашим праздным?
Бой — на долгие года,
и исход бывает разным.
Стянуты тугим узлом
перепутанные нити.
Бой ведет добро со злом.
Люди, встаньте, помогите!
Но они сидят вокруг —
час досужий, день хороший...
Очень много сильных рук
только хлопают в ладоши.
Интересно и смешно:
где-то кто-то бьет кого-то...
Представленья театра Но
в старом городе Киото.



Н. МЕЛЬНИКОВ

★

СТРОИТСЯ МОСТ

Из записок корреспондента

Часов в десять вечера, как только я сошел с катера на берег, меня остановила диспетчерша причала Женя.

— Бегите скорее в прорабскую!

— Зачем?

Женя ответила шепотом:

— ЧП.

— Какое еще ЧП?

Женя с досадой махнула рукой и уже не шепотом, а нормальным голосом возмутилась:

— Эх, неужели не верите?.. Медведева знает? Бригадира монтажников с седьмой опоры?

— Знаю.

— С ним ЧП.

Она рассказала, что Медведев заперся в прорабской с Сонькой Сапожковой. Кто-то «стукнул» Васькиной жене Шуре, и теперь Шура ломится в прорабскую, но супруг ее и Сонька не отзываются.

Женя опять перешла на шепот:

— Туда сейчас милиционер пробежал, и вы бегите. Вы все-таки из Москвы, корреспондент. Я Шурку знаю, убьет она Соньку.

Я хорошо был знаком и с этими ребятами и не мог поверить, что Медведев вот так с бухты-баряхты мог изменить Шуре, а стало быть, и ей не за что убивать Соньку Сапожкову. Не раздумывая, я поспешил в прорабскую.

Как большинство строителей мостоотряда, Медведевы жили в одряхлевшем, давно списанном пароходе «Бесстрашный» в двухместной каютке. Мое жильё помещалось на той же нижней палубе в бывшем салоне третьего класса, ныне общежитии. Когда намотаешься за день по объектам и голова кругом идет от всевозможной технологии, тогда идешь к бригадиру монтажников Медведеву. Он охотно растолкует тебе эту самую технологию и даже чертеж сделает.

Медведевы познакомились и поженились шесть лет назад в мостоотряде. За это время построили два моста: один в Сибири, другой в Крыму. И в Сибири и в Крыму думали осесть. Монтажники везде нужны: Шурина профессия тоже не из последних — она бетонщица пятого разряда. Но жаль было расставаться с отрядом. Да и жалованье неплохое. Колесные платят. Есть у них дочь Катя. Она в яслях на пятidineвке, так что места в каютке достаточно.

Над койкой Медведева висела рейшина. Пока он ею не пользовался, купили ее впрок, авось учиться на инженера пойдет. Ну, а пока

пусть висит, вещь серьезная и напоминает Медведеву его инженерное будущее. Над Шуриной койкой — отрывной календарь с изображением космонавта майора Титова и английской булавкой приколата грамота за районное первенство по прыжкам в длину.

Дома Медведевы ходили одинаково одетые — в синих сатиновых шароварах и майках-безрукавках. Иногда майки перепутывались, и тогда на Васькиной груди она здорово оттопыривалась.

На откидном столике стоял радиоприемник «волга». Антенну приспособили к бездействующей парходной мачте.

Частенько на ночь глядя Медведевы запускали свою «волгу» на полный звук, аж перекрытия старенького «Бесстрашного» дрожали. Я удивлялся, как это они сами терпят такую музыку.

Однажды, поздно вечером возвращаясь домой, я шел городским сквером. У скамеек были поставлены ослепительные шары-солнца, которые даже пенсионерам глаза резали. И все-таки, при всей бдительности городских властей, в тени оставались две-три укромных скамеечки, будто выделенные самим богом. С одной из таких скамеечек меня вдруг окликнули. Это были супруги Медведевы. Я и раньше заметил их, но мне в голову не могло прийти, что влюбленной парочкой окажутся супруги Медведевы.

Вчера я застал их за чтением детской энциклопедии. Они читали вслух о небесных телах. Энциклопедию они купили тоже впрок для подрастающей дочери. Распространитель книготорга уговорил.

Я засиделся у них до полночи. Сначала Медведев рассказывал мне, как они будут перевозить с левого берега и ставить на опоры проезжую часть моста, потом мы выпили по маленькой и о чем только ни говорили: и о космосе, и о мироздании, коснулись даже борьбы африканского народа за свою независимость. Шура два раза подогрела нам чайник.

— Скажите,— спрашивала она меня,— империалисты развяжут войну или нет, а то я все думаю: рожать мне второго?

Они считались счастливейшими супругами. Так неужели какая-то Сонька Сапожкова могла разладить, сломать их жизнь?

Про Соньку говорили, что она баба насквозь продувная, у самой личной жизни не получилось, так она со зла норовит другим насолить. Она вырастила без отца дочь, и теперь обе на одном цементном заводе работают. Сонька заводила обычно шашни с людьми пьющими, а Васька непьющий. Одну-две стопки опрокинет, третью ладонью прикроет и скажет: будет. И тут же пояснит, что профессия монтажника, мол, не позволяет и что «высота» под водой пострашней, чем на земле.

От причала до прорабской метров пятьсот, но дорога такая, что днем не побежишь, а ночью подавно. Под ногами осколки бетонных плит, скрюченные куски железа, обрывки проволоки и черт знает чего еще. Электричество не жалели на речных объектах, на опорах. Там светло, как днем, а здесь экономили и только несколькими тусклыми лампочками обозначили склад, гараж, ремонтные мастерские. Чуть повеселей лампочку отвоевала прорабская.

Еще издали я увидел крыльцо, Шуру, толпу, окружавшую крыльцо. Услышал глухие, деревянные удары.

Меня остановил парторг Перов и шепотом сказал:

— Васька-то наш что натворил!

Шура дубасила дверь то двумя кулаками сразу, то била врозь, как в барабан.

— Открой, хуже будет! — вопила она не своим голосом.

Старшина милиции в растерянности стоял на ступеньках и не знал, как подступиться к ней. Из толпы ему выговаривали:

— Зачем позволяешь человеку рыдать?

А как старшина мог не позволить?

— Открой, хуже будет! — снова и снова вопила она.

Толпа громко высказывалась вслух:

— Куда ж еще хуже? Хуже не придумаешь.

Высказали и такое соображение, что если б Васька под трамвай попал или утонул, то было б горе как горе, а теперь непонятно что.

Но тут же последовало возражение:

— Хрен редьки не слаще. Какая разница: ну под трамвай, ну утонул, ну с Сонькой спутался — все одно на всю жизнь запомнится.

Шуру стали увещевать:

— О дочке подумай!

А она в ответ кулаком по двери: нет, мол, никакой дочки, нет, мол, никакой каютки, нет Васькиной музыки, нет вселенной, нет Васькиной рейшины, нет будущего. Есть дверь, за которой Васька обнимает Соньку!

И тут кто-то громко сказал:

— Может, там никого и нет? Шурка, да тебя разыграли!

— А ну пустите! — неожиданно закричал Перов.

Народ расступился, и он рванул на крыльцо мимо милиционера. Старшина, видно, не знал Перова, хотел было перехватить его — не понял, что он собирался делать. А Перов схватил Шурку за руку и заорал:

— Пойдем, я покажу тебе, где твой Василий! На том берегу в клубе в шашки дуется... Я сейчас только оттуда.

Она прислонилась спиной к двери. Волосы упали ей на глаза. Шурка ладонью отмахнула их и уставилась на Перова. Потом босой ногой раз, другой, третий ударила в дверь, не сводя с него глаз: она верила и не верила ему. Тогда он стал ошеломлять ее подробностями встречи с Васькой на том берегу и врал так вдохновенно, что я тоже готов был поверить ему.

— Сначала мы по кружке пива выпили, — говорил он, — потом в клуб пошли. Васька две партии с хода продул, сел играть третью, а я на катер ушел.

Из толпы спросили:

— На пиво играют?

Кто-то ответил за Перова:

— А ты думал: на интерес?

Милиционер приободрился и сказал:

— Давайте расходиться.

Но никто не расходился, ждали, наверно, Шуркиного решения.

Она откинула голову, закрыла глаза и чуть слышно проговорила:

— А я-то, дура, поверила.

Мелкими шажками она засемила к баку с водой, что стоял на табуретке в углу крыльца. Носик у крана был повернут вверх так, чтобы вода фонтанчиком била в рот. Шура устало, лбом прислонилась к баку и жадно стала глотать воду.

Старшина, повысив голос, снова потребовал:

— Давайте разойдемся!

Шура перестала пить, выпрямилась, ладонью утерла рот и улыбнулась Перову.

— Я-то, дурочка, поверила.

Она тихо засмеялась.

Домой мы возвращались с Перовым и Шурой вместе.

— Я только стирать приготовила, — рассказывала она, — тут прибегают... Я даже туфель надеть не успела.

— Кто прибежал-то? — спросил Перов.

— Не скажу. Я сама... пусть только попадетса мне..

Наш пароход «Бесстрашный» давно превратился в обжитый дом. Палубы напоминали дворы. Повсюду натянута веревка, развешено белье. Под первое мая и седьмое ноября, как и во всех домах в городе, на «Бесстрашном» красились двери.

У каютки Медведевых на табуретке стояло корыто с бельем. Шура вылила за борт остывшую в ведре воду, принесла из кубовой горячей.

Мы задержались с Перовым у трапа. Он тихо заговорил:

— Как ты думаешь, пронесет?

Я не понял:

— Что пронесет?

— Шурка поверила? — И сам же ответил: — Она, конечно, рада была поверить...

Васька, подлец, сообразил явиться домой не сразу, а после прихода катера с левого берега. У трапа он наткнулся на нас и без предисловия сказал:

— Ничего промеж меня и Соньки не было.

— Зачем запирался? — спросил Перов.

— Я за нарядами пошел в прорабскую, а там Сонька, раз — дверь на ключ запирает. Я ей говорю: не балуй, а она смеется и ключ в карман прячет. Потом слышу: народ шумит за дверью. Как выйти, ведь Соньку все знают? Так бы мне и поверили...

Перов все-таки злился на него и буркнул:

— Пошел к черту!

Утром в партком пришел инструктор райкома Петухов. Мостоотряд подчинялся непосредственно министерству в Москве и был прикреплен к райкому правого берега. Представлял от райкома инструктор Петухов.

— Привет, — сказал он и напустился на Перова. — Вместо того чтобы этого самого монтажника Медведева вывести на чистую воду, вы что сделали?

Обычно он говорил Перову «ты», а сегодня «вы». Этим он хотел подчеркнуть, что обращается к Перову не от себя, Петухова, а от своей должности — инструктора райкома.

— Поощряете безобразия, разврат. Его товарищеским судом судить надо.

— Да ты разберись сначала, — сказал Перов. — У Васьки никаких таких намерений и в голове не было. У него хорошая семья...

Петухов оборвал его:

— Какая к черту хорошая, если он позволяет себе на глазах у всех запирается с чужой бабой?

— Дай бог, чтоб все так жили, как Медведевы! — ответил Перов. — Он и не думал запирается. Его самого заперли.

Но Петухов не желал слушать.

— Вы оставьте свою божественную терминологию. Поговорим на бюро.

На это Перов ответил, как говорили на войне: дальше, мол, передовой не пошлют.

Петухов решил кончать разговор:

— Все. Я вам категорически... — И осекся: сказать «запрещаю» не решился, пришлось выкручиваться. — Я вам категорически не советую в дальнейшем покрывать подобные дела.

Перов не остался в долгу и ответил:

— А я тебе категорически советую оставить Медведевых в покое. Неужели нет дел поважнее? Да вот журналиста спроси, что он скажет?

Петухов вопросительно посмотрел на меня. Я сказал, что здесь и говорить не о чем, Перов прав, и я тоже советую не поднимать шум.

Петухов вежливо осадил меня. Он сказал, что очень хорошо, когда приезжают корреспонденты, пожалуйста, мол, живите, наблюдайте, разговаривайте с людьми, но не встревайте, куда вас не просят.

Он ушел, я глянул на Перова, он давился от беззвучного смеха. Сидел с закрытыми глазами, платком вытирал слезы.

Распахнулась дверь, и в партком ворвалась Надя Серегина — секретарь комитета комсомола. Она быстро сунула мне руку и повернулась к Перову.

— Так дальше нельзя! — с ходу начала Надя. — Нет смысла жить!

В свои восемнадцать лет она не научилась еще, а может, и никогда не научится скрывать свое настроение. Все, чем жив человек, будь то радость или беда, так и рвалось наружу.

— Ближе к делу, — попросил Перов.

Надя повторила то, что давно было известно Перову, да и всему мостоотряду. Речь шла о выпускниках строительного училища. Месяц назад они прибыли в мостоотряд из Ельска, что в трех часах езды катером. Зарплату переводили им в Ельск, потому что они еще числились за училищем. В свою очередь дирекция училища должна была эту зарплату снова перевести своим питомцам. Таков закон. Но дирекция этого не сделала и просто отмалчивалась. Главбух мостоотряда трижды телеграфировал в училище, а оттуда ни звука. Ребята сидели без гроша, промышляли на толкучке своим имуществом, по ночам тащили с частных огородов помидоры и огурцы. Несколько дней назад один из них, Зайцев, обворовал столовую и все продукты роздал своим. Зайцева арестовали, потом выпустили под расписку о невыезде.

— Не знаю, как вы, — говорила Надя Перову, — а я утром кусок хлеба съесть не могу. Давлюсь, как вспомню, что они голодные. Посмотрела бы я на вас, если бы пришли вы в кассу, а вам говорят: зайдите через месяц? Как бы реагировали?

— Да что ты меня агитируешь, что я, не понимаю, что ли?

Надя напустилась на меня:

— Вы-то, пресса, неужели помочь не можете? Надо во все колокола бить! Я все равно так не оставлю. А то пусть другого комсорга выбирают, раз я не способна помочь людям.

Перов связался по телефону с речниками, узнал, когда отправляется катер в Ельск, спросил меня, не составлю ли я ему компанию съездить туда, поглядеть на ельских бюрократов.

— Я тоже поеду, — сказала Надя. — Я в ночь сегодня работаю.

Катер отходил через полтора часа. Перов собрался на шестую опору к Ваське Медведеву. Там не ладилось с новой буровой установкой. Ее прислали московские метростроевцы. На строительстве метро с пльвунами эта установка справлялась наилучшим образом, а на речном днище из рук вон плохо.

Несколько опор уже смонтировано, они торчат из воды и ждут, когда на них положат пролеты. На других еще ведутся работы. У каждого понтон с сарайчиком и кран. На первых забивают сваи, на вторых устанавливают колонны, на третьих кладут поперечные балки — ригели. На эти самые ригели и повезут скоро пролеты. Работы ведутся одновременно с двух берегов, двумя прорабствами. Бригада геодезистов обеспечивает точность установки опор. С утра они взбираются по отлогим шатким лесенкам на опоры и целый день жарятся на солнце, припав к окулярам своих приборов.

На причале в одиночестве покачивалась моторка Перова, а в ней дремал старик Демидов. Но дремал чутко. Начальство учуял еще изда-

лека, покопался в моторе, приладил веревочку, дернул ее, точно выстрелил в нас из мотора. Перов всегда задавал ему один и тот же вопрос и утром и вечером, да и вообще всякий раз, когда садился в моторку:

— Жив?

— Жив.

— Тогда поехали.

— На шестую?

— Угадал.

Демидов не угадал, а просто знал, куда начальству надо плыть, потому что не хуже самого Перова был осведомлен о делах стройки. Целый день он проводил на причале, где люди ждут транспорт, слышал, кого хвалят, кого ругают. Да и какое уж утро Перов начинал с шестой опоры.

Демидов вел лодку молча, сердито сверлил глазами встречный транспорт. Движение по реке было такое бойкое, хоть ставь орудовца. Шли груженные баржи-самоходки, сновали спортивные «метеоры», плыли прогулочные катера, разносился по округе голос Бернеса.

Большие дальнего рейса пароходы Демидов встречал с выключенным мотором — такие от них шли высоченные волны.

На шестой опоре — девушка. Это москвичи прислали специалиста по буровой установке — молоденькую инженершу. Вот уже неделя прошла, как инженерша пыталась наладить установку, но что-то у нее пока не получалось.

Бригада Медведева работала в трусиках. Во-первых, жарыща доходила до сорока градусов, во-вторых, то и дело приходилось нырять. Инженерша хотя и не ныряла, но тоже скинула платье. Ее пляжный вид никого не смущал. Что ж, самим можно, а другим нельзя?..

Сегодня на инженерше были еще темные очки и соломенная шляпа. Первым по этому поводу высказался старик Демидов.

— Бесстыдство, — сказал он.

Перов согласился:

— Да, это уж слишком.

Я не понял, почему «слишком».

Перов продолжал ворчать. Он явно готовил себя к разносу:

— Еще бы установку наладила, куда ни шло. Загорать, что ли, приехала? в отпуск?

Шестая опора встречала нас несусветным грохотом. Метростроевский агрегат скрежетал наподобие камнедробилки. Люди в бригаде Медведева переговаривались знаками и кричали друг другу в уши.

Демидов выключил мотор, поднял со дна лодки багор и сказал Перову:

— Ты ей прочитай лекцию, инженерше-то.

Встречал нас помощник Медведева Мамедов. Сам Медведев, завидев Перова, поспешно нырнул, потом вынырнул, подмигнул мне и снова ушел под воду. Он делал вид, что проверяет работу установки, а на самом деле просто побаивался встречи с Перовым, помнил вчерашнее.

Парторг обошел установку. Вчера она то и дело глохла, а сегодня всю грохочет, будто наверстывает упущения. Стало быть, все в порядке. Значит, все-таки не зря прислали москвичку, она-таки добилась своего. Перов перевел взгляд на инженершу, а у нее руки в боки, подбородок вверх — загорает инженерша.

Перову пришлось отказаться от разноса, и он даже проявил галантность, посоветовав инженерше помазаться вазелинчиком, а то, не ровен час, можно обгореть.

Мамедов отвел меня в сарайчик, где стоял бак с питьевой водой и висело имущество бригады и где было чуть-чуть потише. Там он мне объяснил, что никакого чуда не произошло, просто инженерша целую

неделю заставляла проверять все узлы установки. Короче, все дело было в наладке.

— Память у нее зверская, — рассказывал Мамедов. — Мы по чертежам да по синькам, а она наизусть шпарит.

Всякий раз, когда я встречал Мамедова, я вспоминал его прозвища. Их было два: «Москвич» и «Вокалист». Ни москвичом, ни вокалистом Мамедов не был. Родился он в Азербайджане и голосом не обладал. Прозвали его так из-за одного курьезного случая. Город посылал самодеятельный хор в Москву на профсоюзный фестиваль. Для укрепления хора понадобились дополнительные басы. Заявка пришла и в комитет комсомола мостоотряда. Мамедов действительно говорил басовито. Он изъявил желание попробовать свои силы, и его направили в клуб, где шли репетиции. Там руководителю хора сразу же стало ясно, что Мамедов петь не может, и он спросил, зачем тот пришел.

Мамедов сознался:

— Хочу в Москву. Не выгоняйте.

И его не выгнали.

Злые языки рассказывали, что Мамедов в Москве на сцене Большого театра стоял вместе со всеми, но не пел, а только открывал рот. На самом деле его использовали как рабочую силу — он таскал инструмент и другое имущество хора. Никто бы, может, и не узнал про мамедовскую проделку, если бы в мостоотряде не организовали самодеятельность и не записали бы Мамедова в вокальный кружок. Тут-то все и выяснилось.

Мы прибыли на опоре минут сорок. Медведев так и не вылез из воды. Уже в лодке Перов сказал мне:

— Васька-то сам себя проработал. Небось в медузу превратился.

Катер в Ельск отчалил в десять часов. Полным ходом мы проплыли шестую опору. Инженерша стояла все в той же позе: руки на бедрах, подбородок смотрит в небо. Перов опять забеспокоился, как бы в самом деле инженерша не спалила себя.

На корме пристроились два мужичка. Один сидел смирно, дремал. Другой честил его на чем свет стоит. Перов зачем-то пошел к ним, а мы с Надей остались под тентом.

Я еще не был с ней знаком, но уже кое-что про нее знал.

Как-то возвращаясь поздним вечером с левого берега катером, я оказался невольным свидетелем объяснения Нади с Зайцевым — тем самым парнем, что обворовал потом столовую. Конечно, подслушивать чужие разговоры непорядочно, но мне некуда было уйти. Вместе с нами домой возвращалась вторая смена.

Сначала Надя выговаривала ему за то, что он носит кольцо.

— Я понимаю — еще обручальное. Тоже, конечно, мешанство, смотрите, дескать, на меня, я женатый. Хотя подумаешь — достижение! А ты ведь из пижонства носишь. Смотреть тошно.

— Не смотри.

Но это было только началом, так сказать, прелюдией к разговору начистоту.

— Давай внесем ясность, — сказала Надя.

— Давай.

— Значит, Ольга тебе нравится больше, чем я?

— Больше.

Казалось, ясность уже внесена. Вопрос исчерпан. Но это со стороны так легко говорить. А если человеку еще нет девятнадцати и его оглушивают вот таким манером?

Надя усмехнулась и каким-то не своим, театральным голосом спросила:

— Что ж тебе в ней больше нравится? Нос?

— Нос.

— Может, и глаза, скажешь?

— Глаза тоже.

Надя помолчала минутку.

— Значит, у Ольги нос лучше?

— Лучше.

— И глаза лучше?

Зайцев молчал. Надя задумчиво смотрела перед собой в темноту. Катер качнуло, и от этого Надю прижало к Зайцеву.

— Прости, пожалуйста,— проговорила она и вдруг сказала: — Может, с начальством подружиться хочешь? Сначала за дочерью приударись...

Зайцев оборвал ее:

— Если бы ты парень была, я б тебе по шее надавал.

Надя защищалась, хотяхватила, как говорится, через край:

— Ольга Перова моя подруга. Может, ты карьерист?..

Зайцев процедил сквозь зубы:

— Ну, ладно.

Он повернулся к ней спиной и заработал локтями, чтобы уйти.

На него заворчали пассажиры, но он продолжал протискиваться от греха подальше.

Олю Перову я знал. Она дочь Валентины Александровны и Ивана Алексеевича Перовых. Внешностью она не слишком удалась. Для своих лет великовата, громоздка и в больших роговых очках ходит. Ее мать как-то жаловалась, что не может достать ей туфель — размер слишком большой. Есть модные, а Оля еще в десятом учится, в школьной форме ходит. Короче, Надя поинтересней будет, но после злых, и я бы даже сказал нечестных слов о карьеризме Зайцева мне, как и ему, не хотелось смотреть на нее.

Катер подходил к причалу. Народ колыхнуло к выходу. За моей спиной раздавалось тихое всхлипывание.

Через несколько дней, когда мы познакомились, Надя сказала:

— Мы с вами уже виделись. Помните, вечером на катере рядом стояли? Я с парнем одним ехала. Разговор у нас крупный был. Да вы слышали, конечно.

Я ответил, что никого не видел, ничего не слышал.

— Зачем вы меня обманываете? — возмутилась Надя. — Думаете, мне стыдно?

До самого Ельска Перов так и не вернулся к нам — присоседивался то к одним, то к другим пассажирам.

Наш катер «Иван Поддубный» плыл мимо пустынных с желтыми плешинами берегов. Мы сидели с Надей молча, потом она вдруг сказала:

— Я про вас все знаю. Вы с Перовыми вместе на войне были. Мне Оля сказала. Я и теперь все знаю.

— Что ж вы такое знаете?

— У вас с Валентиной Александровной роман был, но она вас бросила и вышла замуж за Ивана Алексеевича. Вот так.

Надя ждала, что я отвечу.

— Так уж и бросила,— сказал я. — Мы просто не сошлись характерами.

Надя усмехнулась и даже передразнила меня:

— «Не сошлись характерами»... Бросила.

Она встала и с независимым, гордым видом ушла. Это должно было означать, что мы квиты, что я, мол, про нее все знаю, а она про меня.

За время моей командировки по вечерам мы не раз вспоминали за стопкой и без оной нашу дивизию, но никогда разговор не касался нашего Валей романа. Что было — то было. Ведь двадцать лет прошло. О том, что она и Перов живы, я знал от общих фронтовых знакомых.

И вот командировка в мостоотряд. Еще в Москве в министерстве мне сказали, что парторгом в отряде человек по фамилии Перов. Я не придал этому значения. Мало ли Перовых на свете. Но приехав сюда, узнал, что парторг Перов и есть тот самый бывший замполит 101-й и что он здесь с женой Валентиной Александровной.

Не шуточное дело встретиться через двадцать лет. Я пошел в партком.

Перов был один. Одет в штатское, но я сразу узнал его. Он поглядел на меня через очки (раньше он очков не носил), затем стал читать мое командировочное удостоверение. Я ждал, что будет, и тоже смотрел на свое удостоверение, как на чудо, точно оно должно превратиться сейчас в жар-птицу. Но ничего такого не свершилось. Перов вернул мне мое чудо с круглой печатью уже в свернутом виде, еще раз поглядел на меня и сказал:

— Что-то знакома мне ваша фамилия.

Так часто говорят из вежливости, встречая корреспондентов из столицы. Я хотел было хладнокровно напомнить ему Сухиничи, деревню Милотичи, где был его, Перова, КП, Ржев, да мало ли мест, по которым топала наша дивизия, но тут в партком вошли люди. Перов позвонил коменданту, чтобы устроили мне жилье, и я ушел.

Меня поместили на «Бесстрашном». Я не успел разложиться, как вошла Валя. Значит, вспомнил все-таки...

— Прощу прощения, — сказала Валя, — я ошиблась. — Она смотрела на меня испуганными глазами, но не уходила. Она и узнала и не узнала меня.

— А может, не ошиблась все-таки?

Валя села на стул, и уже не испуг, а осуждение было в ее глазах. Я и сам почувствовал себя виноватым за то, что так изменился.

Около двух часов дня Перов, Надя и я сошли на берег в Ельске. Перов не зря перезнакомился с пассажирами «Ивана Поддубного». На берегу он сказал:

— Первый секретарь райкома — хороший мужик. Понимает с полуслова. Секретарь райкома комсомола новый. Еще и недели нет, как работает. Редактора местной газеты никто не знает. Фамилия Фролов.

Идея у Перова была простая: прежде чем отправиться в училище, заручиться поддержкой местных руководящих или влиятельных товарищей.

Город Ельск начинался с набережной. Асфальтированная улица с двухэтажными и одноэтажными домами шла чуть в горку. В конце этой улицы должна быть площадь. Там и размещались нужные нам учреждения. Оттуда в пяти минутах ходьбы — училище. Об этом Перов узнал тоже на катере. И, не теряя больше ни минуты, зашагал вверх по улице.

В глаза бросались громадные вывески: «Обувь», «Химчистка», «Часы». Я не сразу понял, что вывески эти такие же, как и в больших городах, стандартные, но здесь они кажутся непомерно большими, потому что висят на двухэтажных и одноэтажных домишках. Зато сами дома кажутся от этого еще меньше.

Перов пошел в райком партии, Надя — в райком комсомола, я — в редакцию. Договорились встретиться через полчаса на площади в скверике.

Редакция газеты размещалась в двухэтажном доме. Из окна первого этажа тянуло типографской краской. Узенькая деревянная лесенка вела вверх в редакцию. Там в квадратной прихожей на четырех дверях висели таблички: «Ответственный редактор», «Секретарь» и т. д.

По опыту знаю, что сначала тебя и выслушают, и осведомятся, как с жильем, и фамилии подскажут положительных героев, а уж потом засыплют вопросами: «А правда ли?..» Словом, почувствуешь себя, как дома.

Зам встретил меня с ледяной важностью. Я обрисовал ему положение, в которое попали ребята Ельского училища, но не вызвал сочувствия. После долгого молчания он сказал:

— Финансовый вопрос — вещь тонкая.

Сказал он это так, лишь бы не молчать. На самом же деле просто не знал, стоит газете ввязываться в эту историю или нет.

— Что ж здесь тонкого? Люди без гроша сидят.

— Я бы рекомендовал вам обратиться в райфинотдел.

Я понял, что делать мне здесь больше нечего. Если его спросить, который час, он тоже ответит: «Надо подумать. Вещь тонкая».

Я решил идти к редактору, но он оказался в отпуске. На улице меня догнал молодой человек с взъерошенной черной шевелюрой. На ремешке через плечо у него висел фотоаппарат. Он оказался литсотрудником местной газеты. Зам схитрил, решил послать со мной человека. Риска никакого, а гостя уважил.

Молодой человек отрекомендовался коротко:

— Игорь, — и энергично пожал мне руку.

Пришлось мне и ему коротко растолковать, для чего Перов, Надя и я приехали сюда. В ответ я услышал только два слова:

— Блеск! — сказал он. — Пошли.

Передо мной был врожденный репортер.

Наде Серегинной не повезло. В райкоме комсомола она застала только машинистку. Вернулся Перов. Он-таки добился своего. Секретарь райкома сам обещал пойти в училище.

До училища было рукой подать — за угол и на тихую улочку всю в садах. Только крыши видны.

Двухэтажное здание училища стояло в лесах. Его ремонтировали. Ремонт шел и внутри. Ящики с раствором, мешки с мелом преграждали дорогу. Директриса, товариш Орлова, встретила нас в вестибюле, явно приняв за экскурсантов. Пожимая каждому руку, она приговаривала:

— Рада — Орлова. Очень рада — Орлова. Рада — Орлова. Очень рада — Орлова.

Она сказала еще, что мы приехали не вовремя, сейчас полным ходом идет ремонт и что, если бы мы приехали недельки через три, вот тогда было бы на что посмотреть. К этому она еще добавила, что училище образцово-показательное, какой уж год держит переходящее красное знамя и она, Орлова, уверена, что впредь никому знамя не отдаст.

— Мы как — с мастерских начнем или ко мне сначала — побеседовать?

Перов ответил, что сначала хорошо бы побеседовать.

— Скажу откровенно, уж вы на меня не обижайтесь. Экскурсии нас замучили. Мы, конечно, народ вежливый. Чем богаты, тем и рады.

Игорь не жалел пленки — щелкал все вокруг.

Орлова привела нас в директорский кабинет, указала нам на диван и стулья, сама уселась за свой стол в кресло. Она уставилась на меня, как на портрет, и мечтательно заговорила:

— Москва... Давно не была. Редко, очень редко стали проводиться совещания. Не слышали, Краснов не собирается созвать нас?

Я понятия не имел, кто такой Краснов, и тем более не знал, собирается ли он созывать совещание.

— Нет, не слышал,— ответил я.

— Хотя вы и дорогой гость,— продолжала она, глядя на меня,— но я человек откровенный... Огорчаете вы нас новыми фильмами. Настораживаете. Я, между прочим, сигнализировала. Так что с фильмами вам надо подтянуться.— Она отечески улыбнулась.— Обещаете?

— Обещаю,— ответил я.

Игорь, наставив на нее аппарат, шелкнул.

Орлова, увидев это, откинулась на спинку кресла, развела руками.

— Товарищ корреспондент, что ж вы меня не предупредили? Я не успела, как сказать, организовать себя. Да и зачем одну-то меня? Вместе с товарищами надо.

— Пленки много,— отозвался Игорь.— На всех хватит.

Орлова обратилась к Перову:

— Ну, а как наши питомцы поживают?

— Плохо поживают.

— Не поверю.— Она погрозила Перову пальцем.— Если что не так с ними, с вас спросим.

— Голодают ребята,— сказал Перов.

— Не понимаю.

— Что ж тут не понимать. Голодают. Зарплату не шлете. Телеграммы наши получили?

Орлова отреагировала только на слово «голодают». Других слов — «зарплата», «телеграммы» — она не услышала. Повернула ко мне голову, но отвечала Перову:

— У нас, товарищ Перов, в стране никто не голодает.

Перов повысил голос:

— Я про зарплату спрашиваю. Почему не перевели?

— Переведем. Мы их подъемными снабдили. Родители — продуктами.

В разговор вмешалась Надя:

— Из-за вас один обворовал столовую, чтоб накормить остальных.

— Это кто ж такой?

— Зайцев.

— Он никогда не вызывал доверия.

— Почему не вызывал?

— Несолидный, знаете.

Надя с трудом усидела на стуле.

— А вы солидные? Прикарманивать чужие деньги солидно? Из-за вас человеку тюрьма грозит!

— За эти слова ответите,— сказала Орлова. Она зачем-то подняла телефонную трубку, но положила ее на место.— Мы показательное училище...

Оскорбленным голосом она сказала, что никто не собирался прикарманивать чужих денег. Райисполком только на конец третьего квартала ассигновал училищу деньги на ремонт. Буквально через несколько дней деньги будут получены. Рискованно было затягивать ремонт, ведь новый учебный год на носу, а училище как-никак показательное.

Один только раз я видел Перова в гневе. Это было на войне. Он выстроил батальон и сорвал погоны с проворовавшегося старшины.

Но у Орловой погон не было. Перов соскочил со стула и хлопнул себя по боку, как по кобуре.

— Что вы делаете?

Досталось и мне. Перов тряхнул меня за плечо и потребовал:

— Смотри, чтоб в Москве про это узнали! И чтоб фотография была.

— Будет,— заверил Игорь.

Пришел секретарь райкома. Молча поздоровался, сел.

Щеки у Орловой пошли пятнами, а лоб побелел.

— Я прошу вас,— обратилась она к секретарю,— оградить меня...

Секретарь выслушал, в чем дело. Вызвали бухгалтера. Явился старичок в очках с железной оправой. Дужка его очков была обмотана бинтиком. Он сообщил, что от зарплаты ребят осталось несколько рублей. Училище полностью закупило стройматериал для ремонта, выдало аванс рабочим.

— Как же вы на это пошли? — спросил его секретарь.— Вы же бухгалтер, знаете, что за это бывает?

Старичок молчал. Потом на лестнице он мне пожаловался:

— У меня сорок лет безупречного стажа. Разве я не говорил, что так нельзя. Где там! Разве послушают...

Маляры в газетных колпаках орудовали кистями. От их пятнистых спецовок рябило в глазах. Один сопровождал свою работу молодежатым напевом: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо...» Завидев Надю, он подмигнул ей. А она возмутилась и сказала:

— Калымщики, распелись. Их бы тоже привлечь.

— Они не виноваты.

— Все виноваты.

На Орлову, когда мы были еще в ее кабинете, будто нашел столбняк. Но потом она вышла вместе с нами на лестницу и на улицу. Пятна сошли с ее щек, лоб порозовел. Она неожиданно схватила секретаря за руку.

— Спасибо, товарищ Денисов.

Денисов отнял свою руку, спросил:

— За что спасибо?

— Я поняла, что сделала. Меня убить мало.

Перов закурил. Хотел, наверно, выругаться, но сдержался, кашлянул, потом затыкнулся. Я тоже закурил. Даже бойкий литсотрудник Игорь и тот был сражен наглостью директрисы. Секретарь хотел что-то сказать, но его опередила Надя, всегда верная своему правилу: резать правду-матку в глаза.

— Лично я вам не верю,— заявила она.

— Я тоже,— сказал Денисов.

Снова лоб Орловой побелел, щеки пошли пятнами.

Ей бы хоть день, хоть два подождать каяться, благодарить за урок. А то ведь и пяти минут не прошло, а уже бьет себя в грудь. Наверно, не впервые попадает впросак. Иначе откуда такое бесстыдство?

В пять часов вечера тем же катером «Иван Поддубный» мы возвращались домой. Перов хотел во что бы то ни стало выбить деньги в тот же день, но уже перед обеденным перерывом стало ясно, что этого сделать не удастся. Только утром банк сможет перевести в мостоотряд зарплату ребят. Да и на том спасибо. Если бы не Денисов, мы бы не справились с банком. Нам бы просто предложили оставить заявление. Но Денисов поднял на ноги райисполкомовское начальство и прокуратуру.

— Оставайтесь, переночуете,— предложил он.— Так ведь вам спокойней будет.

Но остаться — значило обидеть хорошего человека: мы, мол, и ему не доверяем.

— Вы напрасно в райком раньше не сообщили,— сказал он Перову.— Думали, наверно, весь Ельск — шарашкина контора?

— Нет, не думали,— ответил Перов.

У Нади Серегиной была своя забота.

— Как с Зайцевым будет? — спросила она Денисова.

— С кем?

— Ну, с парнем, что столовую обворовал. Ему же тюрьма грозит. Я заходила в райком комсомола, никого не застала. Везде формализм. Характеристика для суда нужна.

— Кто о чем,— проговорил Перов и вздохнул.— Вытащим мы твоего Зайцева.

Надя разозлилась и вспылила:

— Может, он больше ваш, чем мой?

— Будет характеристика,— пообещал Денисов.

Литсотрудник Игорь проводил нас на причал. Он бил себя в грудь и говорил:

— Никогда не прощу себе. Под самым носом такое безобразие, такой блеск, а я ни черта не знаю.

Вечером наш «Бесстрашный» полон приглушенных звуков: где-то бренчит балалайка, поет патефонная пластинка, репродуктор рассказывает последние известия, стучат костяшки домино.

Перовы позвали меня ужинать. Скоро пришли к ним и супруги Синайские: Аркадий Александрович — прораб с левого берега, тихий седой человек, и его жена Римма Борисовна — секретарь-машинистка, полная, с накрашенными губами. Еще Римма Борисовна заседатель в товарищеском суде. В противоположность мужу она делала все очень громко — ходила, говорила, хлопала дверьми. Аркадию Александровичу было за пятьдесят, Римме Борисовне — за сорок. Была у них дочь Светлана — десятиклассница. Светлана до одури зачитывалась стихами молодых поэтов. Ее страсть к поэзии — гордость Риммы Борисовны.

Во второй или в третий вечер после моего приезда она подошла ко мне и спросила:

— Вы в стихах что-нибудь смыслите? Дело в том, что наша Светочка пишет стихи, и, кажется, гениально. Я хочу знать ваше мнение. Вы читаете? — И, не дождавшись моего ответа, Римма Борисовна закричала: — Светлана, иди сюда и принеси человеку свои стихи.

Светлана не вышла и даже не отозвалась.

— Что вы на это скажете?

Я виновато развел руками.

— Нет, можете мне поверить. Она гениальна.

Они были харьковчанами, но уже более двадцати лет не жили там. В Харькове даже и дома не осталось, где они прежде жили, — его разбомбили в войну. Теперь их квартира и дом там, где Аркадий Александрович строит мосты.

По словам Риммы Борисовны, ее конечной целью было заставить Аркадия Александровича бросить наконец якорь и не где-нибудь, а снова в Харькове. Она вела наступление на Аркадия Александровича с двух сторон. То жалобами на свое здоровье, то покупками гарнитуров, которые негде было ставить. В магазинной упаковке они засовывались в трюмы «Бесстрашного».

Пожалуй, если кто и мог пожаловаться на здоровье, то прежде всего сам Аркадий Александрович. Частенько на планерках он вынимал из карманчика пиджака крошечный пузырек с валидолом.

— Конечно,— говорила Римма Борисовна,— если я очень захочу, мы-таки будем жить, как люди, и у нас будет квартира. Можете мне поверить.

О том, что Римма Борисовна в семье верховодила, знали все и удивлялись, почему она до сих пор не заставила Аркадия Александровича бросить якорь. Однажды я даже спросил ее об этом. Римма Борисовна долго, изучающе смотрела на меня, потом спросила:

— Вы что — следователь?

На столе у Перовых сегодня отварная картошка, консервы в рыжем томате, селедка, водка для мужчин, вермут для женщин. После первой стопки вермута у Риммы Борисовны зарозовели щеки.

— Эх, не видела вы меня раньше, — пожаловалась Римма Борисовна. — Светочка красавица, это все знают. Так она вылитая я. Вот этот человек, — указала она на Синайского, — сделал меня такой. Я пошла за него, думала, что он Эйнштейн. — Она повернулась ко мне. — Или Эйнштейн тогда еще не был главным?.. Ну, все равно, думала, что он — Эдисон, а из него вышел цыган. К чему это я говорю?.. А, вспомнила. Между прочим, в электросбыте появились удивительной красоты торшеры.

— Куда тебе еще торшер? — спросил Аркадий Александрович.

Римма Борисовна в недоумении уставилась на него.

— Это ты меня спросил или мне показалось?

— Я.

— Ну, хорошо, из тебя не получился гений. В конце концов это не твоя вина, но когда ты успел стать скрягой?

— Куда ты его поставишь, этот торшер? — защищался Аркадий Александрович.

— Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Я хочу торшер. Я мечтаю иметь торшер. Всю жизнь мотаюсь с тобой по свету, а ты спрашиваешь, зачем мне торшер и куда я его поставлю.

— Римма права, — сказала Валя Перова. — Я тоже хочу торшер. Сколько он стоит, Римма?

— Две тысячи рублей в новом масштабе цен, — сострила она.

— Купим, — сказал Перов.

— Вот это человек. — Римма Борисовна глубоко вздохнула. — А ты не человек. Сгубил мою молодость. И какую молодость. Я была неопи-сваемая.

Заговорили о делах. К концу недели предстояло установить на опоры самый большой пролет в тридцать метров длины. Сейчас он «дозревает» — сушится на левом берегу. Потом его поставят на понтоны, и он поплывет к месту своего назначения. Конец своей командировки я приурочил именно к этому дню. Я понимал, что никакого светопреставления не случится, но уж очень хотелось своими глазами посмотреть, как это такую машину повезут и будут поднимать на двадцатиметровую высоту.

— Начальник флота обещал обеспечить погоду, — сказал Перов. — Тогда можно считать дело сделанным.

Начальник флота — маленький юркий человечек, которому ни в чем нельзя доверять. Спросишь, когда пойдет катер, он ответит: «Через десять минут», а ты прождешь час. Может, беспокойная должность сделала его таким. Сотни людей обращаются к нему за день. Легче пообещать, чем отказать. За прогноз погоды он отвечал тоже и, побаиваясь Перова, обещал обеспечить безветренный, ясный день.

— Начальник флота — пингвин, — сказала Римма Борисовна.

Аркадий Александрович поправил ее:

— Ты хотела сказать «пигмей». Пингвины — хорошие ребята.

Пришел инструктор райкома Петухов. Перов предложил ему водки, тот согласился, выпил стопку.

— Где ты весь день был, я тебя разыскивал, — спросил он Перова.

— А что случилось?

— Завтра к вечеру представишь список охваченных учебой и отдельно кто не учится.

— Всего делов-то?

— Я не шучу. Секретарю для доклада на конференции данные нужны. Я тебе раз десять сегодня звонил. На рыбалку, что ли, ездил?

— А чего звонить? Попросил бы передать — и все. А на рыбалку не ездил. Червей не заготовил.

— Мне бы на твоём месте не до остроумия было. Что ни день — то ЧП.

Я решил, что он опять заговорит сейчас о Ваське Медведеве и Соньке Сапожковой, но Петухов промолчал о них. Новое ЧП касалось дочери Сапожковой — Веры. Синайский — дело происходило на территории его прорабства — рассказал, что Вера Сапожкова во время работы надавала пощечин бригадирше за то, что та обозвала Верину мать проституткой. Бригадирша веником запустила в Веру, но промахнулась, веник попал на транспортер и его застопорил, короче — шуму было много. Веру доставили в милицию, но скоро выпустили и теперь будут судить товарищеским судом.

— Зря выпустили, — сказал Петухов. — Я вообще не понимаю милицию и прокурора. Обворовали столовую — вор гуляет на свободе. За хулиганство на производстве по меньшей мере надо было вкатить пятнадцать суток...

— Послушайте, — перебила его Римма Борисовна, — у вас есть мать? Как бы вы реагировали, если бы ее тоже вот так обозвали? Я хочу сказать — нецензурно?

— Я прошу не проводить аналогий, — отрезал Петухов.

Но Римма Борисовна не любила, когда урезали ее права:

— Просить — ваше дело, а уж проводить или не проводить эти аналогии — мое дело. Я заседатель в товарищеском суде и знаю, какие аналогии проводить... И что вы на меня так смотрите? — Римма Борисовна поднялась. — Пойдем, Аркадий, я не люблю, когда на меня так нехорошо смотрят.

Синайские ушли. Петухов прикрыл за ними дверь, давая понять, что хочет сказать что-то важное, секретное.

— Монтировали сегодня оболочку колонны, — начал он. — Опять швы не подходят. Когда это кончится? Смотрим на брак, будто нас это не касается.

— Открой дверь, — сказал Перов. — Чего закрыл дверь?

— Слушай, я тебе о деле говорю.

Перов встал и сам открыл дверь.

— Никто с браком не мирится, — ответил он, усаживаясь на свое место. — Мы, что ли, эти оболочки делаем? Нам их за тысячу километров посылают. Да и брак невелик, заварят швы за милую душу.

— А потеря во времени?

— И потеря во времени невелика.

— Послушаешь тебя — так и недостатков нет.

— А послушаешь тебя — и жить не хочется. Есть недостатки. Сколько угодно их. Только панику пороть нечего.

Я не удержался и спросил:

— Почему вы всем так недовольны?

— Что вы хотите сказать?

Я ответил, что надо радоваться, если прокурор или милиция сочли возможным выпустить до суда на свободу человека, не признав его опасным преступником; надо радоваться, что милиция выпустила Веру Сапожкову, чтобы коллектив сам разобрался в ее поступке; надо радоваться наконец, что в семье Медведевых все в порядке. И еще я сказал ему, что он думает о людях хуже, чем они есть на самом деле, что, кажется, он только и ждет, чтобы кого-нибудь проработать, уличить, наказать.

Петухов ответил на все это не моргнув глазом:

— Вы человек приезжий и не знаете их. — Он снисходительно улыбнулся.

Тут сорвался Перов:

— Кого их? Ты думаешь, о чем говоришь? Кого ты называешь «их»? Меня, мою жену, Синайских, Медведевых? Ты-то сам из другого теста, что ли, сделан?

Я смотрел на Петухова, ему наверняка не было еще и тридцати пяти. Откуда такая самоуверенность, откуда надменность? От глупости или от ложного усердия? От чего бы ни было — радости, а тем более пользы от него никакой. Верно, разойтись ему не дадут, но кровь людям он попортит. На прощание он обратился к Перову не на «ты», как обычно, а на «вы»:

— Зайдите, пожалуйста, завтра в райком.

Этим он хотел подчеркнуть, что обращается к Перову не от себя, Петухова, а по своей должности — инструктора райкома.

— Зайду обязательно, — отозвался Перов. — Давно не был.

Он ушел, и мы разлили по стопкам остаток водки. На полстопки еще оставалось.

— Налей и мне водки, — попросила Валя.

— Это еще что?

— Охота выпить.

Перов пожал плечами, но водку налил. Выпили. Перов крикнул, я про себя выругался, Валя быстро стала заедать чем-то. Потом спросила:

— Интересно, Петухов этот женат?

— Черт его знает, — ответил Перов. — Наверно, женат. Ваш брат не очень-то разборчивый.

Он встал, вышел на палубу, закурил, облокотился на борт, позвал меня по-старому, по-военному:

— Иди сюда, старшой, подышим.

От причалов с нашего берега и с левого поплыли катера с третьей сменой. Шум на реке не умолкает ни днем, ни ночью. Стоит остановить взгляд на одной из опор — и ты слышишь то, что творится именно на той опоре, будто не ушами, а глазами слышишь. Смотришь на шестую и ясно слышишь голос. На восьмой будто бьют молотом по наковальне. Это забивают в дно сваи. Опоры словно в движении. Это покачиваются понтоны с кранами, колышутся огни. На реке они расплываются и кажутся ярче, чем на понтонах. А вот поплыли катера с нашего берега, но с городского причала. Там тоже едет третья смена, на левый берег. На левом берегу — основной промышленный район города. Для него и строится мост. Раньше до левого берега было метров четыреста, а теперь почти три тысячи метров. Большие грузы возят на пароме. Еще есть железнодорожный мост, но он далеко от города. Всю свою долгую жизнь город мечтал построить мост. В промышленном институте из поколения в поколение студенты в своих дипломных работах защищали проекты этого моста. Верно, если бы до войны построили, теперь бы пришлось перестраивать. На левом берегу Большая химия. Ей без моста зарез. Потому и строят в ударном порядке сутки напролет.

За спиной раздался чей-то голос:

— Добрый вечер.

Это пришла домой Оля Перова. Очень похожа на мать, только Оля носит большие роговые очки.

— Нагулялась? — спросил Перов.

— Нагулялась.

Оля прошла в каюту, а Перов спросил не то меня, не то самого себя:

— Неужели романы крутит?

— А ты что думаешь?

Перов покачал головой.

— Теперь опять лет на двадцать пропадешь?

— Не знаю. Да и искать-то где тебя?

— В министерстве скажут.

С минуту помолчали. Потом Перов снова заговорил:

— Стареем, старшой. Суетимся.

— А ты не суетись.

— Попробуй... Зачем мы сегодня в Ельск ездили? Я иной раз, хоть убей, не могу понять людей. Возьми эту директоршу Орлову. Поглядишь — женщина как женщина. И недурна собой. А что творит? Для того чтобы пустить кому-то пыль в глаза, не отдать переходящее знамя, толкает людей на преступление! А Петухова взять. Изобретает себе противников. Для чего? Пусть видят, что он борется. А за что борется?

Его перебил голос Оли:

— И ты, папочка, борись.

Она прошла мимо с полотенцем через плечо.

— Слышал? — спросил Перов.

— Слышал.

— Выросла, чертовка. Наверняка романы крутит.— Он сделал паузу.— Так вот я что хочу сказать. Я на своем веку таких орловых и таких петуховых навиделся. Живучи они, но конец один. Бесславный. Придумали себе, что есть обстоятельства, когда полезно и даже необходимо, например, черное называть белым, а белое черным. И что подлее всего, прикрываться при этом красивыми словами... Ну не сукины сыны? Давай опозорим Медведевых, давай из Зайцева сделаем вора-рецидивиста, давай вкатим Верке Сапожковой пятнадцать суток. И все, мол, будет правильно!.. — Он выругался и даже плюнул. Потом закурил новую папиросу.— Пойду поброжу по городу.— И пошел к трапу.

Наш «Бесстрашный» отошел ко сну. Двери хотя и оставались открытыми, но проемы были занавешены простынями. Кто-то еще слушал последние известия. Почему-то ночью голоса дикторов звучат тревожнее, чем утром или днем. Я прислушался, но ничего тревожного не услышал.

С кормы виден весь фронт работ, залитый огнем, то есть там, где будет мост. Оба крыла его уходят в глубь берегов и сливаются с огнями городских улиц. И уже не понять, где кончается мост и начинается город.

Опоры кажутся в непрерывном движении. Не умолкает гул. Этот гул подхватывает левобережный завод по изготовлению пролетов. Пролеты изготавливаются на громадных стендах. Сначала монтируется проволочный каркас, потом каркас поступает на стенды и заливается бетоном. Бетон заливают днем и ночью, вибраторы выравнивают его. Сюда доносятся только гул вибраторов, а там, у стендов, они немилосердно грохочут, вырываются из рук.

Здесь очень гордятся своим заводом. Рядовой монтажник и главный инженер не упускают случая вернуть цифры: восемьсот тридцать тонн вес блока, семьдесят метров длины. И эти тонны, и эти метры как-то не укладываются в голове, когда смотришь сейчас на крошечные фигурки людей, мелькающие на ночных опорах.

Товарищеский суд начинался в семь часов. Заседать он будет на левом берегу в клубе. Еще не было шести, когда я отплыл туда, потому что потом катера до восьми не будет.

По вечерам левый берег встречает нас зазывными аккордами аккордеона. Это танцплощадка начинает свою работу. По словам Нади Сегеиной, танцплощадка на левом берегу — темное пятно в ее, Надиной,

биографии. Она, конечно, не против танцев. Она только против того, чтобы с людей сдирали по полтиннику за вход.

— Еще бы живой оркестр играл,— говорила Надя,— а то ведь пластинки крутят.

Дважды она давала бой в городском отделе культуры, в ведении которого танцплощадка. Каких только речей она там не произносила!

— Я говорила им,— рассказывала она,— что они не советские люди, халуги и вымогатели. Думала, испугаются. Ни капельки. Бронированные.

Тогда Надя решила задушить их конкуренцией. Достала где-то старенький патефон. На собственные деньги купила пластинку «На сопках Маньчжурии». Стала заводить патефон на крыльчке одного из общежитий и прогорела. Во-первых, площадка перед крыльцом пустяковая, вторых, голос у патефона в сравнении с репродуктором ничтожный. Да и сам антураж танцплощадки привлекал: площадка огорожена высоким дощатым забором, в будке кассирша сидит, контролер билеты проверяет, механик, что радиолу запускает, копия красавца Кадочникова. Человек заплатит рубль за двоих — и вроде первый шаг к сердцу сделан. Еще забыл сказать, что у танцплощадки палатка пивом торгует и не как-нибудь бочковым, а бутылочным, «жигулевским», которого в городе ни в будни, ни в праздники не сыщешь. Так что и с правого берега вечером народ плывет туда.

У общежития бывших ельских учеников сидит вахтерша. Меня она знает и пропускает, не спросив: «Куда прешь?» Но потом, когда выходишь, она прощупывает тебя глазами так, что в пот бросает, будто ты в самом деле утащил что-то. Главной ее заботой был электрический утюг. Такие предметы, как простыни, наволочки, чайники, почему-то ее не заботили. А над утюгом она установила свой неусыпный надзор. Верно, для ребят он был вещь необходимой. По вечерам они наряжались в белые рубашки, так что стирать их приходилось часто, стало быть, и гладить тоже. Даже в самой крайней нужде, когда не платили зарплату и спасала толкучка, белые рубашки оставались неприкосновенными. Кстати, зарплату ребята получили сполна. Еще два дня назад.

Я зашел в первую комнату, во вторую, третью — пусто. Голоса раздавались из красного уголка. Своим существованием красный уголок обязан все той же Наде Серegiной. Она буквально выбила все это в левобережном райкоме партии. Об этом мне рассказал сам секретарь райкома. Мостоотряд не имел к нему прямого отношения, хотя и находился на его территории. Ну, а у тех, к кому он имел отношение, руки не доходили. Я имею в виду райком с правого берега. К тому же там инструктор Петухов. Мелочами он заниматься не любит. Так вот, Надя явилась к секретарю левобережного райкома и со свойственной ей прямоотой спросила:

— Вы марксист?

— Марксист.

— Кто сказал, что бытие определяет сознание?

— Маркс. Ты чего меня экзаменуешь?

— Какое у людей будет сознание, если они живут на голых тюфяках, без наволочек, а в красный уголок войти страшно — мышами пахнет?

После такой постановки вопроса секретарю ничего не оставалось делать, как обязать одну из подведомственных организаций взять шефство над общежитием. Тут и появились наволочки и простыни, репродукции с картин на стенах красного уголка — словом, все, чем богато сегодня общежитие. Здесь, в красном уголке, и состоялось мое первое знакомство с ельскими ребятами. Помню, вошел и натолкнулся на двадцать пять пар молчаливых враждебных глаз.

— Здравствуйте,— говорю.

Молчат. Никто не предлагает сесть. По опыту знаю, что такое бывает от смущения при виде нового человека. Спрашиваю: как живете, что, мол, хорошего? Опять молчат. Я еще вопрос: давно ли приехали, и вставляю, что сам я по корреспондентским делам из Москвы. Отозвался один голос:

— Лучше бы не приезжали.

И тут уж всех прорвало. Тут я и узнал, в какую беду ребята попали — зарплату не получили. Общее мнение высказал тогда Зайцев:

— Мы бы, конечно, сорвались, да обидно. Получается, зря вкалывали. Мы на том пролете, что повезут, ночи недосыпали. Там опалубки нашей больше, чем у других местных. Охота своими глазами посмотреть, как повезут и устаноят.

Потом уже я Зайцева встретил на катере с Надей Серegiной, когда он ей отставку давал.

Сегодня ребята тоже о чем-то голосили в красном уголке. Я открыл дверь, вошел. Кажется, все в сборе.

— Здравствуйте.

И как при первом знакомстве, меня встретило множество враждебных глаз и никто не ответил на мое «здравствуйте». Неужели еще что стряслось? Некоторым здесь еще нет и семнадцати, а сидят с озабоченным видом и, как взрослые мужички, обсуждают свою житуху. На этот раз ребята заговорили первые. Вопрос они решали нелегкий: как сделать, чтобы Зайцева судил суд не настоящий, а товарищеский, вот такой, какой сегодня будет судить Верку Сапожкову?

— Мы же его соучастники, раз вместе продукт съели,— говорил один.— Пусть и нас судят.

— Нам по комсомольской всыпят,— ответил другой.

— Ну и ему пусть по комсомольской. Столовая теперь не в убытке. Мы деньгами все возместили.

Другой пояснил:

— Они что говорят? Если каждый будет замки сбивать, тащить что хочет, а потом деньгами возвращать, так что получится?

— А кто заставляет замки сбивать? С них и спрашивать надо.

— С них тоже спросят.

— Пусть на товарищеский передадут.

— Не выйдет. Надька где только не была.

— Ладно,— заключил кто-то.— Поживем — увидим. Меня вот что интересует: американцы попрут опять на Кубу или нет?

— По-моему, не попрут,— ответил я.

Парнишка с осипшим, ломающимся голосом задал вопрос совсем из другой оперы:

— А почему Ботвинник в матче с Талем отказался от секунданта?

— А ведь верно, почему? — стали наседать на меня другие.

— Нельзя ли что-нибудь полегче? — попросил я.

Меня кто-то выручил, заявив:

— На кой черт секундант? Что он — лучше, что ли, гроссмейстера понимает?

Однако парнишка с ломающимся голосом настаивал на своем:

— Неясно что-то.

Несколько дней я не встречал Надю Серegiну и спросил ребят, не знают ли они, где она и в какую смену работает.

— С утра работает. Вместе домой шли.

На крыльце я столкнулся с Зайцевым. На нем была ослепительной белизны рубашка, выглаженные брюки.

Он поднял руку и двумя пальцами приветствовал меня.

— Привет.

— Привет.

— Вы у моих ребят были?

— Был.

Зайцев покачал головой.

— Дети. Думают, я боюсь суда.

— А ты не боишься?

Он усмехнулся.

— В худшем случае условно дадут.

— Тоже не сладко.

— Пустяки.

Я понял, что у него на душе не очень-то весело, потому и пижонит, и советовал ему:

— Ты, главное, на суде-то не пижонь, а то и не условно получишь.

— Проживем.

— Я тебя не учу, а по-товарищески советую.

— Спасибо.

— Ну, иди. На свидание?

— Ага. Вопрос можно нескромный?

Я ждал, что он меня спросит.

— Так можно или нет?

— Задавай, я жду.

— Вы каких лет, так сказать?... Ну, когда у вас первая женщина была?

Я привык к любым вопросам: попрут ли американцы на Кубу, почему Ботвинник отказался от секунданта, но такие вопросы мне еще никто не задавал.

— Иди,— сказал я ему.— Опоздаешь.

Он усмехнулся и пошел к причалу.

Я подумал, что не к добру его интересуют подобные вещи. Угроза быть посаженным черт знает на что может его толкнуть. Терять, мол, нечего. А ведь шел, щенок, на свидание с Олей Перовой. Их роман не секрет. Час назад я заходил к Перовым. Оля сидела перед зеркалом, прихорашивалась, то напускала на лоб челку, то убирала ее.

В женском общежитии не было ни души. В такое время после работы все на реке. На всякий случай я постучал в дверь Нади Серегиной. За дверью раздался незнакомый голос:

— Кто там? Войдите.

Я вошел. Надя пластом лежала на кровати. Никого больше не было.

— Вы ко мне? Садитесь.

Я сел.

— Что у вас с голосом? Заболели?

— Кажется.

Она села, спустила ноги на пол. Глаза у нее были красные. Похоже, что она плакала.

— Так вы лежите, я на минуту.

Надя отрицательно тряхнула головой и вдруг спросила:

— О чем вы говорили сейчас с Зайцевым? Я в окно видела — стояли с ним.

Я ответил, что говорили с ним о новом пролете, который завтра повезут на опоры. Ответил так, что в голову пришло. В эти дни новый пролет у всех был на языке.

Надя состроила презрительную гримасу.

— Не хотите говорить — не надо.— Она стала смотреть в окно. Может, ждала, что я все-таки скажу, о чем говорил с Зайцевым.

Я спросил, пришла ли характеристика на Зайцева из Ельска.

Надя ответила, не отрываясь от окна:

— Не знаю.

Я спросил, не запрашивала ли она письменно.

— Нет.

Я сказал, что хорошо бы поторопить их.

Надя взорвалась:

— На мне, что ли, свет клином сошелся? Пусть кто хочет торопит.

На ее тумбочке лежала тоненькая ученическая тетрадка. На ней большими буквами было написано: «План работы», и ниже буквами поменьше: «Что ты сделала сегодня для человека?» Надя увидела, что я смотрю на тетрадь, схватила ее и сунула под подушку.

Я встал.

— Выздоровливайте.

И пошел к двери. Надя вдогонку закричала:

— Я не больная вовсе! Может быть у человека плохое настроение?

На улице я ругал себя за то, что зашел к ней. В самом деле, ведь может быть у человека плохое настроение. Надо было сразу уйти. Не так уж весело смотреть в окно, как бывший друг в парадной рубашке идет на свидание с другой.

Перед началом товарищеского суда выяснилось, что будет разбираться еще одно дело — кочегара Кочанова. Он обвинялся в краже трехметровой трубы. Дело его, как и дело Веры Сапожковой, поступило из милиции на суд общественности.

Клуб у мостоотрядцев хотя и одноэтажный, но большой. Строили его добротнo, навечно, как и сам мост. Сидишь не на какой-нибудь скамейке или на стуле, а в креслице. Таких креслиц здесь штук пятьсот. Зеленый бархатный занавес тоже говорил о том, что строили не на день и не на два. Тут и кино можно показывать, и пьесы играть, собирать строителей на собрания.

Сегодня двери все настежь: входи, мол, кто хочет. Вера Сапожкова и кочегар Кочанов сидят в первом ряду рядышком. Вряд ли они были знакомы раньше, но сегодня они оба обвиняемые, сама судьба посадила их рядом. Позади них несколько рядов пустых, а затем уж публика. Пока пришли только женщины. Мужчины потом подойдут — палатка с пивом у танцплощадки открывается в семь. По бутылке выпьют и придут.

На сцене — небольшой столик. За столиком сидят председатель суда и два заседателя. Председатель по фамилии Воркунов, он начальник транспорта левобережного прорабства. У него рыжие усики и такие же рыжие колючие глазки. Одет он в синюю отутюженную пару. Воротник белой рубашки апаш лежит поверх пиджачного воротника. Слева от него заседательница Женя — диспетчерша, она с нашего берега; справа — Римма Борисовна Синайская. Она не только заседатель, но еще и секретарь суда.

Многие пришли сюда с детьми. Совсем маленькие сидели на коленях матерей. Те, что постарше, разгуливали между рядами. Мелюзга школьного возраста выставлялась за дверь. Но двери-то были открыты, и они снова ныряли в зал и пристраивались на корточках между рядами.

Когда народу подсобралось достаточно, Воркунов встал и объявил, что суд приступает к рассмотрению первого дела. Первым судили кочегара Кочанова.

Работал Кочанов на паровозе. Паровоз этот в рейс никуда не ходил, а только отдавал свой пар всевозможным теплякам, тем самым поддерживал в тепляках нужную температуру. Работал Кочанов на паровозе с напарником. Вечно их чумазные лица торчали из окошек паровоза. Сам паровоз пышет жаром, из всех щелей струйки пара вьются, а в окошках кочегары сидят, вдаль смотрят, будто едут.

Кочанов, видно, перед судом в баньке побывал, и я вроде вижу его впервые, до того он чистенький, прямо новорожденный. Во всяком случае на улице не признал бы.

Председатель Воркунов предложил Кочанову отвечать на вопросы, повернувшись лицом к публике.

— Расскажи, пожалуйста, народу, как ты дошел до жизни такой? Как тебе пришло в голову стащить трубу и для какой цели?

— Выпил лишнее,— ответил Кочанов.

— Сколько?

— На двоих литр. Я по деньгам потом подсчитал, а так не помню.

— Это что — норма у вас такая, по пол-литра на брата?

— Да нет. У меня в тот день сын родился. Ну вот — отметили.

Из зала сказали:

— Законно.

Другой голос из зала спросил:

— Назвали-то как?

— Серегой.

Председатель постучал карандашиком по графину.

Но из зала снова сказали:

— Не каждый день сыновья рождаются, теперь девки косяком идут.

Кто-то продолжил:

— А чем плохо девки? Хорошая примета. Войны не будет.

Воркунову пришлось встать и опять постучать по графину.

— Товарищи, прошу по существу. Ответь, Кочанов, народу: зачем тебе понадобилась труба?

— Выпил лишнее. Разве взял бы так.

Председатель предоставил слово свидетелю Цыпленкову — дружиннику.

— Я за Кочановым в тот вечер долго наблюдал,— начал дружинник.— Он со своим напарником, не знаю как его фамилия, вышли из магазина с двумя пол-литрами. Расположились они прямо у своего паровоза. Выпили одну, потом вторую. Я слежу, что будет дальше. Напарник его песню затянул, но не так уж быстро. Так что нарушения порядка не было. Потом смотрю — оба в паровоз лезут. Влезли, значит, и гудок два раза дали. Тут я подхожу. «Чего, спрашиваю, гудите?» — а они отвечают: «Салют, говорят, даем в честь сына». Потом вылезли из паровоза и в разные стороны пошли. Вот тут я и заметил, что Кочанов поднимает с земли трубу. Сам, конечно, на ногах еле держится. В трубе весу будь здоров. Ну, сначала плюхнулся вместе с трубой. Потом все-таки взвалил на плечо. Я целый час за ним шел. Десять шагов сделает и сядет. Потом, смотрю, к своему барaku подходит, калитку отворяет. Тут я его и остановил. Вместе с трубой доставил в милицию.

С места крикнули:

— Товарищи, кого ж мы судим? Надо свидетеля судить. Вот кто мораль нарушил.

Председатель спросил Кочанова, так ли все было, как говорит свидетель.

— Не помню,— ответил Кочанов.— Раз человек говорит, что так, стало быть, так.

Кругом загалдели. Я и не заметил, что народу прибавилось вдвое. Но женщин пока что еще было больше, чем мужчин. Мужчины заполнили ряды сразу за обвиняемыми.

Римма Борисовна, подняв руку, остановила галдеж.

— Товарищи! — сказала она.— Я не кибернетика, чтобы поспевать за вами записывать.

Председатель начал допрос Кочанова:

— Сколько классов кончил?

— Пять.

— Судился раньше?

— Нет.

— Приводы в милицию были?

— Нет.

— Выговоры по пьянке получал?

— Нет.

— Благодарности по работе имеешь?

— Нет.

Прежде чем просить народ высказаться, председатель предупредил:

— Я, товарищи, прошу учесть, что гражданин Кочанов пил водку с напарником на своем рабочем месте. Это само по себе есть нарушение дисциплины. Кто говорить хочет, пусть помнит про это. А теперь давайте поднимайте руки.

Рук поднялось много. Все, кто выступал, прежде всего требовали наказать дружинника. У человека праздник — сын родился, а дружинник, сукин сын, его хотел под статью подвести.

— Я прошу меня не оскорблять! — требовал свидетель.

Но его не слушали и до того наседали на него, что он не успевал отбиваться. Вновь вошедшие в зал даже не понимали, кого судят — того, светленького, или черненького.

Заседательница Женя перехватила у председателя инициативу и вела допрос сама:

— Скажите, свидетель, о чем вы только думали, когда смотрели, как Кочанов с приятелем водку пьет?

— Я знал, что дело кончится плохо. Он эту свою идею спереть трубу, видать, долго в себе носил.

— Не носил, — сказал Кочанов.

— Вы понимаете, — продолжала Женя, — что вы своими руками ЧП организовали?

Женя очень любила говорить это «ЧП». Наверно, вся жизнь, казалось ей, состоит из чрезвычайных происшествий.

Последней высказалась опять же она, хотя заседателю высказываться не положено:

— Я предлагаю простить кочегара Кочанова. Как-никак сын родился. Кто-то поинтересовался, сколько весу в сыне.

— Пять кило.

И тут зал опять загалдел:

— Простить его!

Председатель посоветовался о чем-то с заседателями и объявил, что суд вынесет свое решение после перерыва и переходит ко второму делу.

Кочанов сел, платком утер лицо. На его место встала Вера Сапожкова. Видеть я ее видел, но знаком с ней не был. Лицо круглое, скуластое. В зал смотрит строго, исподлобья. На вопросы председателя Вера отвечает отрывисто и прикусывает нижнюю губу.

Кто-то тихо сказал о ней:

— Она у Соньки меньшая. Замкнутая.

Я стал слушать допрос председателя.

— Год рождения?

— Сорок пятый.

— Образование?

— Семь классов.
— Сейчас учишься?
— В восьмом.
— Признаешься, что двадцатого июля сего года во время работы учинила драку?
— Нет.
— Как же нет?
— Я один раз стукнула.
— А за что стукнула?
Молчит.
— Кого стукнула-то?
— Бригадиршу.
— За что?
— Она знает.
— Я тебя спрашиваю.
Вера молчит и пристально смотрит на председателя.

— Ты не на меня смотри, а на народ. Народу и отвечай, как у тебя рука поднялась на человека. Знаешь, сколько твоей бригадирше, гражданке Силантьевой, лет? Она тебе в матери годится. Так за что ты ее ударила?

— Она знает.

Председатель повысил голос:

— Я тебя спрашиваю!

Из зала ответили вместо Веры:

— Бригадирша матом про ее мать сказала.

— Так было?

Вера кивнула.

— Ну, а зачем рукам волю давать?

И снова ответили из зала:

— Что ж вы хотите, чтобы человек не реагировал? По-всякому будут родную мать обзывать, а она молчи. Может, еще спасибо сказать?

Но на это возразили:

— Что же это, товарищи судьи? Вы в корень смотрите. Сонька — личность всем известная...

Судья перебил:

— Во-первых, не Сонька, а Софья Пантелеевна, а не хотите так, прошу называть гражданка Сапожкова.

Я вспомнил, как жоровит Сонька, то бишь Софья Пантелеевна, попортить кровь другим женам, и подумал, что сейчас бабы отыграются и суд будет не над Верой, а над Сапожковой-старшей.

Председатель тоже понял, куда подул ветер, и поторопился предупредить.

— Товарищи, — сказал он, — факт пощечины установлен. Гражданка Сапожкова Вера, вместо того чтобы обратиться к администрации или к нам в товарищеский суд из-за оскорбления ее матери, затеяла драку. Нам надо решить: сами накажем Веру Сапожкову или вернем дело в милицию. В этом смысле прошу и высказываться.

— Почему бригадиршу за мат не судят? — спросили из зала.

Председатель ответил, что такой жалобы не поступало, но что суд выскажет по этому вопросу свое мнение.

— Вот и давайте высказывайте!

Слово попросила истица — бригадирша Силантьева:

— Мне, граждане судьи, еще двадцати пяти не было, когда овдовела. Так что заместо мужика в доме осталась. Тут не то что матом... Вот и приучилась. У меня никакой вражды к Соньке нет... Она такая же

вдова, как и я... Меня покойный мужик пальцем не трогал, а тут молодкососка...— Она всхлипнула и села.

Слово взяла Римма Борисовна.

— Хорошенькое дело,— сказала она,— ведь это просто ужас — услышать дочери, как ее родной матери дают такую нецензурную характеристику. Конечно, Вера не смела поднимать на вас руку. За это мы ей премии не дадим, но и вы до глубины души должны осознать свою вину. Я не вижу сознательного, намеренного действия со стороны Веры. Она была в состоянии эффекта.

— Аффекта,— поправил ее председатель.

И тут из задних рядов раздался голос Сапожковой-старшей:

— Чего вы на Верку смотрите? Вздуть ее надо, чтобы уважение к старшим имела. Ей от меня досталось, пусть расскажет.

Прения затянулись надолго. Одни выступали и требовали строго наказать обвиняемую, другие — истицу. Высказывалось и такое соображение, что Сапожкова-старшая не должна подавать повода для кривотолков. Сказано это было деликатно, вскользь. Судья объявил перерыв и ушел совещаться со своими заседателями.

К оглашению приговоров зал набился битком. Смех, галдеж, остроты волнами перекатывались по рядам. Но вот на сцену вышел суд, и ряды притихли, но не так, чтобы было слышно муху.

— Товарищеский суд мостоотряда номер...— начал председатель вступление к приговору, и словно кто-то повернул выключатель — выключил шорохи.— Гражданину Кочанову за выпивку на рабочем месте, но учитывая, что выпивка была по случаю рождения сына Сергея, указать на недопустимость подобных явлений и предупредить, что при повторном подобном случае суд вынесет более суровое наказание. Обвинение гражданина Кочанова в краже трубы товарищеским судом снимается. Рекомендовать штабу народной дружины провести разъяснительную работу с гражданином Цыпленковым о роли народных дружин в жизни нашего общества и просить штаб народной дружины временно освободить гражданина Цыпленкова от работы дружинника.

Возгласами «правильно» и аплодисментами зал выразил свое согласие с приговором.

Председатель перешел к чтению решения по делу Веры Сапожковой.

— Суд признал,— читал председатель,— гражданку Сапожкову Веру виновной в нарушении общественного порядка. Суд выносит строгий выговор гражданке Сапожковой за нанесение пощечины человеку, вдвое старше ее по возрасту,— гражданке Силантьевой. Суд также предупреждает Веру Сапожкову, что впредь за подобные действия она будет судима по законам Уголовного кодекса. Товарищеский суд обращает внимание гражданки Силантьевой на недопустимость выражаться матом и предлагает гражданке Силантьевой искоренить в себе этот недостаток, порочащий советского человека, тем более женщину.

Бригадирша, всхлипывая, снова повторила в свое оправдание, что ей еще и двадцати пяти не было, когда она осталась без мужа...

Председатель объявил заседание суда закрытым. Зал аплодировал и приговору и закрытию суда.

Те, кто жил на правом берегу, торопились к причалу. Сонька Сапожкова хотела продемонстрировать свою власть над дочерью, замахнулась было на нее, но Веру защитили. На катере ее опекала Римма Борисовна.

— Ты дурочка,— говорила она ей.— Я бы из гордости не то что реагировала, а даже виду не показала бы.

Римма Борисовна не замечала, что говорила как раз обратное тому, что говорила на суде.

— Пусть ругаются,— продолжала она.— Но ты-то знаешь, что твоя мама не такая, что это неправда.

— То-то и оно, что правда,— сказала Вера.

— Глупости! — закричала Римма Борисовна.

Вокруг обсуждали завтрашнюю погоду, будет ли ветер или не будет, повезут ли пролет на опоры.

Судя по звездному небу, погода обещала быть хорошей. На пятой и шестой опорах шли последние приготовления к принятию пролета. Снимались понтоны со служебными постройками.

На причале наш катер дожидались несколько человек, чтобы плыть на нем домой на левый берег.

На перилах причала сидел Зайцев.

— Домой? — спросил я его.— Чего ж так рано?

Он соскочил с перил и ответил:

— Ребенку пора спать.

Он имел в виду, конечно, не себя, а Олю Перову. Видно, получил от ворот поворот.

На «Бесстрашном» уже все разбрелись по своим местам.

Перовы зазвали выпить чаю.

— Ну что там? — спросил Перов.— Осудили?

— Осудили.

Оля тоже была уже дома, пила чай из блюдца, уставившись в одну точку.

— Чего невесела? — спросил ее Перов.

За Олю ответила Валя:

— Чего ты пристал?

Оля допила чай молча, молча взяла со стены полотенце и вышла. Перов сказал, что только что видел ее на берегу с Зайцевым.

— Я и не знал, что они знакомы,— сказал он.— А ты знала?

— Конечно,— ответила Валя.

— И давно встречаются?

— А что? Ты недоволен?

— Веселого мало.

Валя возмутилась:

— Ты скажи, чем он плох? Из столовой продукты вытащил? Так не от хорошей жизни. За свою репутацию беспокоишься, что ли?

Я думал, Перов обидится и скандал неминуем, а он в ответ только усмехнулся и сказал:

— Я вижу, тебе тоже не очень весело. Чего раскричалась?

Вернулась Оля, и разговор оборвался.

Два мощных плавучих крана еще с ночи причалили к левому берегу, чтобы утром поднять пролет, поставить его на понтоны и сопроводить к опорам. Так было задумано, но утром произошла задержка: отказал один из кранов. Часа три понадобилось, чтобы он снова заработал.

На левый берег прибыло все начальство во главе с начальником строительства Любимовым. Его я часто видел на оперативках. Перов всегда сидел с ним рядом. Их отношения давно определились одним словом: «сработались». Не каждый день Любимову удавалось бывать на строительных участках, и он целиком полагался на Перова. От того ничего не ускользало.

На планерках Любимов тех, кого жаловал, называл по имени, тех, кого уважал, по имени и отчеству, остальных по фамилиям.

На последней планерке, как и на предыдущих, он начал с начальника первого участка.

— Юра, давай докладывай.

И Юра без запинки доложил о ходе арматурных работ. А сам поглядывал на Перова, потому что знал: если соврет, Перов остановит. На этот раз Юре врать было нечего, и Перов молчал.

— Что просишь? — спросил Любимов, когда Юра кончил докладывать.

— Цемент.

Любимов повернулся к начальнику снабжения.

— Слышал?

— Слышал.

— Запиши.— И снова к Юре: — Все?

— Нет. Уберите с моего участка облоочки. Задыхаюсь.

Любимов повернул голову туда, где должен был сидеть тот, кого это касалось. Обычно люди садились на планерках на одни и те же места. Любимов безошибочно глазами или поворотом головы находил нужного ему человека. Но, бывало, человек предчувствовал нагоняй, менял место, хотя и знал, что это его не спасет. Просто чтоб лишний раз не попасться на глаза.

Любимов не стал искать того, кто был ему нужен, и, глядя в пространство, сказал:

— Пахомов, когда заберешь облоочки с чужого участка?

— Завтра.

— Врет,— сказал Перов,— ему некуда их забирать.

— Врешь,— повторил Любимов.

— Клянусь, заберу.

— Куда? — спросил Перов.

— Да хоть на левый берег.

— Не выйдет,— сказал Синайский.— У меня не склад.

Разговор на первый взгляд мог показаться пустяковым. Подумаешь, убрать облоочки, освободить территорию. Но дело было в другом. Пахомов срывал план, не ставил облоочки на свои опоры.

Потом докладывали другие начальники участков. Последним слово получил начальник флота. Он подтвердил, что прогноз погоды на ближайшие дни хороший.

Любимов спросил Перова:

— Не подведет?

— Нет. Я проверял.

И верно, на этот раз начальник флота обеспечил погоду. На воде никаких гребешков, и установку пролета не отменили.

То, что для строителей было привычным делом, для меня было событием. Как я уже говорил, хотелось своими глазами увидеть, как повезут пролет на опоры. Может, когда-нибудь приеду сюда и пройду по этому пролету. Его подъемом и погрузкой на понтоны руководил Синайский.

— Начали, Аркадий,— сказал ему Любимов.

Синайский махнул флажком. Заработали лебедки кранов. Пролет оторвался от земли, пополз вверх.

И вдруг Перов сорвался и бросился к причалу. За ним кинулись другие. Я не успел опомниться, как остался один.

На той стороне горел «Бесстрашный».

Кто в моторках, кто просто в лодках на веслах поплыл на правый берег. Но многим, в том числе и мне, пришлось дожидаться катера. Диспетчерша причала связалась с правым берегом и объявила нам, что

жертв на «Бесстрашном» нет. Но то один, то другой требовал, чтобы она опять и опять звонила туда.

— Сказали ведь, что жертв нет,— отбивалась она.

— Откуда они знают? Разве разберешься!

— Значит, знают.

Я тоже не выдержал, попросил позвонить и спросить, как там с Перовыми, Медведевыми, Синайскими.

Диспетчерша поглядела на меня и ответила:

— Жертв нет. Вы ведь тоже с «Бесстрашного»? Без вещей останетесь.

Я ответил, что смена белья да вещевого мешок — потери небольшие.

— Я на вас плащик славенький видела. Тоже там?

Местное радио объявило, что городские власти немедленно ассигнуют средства для пострадавших от пожара и что ни один человек не останется без ночлега. Объявлено было также, что временно под жилье отводятся клуб на левом берегу и школа на правом.

Даже издали было видно, что спасти «Бесстрашного» не удастся. Там билась несколько пожарных команд и речные спасательные катера. «Бесстрашного» окутывали черные клубы дыма. Потом он снова вспыхивал, и дым становился красным. Струи воды из пожарных шлангов не тушили огонь, а разрушали его. Целые куски огня отваливались и шлепались в реку.

Катер прибыл, переполненный погорельцами. Они тоже подтвердили, что жертв нет.

— Как пучок соломы, горит,— сказал капитан катера.

Жители левого берега несли к причалу кто что — одежду, обувь, еду. У самих пострадавших в руках тоже были различные вещи: терка, сковородка, будильник. Сейчас все эти нужные в хозяйстве вещи в руках людей, потерявших все свое имущество, казались бессмысленными. С катером приехало много детей. Мальчишки затеяли тут же возню. Но вот кому-то уже всыпали. Всыпать стали и другим. Многоголосый визг долго не утихал.

На прибывших сыпались вопросы: «Отчего пожар получился?», «Нашли ли виновных?»

— Иди свищи,— ответил за всех капитан катера.— Кто знает отчего.

В такую жару, когда плавится асфальт, долго ль до пожара. А сколько на «Бесстрашном» электрических утюгов и плиток! Конечно, пожар возник не в чистом поле в засуху и валить на стихийное бедствие не приходится.

— Выговоры начальству обеспечены,— заключил капитан и дал гудок к отплытию.— Все сели?

— Все.

Наряд милиции стенкой загородил берег. Несколько машин скорой помощи и несколько санитарных автобусов с красными крестами на стеклах выстроились в ряд. Люди в белых халатах преспокойно разгуливали у своих машин. Значит, верно — несчастных случаев не было. Пожарные все еще не покидали берег, хотя спасти вроде было уже и нечего. Останки «Бесстрашного» ушли на дно.

Здесь тоже горожане несли к берегу вещи и продукты. Пара детских туфель являлась пропуском, чтобы пройти через милицейский кордон на берег.

Валю Перову я разыскал в санчасти. Оля была с ней. Здесь же были и Синайские — Римма Борисовна и Светлана. Перова вместе со всем руководством мостоотряда вызвали в райком.

Валя рассказала, что, когда пожар начался, она и Оля ходили в обувной магазин. Синайских тоже не было.

Светлана не переставая всхлипывала: на «Бесстрашном» сгорели сборнички стихов молодых поэтов.

— Стыдись,— говорила ей Римма Борисовна.— Люди потеряли больше. Я, например, плевала на свой чешский гарнитур. Пожалей отца, у него больное сердце.

Нескончаемым потоком шли пострадавшие в прорабскую; там они получали направления на ночлег, талоны на питание. Большинство осталось без гроша.

Медведев носился по берегу со своей рейсшиной. Это все, что пришло Шуре в голову спасти.

— Ну и дела,— сказал он.— Ни черта не осталось. Все, что на мне и на Шурке, да вот эта штуковина, дьявол бы ее взял!

По решению райисполкома детей из ясель родители не должны были брать. Все ясли перешли на пятидневки. Об этом тоже сообщил микрорайон милицейской машины.

Я хотел было пойти в гостиницу, хотя она и далеко отсюда, но Валя и Римма Борисовна не отпустили меня.

— Поместимся,— сказала Валя.

В санчасти две комнаты: одна приемная, другая процедурная. Вместо двери висела занавеска. Синайские разместились в приемной, ну а я с Перовыми. У них больше комната.

— И вообще,— продолжала выговаривать мне Римма Борисовна.— Вы же знаете, кто бежит с тонущего корабля?

Но ни тонущего корабля и никакого другого уже просто не было.

Ближе к вечеру меня снарядили в магазин купить что-нибудь на ужин. Перов и Синайский еще не приходили из райкома. Неожиданно на набережной я встретил Петухова. Лицо помятое, неряшливое. Что это с ним?

— Кончилось бюро?

— Кончилось. И моя жизнь кончилась.

— Это как понимать?

— Освобожден от работы. Будто я виноват, что сгорел «Бесстрашный».

— За пожар, что ли, сняли?

— Я же прикреплен был к строительству. Вообще говоря, не справился с работой. Конечно, если бы не пожар, так не сняли. Кому-нибудь нагорит еще, что бросаются кадрами.

Он ждал сочувствия, а мне вдруг захотелось сказать ему все начистоту: что жизнь у него как раз только теперь, может, и начнется.

— Тебя давно надо было снять.

— За что?

— Не годишься для работы в райкоме.

— Три года годился, а сейчас не гожусь?

— И три года не годился. Мне говорили, ты комбайнером был? Так что не пропадешь.

— Шутишь?

— Нисколько.

На прощание Петухов сказал:

— С Васькой Медведевым Перов не прав. Я бы на своем настоял, теперь-то, конечно, черт с ним.

Я не стал спорить. Проработка не состоялась, и на том спасибо.

— Если бы не пожар, все было бы в порядке,— повторил Петухов и ушел.

А я подумал: чудак человек, может, так и не узнает никогда, за что его сняли? Будет думать, что напрасно обидели. Снять же его надо было давно — за глупость. Так и написать: снят за глупость. Чудо какой приказ!

Все, кроме Перова, были в сборе, когда я вернулся с едой в санчасть. Оля раздобыла чайник и даже керосинку. Посуду одолжили в столовой. Перов отправился на левый берег проверить, как там устраиваются погорельцы. Мы не стали его ждать и сели ужинать.

Не всем хватило места за столиком. Светлана и Оля устроились на подоконнике. Аркадий Александрович ел и пил молча, а когда покончил с едой, сказал Римме Борисовне:

— Знаешь, что я решил? Покончим с мостом и переедем в Харьков.

— А я не поеду, — сказала Светлана. — Там в школах украинский язык. Как я учиться буду?

Римма Борисовна успокоила ее:

— Ешь и не волнуйся. Твой папочка думает, что делает мне приятное. Когда я говорю, что хочу в Харьков, это не означает, что я хочу в Харьков. Когда я говорю, что хочу торшер, это не означает, что я хочу торшер. Двадцать пять лет живу с чужим человеком.

— А зачем же так говорите? — спросила Оля.

Римма Борисовна усмехнулась:

— Ешь и не волнуйся.

Прибежали попросить у Вали валерьянки.

— Кто там так переживает? — спросила Римма Борисовна.

— У старухи Мамедовой что-то с сердцем. Ну, знаете, мать Мураба?

Валерьянки Валя не дала, а, захватив чемоданчик, пошла сама к старухе Мамедовой.

Из ресторана «Поплавок» раздавалась музыка. Я вышел покурить, пройтись до причала. В воздухе все еще пахло гарью. Я невольно смотрел туда, где стоял прежде «Бесстрашный». Там поблескивала вода от фонарей набережной. На набережной прогуливались парочки. Разговору только и было что о пожаре.

В кармане у меня уже лежал билет на поезд. В других местах, когда подходил срок командировки, жаль, конечно, было расставаться с людьми, с которыми успел сдружиться. Но верилось, что когда-нибудь вернусь, встретимся еще. Так что уезжал я с легким сердцем. Ведь домой все-таки. А сейчас, глядя на залитые светом опоры, я почему-то думал, что не вернусь сюда больше. Вернее, сюда, может, я и приеду и даже погуляю по мосту, да толку-то что — кого я здесь увижу?

На причале не было ни катеров, ни лодок. Все в рейс ушли. В окошечке диспетчерши Жени горел огонек, но я не стал заходить к ней, повернул назад. Покачивались лампочки над складом и гаражом. Под дощатым навесом с надписью «Курить только здесь» раздавались негромкие голоса. Когда я шел на причал, там никого не было, а сейчас кто-то разговаривал:

— Ну, что ты ревешь, ты мне по порядку все расскажи. Вы где сидели? На сквере?

— Ага. На сквере.

Я узнал голоса Светланы и Оли.

— На скамейке за палаткой с газировкой?

— На ней.

— А ты когда целуешься, очки снимаешь?

Я пошел дальше. До самой санчасти никто мне больше не попался.

Синайские уже спали. Где-то раздобыли маграцы и спали прямо на полу, на подушках без наволочек. Керосиновая лампа чуть светила.

В комнате Перовых тоже лежали матрацы и подушки без наволочек. Ни Вали, ни Перова нет. Оля ревет под навесом.

Три матраца лежали в ряд у одной стенки, один по другую стенку. На него я и лег, укрывшись пиджаком. Скоро пришли девочки.

— Ну, спи,—громким шепотом сказала Светлана.— Выкинь все из головы. Он еще пожалеет.

Я лежал и не понимал, сплю я или нет. Вроде слышу и не слышу, вижу и не вижу. Вдруг вспомнилась Сонька Сапожкова — Софья Пантелеевна. Во время пожара, когда я сошел на берег, она сидела на какой-то бочке в одних трусиках и бюстгалтере. Пожар застал ее в реке, как и многих с «Бесстрашного». А рядом стояли Верка и бригадирша Силантьева. Верка смотрела на мать исподлобья, а бригадирша закусила концы белого платочка, что был у нее на голове, и по лицу ее градом капилась слезы. Тогда я увидел их троих и тут же про них забыл, спешил найти Валу. А вот сейчас вспомнил. Вспомнил еще и Ваську Медведева с рейшиной.

Потом надо мной раздалась голоса Перова и Вали. Я и не слышал, когда они пришли.

— Ты что такой встрепанный, бежал, что ли?

— Пробежался чуток.

— Зачем?

Слышно было, как Перов снял ботинки, лег.

— Понимаешь, иду с причала, слышу — кричат: «Помогите!..» Ну, я туда, думаю, раздевают, а то и хуже что. Подбегаю ближе: кто-то от кого-то отбивается. Потом разглядел, смотрю — да это Серегина вцепилась в этого... как его? — Зайцева и кричит: «Помогите!» Ну, я как раз подоспел, разнял. Оказывается, стервец бежать от суда решил. Под шумок: пожар, мол, не вспомнят. Такую бы беду на себя накликал, хорошо, Серегина остановила. А у него уж и чемоданчик с собой, пальто. Ну, я ему вкрутил мозги.

— Побил, что ли? Ну вот, теперь будут говорить: парторг рукоприкладством занимается.

— Я говорю: мозги вкрутил. Его не бить, а за уши отодрать надо.

— Ну, а он-то вернулся?

— Вернулся.

Перов закурил и сказал:

— Надо ж такое несчастье — пожар.

— Что в райкоме было?

— Любимов и я получили по выговору. Петухова совсем из райкома того...

— Слава богу,—сказала Валя.

Перов продолжал:

— Этот выговор правильный. Сквозь пальцы на все эти плитки, утюги смотрел. Ты вот что скажи, как с деньгами-то у тебя?

— Заняла.

— У кого?

— В городе. Я ведь Ольге туфли купила. Это еще удачно, а то бы и эти деньги с сумкой сгорели.

— Да, это удачно,—сказал Перов.— До полочки дотянем?

— Дотянем.

— К зиме одних пальто сколько надо будет! Ты ведь хотела их на хранение отнести?

— Не собралась. Вещи, конечно, жалко. Но ведь не у одних у нас сгорело. Говорят, на миру и смерть красна. По радио сказали — ссуду дадут.

— На это не рассчитывай. Дадим многосемейным и кто мало получает. Мы уж в последнюю очередь.

— Нашел миллионеров!

Перов чиркнул спичкой.

— Смотри, еще здесь пожар устроишь.

— Папироса потухла,— сказал Перов.— Скоро сниматься будем.

— Когда скоро?

— Ну, в новом году.

— Куда?

— Не знаю. Давай спать.

— Давай.

Утром я проснулся позднее всех. В санчасти никого не было. На столике, прикрытый марлей, мне был оставлен завтрак. В термосе — чай. Вчера еще термоса не было. Поглядел на часы — стоят. Забыл вчера завестись.

Я вышел на берег. Несколько человек стояли и глазели на реку. Кто-то из них сказал:

— Мост-то на глазах растет.

Я посмотрел туда, куда смотрели другие: большой пролет уже лежал на опорах. Так я и не увидел, как его везли и поднимали, а приурочивал свой отъезд именно к этому событию.

Мне вспомнилось, как Перов ночью сказал Вале: «Скоро сниматься будем». Он не отвык от военных слов и, должно быть, все еще считал себя в походе. Да и не один он так считал. На седьмой или восьмой опоре кто-то из строителей навечно вцементировал красным кирпичом крошечными буквами «Коля». В войну на разбитых церквушках, в домах с выбитыми стеклами наспех писались мелом или карандашом, старательно выцарапывались ножичком вот такие безвестные имена. Делалось это не из тщеславия, а из желания сказать людям: «Не поминайте лихом — мы не жалели себя».

«Не поминайте лихом — мы не жалели себя» — говорили от имени всего отряда крошечные буквы из красного кирпича на седьмой или восьмой опоре.



ВАДИМ ШЕФНЕР

★

ПОД ЛУГОЙ

Не зная дорог и обочин,
Шагаю в лесной глубине.
Какие просторные ночи
Подарены осенью мне!

Под этим таинственным кровом
Земля — словно дальняя весть,
Весь мир темнотой зашифрован,
Его невозможно прочесть.

Он полон надежд и наитий,
В нем нет ни вещей, ни имен,
Он праздничен и первобытен,
Как в детстве приснившийся сон.

В нем спутала все расстоянья
Ночная нестрашная мгла —
Чтоб тайная радость незнанья,
Как в сказке, к открытьям вела.



АНТОНИО МАЛЛАРДИ

★

ЛЕВАНТАЦЦО

Автору этих очерков тридцать лет, он перепробовал множество разных профессий. Он был лесником, батраком, почтовым служащим, виолончелистом. В конце концов, как он сам признается, ему «осточертело играть на крестинах, свадьбах и похоронах», он купил в долг моторный баркас и занялся рыбной ловлей.

О том, что он узнал и пережил сам, Малларди рассказал в своей книге «Левантаццо» (так рыбаки Юга Италии называют ветер сирокко, который приносит с собою обжигающий зной Леванта).

Прогрессивная итальянская критика высоко оценила книгу Малларди. «Книга помогает нам лучше узнать Юг страны, рыбаков Бари и Тремити, жизнь множества маленьких селений, до которых не докатилось даже эхо «экономического чуда», — писала о «Левантаццо» газета «Унита».

Зовите меня Измаил

Иет, называйте меня Антонио. Правда, у нас с Измаилом есть некоторое сходство, но не придавайте этому серьезного значения. Он говорил:

«Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта, всякий раз, как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь, всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой встречной похоронной процессии, в особенности же всякий раз, как ипохондрия настолько овладевает мною, что только строгие моральные принципы не позволяют мне, выйдя на улицу, методично и старательно сбивать с прохожих шляпы, я понимаю, что мне пора отправляться в плавание и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет».

В чудесной фантазии Мелвилла «Моби Дик»¹, распустив паруса, вдалеке уходит могучее судно, смелые люди охотятся на китов.

Мое море меньше, бури на нем послабее, его бороздят скромные рыбацьи баркасы. И ловят здесь не китов, а морских окуней, вырезубов, краснобородок. Здесь Левиафан не меряется силами с кораблем в безбрежном и черном, как кипящая смола, океане. Суда не покачиваются тут неделями на мертвой зыби.

Над моим морем дуют свежие ветры, и по утрам всегда тянет с гор прохладой. Воды этого моря прозрачны, как ручьи, и в них отражается голубое небо, в котором, распластав крылья, парит чайка.

Последний из левиафанов, дельфин радостно кувыркается в зеленой с голубыми переливами воде. Рыбаки на своих суденышках ловят здесь саргов, умбрин, вырезубов, мурен. Я тоже рыбачил с ними и хочу рассказать об этом.

¹ «Моби Дик» — роман американского писателя Германа Мелвилла (1819—1891). Измаил, главный персонаж романа, отправляется на опасные поиски фантастического Белого Кита.

Прелюдии и похоронные мессы

Прежде чем купить баркас, я был музыкантом. Десять лет подряд играл на виолончели и дошел до того, что уже не понимал, зачем я это делаю. Запершись в маленькой комнатухе, я целыми днями играл одно и то же и был просто начинен нотами прелюдий и сарабанд. Но едва я выходил из дому и отправлялся бродить по улицам моего Бари, вся эта непрочная нотная конструкция мгновенно разваливалась.

Чаще всего я играл, можно сказать, по долгу службы, и тогда виолончель казалась мне деревянным ящиком с железной проволокой. На свадьбах и на крестинах я играл в церкви одни и те же марши. Однажды, помнится, меня позвали на мессу в церковь Сан Грегорио. В этой крохотной церквушке стоял катафалк с четырьмя огромными канделябрами; а вокруг, сидя на скамьях, женщины в черных платках рыдали, молились, поминали добродетели усопшего. Я же своей игрой должен был поддерживать их молитвы, обеспечивать, так сказать, музыкальное сопровождение.

Но вот окончилась месса, умолкла виолончель, запечатлен поцелуй на руке графини, сестры умершего, которая пришла меня поблагодарить: «О! Вы украсили наши молитвы, и я уверена, что ваша игра понравилась бы покойному» — и я почувствовал себя совершенно одуревшим.

Я бросился прочь, подальше от церкви, от покойника, от священника, от запаха ладана и болтовни певчих.

Стоял декабрь, но день был чудесный. Я шел вдоль берега моря, ярко светило солнце, казалось, что снова наступила весна, и не хотелось ни говорить, ни вспоминать мертвых, когда вокруг бушует жизнь.

«Кончится тем, что меня каждый раз будут звать на похороны, и, чтобы прокормиться, я, подобно гробовщикам и могильщикам, буду ждать и даже желать смерти ближнего», — думал я.

Нет, дальше так жить нельзя! Мне осточертело играть на свадьбах и поминках. Я подошел к развалинам старой крепости, прямо к тому месту, где под защитой мола стоят рыбацьи лодки.

«Какое красивое суденышко, — невольно восхитился я, разглядывая один из баркасов. — Как хорошо было бы купить его, по утрам уплывать на нем в море, стать заправским рыбаком». Я сел на камень. Грелся в лучах солнца и любовался баркасом. Рядом в футляре лежала моя виолончель. Внезапно колок виолончели опустился и одна из струн ослабла. Я подумал: «Это «до». Надо вернуться домой, подтянуть струны». Но мимо проходил рыбак, и я неожиданно для себя спросил:

— Чей это баркас?

— Какой?

— Вон тот. С мачтой.

— А, «Святое сердце»! Одного человека по имени Скорпена.

— Спасибо, дружище, — сказал я и подумал, что узнал все, что нужно.

Скорпена! Что за странное имя! В наших местах так называют ядовитую рыбу, которая если уж уколется, то не миновать больницы. Должно быть, это прозвище, ведь каждый рыбак его имеет. Надо будет порасспросить обо всем получше.

Я меняю профессию

Спустя неделю «Святое сердце» обрело нового владельца, и, если бы на пристани кто-нибудь теперь спросил: «Чей это баркас?» — ему бы ответили: «Одного молодого парня по имени Антонио. Прежде среди рыбаков мы его не видели, но с недавних пор он просиживает на при-

стани до самого вечера и ни о чем другом, кроме рыбной ловли, и говорить не хочет».

Я продал виолончель, нотную библиотечку, все пластинки и уплатил половину стоимости баркаса.

«Порыбачу немного и рассчитаюсь сполна». В этом я не сомневался ни на миг.

Самым трудным было сменить профессию. Меня донельзя огорчало и даже злило, что рыбаки в порту видят во мне чужака, одного из тех синьоров, что живут в новом городе.

Я часами беседовал с ними на их диалекте, все лучше и ближе узнавал их и терпеливо ждал... В сущности, рыбаки очень деликатные люди. Вот уже целый месяц я приставал к ним с расспросами, как лучше оснастить баркас, как ставить перемет и какая рыба на что клюет, и никто мне не сказал: «А ты кто такой, чем раньше занимался и что тебе здесь надо?» Лишь иной раз самый старый из рыбаков промолвит:

— Антонио, в мире есть столько всяких занятий. Неужели ты хочешь лучшие годы промучаться на море? Рыбачить — дело тяжелое, особенно здесь. Ведь каждую рыбину десять видят, да один выловит.

— Это верно, — соглашался я. — Так на вырезуба какая приманка лучше идет: каракатица или сардинка?

В конце концов они убедились, что решение мое твердое. Вскоре я вошел в пай с Пальмиотто — «Беспалым», — крепким стариком, баркас которого достраивался, и он, обремененный долгами за снасти и большой семьей, не мог пока выходить в море. Беспалым его прозвали потому, что на обеих руках у него не сгибались указательный палец и мизинец. Их парализовало, когда он рыбачил на «фирму», иными словами — на оптовиков в ледяных озерах Албании. Парализованные пальцы не мешали, однако, Пальмиотто ловить рыбу переметом и быть одним из лучших рыбаков Бари.

К тому же ему помогали все пять сыновей — природные рыбаки, родившиеся, как шутил старик, прямо под мачтой.

Наступили трудные январские дни. Мы выходили на рассвете, едва стихала трамонтана.

Уставшее бушевать море еще вспухало серыми, холодными волнами, а мы уже отправлялись ставить сети на сардин и анчоусов.

Когда я первый раз в жизни вышел на рыбацьем баркасе в открытое море, все вокруг казалось мне чудесным. Со своими обязанностями моториста я справлялся неплохо. Мы бросали якорь в трех-четыре милиях от берега и... ждали. Меня поражало, что мы часами сидели без дела, ежились от холода да смотрели на город, который с моря казался совсем незнакомым.

Рыбы в тот месяц мы поймали немного. Ведь это была ловля наобум. Поди угадай, когда сардины и анчоусы заплывут в то самое место, где поставлены сети. Как только всходило солнце, мы выбирали сети и отплывали чуть подальше от берега. Затем снова забрасывали их.

Тут я понял, что и за несколько дней можно поймать всего семь жалких анчоусов. Главное — не отчаиваться и терпеливо ждать.

Случалось, что в какой-нибудь миле от нас экипаж соседнего баркаса вылавливал столько рыбы, что приходилось возвращаться на берег и опоражничать сети.

Однажды рыба нашла путь и к нашему баркасу. Солнце еще всходило, когда мы принялись выбирать сеть. Минуту спустя мы увидели, что она полна анчоусов. Мы тихонько опустили ее снова на самое дно в надежде выловить всю стаю.

Когда часа за два до заката мы вытащили сеть, она вся серебрилась от множества анчоусов. До самого вечера мы всемером выбирали рыбу

из сети и кидали в баркас. В тот день мы привезли на берег с полсотни полных доверху корзин. Это был мой первый улов. И это было как нельзя кстати: ведь подошел срок первого взноса за баркас.

Дворники моря

Начались морозы. В тихую погоду мы выходили ночью ловить морских ежей. Конечно, это не то, что ловить рыбу, но как-то кормиться надо, а в Бари на морских ежах огромный спрос.

Казалось бы, морской еж не рыба — тяни его сетью, и все. Между тем работа эта требует огромного напряжения сил, и, выйдя в море, трудиться не покладая рук до полного изнеможения.

Ловят морских ежей только ночью. Баркас идет самым малым ходом, волоча донную сеть, которая захватывает вместе с ежами водоросли, камни, ил. Каждый час сеть выбирают, поднимают на палубу и опоражнивают. Затем ее снова опускают, и баркас медленно плывет дальше. При слабом свете ацетиленового фонаря, а иной раз и в полной тьме начинается сортировка. Камни, водоросли, ракушки, медузы, «подметенные» со дна нашего бедного моря, летят за борт. Мелкая рыбешка и крабы складываются в одну сторону, морские ежи — в другую. За один раз можно выловить пятьдесят, семьдесят, а если повезет — и двести морских ежей. К утру, если нам повезет, мы наловим две, а то и три тысячи морских ежей. Самых маленьких мы выбрасываем в море. За каждого большого морского ежа дают пять лир, и мы всю ночь в темноте собираем и сортируем их коченеющими от холода руками. Нередко мы колемся об иглы ежей, спрятавшихся в водорослях. Но мы не прерываем работы ни на секунду. Каждый морской еж — это пять лир, и надо наполнить ими большие корзины, если хочешь что-то заработать.

Рукам холодно до боли, ночь тянется бесконечно долго. К трем часам утра окончательно обессиливаешь, но руки сами продолжают выбирать из водорослей морских ежей, кидать через плечо в море камни, ракушки, траву. Хочется поскорее управиться с работой, чтобы хоть слегка передохнуть, но не тут-то было. Снова идешь на корму и тянешь толстый канат. И вот уж на палубу опять высыпан весь улов — и опять принимайся сортировать, очищать сеть, отбирать. И все это за пять лир, которые получишь только за крупного морского ежа. Нищенский, нечеловечески тяжелый труд. Хочется закричать из последних сил: «Довольно, хватит с меня!» Чувствуешь себя мусорщиком, который лихорадочно роется на свалке в поисках чего-то мало-мальски пригодного, чтобы выручить потом несколько грошей.

С восходом солнца попытка наконец прекращалась. Мы на предельной скорости возвращались в город, где на пристани уже ждали покупатели. Они превосходно выпались и сейчас, полные сил и упорства, готовились дать бой за каждую лиру. Что-то крича на ходу, все бросались к баркасу. Одни требовали сто морских ежей, другие — триста, третьи — тысячу.

Снова надо безошибочно отсчитать и передать из рук в руки сотни морских ежей, не останавливаясь, даже когда в мякоть ладони вонзается игла.

Покончив с продажей, разделив жалкие гроши, заработанные весьма дорогой ценой, мы прощались и со словами: «Вечером, если будет штиль, идем за морскими ежами» — расходились по домам.

Однажды хорошая погода держалась целую неделю. Мы уплывали за морскими ежами каждую ночь.

Тело мое словно покрылось коркой льда, распухшие руки потрескались, днем меня все время знобило. Возвращаясь утром домой, я с надеждой глядел на небо, не появилась ли на горизонте хоть маленькая тучка, предвещающая непогоду, а значит, и конец моих страданий.

Засыпая, я мечтал о больших рыбах, о свирепых вырезубах открытого моря на крепких крючках, о невиданных уловах. Наступят когда-нибудь и такие дни, утешал я себя. Ведь я еще и не начинал рыбачить по-настоящему.

Встреча в соборе

Наконец мы ушли в открытое море: старик Пальмиотто, его сыновья и я. Погода стояла отличная, и мы направились к отмели южнее Вьесте. В открытом море все принялись готовить переметы, насаживать крючки, промерять дно. Вовсю светило солнце, и на душе было легко и приятно. Несколько чаек долго летели за нами. Самые смелые подлетали к баркасу и, распластав крылья, повисали в воздухе. Я кидал им сушеную рыбешку. Мгновенье — и чайки дружно падали в воду. Они клевали друг друга, били крыльями, пока самой ловкой не удавалось схватить эту жалкую добычу. Чайки тянулись за нами, словно бумажные змеи, привязанные к корме невидимой нитью. Но, если я клал рыбу на борт, они ее не хватали, а лишь пожирали жадными глазами и ждали, захлебываясь голодным криком. Время от времени, завидев баркас покрупнее, они всей стаей дружно бросались за ним в надежде и там поживиться чем-нибудь. На закате мы вошли в порт Барлетта, ошвартовались у причала и стали терпеливо насаживать на крючки наживку. Двадцать кило каракатиц, разрезанных полосами и затем разрубленных на куски. Каждый трудился вовсю, отделяя самые твердые части головы и полное черной, как чернила, жидкости брюхо — маландру. Привередливые вырезубы, сарги и лутрини их не едят.

— Антонио, мы тут без тебя управимся! Сходи-ка лучше в город и найди кого-нибудь, чтоб поджарили все это.

Я отправился в город. Стемнело, на одной из улочек я отыскал двух женщин, которые согласились за двести лир поджарить мои яства.

В лавке было жарко. Я вышел на улицу и зашагал по направлению к собору, что стоял у самого берега моря.

Древний средневековый собор был окутан тьмой; маленькая, колеблемая ветром лампочка освещала то кусок стены, то портал с немymi каменными львами, отполированными неумолимым временем. Я вошел в собор через маленькую дверку. Внутри было темно и тихо. На меня повеяло грустью и каким-то тоскливым запустением. Я торопливо миновал боковой неф. На гладких каменных плитах виднелись полустертые изображения знаменитых воинов в пышных шлемах, с пиками и при полном вооружении, огромных женщин в старинных костюмах. Я дотрагивался до саркофагов рукой и продолжал свой путь. И под ногами в резиновых сапогах я ощущал каменные плиты, различал какие-то надписи и гербы. Так в почти полной тьме, прорезаемой лишь слабым красноватым светом лампад, я подошел к алтарю. Вдруг впереди я увидел женскую фигуру. До меня донеслись слова молитвы. Я приблизился.

Заметив меня, женщина застыла, охваченная немym ужасом. По дешевому шерстяному платку на голове в ней нетрудно было признать крестьянку.

Я тихо сказал:

— Добрый вечер.

Лицо женщины сразу просветлело.

— Сын мой, твоя тень страсть как меня напугала. Я приняла тебя за дьявола.

Она перебирала черные бусины четок, все еще недоверчиво оглядывая меня с ног до головы. Потом сказала:

— Сними берет, сынок. Ты в церкви.

Я поднес руку к голове. Верно, я и забыл снять шерстяной берет, без которого на море вечером не обойдешься.

Ловля чаек

Когда я спустился на мол с пакетом жареных маландр и голов каракатиц, на баркасе в строгом порядке лежали двенадцать переметов, канаты, буйки и в тусклом свете керосиновой лампы белели насаженные на четыре тысячи лесок куски каракатиц. Двое сыновей Пальмиотто, не дождавшись меня, приступили к трапезе. Они с аппетитом поедали толстые ломти хлеба, закусывая сырым луком. Жалкая еда бедняков, единственная, доступная нам. Но теперь, когда я принес хрустящие, присоленные, еще дымящиеся головы и брюха каракатиц, мы устроили настоящий пир.

Маландры — кто, кроме рыбаков, ел подобные деликатесы? — были сочными и нежными, как мозги, и мы жадно запускали в них пальцы. Я возблагодарил бога, что рыбы были не такими голодными и позволяли себе привередничать. Приложившись к горлышку бутылки, я выпил за их умеренность.

Покончив с едой, мы улеглись на палубе, завернувшись поплотнее в холодную тяжелую парусину. Вскоре все уснули, а я лежал рядом со старым Пальмиотто и слушал, как плещется о борт вода. Было холодно, промозгло, и в голову лезли всякие невеселые мысли. Так я проворочался без сна в своем твердом, как камень, «одеяле» не знаю уж сколько часов, пока старик не поднялся и не подал голос. Он не сказал ни слова, а что-то глухо промычал. Этот печальный, похожий на стон звук был сигналом к началу работы. Вокруг была крошечная тьма. Минут десять нас провожал луч голубого света с маяка, освещая на миг баркас и снасти, с гор потянул холодный ветер, заставляя нас зябко ежиться. Мы уходили все дальше в открытое море. На рассвете стали промерять глубину. Раз за разом уходил в воду канат с грузом, но глубина неизменно оказывалась не меньше пятидесяти—шестидесяти локтей¹. А нам нужно было не больше сорока. Наконец подходящая глубина найдена. Первый буй, двухметровый бамбуковый шест с черной тряпкой, закачался у борта.

Сидя у руля, старый Пальмиотто шестью здоровыми пальцами проверял крючки. Пятеро его сыновей опускали грузила и подавали отцу переметы. А тот, словно каждый из шести его здоровых пальцев обладал способностью мыслить, безошибочно распутывал самые замысловатые узлы. Покончив с переметами, Пальмиотто удовлетворенно сплюнул сквозь зубы и приказал стоявшему за рулем сыну:

— Огибай отмель на малом ходу.

Мы обогнули длинную, миль в шесть, отмель, отыскивая один за другим флажки, качавшиеся на шестах. Когда мы вытянули первый перемет, было уже совсем светло. На крючках змеями извивались угри. Нередко, когда перемет ударялся о борт, угорь срывался с крючка, и только его и видели. Потом над водой заколыхались мертвые чайки, вернее — жалкие лохмотья из перьев. Смотреть на них было грустно и больно. Они попадались на крючок, пытаясь откусить наживку в те короткие секунды, когда нейлоновая леска перемета плавала на поверхности, и грузила

¹ Локоть — местная мера длины, равная примерно 1 м 70 см.

утянули их на дно еще живыми. Попадались лутрини, маленькие выре-зубы, треска со вздувшимся брюхом и вылезшими из орбит глазами. Внезапно путь нам пересек огромный танкер, глубоко осевший под тяжестью груза, неуклюжий и бездушный. На палубе никого не было, казалось, танкер плывет сам по себе. Лишь потом я заметил на мостике две крохотные неподвижные фигурки. На нашем же жалком суденышке все дышало жизнью, все трудились шумно и зло. Гул двигателей могучего танкера на миг заглушил наши голоса и стрекотанье моторчика. В сравнении с этой махиной наш баркас показался мне крохотной скорлупкой.

В полдень мы сняли последние переметы и взяли курс на Бари. Улов оказался небогатым — меньше центнера, а выручка всего в четыре раза больше, чем стоила наживка. Но Пальмиотто не пал духом.

Вода еще холодна. Вот когда вернемся сюда летом, она хорошо прогреется и рыбы будет куда больше. Должна же и нам привалить удача.

От «паранцуоло» до капитана баркаса

В эти трудные дни, когда мы ловили рыбу у берега и в открытом море, с надеждой ожидая весны и тепла, я познакомился с Чиччилло. Вечерами и в непогоду мы собирались у мола, и завязывалась долгая беседа о тайнах и тонкостях нелегкого рыбацкого промысла. Приходил на мол и Чиччилло. Он внимательно слушал других, но сам редко вступал в разговор, хотя, судя по отдельным репликам, ему было что сказать. Он сидел молча, с видом побитой собаки, но это униженное состояние было для него явно непривычно, и он никак не мог с ним примириться.

Уже по тому, как он вязал узлы и взбирался в баркас, ясно было, что рыбачить он научился раньше, чем говорить. В те дни Чиччилло работал простым матросом на крохотном суденышке. Рыбаки считают профессию матроса пустяковой и слегда их презирают, называя «паранцуоло» — подручными, способными лишь стоять у ворота, вытягивать и латать сети, нести вахту у руля. Это совсем нелегко, особенно когда море штормит. Здесь нужны огромная выдержка и напряжение всех сил, но остальные — «рыбаки по призванию», — избороздившие на своих баркасах вдоль и поперек все побережье, знакомые с любыми повадками рыб, не позволяют паранцуоло даже слово вставить в их профессиональные разговоры.

Однажды вечером я стоял на молу и наблюдал, как Чиччилло подмечает палубу. На баркасе, кроме него, не было ни души. Баркас только что вернулся с моря и разгрузил рыбу, но для паранцуоло и в порту всегда найдется работа. Чиччилло смотал канаты, сложил в сторонке пустые корзины, развесил сети, чтобы за ночь они просохли, окатил палубу из ведра. Затем зашел в рубку, снял сапоги и надел грубые башмаки. Казалось, он даже не заметил меня: так старательно занимался он своим делом. Но, выйдя из рубки, Чиччилло крикнул мне:

— Подожди, иду. — Закрепив канат, он спрыгнул на мол и спросил: — Как рыбачим, Антонио?

Меня немного удивило, что он знает мое имя. Голос его звучал дружелюбно, искренне, и я честно признался:

— Ловим помаленьку. Но похвастать особенно нечем.

— Знаешь, — сказал Чиччилло, — места здесь бедные, а рыбаков пруд пруди. Купить бы сети и переметы, так на твоём баркасе тьму рыбы наловить можно. Только не здесь.

— Ты родом не из Бари? — спросил я, хотя понял это уже по его прозвищу.

— Нет, я с острова Тремити. Тут я случайно и вот, сам видишь, стал паранцуоло. Ничего не поделаешь — когда денег нет, выбирать не приходится.

Мы вместе пошли в город.

— У Пьяносы и Тремити рыба просто ждет, чтобы ее поймали, — рассказывал Чиччилло. — Лучше твоего баркаса для ловли в тех местах ничего и придумать нельзя. Вот только где достать денег? Рыбачить, Анто, — что в карты играть! Без риска тут никак нельзя. А ты без сетей на своем баркасе много ли наловишь? Вот и приходится тебе с другими в компанию идти. За сети и переметы твои компаньоны три пая берут, да по одному за каждого человека. А тебе что остается? Жалкие крохи!

Он намекал на Пальмиотто. И верно, каждый раз, когда мы начинали делить вырубку, Пальмиотто и сыновья забирали львиную долю, а мне доставались гроши.

— Чиччилло, — возразил я, — но у меня нет помощников, да и риск больно велик.

— Знаешь что, Антонио! Ты только раздобудь сети, а уж об остальном я позабочусь. Через две-три недели мы с тобой отправимся в одно место, где рыбы — что сельдей в бочке, видимо-невидимо!

— На Тремити! — воскликнул я. — Но все говорят, что дельфины там — поплавки и грузила и те съедят.

— Не слушай их, Анто! Дельфинов у Тремити, правда, хватает. Но, поверь мне, там за один раз можно наловить столько рыбы, сколько все рыбаки Бари за месяц не поймают.

— Хорошо. А дно, течения и отмели в тех местах ты знаешь?

Чиччилло посмотрел на меня с немым изумлением и только улыбнулся в ответ, как бы говоря: «Да я только это и знаю».

— Испытай меня, — сказал он. — Здесь думают, что я родился паранцуоло, а ловить рыбу они одни умеют. Возьми меня в долю, и я им докажу, что тоже кое-чего стою.

— Идет, — сказал я. — Завтра же покупаем сети, наживку и плывем на Тремити.

Все следующие дни у нас и минуты свободной не было. С утра до вечера мы ходили по магазинам, покупали сети, поплавки, грузила, буйки, канаты, якорь, компас. Наконец на баркасе некуда было ступить от всевозможного снаряжения. Рыбаки смотрели на меня с таким видом, словно хотели сказать: «Этот ненормальный, видно, хочет нищим стать! В нынешние-то времена столько денег сразу ухлопал!» И в самом деле, мои долги росли с ужасающей быстротой. За несколько дней я подписал кучу векселей, сравнившись хоть в этом с остальными рыбаками. Недаром на молу шутили, что каждый самый мелкий торговец или, как они себя громко именовали, «предприниматель» спит на матрасе, набитом векселями.

Оснастить баркас всем необходимым — дело нешуточное. Счастье еще, что у Чиччилло целый выводок детей. Работали все, от мала до велика. Познакомившись в те дни с семьей Чиччилло, я понял, почему он пошел матросом на крохотное суденышко. Другого выхода не было — нищета, беспросветная, невообразимая нищета. Все десятеро ютились в сыром подвале, который и жильем-то назвать нельзя. Здесь было одинаково темно утром и вечером. В две комнатухи без окон сквозь решетки проникали лишь пыль, поднятая ботинками прохожих, да чуть-чуть света. С желтых, в сырых подтеках стен капала вода, стоял нестерпимый запах плесени. Более жалкую картину трудно себе представить.

Сперва я даже испугался. Потом понял, что эти люди, как о божьем даре, мечтают вырваться отсюда, поработать на открытом воздухе.

Целых три недели приводили в порядок снасти, и малыши были счастливы помочь взрослым и хоть на несколько часов удрать из сырого,

темного, как тюремная камера, подвала. Мы работали на молу, в защищенном от ветра месте и возвращались домой только поздно вечером. Жена Чиччилло уходила чуть пораньше, и, когда мы спускались в подвал, каждого уже ждала миска горячего супа.

— Видишь, Анто! — однажды вечером сказал Чиччилло. — Мои сыновья — это мои векселя. У тебя свои, а у меня свои. Так что можешь не сомневаться. Я буду работать, как каторжный, лишь бы они сыты были. А если нам повезет, то через год я тоже куплю баркас и переберусь всей семьей на Тремити. Там самый последний бедняк хоть чистым воздухом дышит.

До сих пор Чиччилло в жизни не везло. Юношей он рыбачил у Тремити. Потом его призвали во флот, и после демобилизации он предпочел остаться в таможенной охране. Вскоре его назначили боцманом на сторожевой катер, он прилично зарабатывал и смог наконец жениться.

Все шло как нельзя лучше. Вот только приходилось на целые недели разлучаться с женой. Стоило ему вернуться домой, лечь рядом с женой, взглянуть ей в глаза, как через девять месяцев рождались сын или дочь.

— Такая уж у моряков судьба несчастливая, — оправдывался Чиччилло.

Но если бы его несчастья только этим и ограничивались! Впереди его ждала настоящая беда! Война, всеобщая неразбериха, высадка союзников. Однажды ночью с того самого мола, куда его поставили часовым, исчезло несколько американских нефтяных цистерн. Союзники не стали долго разбираться, вести серьезное расследование. Виновным оказался один Чиччилло, который забыл, видно, что охрана пустых американских цистерн — это тоже служение отчизне. Начальство отдало беднягу под суд, и его боцманские нашивки как ветром сдуло. После двадцати лет честной службы он остался без своего угла, без пенсии и должен был искать хоть какую-нибудь работу.

Чиччилло чувствовал себя опозоренным, и это мучило его больше всего. Он подал в министерство прошение о пересмотре дела или хотя бы о реабилитации. Но где взять денег, чтобы отправить на гербовой бумаге свои доводы в Рим? Поэтому его прошение давным-давно пылилось где-то в архиве, и он, почти смирившись, говорил:

— В такой драке всегда достается тому, у кого нет палки.

Грустная история Чиччилло еще больше укрепила меня в решении объединиться с ним и доверить ему то немногое, что я имел. Я назначил его капитаном, штурманом и боцманом «Святого сердца», где, правда, я один составлял ровно половину экипажа.

У острова Пьяноса ночью

Наконец в один из апрельских дней, когда Адриатическое море устало бушевать и встретило нас не угрюмым ревом, а ласковым и дружелюбным шелестом волн, мы решились отплыть из Бари к островам. Там, в открытом море, нас ждала настоящая работа. Мы снялись с якоря на закате и, рассекая грязную, в пятнах нефти воду, вышли на морской простор, оставив позади огромную, забитую всевозможными грузами пристань.

Чем дальше мы уходили от берега, тем светлее и чище становилось море. Мы вдыхали полной грудью удивительно вкусный воздух и чувствовали, как с каждой секундой слабеют гнетущие запахи города и порта.

Ошвартовались мы в маленьком порту Вьесте. Прежде чем надолго уйти от этих скалистых берегов, мы хотели в последний раз определить, какая погода ждет нас в открытом море. В порту мы встретились со ста-

риком Пальмиотто. Во главе своего многочисленного семейства он проверял тысячи и тысячи рыболовных крючков, лежавших на дне его новенького баркаса.

К вечеру погода испортилась. Гряда синих, набухших облаков обещала сильный дождь. Пальмиотто убеждал меня отказаться от опасной затеи.

— Поплывешь прямо к дельфинам в пасть. Оставайся с нами. На двух баркасах тьму рыбы наловим. Дались тебе эти острова. Послушай старика, рыбачить у берегов куда как надежнее!

Я посмотрел на свои новые рыболовные снасти, и мне показалось, что уже в них одних заключен мой ответ старому Пальмиотто. Столько сил и денег они стоили, что только риск и немного удачи помогут мне расплатиться с кредиторами.

Про себя я подумал: «Нет, старина, твой совет мне не подходит. Должен же я хоть однажды попытаться счастья».

Но за меня ответил Чиччилло, у которого не возникло ни малейших сомнений.

— Антонио,— сказал он, заводя мотор и отчаливая.— Бояться особенно нечего. Когда так вот гремит гром и сверкают молнии, жди проливного дождя, но не бури. Этой ночью половим рыбу у Пьяносы, а завтра на рассвете будем на Тремити.

И он направил баркас в открытое море.

Приближался час решительного испытания. Я прошел на нос. На палубе в строгом порядке лежали ячеювые сети, с которыми мы мучались целых две недели; отливали серебром сотни крючков, подвешенных к длинным лескам из сверкающего нейлона. Наше остроносое суденышко плавно скользило по черным волнам, держа курс на Пьяносу. Я смотрел вокруг, уверенный, что вот-вот увижу рядом дельфина. И так велико было мое желание и я так долго вглядывался в темноту, что в конце концов принял за дельфина тень, отбрасываемую кормой. Утомившись, я лег у борта, всем телом ощущая, как подрагивают доски. Соленые брызги кропили мои волосы, проникали сквозь тоненький пиджачишко. Кругом была непроглядная тьма, без малейших проблесков света, заставлявшая сомкнуть усталые веки.

Спустя четыре часа мы подошли к Пьяносе. Сквозь темноту можно было разглядеть лишь белый, словно бы плясавший на волнах маяк. А остров? Казалось, его и не существовало вовсе, так низок был его южный берег, к которому мы решили пристать. Но о близости земли ясно говорил терпкий запах трав, розмарина и мяты. Море здесь было таким спокойным и прозрачным, что можно было различить подводные скалы. Чиччилло пристально всматривался, обнимая взглядом рифы и каменистый берег острова, где прошло его детство.

Но вот он подал знак, и мы дружно принялись ставить сети, пока еще сухие, хрустящие. Свинцовые грузила, дробно стукнувшись о борт, мгновенно уходили под воду, и вместе с ними уносилась вниз мечта поймать невиданных доселе рыб, знакомых мне только по рассказам. Наконец на дно лег канат с привязанным к нему камнем. Теперь единственным свидетелем всех наших усилий остался плавающий на легких волнах самодельный буй — маленький бочонок.

Вернувшись к берегу, мы бросили якорь в узенькой бухточке. Мы молча сидели на скамье, освещенной слепым светом ацетиленового фонаря, не в силах заснуть.

С первыми лучами солнца мы вышли в море. Задрав люки, мы с надеждой следили за тающими на горизонте облаками. Выбрав якорь и запустив мотор на малые обороты, мы отправились искать наш буй. Коричневая спина большого дельфина, вынырнувшего у самого бочонка,

не-располагала к радужным надеждам. Для дельфина лежащая на дне сеть — это стол, уставленный всевозможными яствами, которые он выбирает по своему вкусу. Нельзя было терять ни секунды. Мы подплыли к бую и принялись выбирать сеть. Мерно, спокойно и, главное, без рывков. Руки горели и нестерпимо ныли, но канат метр за метром ложился на палубу. Спина точно налилась свинцом. Я поднял глаза и увидел, что над островом всходило нежное, влажное от воды солнце. Со лба стекали струйки соленого пота. Вот наконец и сеть. Сколько в ней рыбы! Да какой! Огненно-красные, колючие морские окуни, с рыжими, как у драконов, глазками, невиданной длины краснобородки, липкие, прозрачные, судорожно извивающиеся осьминоги, тонкие сарги. Застрявших в ячейках сети морских окуней мы бросали на палубу — потом вытащим. А вот и усатый, перебирающий лапами омар.

Часто от краснобородок в сетях оставалась одна голова: у дельфина тонкий вкус и нежное нёбо и ему не нравится колоться об острые плавники морских окуней. Тут уж ничего не поделаешь — лучшим рыбаком всегда остается дельфин.

Я все выбирал и выбирал тяжелую теплую сеть; Чиччилло стоял за рулем и, провожая глазами сеть, словно говорил: «Вот они, настоящие рыбы, смотри, как их много и какие они красивые!»

На Тремити

В то утро наш баркас, полный рыбы самых разных цветов и оттенков, впервые предстал перед нами во всем своем великолепии. По морю гуляли, подгоняемые ветром, белые барашки; воздух был прозрачен, без единой пылинки, как и пена, взлетающая на корму. От островов Тремити нас отделяло двенадцать миль — часа два ходу. За это время мы еле успели опорожнить сети и разложить рыбу по ящикам. Когда мы подошли к острову Сан Никола, солнце уже стояло высоко. На крохотном молу нас сразу же окружили рыбаки. Чужой баркас, полный рыбы и новых нейлоновых снастей, столь не похожих на их грубые сети, — более чем достаточно, чтобы разжечь любопытство. Молодые, пожилые, старики с живейшим интересом разглядывали наш баркас. А Чиччилло? Он здоровался с каждым в отдельности, называл каждого по имени, шутил, смеялся. Самые близкие его приятели забирались на палубу, будто бы позвать нам руку и поздравить с хорошим уловом, а на самом деле — чтобы пощупать сети, посмотреть, какой они длины, посчитать, сколько их, заглянуть во все уголки, что мы еще прихватили. Они просовывали голову даже в трюм — поглядеть, мощный ли у нас мотор. Затем, вернувшись на берег, они наверняка долго еще вели разговор обо всем увиденном.

Рыбная ловля для тремитцев — главный источник существования, и они, понятно, всячески оберегают свой уголок моря. Ни одному чужому баркасу они не позволили бы ловить здесь рыбу, даже если бы им пришлось вступить с «чужаками» в драку. Я знал, что встреча с тремитцами будет не из приятных. Но я знал также, что Чиччилло был на «ты» с самыми хитрыми, опытными и старыми рыбаками, со всеми «хозяевами», иными словами — с теми, у кого на складе полно сетей, лодок и лампар¹. В свое время и он сам был таким «хозяином», а значит, имел полное право ловить тут рыбу.

Сидя на пристани и греясь в лучах нежаркого апрельского солнца, местные рыбаки строили догадки о наших планах. Собираемся ли мы

¹ Л а м п а р а — приспособление для ночного лова рыбы; состоит из донной сети, которую ташат за собой два баркаса, в то время как третий баркас, находящийся посередине, спущенным под воду мощным электрическим фонарем приманивает рыбу.

остаться здесь на весь летний сезон или же половим немного и уберемся восвосяси? А если не уберемся, то как нас отсюда выкурить? Вспомнит ли Чиччилло самые богатые рыбой места? Дно здесь прековарное, чуть ошибешься — и в лучшем случае вытянешь пучок водорослей, а в худшем и с сетями навсегда распрощаешься. Забыл или не забыл Чиччилло окрестные бухты? Морской бык, Скала самоубийц, Лиловый грот, Ружейный приклад, Английская и Турецкая бухты? Многие надеялись, что Чиччилло ничего не вспомнит, но старики — дядюшка Лука, Королевский Гвардеец, Аннелло — отлично знали, что Чиччилло, который тут родился и вырос, отыщет любое из этих мест с закрытыми глазами.

Первое испытание

Все утро мы скребли и мыли баркас, приводили в порядок сети. Наконец ближе к полудню направились к островку Сан Домино. Вскоре мы бросили якорь в маленькой бухте с добродушным названием Дядюшка Чезаре. Бухточка окружена невысокими скалами, которые поросли пиниями, сбигающими к самой воде. Воздух был напоен их ароматом, солнце золотило деревья, от которых исходил острый запах хвои. Пинии, зеленые водоросли, в которых чернели спинки морских ежей, слепящие лучи солнца, вкусная рыбная уха и старое вино, усталость после бессонной ночи — все вместе одолели нас, и мы незаметно заснули.

Рядом с нами на палубе лежали двое тремитцев, Помпео и Винченцино, пополнившие немногочисленную команду «Святого сердца» отчасти по нашему приглашению, отчасти по собственной инициативе. У них была одна-единственная задача — привести нас к мысу на западном берегу острова Сан Домино. Вот уже много лет они мечтали забросить здесь сети, но не решались. Ведь тут была «штаб-квартира» дельфинов. Так что план тремитцев нетрудно было разгадать. Они были почти уверены, что дельфины навсегда отучат нас рыбачить в этих местах. И одновременно искренне надеялись, что мы одурачим дельфинов. Все же они были истинными рыбаками и всерьез нам зла не желали.

Помпео, худой и длинный, как весло, с маленькими живыми глазками и черными тоненькими усиками, был самым заносчивым и хитрым из тремитцев. В каждой его фразе звучали одновременно насмешка и добрая шутка, вызов и гордость, сочувствие и ложь. Рыбаком он был далеко не лучшим, но зато в любом споре выходил победителем. Задира и буян, он заставлял побаиваться себя, и тремитцы предпочитали с ним не ссориться. К тому же они знали, что Помпео ни капли не боится переправиться на континент и некоторое время побыть на государственных харчах. Поэтому, едва он ступил на борт «Святого сердца», мы поняли, что пришел он к нам неспроста. Впрочем, мы нуждались в помощнике, пусть даже не из самых лучших. Винченцино, прозванный за свой громовой голос Королем, был, наоборот, парнем покладистым.

Думаю, что он искренне желал нам помочь и ему так хотелось положить рыбу нашими красивыми, новенькими, сверкающими на солнце сетями.

Скромный, молчаливый, похожий скорее на мастерового, он сразу же принялся осматривать баркас. Спокойно и уверенно поправил брезент, уложил поровнее ящики. Глаза у него были добрые и грустные, как у загнанной охотничьей собаки. И если в каждом слове и жесте Помпео заметны были рисовка и поза — каждое движение и фраза Винченцино были просты и естественны. Чиччилло все сразу понял и оценил. Самый опытный из нас, он пока предоставил событиям идти своим чередом, но был готов тут же вмешаться, если потребуются.

На закате мы, держась у берега, направились к мысу. Море было спокойным и казалось почти фиолетовым, но не нежного, а темного и густого оттенка.

Мы плыли медленно, готовясь к схватке. Врагов было два — течение и дельфины. У мыса сходились два подводных течения, и море, такое тихое и мирное на вид, таило в себе грозную силу, совладать с которой было совсем нелегко. Когда ставишь сеть на глубине сорока локтей, иначе примерно семидесяти метров, вытянуть ее — дело нешуточное. А если поставить сеть прямо по течению, то оно будет швырять ее из стороны в сторону, пока не изорвет о камни и подводные скалы.

В полумиле от нас дельфины гонялись за стайками сардин и скумбрий. Чиччилло велел мне идти самым малым ходом и весь превратился во внимание. Он напряженно рассматривал скалы, деревья вдалеке и еще какие-то одному ему известные ориентиры. Почти все рыбаки ставят сети, сверяясь с незаметными другим знаками на берегу, тайну которых они хранят как зеницу ока. Когда вон та скала, похожая на голову слона, сольется в одну линию с той высокой сосной, можно ставить сеть. Здесь кончается голое каменистое дно и начинается «пастбище», поросшее сочными водорослями, место встречи самых разных рыб. Тут в расщелинах скал прячется омар, большие неуклюжие краснобородки поглаживают своими длинными усами песчаное, усеянное камешками дно, и неутомимо рыщет жадный хищный вырезуб в поисках очередной жертвы.

Грузило ушло под воду, увлекая за собой сеть. Чиччилло, стоя у руля, наблюдал за течением и не спускал глаз с погружающейся сети. Одновременно он успевал сверяться с ориентирами на берегу. Я из люка следил за каждым движением руки Чиччилло, подававшего мне знаки: «Еще немного вперед. Стоп! Чуть правее. Стоп».

Так медленно, медленно мы плыли по течению, давая сети возможность лечь точно вдоль «морского пастбища». Последние ее метры легли на дно, и на поверхности закачался бочонок-буй. Первая часть работы выполнена. Коротенькая передышка. Чиччилло окатил водой палубу, и она засверкала ярко-красным, пурпурным цветом. Мы со страхом ждали, не вынырнет ли рядом дельфин. Красный диск солнца окупился в темно-синюю глубину и вскоре погас. Обычно от спуска до выбора сетей проходит три-четыре часа. По возможности сеть оставляют на дне с заката до рассвета. Но здесь каждая минута была на счету. Если дельфины заметят нас, с рыбой и сетями надо распрощаться. Несколько раз мы обошли на малом ходу все буйки. Стемнело. Мы зажгли фонари и направились к крайнему буйку. Я подвел баркас точно, и Помпео начал выбирать канат. Сорок локтей каната, прежде чем покажется верхний ярус сети. Он работал проворно, слегка откинувшись назад. Время от времени коротко бросал Чиччилло, следившему за тем, чтобы баркас не навалился на сеть:

— Право руля, так держать!

Тут же следовала команда и мне:

— Один оборот и стоп!

Но вот к Помпео присоединился Винченцино. На темной глади моря, прорезаемой лишь слабым светом фонарей, появилась сеть, тяжелая, полная рыбы. Помпео и Винченцино тянули молча, не тратя даже крупницы сил на слова. Внезапно Помпео начал громко, во весь голос перечислять названия рыб, шлепавшихся на дно баркаса.

— Шесть краснобородок, окунь! Еще краснобородки! Омар! Вылезайте, вылезайте из сети, милые. Анто, держи! — крикнул он и кинул мне кальмара. — Ешь его со всеми потрохами.

Я, не раздумывая, разодрал кальмара пополам и сунул в рот. Кальмар, поняв, что пришел его конец, плеснул в меня всей своей черниль-

ной жидкостью. Вторую половину кальмара я бросил Помпео, и тот проглотил ее в мгновение ока, словно голодный волк. Мы дружно расхохотались, и я впервые почувствовал к нему симпатию.

Я взглянул на стоявшего у руля Чиччилло. Глаза нашего капитана радостно блестели, и он не замечал, что его очки с поломанными и скрепленными нейлоновой нитью дужками сползают на мясистый нос.

Все сети уже лежали на палубе. Теперь оставалось лишь вернуться на Тремити и сгрузить рыбу. Я посмотрел на часы. Всего сети пробыли в воде сорок пять минут — рекордно короткий срок.

Уже ночью на пристани при свете фонаря мы выбирали рыбу из сетей. Рыбы переплелись, свились клубком, и нередко, чтобы вынуть хотя бы одну, приходилось возиться добрых пять минут. То и дело в руку вонзались острые плавники огненно-красных морских окуней. Мы провозились почти до самого рассвета. Холодный ветер леденил намокшие руки, и под утро мы окончительно выбились из сил. А нам еще предстояло с восходом солнца снова поставить сеть, а затем отправиться в Термоли и продать там рыбу. Мы сложили сети на корме и снова вышли в море. На этот раз улов был еще богаче. Несколько рыбаков-тремитцев, наблюдавших, как мы тянули разбухшие сети, принесли на остров весть, что «чужаки» натянули дельфинам нос и теперь держат путь к Термоли. Свежий ветер надувал парус. Сидя у руля, я смотрел, как мои друзья укладывали рыбу в ящики, специально отобранные для разных сортов. Двадцать ящиков одних только краснорыбок, причем некоторые из них весом больше килограмма, семь омаров и множество ящиков для рыб помельче. Как и все на баркасе, я сильно устал, глаза слипались, но закон рыбаков един — спать положено лишь в непогоду. Солнце припекало все сильнее, прогоняя ночную сырость и высушивая промокшую насквозь одежду. Прямо по носу баркаса, чуть западнее виднелись вдали снежные шапки Аbruццких гор. Чиччилло протянул мне фляжку с горячим кофе, сваренным на спиртовке.

— Спасибо, Чиччилло,— сказал я.— Мечта, а не кофе.

По клочку моря на каждого

Две недели подряд мы рыбачили у Тремити и каждый раз возвращались с богатым уловом.

В мае для здешних рыбаков начинается горячая пора. Каждый торопится поскорее выйти в море. Утром и вечером на маленьких весельных лодках тремитцы уплывали подальше от острова и ставили свои немудреные сети. Но рыбных мест не так уж много, и часто сети оказывались совсем рядом. По клочку моря на каждого. Это невольно рождало дух соперничества и скрытой вражды.

Одним из самых старых и опытных рыбаков среди тремитцев был Томмазино Баталья. Он и его сыновья были маленького роста, но отличались большой воинственностью. Утром, когда мы встречались у мола, сыновья Томмазино вежливо здоровались с нами, но их взгляды прошивали насквозь, словно автоматной очередью, наш баркас.

По-иную встречали нас сыновья Антонелло — искуснейшего рыбака, добродушного и одновременно страшно хитрого, щедрого на похвалы и... неверные советы. Поравнявшись с нашим баркасом, они кричали:

— Берегись, Антонио! Когда-нибудь мы вытащим твои сети, выберем всю рыбу — и поминай как звали!

Несколько сильных и дружных гребков — и их лодка стрелой пронеслась мимо раньше, чем мы успевали ответить что-либо. Семидесятилетний Антонелло, гордый своим не по годам крепким здоровьем, кричал

нам с кормы, не переставая выбирать застрявших в сети рыб, что это просто шутка: сыновья никогда не позволят себе ничего такого.

Однако эти «шутки» заставляли нас почти каждую ночь обходить на баркасе поставленные сети.

Все же мало-помалу тремитцы признали нас своими. Во многом еще и потому, что наш баркас и им сослужил добрую службу. В самом деле, отправляясь на «большую землю» — в Термоли или Вьесте, мы везли теперь на рынок и выловленную ими рыбу. Мы взвешивали ее, замораживали вместе с нашей рыбой, а вернувшись, вручали тремитцам деньги и квитанции. Эта новая обязанность доставляла нам немало хлопот. Но нам очень хотелось оправдать надежды тремитцев. Ведь они решились довериться нам лишь после долгих, мучительных колебаний. Достаточно было проследить за их взглядами, когда ящик с рыбой исчезал в трюме. То был взгляд людей, привыкших к вековой несправедливости, обману, к праву сильного. Их глаза как бы говорили: «Кроме этих семи килограммов рыбы, у меня ничего нет. Они — все мое богатство. Ты уж позаботься о них».

Наше посредничество пришлось не по душе только одному человеку. На Тремита, так же как на других прибрежных островах, всегда есть свой босс — богатый перекупщик. Он скупает рыбу прямо на месте. Здесь он полновластный хозяин, и его слово — закон. «Вот моя цена, а уж вы волны продать мне рыбу либо выбросить ее в море». Против этой поистине железной логики рыбакам нечего возразить.

У рыбаков Тремита годами скупал весь улов торговец из Роди, крупного прибрежного селения на полуострове Гаргано, что в двадцати четырех милях от Тремита. У родизинца было небольшое судно. И когда позволяла погода, он отправлялся на остров Тремита за рыбой. Платил он сколько вздумается. «Все равно зимой, в непогоду, когда рыбаки месяцами сидят без дела и в кой-то веки наловят одну-единственную корзину рыбы, они сами постучатся в мою дверь и попросят денег взаимы. Я, конечно, дам каждому денег, но только в счет рыбы, которую им с божьей помощью удастся взять весной и летом», — рассуждал родизинец.

Однажды мы с Чиччилло поплыли продавать рыбу прямо в Роди. Пришлось боссу на торгах покупать ту самую рыбу, которую он прежде брал за гроши, словно это была одна гниль. Вернувшись с рынка, мы увидели у пристани готовое к отплытию судно родизинца — красивую двухмачтовую шхуну вдвое больше нашего баркаса. Чиччилло мгновенно вскочил в баркас и стал выбирать якорную цепь, да так лихорадочно, точно он тащил со дна моря слиток золота. Он велел запустить мотор на полные обороты и, не успев еще баркас выйти из порта, — развязал крепившие парус канаты. Секунда, другая — парус надулся и затрепетал на свежем ветру.

Я возился с мотором, подкачивал бензин и не сразу сообразил, что задумал мой друг. Чиччилло встал у руля и зорко глядел, хорошо ли надулся парус и точно ли мы выдерживаем заданный курс. Потом обернулся и бросил взгляд на берег. В этот момент из-за мола показался нос шхуны, шедшей точно в том же направлении. Теперь не оставалось никаких сомнений: у родизинца и у нас была одна цель — Тремита! Разделявшие нас метров пятьсот были сущим пустяком в сравнении с двадцатью четырьмя милями, которые нам предстояло одолеть.

Началось яростное состязание. Мы обязательно должны были опередить этого спекулянта. Хотя бы ради того, чтобы окончательно испортить ему настроение. Я спустился в люк и перевел ручку мотора на «самый полный». Подгоняемый попутным ветром, наш баркас делал восемь миль в час.

Ровно три часа мы неслись по волнам, а расстояние между нами и шхуной не уменьшалось ни на метр. Мы первыми пришли в Тремити. Когда «Святая Мария» ошвартовалась возле нас, ее владелец наверняка кипел от злобы, хотя внешне и притворялся совершенно спокойным. Ведь на его глазах те самые лиры, которые он заплатил утром, перешли в руки рыбаков Тремити. На следующий день далеко не все тремитцы отдали свой улов боссу. Лишь беднякам, попавшим к нему зимой в полную кабалу, не оставалось ничего другого.

Одна-единственная игра с дядюшкой Лукой

Тремитцы остались истинными рыбаками, верными старинной поговорке: «Хочешь, чтоб сын стал бедняком, — сделай его охотником или рыбаком».

И хотя в первые годы после войны им случалось поймать зараз несметное количество рыбы, они не разбогатели. Львиную долю выручки прикармливали оптовые торговцы и судовладельцы из Бари.

Все же тремитцам удалось приобрести новые сети и переметы, а главное — новые баркасы.

Красивые, большие баркасы с прочными корпусами и мачтой высотой в пятнадцать метров.

Сейчас все эти баркасы лежали на берегу, защищенные старинными стенами крепости. Зимой, когда море захлестывает низкий берег, рыбакам приходится всю ночь тащить баркасы вверх до узкой дороги, ведущей в селение.

Время от времени самые богатые из рыбаков — Лука и Антонелло — спускают свои баркасы в море, иначе солнце и ветер вконец их доконают. По старой привычке они чистят и красят потрескавшиеся баркасы, хотя теперь они выходят только на ловлю лампарой и то лишь в октябре на две-три недели.

Весною рыбаки извлекают из своих сырых кладовых сети, корзины, канаты. Перебрасываясь веселыми шутками и помогая друг другу, они раскладывают их на молу. Пусть как следует просохнут под теплыми лучами солнца.

Пожалуй, самой удивительной из всех была кладовая дядюшки Паскуалотто. Вдоль древних стен огромного помещения, служившего, верно, кордегардией в те далекие времена, когда весь остров был крепостью, лежало всевозможное рыболовное снаряжение.

Были тут деревянные колесики, блоки от самых крохотных — величиной с орех — до самых больших, для восьмидесятидюймового ворота, корзины, малярные кисти, пучки травы. С потолка неподвижно свисали маленькие якоря для лодок, ячейковые сети для ловли зеркального ската и, наконец, большущая, выдававшая виды сеть для лова лампарой, уложенная с такой же тщательностью, с какой невеста хранит атласное одеяло, выстеганное к свадьбе. Под сводами висели фонари, стекла, медные листы, и все это начищено и надраено. На полу — толстые канаты, старые, отслужившие свой срок, весла.

Паскуалотто показывает на одно из них:

— Это весло с баркаса моего отца, «Анджолиной» назывался. Такого баркаса теперь и не сыщешь.

В кладовой пахнет краской и дегтем. Между тем Паскуалотто давно уже не рыбачит. В его годы можно быть лишь... стариком. И все же, если мышь прогрызает сеть, горю Паскуалотто нет предела и он не успокаивается до тех пор, пока не починит ее своими руками.

Каждый предмет здесь для Паскуалотто бесценен, а сама кладовая — священный храм.

В апреле, когда туда заглядывают первые лучи весеннего солнца, старик проводит тут долгие часы. Частенько сюда приходят дядюшка Лука, Антонелло, мы с Чиччилло, и начинается обычная беседа: о леске, наживке, о том, каким узлом лучше вязать нейлоновые канаты.

Антонелло так живо, интересно описывает морское дно, словно он побывал там и видел все своими глазами. Каждую фразу он сопровождает выразительными жестами, подскакивает, извивается. Перед нами разыгрывается целая пантомима.

— А у Фиолетовой бухты вы ставили сети? Ну и сколько омаров взяли? Понимаете, там надо сперва отсчитать двадцать семь шагов от Соснового мыса, а потом уже опускать первые два яруса сети. Она как раз и накроет три маленькие скалы. И уж тогда четыре-пять омаров — твои. Потом иди прямехонько по течению, и как доплывете до Крокодила и увидите острую красную крышу двухэтажного дома, берите немного вправо и тихонечко опускайте еще четыре яруса. Да так, чтобы сеть «лужок» накрыла. А там, в водорослях, вот такие краснобородки прячутся...

Дядюшка Лука слышал все это лет тридцать кряду и в этом месте рассказа непременно вполголоса прерывал Антонелло. Но без издевки, потому что не раз видел, как старый рыбак возвращался на Тремити с десятью — двенадцатью омарами в баркасе.

— Антонé! Ты-то сам этих краснобородок видел? А скалы, где омаров полным-полно?

Старик умолкал и, почесав седой затылок, вставал с лавки. Он долго извинялся, говорил, что надо помочь сыновьям чинить сети, и под этим предлогом ускользал из кладовой. Я заметил, что его светло-голубые глаза темнели, их словно заволакивало пеленой. Быть может, он вспоминал, как в этих самых местах одной бурной ночью его баркас напоролся на подводную скалу. В ту ночь младший из его сыновей навсегда перестал ловить рыбу. Он покоится на кладбище в Тремити, и белая каменная плита на берегу день и ночь смотрит, как рядом плещется море.

Самым опытным рыбаком на острове был дядюшка Лука. Плотный, жилистый, с кирпично-красным лицом и огромным носищем, он поразил меня с первого взгляда. Его маленькие круглые глазки смотрели на всех испытующе. Бросит короткую фразу — и отвернется. Молча глядит на море и думает о чем-то своем. Его мастерство признавали все тремитцы, и, верно, поэтому, когда мы возвращались с уловом, он удостаивал нас лишь гордым и презрительным взглядом. Но со временем после долгих вечерних бесед на молу, когда все сидят рядом, плечо к плечу, и дружки угощают друг друга сигаретами, дядюшка Лука впервые заинтересовался нашими сетями из нейлона. Вообще-то насколько они хороши, он мог судить уже по тому богатому улову, с которым мы обычно возвращались на берег. Но дядюшка Лука утверждал, что он и своими старыми сетями возьмет не меньше.

И вот однажды он мимоходом обронил, что если бы ему довелось ставить наши сети в Английской бухте, то на баркасе не хватило бы места для рыбы. Он знает там местечко, где ее полным-полно.

Долго раздумывать не приходилось. Я предложил дядюшке Луке этим же вечером отправиться вместе с нами.

— Согласен, но только с одним условием, — ответил дядюшка Лука. — Я тоже поставлю свои сети. Попробую вам доказать, что дело не в сетях, а в умении.

В тот вечер море было спокойным, в небе ни облачка. Дядюшка Лука впервые ступил на наш баркас, но сразу же повел себя как хозяин. Без лишних слов сел за руль и уверенно направил баркас к островку Сан Домино. Я смотрел на него и все ждал, что вот-вот он усмехнется и отпустит по нашему адресу какую-нибудь едкую шутку. Ничего подобного. Неподвижно и грузно сидел он в своем сером, с черными полосами костюме и смотрел вперед. Костюм был старый, двубортный, с жилетом. В одном из его карманов, судя по красивой массивной цепочке, лежали старинные серебряные часы с золотой крышечкой.

Начали ставить сети. Дядюшка Лука коротко приказывал мне:

— Чуть вперед, стоп! Еще немного, стоп...

Дядюшка Лука не отрывал взгляда от острова Сан Домино. Эти скалы, линии и домики были для него теми ориентирами, по которым он выбирал место. Если бы мы умели читать по его глазам — сколько тайных примет стало бы известно и нам! Эти немудреные секреты передавались от отца к сыну, и без них дядюшка Лука наверняка не стал бы лучшим рыбаком на острове. Мы поставили все до одной сети, даже те, что обычно лежали в запасе на палубе. Потом под воду ушли сети дядюшки Луки. Почерневшие от времени, чиненные-перечиненные, они показались мне похожими на старые тяжелые матрацы.

Закинув сети, мы вернулись к причалу. Мотор мощно гудел, словно и он гордился, что везет лучшего рыбака Тремити.

— В четыре утра выходить. Я на своей лодчонке поплыву и все равно раньше вас буду, — сказал дядюшка Лука, спрыгивая на берег. И не спеша пошел к себе, на ходу что-то объясняя двум своим приятелям.

Фафеле, высокий, сухощавый, черный, как погасшая головешка, кинул нам вдогонку:

— Смотрите не проспите. Дядюшка Лука и рыба ждать не любят.

Едва забрезжил рассвет, мы уже сидели в баркасе, дожидаясь дядюшку Луку. Чиччилло сварил кофе и сейчас, перегнувшись через борт, тщательно мыл чашки своими заскорузлыми пальцами. Но вот из-за Бриллиантового мыса показалась лодка старого Луки. Он подплыл к нам, закрепил на носу канат и прыгнул в наш баркас.

В то утро дядюшка Лука был спокоен и уверен в себе даже больше, чем всегда. Он неторопливо выпил чашку кофе, которую ему сразу же протянул Чиччилло, и подал знак отчаливать. Через несколько минут мы подошли к буйку. Чиччилло заученными движениями стал вытягивать канат. Когда в фиолетовой глубине заколыхалась красная полоса сети, движения Чиччилло стали более медленными и осторожными. В общем молчании на палубу легли первые метры сети. Никто не проронил ни слова и позже, но в душе мы проклинали все на свете и изрыгали проклятья.

От сети остались одни лохмотья. Головы краснобородок и других рыб неопровержимо свидетельствовали, что улов был богатым, но другой рыбак — дельфин — успел прежде нас опорожнить сеть. Дыры величиной с зонтик, растерзанные рыбы. Больно было смотреть на эти жалкие остатки вчера еще такой чудесной нейлоновой сети. Когда наступил черед старых сетей дядюшки Луки, к нашему изумлению, они оказались целы-целехоньки. Рыбы в них, правда, не было, но и дельфины их не тронули. Я посмотрел на дядюшку Луку. Его лицо было непроницаемо. Помолчав, он грустно сказал:

— Ничего не поделаешь. Моря без дельфинов не бывает. Хочешь много рыб наловить — не забывай о дельфинах. Моя совесть чиста, ведь я и свои сети ставил.

Мы чувствовали себя поверженными наземь. Чтобы починить сети, понадобится несколько недель. И все это время сидеть без дела!

Урок был жестоким. Меня мучило сомнение: забыл ли дядюшка Лука об осторожности в мечтах о невиданном улове или же с самого начала он знал, что наши сети станут жертвой дельфинов? Если это так, то надо признать, что старый Лука похитрее лисы. Неужели он задумал показывать тремитцам, как зло может подшутить над «чужаками», вздумавшими рыбачить в их море? Бесполезно было вглядываться в лицо старика, искать в нем ответа. Морщинистое, твердое, как смоченная в морской воде глина, оно оставалось столь же загадочным, как и его поступки. А спрашивать напрямик было бы просто наивно.

Теперь я склонен думать, что он и сам не смог бы ясно ответить. Так или иначе игра сыграна, и мы получили отличный урок на будущее. С дядюшкой Лукой ухо надо держать остро и, уж конечно, рыбачить вместе не след!

Веселые кумушки из Пескичи

С порванными сетями мы провозились целых три дня. Хорошенько просушив их на солнце, Чиччилло и Винченцино взялись за починку. С утра до вечера они зашивали здоровенные дыры, распутывали узлы. Но очень скоро мы поняли, что сами не управимся и за месяц. И вот однажды вечером Чиччилло предложил:

— Антонио, надо сходить в Пескичи. Там жены рыбаков испокон века сети чинят. Они в этом деле мастерицы. Работают они по старинке, всей семьей, и много с нас не возьмут. Кое-что мы заработали, а неудач с кем не бывает! Сам знаешь: «Море дало — море и взяло».

Починка сетей займет не меньше двух недель, а пока что не мешало обдумать предложение Пальмиотто. Старый бариец и его сыновья задумали ловить рыбу «по-современному» — в безлунные ночи на свет, а в светлые, когда рыба не шалеет от слепящих лучей фонаря, — обычным переметом. Но для этого им позарез нужен был наш баркас. Ведь если улов окажется богатым, их суденышко, груженное сетями, наживкой, корзинами, не примет много рыбы. И уж тут без нашего баркаса им не обойтись. «Святое сердце» могло принять только в трюм двести ящиков рыбы, да столько же умещалось на палубе. К тому же, когда ставишь перемет в открытом море, надежнее рыбачить двумя моторными баркасами сразу. Выйдет из строя мотор на одном баркасе — второй отбуксирует неудачника в порт.

Еще месяца два назад зимним утром, сидя у стен древней крепости, мы обсуждали с Пальмиотто один смелый план. Как всегда, по молу гулял пронизывающий северный ветер трамонтана; море было все в пеннистых барашках, и карманы рыбаков были пусты, как нутро перевернутых лодок.

В такие дни только надежда на счастливый улов помогает рыбакам терпеливо ждать конца непогоды и зимнего ненастья. Разговор снова зашел о банке. О знаменитой подводной банке, или, вернее, отмели к северу от острова Пьяноса. Старики говорили, что в прежние времена, когда моторных баркасов еще и в помине не было, немало рыбаков отправлялось к этой отмели и возвращалось с богатейшим уловом. На каждом крючке висела здоровенная рыбина. Но уже много лет никто не отваживался отправиться туда.

О таинственной отмели рождались легенды. Рассказывали, что вырезубы там весом в семьдесят—восемьдесят килограммов. Настоящие морские коровы. Все руки в кровь изранишь, пока их вытянешь. Но где же находится эта сказочная отмель? Точно этого никто не знал. Одни говорили — в десяти, другие — в пятнадцати милях к северу от Пьяносы. А некоторые утверждали, что лежит она не к северу, а к северо-востоку.

Те немногие из рыбаков, которые, видно, побывали у отмели, предпочитали отмалчиваться. Посасывая неизменную трубку, они лишь сплевывали время от времени и с интересом смотрели, как улетает к морю подхваченная ветром тонкая струйка слюны.

Пальмиотто подозревал, что Чиччилло, много лет рыбачивший у берегов Пьяносы, кое-что знает о загадочной отмели. Это было главной причиной, почему он так настойчиво звал нас в компаньоны. Для вящей убедительности он показал мне все свои переметы. Их хватило бы не то что на два, а на целых три баркаса. Если бы нам удалось спустить на дно отмели эти шесть тысяч крючков, вырученных потом денег хватило бы на всю зиму.

На следующее утро наш баркас ошвартовался у мола в Пескичи. Ретивый таможенник немедля примчался проверить содержимое четырех тяжелых мешков, вытащенных нами из трюма. Убедившись наконец, что мы рыбаки, а не контрабандисты, блюститель закона милостиво разрешил нам сойти на мол, каковой он, очевидно, считал своей собственностью. И так велика была наша благодарность за это позволение, в котором мы, собственно, не нуждались, что Чиччилло вручил ему две большие свежие рыбины.

Пескичи, когда глядишь на него с моря, похоже на огромное гнездо. Его маленькие домики накрепко прилепились к бурым прибрежным скалам и кажутся высеченными из них. Почти все с узкими окнами и балконами, они разбросаны в живописном беспорядке. Невольно возникает вопрос: почему здешние жители построили свои жилища прямо на остроконечных скалах? Почему все до одного домишки стоят у самого моря? Ведь рядом, на полуострове Гаргано, много удобных земель. Между тем Пескичи не назовешь типичным рыбацким селением. Его жители скорее крестьяне. И кажется даже, что они несут с собой запах полей, отделенных друг от друга по старинному обычаю высоким дубом, и прокаленных солнцем яблоневых садов, подступивших к самой полоске желтого морского песка. В верхнем Пескичи все напоминает о земле. По улочкам, поскрипывая, ползут телеги, повсюду валяются бороны и допотопные деревянные плуги. Вечером в старинном зеркале единственного здесь парикмахера отражаются загорелые, морщинистые лица крестьян. Говорят они о посевах, оливах, давилых прессах, о ценах на хлеб и видах на урожай. Их одежда всегда припорошена серой пылью. На ногах у них большие порыжевшие башмаки. Беседуя, они неторопливо вытаскивают из кармана сложенный вчетверо красный платок, в который завернут садовый нож, одновременно служащий и для резки хлеба. Мне они показались степенными старшими братьями рыбаков, которые летом ходят по тем же улицам босыми и полураздетыми.

Они-то, рыбаки, и населяют нижнее Пескичи. Вдоль мола тянутся их белые домики и мастерские конопатчиков. Вокруг — сети, верши.

Мы вошли в один из таких домиков, где, как нам сказали, можно починить сети. И сразу очутились в большой полутемной комнате с круглыми сводами. Вдоль массивных стен — грубые скамьи, на которых свалены сети всех видов и цветов, старые корзины, доверху наполненные канатами, леской, катушками.

Женщины встретили нас градом вопросов. Говорили они все вместе, хором. Одна начинала фразу, другие подхватывали ее и доводили до конца. Вопросы и ответы как бы передавались из уст в уста, обогащаясь красочными подробностями, словно музыкальная пьеса в исполнении квартета арф.

Затем самая старая из женщин, соединив все фразы воедино, подвела краткий итог. Сколько любопытства было в каждом их вопросе! Да и неудивительно. Ведь они всю жизнь проводят в этой мрачной

комнате за починкой сетей. А мы «пришлые», из чужих, незнакомых краев, говорим не на их наречии, а на каком-то малопонятном языке! А уж сети у нас! Похоже, будто их не дельфины рвали и кромсали, а неведомое морское чудовище. Их и починить-то нельзя. Но так и быть, пусть чужаки сами убедятся, какие они мастерицы. И уж тогда заплатят по совести. Ведь, кроме них, никто эти сети и чинить не возьмется! Нет, без них мужчины пропадут, да и только!

Некрасивые, худые, костлявые, они раздражаются хриплым, как карканье ворон, смехом. Все до одной в одинаковых черных платьях. У самой старой выворочена нога, у другой во рту осталось зубов шесть, не больше. Когда она смеется, ее жирные с проседью волосы, собранные на затылке в пучок, начинают подергиваться.

Сидят эти современные Парки на низеньких стульях, чинят бесконечные сети и громко хохочут. Кажется, будто чья-то злая воля обрекла их вечно корпеть над рваными сетями. Похоже, они примирились со своей безрадостной судьбой, и все же нет-нет да и бросают ей вызов своими грубыми шутками.

Жадно расспрашивая нас о новостях, они не перестают связывать узлы и искать оборванные нити. Наконец старшая из женщин сказала, что с работой они справятся за три недели. Но обойдется починка недешево — по семьсот лир в день на каждую. С местных рыбаков они берут вдвое меньше, но ведь такие драные сети им попадают впервые.

Уже собравшись уходить, я заметил в углу мужчину. Он спал в одежде тут же, на сетях. По босым ногам в нем безошибочно можно было угадать рыбака. Громкий разговор его разбудил. Он посмотрел на нас без особого любопытства и снова лег, наказав женщинам не шуметь, а то ему ночью выходить в море.

Мы вернулись на баркас в самом радужном настроении. Появилась надежда, что эти грубоватые крикливые женщины с доброй душой и мужественным сердцем скоро и на славу починят наши истерзанные дельфинами сети.

Десять рук на пятьдесят ртов

От Пескичи до Вьесте — миль десять. Рано утром мы вышли из Пескичи и, держась вдоль берега полуострова Гаргано, взяли курс на Вьесте. Там мы должны были встретиться с барийцами и договориться обо всем.

День был солнечный, и с моря полуостров казался особенно красивым. Горы и густые леса подступают на нем к самому морю во всей своей первозданной суровости. В лесу почти безраздельно господствуют могучие дубы, и редко встретишь у берега нежно-зеленую сосновую рощицу. Пустынные бухточки, крохотные заливы, сотни гротов, огромные пляжи без единого купальщика, дикая, не тронутая человеком природа.

Кое-где на скалистых берегах высятся старые неуклюжие трабукко¹. Опутанные стальными тросами, они словно бы протягивают к морю свои деревянные пальцы, чтобы, улучив момент, выхватить из воды зазевавшихся рыб.

Часто сразу за трабукко виднеются окруженные деревьями несколько домиков. Когда-то здесь были сплошные леса, подступавшие к самому берегу. Постепенно люди отвоевали у леса клочки пашни, и теперь могучие дубы с вороньими и сорочьими гнездами остались немymi свидетеле-

¹ Трабукко — приспособление для ловли рыбы с берега. На высоком деревянном помосте крепят длинные деревянные рейки, уходящие на несколько десятков метров в море, к которым подвешена большая сеть.

лями тех славных времен. Трабуцко построили здешние крестьяне — их можно назвать сухопутными рыбаками. Они-то и придумали такую хитроумную рыбную ловлю с берега. Ловят они довольно редко, но в сентябре, когда начинается ход кефали и морского волка, все становятся рыболовами, не выходя в море и не борясь со встречным ветром. Они греются на солнышке в своих голубоватых холщовых костюмах, а когда похолоднее — в вельветовых куртках, покуривают отменную тосканскую сигару и... рыбачат.

Для Пальмиотто и его сыновей последние месяцы были довольно удачными. В дни, когда море позволяло, они без роздыху ловили на отмели в нескольких милях от Бари лутрин. Вначале их было очень много, но с каждым днем становилось все меньше, и наконец баркас стал возвращаться с никудышным уловом. Но Пальмиотто подписал контракт с оптовиком, а тому какое дело — хороший сегодня улов или плохой: подавай ему рыбу — и все!

Рыбаки обычно не любят покидать надолго родные места и решаются на это только по крайней нужде, когда нет другого выхода.

Я как-то прикинул, и получалось, что пяти сыновьям Пальмиотто надо было прокормить — считая детей, жен, старых бабушек, — не меньше пятидесяти человек. Десять рук на пятьдесят ртов! А тут еще долг за мотор! В этом году они купили новый, довольно мощный для такого баркаса. При легком попутном ветерке баркас легко развивал теперь скорость до восьми миль.

Рыболовных снастей у них было достаточно. Оставалось только работать, как каторжным, в надежде на хорошую погоду и хоть небольшую удачу.

В маленьком Вьесте на семейство Пальмиотто даже местные рыбаки поглядывали с почтительным удивлением. Таким способом, как они, здесь, на полуострове Гаргано, рыбу никто не ловит. И не потому, что не хотят, — просто умения не хватает. Я говорю о ловле переметом. В тонких нитях перемета сплетаются хитрость, кровь, проклятия, приключения в открытом море и на дальних отмелях. Нередко на дне гибнут центнеры наживки, за которую даже расплатиться нечем. К примеру, когда ловишь лутрин, на десять переметов по двести пятьдесят крючков каждый нужно купить наживки — самые нежные части каракатиц — не меньше чем на десять — пятнадцать тысяч лир. Для большинства рыбаков это огромная сумма, и отважиться на такой риск может далеко не каждый. Стоит один раз неудачно поставить переметы или внезапно измениться погоде — и вся наживка пропадает зазря. И в сети попадает уже сам рыбак — к оптовому торговцу. Быть может, это зависит от характера, но рыбаки Гаргано ловить рыбу переметом не решаются. Баркасы у них хоть и моторные, но маленькие, узкие. На них они берут сетями сардин, сельдь и прочую прибрежную рыбешку. Мне даже кажется, что море не так сильно манит их к себе. От них пахнет землей, полями. Зимой, когда море разыгрывается не на шутку, они наверняка копаются у себя в огорожке или трудятся в поле — одним словом, зарабатывают на жизнь земледельством. Поэтому-то они больше похожи на крестьян, занимающихся рыболовством скорее ради удовольствия. В моих же краях профессию рыбака не выбирают, к ней приходят с фатальной неизбежностью, и часто она становится печальной семейной традицией. Пальмиотто и его сыновья, загнанные нуждой во Вьесте, оторванные от семьи, от дома, работают молча и хмуро, изредка обмениваясь короткими злыми фразами. Да и сам их обычно мирный баркас выглядит, как готовый к бою корабль. Кругом валяются буйки, канаты, черные флажки, чтобы лучше различать места, где поставлен перемет.

Все здесь говорит о жестокой битве с морем, нищетой, долгами. Для этих людей единственное спасение в рыбе, добытой нечеловеческим трудом. Их воинственность отчаянья заставляет крестьян относиться к ним с почтением и осторожностью. Кто знает, на что решатся эти чужаки, лишь бы выжить, прокормить семью.

Устроились Пальмиотто с сыновьями на все лето у самого берега, в старом складе, который им щедро предоставили оптовые торговцы. Впрочем, эта щедрость была отнюдь не бескорыстной, что обнаруживалось каждый раз, когда рыба попадала на весы и превращалась в деньги. Тут надо было глядеть в оба: добродушная улыбка, любезное «пройдите чуть подальше» — и в мгновение ока целый ящик рыбы не попадал в счет. Поэтому старик Пальмиотто просил меня:

— Антонио, синьория, ты умеешь писать и читать, так уж последи, что там торговцы чиркают своими ручками. Ведь мы больше привыкли сети тянуть, а не взвешивать рыбу.

В наших краях «синьория» говорят только людям пожилым и уважаемым. Обычно так обращаются сыновья к отцу. Даже когда вспыхивает яростная ссора и сыновья глядят на отца бешеными глазами, они говорят ему «синьория». «Синьория, ты ничего не понял. Синьория, ты наше горе и разорение».

«Здесь ничегооо...»

Наш баркас по сути дела перешел во владение семейства Пальмиотто. Не скажу, чтобы это нам очень нравилось, однако приходилось мириться. Мы были компаньонами, но их было больше, и нам оставалось лишь соглашаться с любыми их предложениями.

Но что много хуже — с первой же минуты между Чиччилло и сыновьями Пальмиотто возникла скрытая неприязнь. Старик Пальмиотто ценил и уважал Чиччилло, но его сыновья при каждом удобном случае старались поддеть и раззадорить бывшего паранцуоло. Странная неприязнь и даже злорадия, порожденные, на первый взгляд, сущими пустяками, к примеру, тем, как странно вяжет Чиччилло узлы! На самом деле причины этой враждебности были много глубже. Слишком уж несхожими по характеру, воспитанию и привычкам были Чиччилло и сыновья Пальмиотто. Чиччилло чувствует море и относится к своему ремеслу, я бы сказал, с большей естественностью. Для него профессия рыбака — нечто само собой разумеющееся, ведь она передавалась на Пьяносе из поколения в поколение. Островок этот столь мал, что куда ни глянешь — кругом море. Свою юность он провел на скалистом берегу, в крохотном, сложенном из камней домике, вдали от континента, от шумных городов. Предельная простота жизни и обычаев, глубокая тишина, разлитая над островом, с годами научили его сохранять спокойствие, выдержку и наблюдать за всем молча, неторопливо. На этих барийцев Пальмиотто он смотрел чуть свысока, считая их слишком шумными, грубыми и даже просто невежливыми людьми.

— Портовые хвастуны, — сердился он. — Сами только-только рыбачить научились, а уж берутся учить других.

В довершение всего они говорили на совершенно разных диалектах. Пальмиотто и его сыновья — на малопонятном барийском, а Чиччилло, как и все тремитцы, — на древнем и благородном неаполитанском. Как ни странно, но тремитцы говорят только на неаполитанском диалекте. Прямо хоть бери переводчика. Я специально не занимался лингвистическими изысканиями, но из рассказов самих тремитцев узнал вот что. Во времена Бурбонов король Фердинанд, как видно, решил однажды очистить улицы Неаполя от мошенников и карманных воров. Но, чтобы им в из-

гнания не было скучно и, не дай бог, они не перевелись, он за компанию выслал на остров Тремити и девиц легкого поведения. Так или иначе, но и теперь, спустя несколько веков, все тремитцы говорят на чистейшем неаполитанском диалекте.

На «Святом сердце», груженном тремястами деревянными ящиками, уже не было места для наших пожитков. Чиччилло поддерживал на баркасе, заменившем для нас на долгие месяцы родной дом, идеальную чистоту. Теперь же повсюду валялись снасти, поплавки, канаты. Ночью, когда из-за плохой погоды выйти в море не удавалось, мы вместе с байрицами спали на перевернутых ящиках из-под рыбы.

Но старый склад, где они жили, был слишком тесен для семи человек. К тому же здесь царил страшнейший беспорядок, да и от шума мы с Чиччилло успели отвыкнуть. Наконец мы решили перебраться в заброшенный деревянный барак у самого берега. Издалека на желтом песке он казался огромной белой костью, обмытой дождями и отполированной морским ветром.

Погода нас не баловала. Нередко, куда чаще, чем мы хотели, нам приходилось оставаться на пристани. Рисковать было опасно. К полудню знойный сирокко накаливал мол докрасна, кинжально-острые лучи солнца сверкали каким-то неверным светом, и по морю рывками катилась белая пена.

В такой денек не выйдешь из порта. Сидишь у мола и слушаешь, как уныло поскрипывают от ветра швартовы.

Уходить далеко от Вьесте мы, понятно, не решались. Не оставалось ничего другого, как довольствоваться жалким ловом у самого берега, да и то в тихие ночи, выпадавшие очень редко. Мы отплывали вечером и брали курс на восток. Баркас шел так близко от берега, что нам поминутно грозила опасность сесть на мель. Обычно мы ставили переметы на гронков, черных юрких угрей, которые прячутся в подводных гротах под скалами. Похожие на больших змей, они привыкли к соленой придонной воде и хорошо брались на наживку из сардин.

«Святое сердце» плыло, почти касаясь прибрежных скал, едва не задевая мостки трубушко. Слышно было, как поют ночные птицы; отчетливо доносился терпкий запах пиний и полей, истомленных за день знойным сирокко. К рассвету баркас наполнялся рыбой, которая ночью в тихих прибрежных водах соблазнилась нашей сардинной наживкой. На крючки перемета попадались почти одни угри. Они скользили по палубе в тщетной надежде отыскать дыру и улизнуть обратно в море. В конце концов они сплелись в огромный извивающийся клубок. Улов обычно бывал хорошим, но выручки хватало лишь на то, чтобы прокормить десять человек, купить сигарет да иногда сходить в кино.

Несколько раз мы пытались ловить лампарой. Погрузив на палубу три лодки с фонарями, мы выходили в открытое море. Дозорные на лодках всю ночь напряженно всматривались в черную воду, словно моля рыбу подплыть к нам. Наш баркас держался чуть поодаль. Ночную тьму то и дело прорезали громкие голоса «людей огня», передававших экипажу соседней лодки последние новости. Они даже пытались на глазок определить, сколько рыб плывет мимо.

— Тут, — словно из пустоты возникал чей-то пронзительный голос, — одни сардины. Штук семьдесят, семьдесят пять.

И с другой стороны:

— Тут ничегоооо!

И это бесконечное «о» звучало донельзя грустно. Кто-то внезапно заводил протяжную песню. Простая, незатейливая, она говорила о том, что поющий и не надеется на удачу. Самое лучшее — сидеть вот так в баркасе и всю ночь тянуть бесконечную кантилену.

Никому из нас не посчастливилось увидеть хоть две-три сотни рыб, ради чего стоило ставить огромную сеть со свинцовыми грузилами весом в целых восемь центнеров. Начинаешь ее тянуть — и дыхание перехватывает. Выругаешься в сердцах — и немного легче становится.

Утром, разочарованные и не разбогатевшие ни на грош, мы вернулись на Тремити и устало сошли на пристань. У всех нас животы сводило от голода. Ведь ночью мы подкрепились лишь куском хлеба да выкурили по одной сигарете «национале».

«Вы, рыбаки,— счастливцы!»

Постепенно всеми нами овладела полнейшая апатия. Чиччилло попросил у меня разрешения отлучиться на несколько дней в Бари. Ему хотелось повидаться с семьей, от которой уже несколько месяцев он не получал никаких вестей.

Об этом Чиччилло сказал мне, когда мы в полдень отправились прогуляться. Я чувствовал, что теряю друга и толкового моряка. Он наверняка не вернется.

Мы вышли за селение и взобрались на невысокий холм, поросший оливами и рожковыми деревьями, откуда был отлично виден порт и уныло приткнувшиеся к пристани баркасы. Наш — голубой с белой полосой и высокой мачтой — сразу можно было отличить от других. На этом крепком баркасе мы вместе провели в море немало трудных ночей. Чиччилло поклялся, что вернется:

— Всего дня на два, уж очень я по жене и детям соскучился.

Когда мы спускались к пристани, нас захватил проливной дождь, заставивший спрятаться в заброшенном хлеву. Минуту спустя внизу на тропинке, где вода с журчанием стекала меж камней и полузасохших кустов, показался осел с вязанкой дров на спине. Сзади семенил низенький, плотный крестьянин. Он тоже забежал в хлев и сразу же сложил в углу свою ношу: вешевой мешок, топор, палку. Оббивая о руку насквозь промокшую соломенную шляпу, он подошел к двери и стал рядом с нами. Поглядывая на небо, он оживленно заговорил:

— Вы, рыбаки,— счастливцы! Вам ни жара, ни дождь нипочем. Вот ведь кажется, в такую засуху дождь для нас божья благодать. Ан нет, он нам уж ни к чему. Вот весной бы его — когда солнце всю палило. А теперь что — весь урожай пропал. И так всегда у нас — небо командует! А в морё рыба в любую погоду есть — идет дождь или нет его...

Его маленькие глазки хитро улыбались. Ведь он и сам знал, что это не совсем так. Я угостил его сигаретой, и мы, затагиваясь поочередно, выкурили ее. Дождь перестал, и можно было возвращаться в порт.

— Кум,— сказал Чиччилло, который, казалось, и не прислушивался к словам крестьянина.— Может, ты и праз, но и на земле всегда что-нибудь да растет. Если не хлеба, то виноград, а уж ему-то этот дождь на пользу. Коль скоро выберешь время, приходи в порт и фьяску вина прихвати. Мы рыбу поджарим, поедим, выпьем, а потом, если надумаешь, поменяемся ремеслом.

Двадцать четыре часа неудач

Однажды в полдень мне захотелось побыть одному. Я забрался на трабукко и, разморенный жарой, быстро уснул на его прочных, хорошо оструганных досках, от которых исходил приятный солоноватый запах. Проснулся я бодрый, освеженный, с неодолимым желанием немедля что-

то предпринять, подбить свою команду на какую-нибудь смелую вылазку. Я поглядел на море. Оно показалось мне по-честному тихим, а его нежно-голубые воды манили к себе. Самое время сниматься с якоря и уходить из осточертевшего порта.

У причала я встретил сыновей Пальмиотто и стал их уговаривать. Они доказывали, что для верности лучше обождать еще денек: ведь только-только затих сирокко и этот штиль может оказаться обманчивым. В конце концов мне удалось их убедить.

— Поплыли,— сказал я.— Ночь-то уж наверняка будет тихой. Вот мы и успеем половить лампарой у Пьяносы.

Я победил, потому что им самим до смерти надоело без дела слоняться в порту. А главное, я говорил с такой уверенностью, словно был из них самым старым и опытным.

В несколько минут все было готово к отплытию. Трое сели в мой баркас, шестеро в баркас Пальмиотто — и вот уже Вместе остался далеко позади. Примерно час мы дружно плыли рядом, но, когда оба баркаса подошли к мысу и надо было взять курс на Пьяносу, между двумя «капитанами» возник спор. На этот раз с нами не было ни Чиччилло, ни старика Пальмиотто.

Мой баркас вел второй из сыновей Пальмиотто — замечательный рыбак, но мало знакомый с этими местами (на самой Пьяносе он не был ни разу). Баркас Пальмиотто вел его старший сын, вежливый, но очень странный человек, которому я бы не доверил командовать баркасом. Он несколько лет плавал на больших танкерах и сухогрузных судах, и это его, можно сказать, испортило. Он твердо уверовал, что раз он бороздил на танкере моря и океаны и держал в руке штурвал такого корабля, никто не смеет усомниться в его мореходном искусстве. Тем более что он видел, как действуют сложнейшие компасы и квадранты. Между тем как раз в капитанском и штурманском деле он был полный профан.

Между обоими рулевыми начались споры. Не в силах убедить противника вескими доводами, старший брат занял «позицию силы». Воспользовавшись тем, что его баркас быстрее, он вышел вперед и дал нам знак следовать за ним. Мой рулевой вскочил на нос баркаса и закричал:

— Ты малость свихнулся. Тут тебе не танкер! Куда ты нас тянешь?!

Но старший брат, опьяненный властью, рассмеялся ему в лицо и с ехидством ответил, что у кого шариков не хватает, тому лучше не лезть не в свое дело. И с победоносным видом снова взялся за руль. Мой «капитан» мрачно спустился на нижнюю палубу, а у руля встал молоденький паренек. Его умения хватало лишь на то, чтобы держаться точно за первым баркасом.

Закат был поистине сказочным. Я радовался от души, что мы наконец-то вышли в открытое море. А каким курсом идти — мне было все равно. Правда, у меня возникло смутное опасение, что мы слишком далеко ушли от берега. Но заставить себя серьезно обеспокоиться я не мог. Стой я сам у руля, я бы, наверно, выправил курс и быстро привел бы оба баркаса на Пьяносу. Но мне не хотелось подливать масла в огонь и вмешиваться в спор двух упрямых и заносчивых братьев. Я вдыхал солоноватый воздух и думал, что, если мы даже попадем в Югославию, не произойдет ничего страшного. На Адриатическом море даже при желании не так-то легко потеряться. Двадцать часов ходу — и мы у берегов Далмации. Возможно, нас оштрафуют за незаконную ловлю рыбы в чужих водах; возможно, конфискуют баркасы на несколько дней, но в тюрьму нас за это не упрячут. А мне так хотелось доказать этим «морским волкам», что им обоим далеко до Чиччилло.

Баркас мерно покачивался на волнах, и я вспомнил, как однажды мы

с Чиччилло отправились в Роди на рынок. К девяти утра мы продали всю рыбу и довольные спустились в селение выпить бутылочку оршада. Кругом покупатели неторопливо переходили от прилавка к прилавку, выбирая товар. Глядя на них, мы тоже решили немного пополнить свои запасы. Нельзя же в самом деле с утра до вечера есть одну рыбу. Чиччилло купил дюжину яиц, несколько чудесно пропеченных круглых, словно колесо, домашних хлебов и, наконец, целый мешок лимонов. Когда мы вернулись на баркас, я стал у руля.

— Курс на Пьяносу,— скомандовал Чиччилло и полез в люк.

Примерно с полчаса он орудовал там с кастрюлями, нарезал чеснок и лук. Затем подошел ко мне и протянул свое кулинарное чудо — яичницу из двенадцати яиц, заправленную помидорами, чесноком и луком. Мы ели эту отменную яичницу прямо со здоровенной сковороды, запивая деревенским вином из больших стаканов.

Внезапно Чиччилло взял у меня из рук руль, прикинул силу ветра и крепко обмотал шкот вокруг штурвала.

— Ветер удержит руль точно в заданном положении,— объяснил он.

Мы пошли на нос, закутались в одеяла и улеглись спать. Когда мы проснулись, в миле от нас виднелась Пьяноса.

Конечно, мы поступили не слишком осмотрительно. Какой-нибудь траулер мог нас протаранить, мы рисковали напороться на скалы. Но, как старый конь, который и без хозяина сам находит дорогу домой, баркас вывез нас точно к острову.

Солнце уже давно закатилось, воздух был теплый, как парное молоко. В сумерках до нас донеслось:

— Смотрите прямо по носу, вон она — Пьяноса.

Я немного удивился, что остров так далеко и едва выступает из воды. Но когда я робко попытался высказать свои сомнения, с другого баркаса мне ответили с такой иронией, что я смешался и умолк. Старший сын Пальмиотто привел оба баркаса прямо к Пьяносе, а у меня хватило наглости лезть с дурацкими вопросами! Спустилась ночь. Вдалеке мигал свет маяка. К нему мы и направились. На корме молодой паренек крепко сжимал в руках штурвал, желая показать, что он, как все бывалые, закаленные моряки, не знает усталости. Это был простой, симпатичный парень. Звали его Бартоломео, но кто же из рыбаков в состоянии произнести столь замысловатое имя? Все называли его Меуччо. Я предложил сменить его, но он сказал, что совсем не устал. Вот от сигареты он бы не отказался.

Мы взяли его специально, чтобы тянуть сеть. Несколько лет подряд он плавал на иностранных кораблях и научился нести вахту у руля. По ночам, чтобы не заснуть на вахте, он думал о родных, о возлюбленной, о возвращении домой. Он рассказал, что эти два года в северных морях были для него сущей пыткой. Корабль был большой, красивый, вот только к еде никак нельзя было привыкнуть.

— Эти северяне какие-то чудные! Каждый день мясо, да вдобавок жирное, молоко, сахар, варенье. Да я столько за месяц не съем. С меня хватит макарон. Умну полную тарелку — сыт и доволен. Ну, а вечером и ломоть хлеба не помешает.

Я с радостью подумал, что здесь ему не на что будет жаловаться: ведь мы взяли с собой сорок килограммов хлеба.

— Хоть я и помучался, а своей цели добился,— продолжал свой рассказ Меуччо.

А мечтал он об одном — обзавестись семьей и домиком. Все эти два года он каждый грош экономил, и теперь у него есть жена и крыша над головой. Он купил новую шикарную мебель, полированные кресла с позолоченными ручками, телевизор и снял две комнаты в Баривеккья.

— Как же так,— удивился я.— Да ты бы лучше баркас и снасти купил, чем полированную мебель.

Он ответил, что скорее выбросит все деньги в мусорный ящик, чем доверит их морю.

— Были бы у меня лишние деньжата, Антонио, я бы на них купил отдельную квартиру. Сдал бы ее жильцам, а сам грелся бы себе на солнышке.— И добавил: — Проклятая жизнь у нас, рыбаков. Я морем по горло сыт. Дядя моей жены — муниципальный сторож, и он обещает, давно уже, правда, устроить меня дворником...

У меня не хватило решимости отговаривать его. Да и во многом он был прав. Вот уже несколько недель он не мог послать семье ни единой лиры, ел лишь сухой хлеб да сардины, а кто знает, когда нам повезет. Во всяком случае, сейчас о везении думать не приходилось. Мы явно приближались к югославскому острову Пелагоза, сказал я Меуччо. Он посмотрел на меня с недоверием и страхом.

Прошло еще минут десять — и мои опасения стали явью. В этом меня убеждало вот что: свет маяка падал сверху, а я знал, что на острове Пелагоза маяк стоит на холме высотой метров сто. Но окончательно я утвердился в своей догадке, когда увидел огни фонарей на судах. Они ловили рыбу к востоку от маяка, в то время как на Пьяносе ее ловят лишь в одном месте — к западу. Но вот из темноты возникли высокие берега Пелагозы. Теперь в свете фонарей можно было даже различить силуэты югославских баркасов с их широкой кормой.

Приблизься мы еще метров на триста — до нас отчетливо долетели бы голоса югославских рыбаков. Я с радостью крикнул бы им: «Как идут дела, друзья?! Мы тоже рыбаки, только из Италии. У наших берегов стало слишком мало рыбы. Позвольте и нам, раз уж мы тут очутились, разочек поставить сети». Но я сомневался, поймут ли они меня, да и в согласии не был уверен. Поэтому я сам встал у руля и развернул баркас. Бартоломео я велел спуститься вниз и разбудить Беппе, брата «коммодора». Пусть просигналит второму баркасу, что мы поворачиваем назад. На баркасе «великого мореплавателя», приняв наши сигналы, поступили более чем просто: потушили мачтовые огни и скрылись в темноте. Беппе послал им вслед несколько смачных ругательств, которые мгновенно поглотила ночь, и снова полез в трюм. Бартоломео последовал его примеру.

Я почувствовал себя полновластным хозяином корабля и был счастлив, что стою вот так — один — у руля. Я посмотрел на восток. Знакомые мигающие лучи маяка Пьяносы помогли мне определиться. Я прикинул, что мы придем на остров рано утром. Всю ночь я провел у руля, слушая, как чуть подрагивает, скользя по черной воде, баркас.

На Пьяносу мы пришли уже утром. Второй баркас немного опередил нас, и его команда устало и растерянно бродила по этому маленькому и голому островку. Кругом ни живой души, ни деревца. Привыкшие к шумным зеленым портам, мои барийцы бродили по пустынным холмам, словно ища чего-то. Но что можно найти на Пьяносе? Весь остров — большой голый утес, вздымающийся над морем, тут даже на маяке нет смотрителя. Кругом одни камни да кусты дикой ежевики, розмарина, мяты.

Вскоре солнце уже палило вовсю. Появилась надежда на удачный улов, но с выходом в море надо было повременить, дожидаться ночи. Все молчали. В желтом мареве колыхались серые, усталые лица. Мы улеглись в ряд возле маяка и, лениво греясь на солнце, замерли в ожидании вечера. Я направился к домику моих друзей тремитцев и, прикрыв железную дверь, растянулся на жестком матрасе. Хотя и в домике было жарко, я накрылся одеялом и чьей-то старой военной шинелью. Рядом

валялись рваные сети, поплавки и прочий хлам. Постепенно все, даже жужжание мух, смолкло, растворилось в лучах солнца, проникавших сквозь дверные щели, и я погрузился в сон...

Ночь. Мы лежим на острых прибрежных скалах, уткнувшись лицом в пропитанную солью траву. С моря нас освещают мощные фонари лампар. За спиной белые плоские стены похожего на маленькую крепость дома. Мой сосед спрашивает:

— А где Большая Медведица?

Я показываю, и мы долго глядим на яркие, слепящие звезды. Мимо, уверенно ступая по камням босыми ногами, проходят рыбаки. Каждый несет ацетиленовый фонарь и насаженный на длинную палку трезубец. Они идут к прибрежной скале ловить крабов и вынырнувших из глубины рыб. Идут по двое, беседуя о своих делах низкими звучными голосами. В воздухе густо разлито тепло, рыбаки проходят мимо, даже не глядя на нас. Они поглощены предстоящей ночной ловлей. Вблизи они кажутся могучими воинами древности. Мы перебираемся еще ближе к морю, на скалу, нависшую над крохотной бухточкой. Внизу прямо под нами плывет лодка с двумя рыбаками. Один из них сидит на веслах, пучок света от фонаря освещает воду и голубоватые скалы. Второй — на корме, погрузив голову и плечи в продолговатый баллон со стеклянным дном, разглядывает толщу воды и подает отрывистые, резкие команды:

— Быстрее, быстрее, к берегу, бери правее!

Лодка, точно повисшая над прозрачной изумрудной водой, скользит, кружит волчком, идет назад. Внезапно рыбак на носу, не глядя, протягивает руку за спину, хватая острогу и мечет ее в добычу. Резким движением втыкает ее поглубже в тело врага и мгновенно вытягивает на поверхность. Теперь он поднялся во весь рост; на остроге извивается большой осьминог, безуспешно пытаясь улизнуть в воду. Рыбак с силой ударяет осьминога о днище лодки и тут же вновь погружает голову в баллон, чтобы продолжать охоту.

Под утро меня разбудил чей-то взволнованный голос. Я открываю глаза и с трудом возвращаюсь в мир забот и волнений. Надо мной склонился Микеле — «капитан» баркаса Пальмиотто.

— Штормом пахнет. Смотри, как сирокко задул. Надо уходить. Если ветер усилится, нам худо придется.

Я посмотрел на него с недоверием, и он разволновался еще сильнее. Но он был прав. На Пьяносе в бурю укрыться негде. Надо удирать, пока не поздно. Решаём идти в Пескичи. Тогда с попутным ветром наш баркас, поставив парус, сумеет удержаться за впереди идущим.

Мы сразу же вышли в море. Ветер уже раздувал парус, пружинил штаги.

Леванте и сирокко — левантаццо — так мы называем этот свистящий ветер. Море с каждой секундой все больше вздымалось и дыбилось зелеными волнами с белой пеной на гребнях. Ветер крепчал, и крепло наше ожесточение в поединке с ним. Спустя несколько часов мы наконец подошли к берегу и бросили якорь в защищенной горами бухте. Ночью ветер стих, и мы решили попытать счастья с лампарой. Мы углубились на несколько миль в море и зажгли фонари. Наконец-то можно было приступить к лову. Во тьме, разрываемой лишь светом фонарей, я смотрел, как на другом баркасе ставят сеть. Расстояние до нашего баркаса было метров двести, и я отчетливо видел, как ритмично двигаются руки людей. Сеть медленно уходила под воду, как бы окружая стоящую в центре лодку с фонарем, свет которого привлекал рыбу. Но вот рыбаки начали выбирать сеть. Они шутили, смеялись, подзадоривали друг друга. Наконец-то кончилась полоса невезенья. По их голосам

я понял, что попытка оказалась удачной и сеть с трудом шла наверх. «Должно быть, с десяток центнеров возьмут», — подумал я. Однако пока сеть не закачается на поверхности, точно не определишь.

Но, как видно, одна неудача тянет за собой другую. Голоса смолкли, сеть заколыхалась на воде, сверкая серебром. Еще секунда — и тишину нарушили хриплые проклятия. Что случилось? Я ничего не понимал. Подойдя поближе, я увидел, что рыбаки огромными черпаками подхватывают рыбу и вместо того, чтобы сгрузить ее в мой баркас, выбрасывают за борт. Я решил было, что они рехнулись. Но все объяснялось очень просто. Рыбы-то они взяли много, но это были сардинки, да вдобавок совсем мелкие. А за них оптовые торговцы в дни лова крупной рыбы и гроша не дадут. Они говорят, что сардинки, мол, невозможно везти в другие места, они слишком быстро портятся. И рыбакам остается лишь выбросить их в море. А сколько труда и уменья было вложено, чтобы их поймать!..

Мы отошли еще на несколько миль и снова принялись терпеливо ставить сеть. Может, тут нам повезет. Часа в два ночи по воде пробежала рябь. Сначала это было лишь слабое дуновение ветерка, потом нарастающий резкий свист. Теперь уже не оставалось никаких сомнений — это грозный мистраль. Мы поспешно вытянули сеть. Вода с клокотанием билась о борта. Две лодки мы успели погрузить на баркасы, а третья опоздала с маневром, и решено было взять ее на буксир.

До Вьесте было десять миль, и ветер дул в корму. На лодке, чтобы управлять ею, пожелал остаться Беппе. Мы бросили ему тридцатиметровый канат. Волны росли и взбухали прямо на глазах. Я все время смотрел на смельчака, оставшегося в углу суденышке, которое качалось на волнах, словно ореховая скорлупка. Фонарь все еще горел, и в его свете волны казались огромными изумрудами. Рыбак сидел на корме и, как мог, правил веслом. Я хотел бы быть сейчас вместе с ним. Но он и один отлично управлялся. Лодчонка то и дело почти скрывалась в волнах, и я знал: если что-нибудь случится — не задумываясь, брошусь в воду, даже рискуя утонуть в бушующем море. А Беппе, закутавшись до самых глаз в плащ, спокойно курил. Да, курил, я отчетливо видел, как вспыхивает огонек сигареты и ветер уносит искры.

Наконец мы добрались до Вьесте. Быстро ошвартовались, закрепили носовые и кормовые канаты и под секущим дождем, подгоняемые ветром, бросились в склад. Все промокли до нитки. Мы разожгли огонь и сменили одежду. Бутылка красного вина неторопливо переходила от одного к другому. Снаружи завывал мистраль.

Люди из Пуньоkjюзo

В конце концов сирокко выкурил нас и из Вьесте. У нас кончились припасы, да и сидеть в порту без дела стало не вмоготу. И вот мы направились в Бари. Конечно, мы не надеялись, что там нам повезет с погодой. Просто каждый соскучился по семье и мечтал выспаться в тепле и обсушиться.

В Бари мы пришли ночью. Мертвящий свет высоченного маяка Сан Катальдо вырывал из темноты усталые лица побежденных морем рыбаков, возвращавшихся в родной город.

На воде отражался свет неоновых реклам, автомобильных фар, напоминая, что город живет обычной жизнью. А мне казалось, что на свете нет ничего, кроме пустынных островов, дождя и безбрежного моря.

Ошвартовавшись, мы коротко попрощались, и каждый пошел своей дорогой к себе домой. После сорока дней общих радостей и невзгод мы

слова стали чужими друг другу, но каждый уносил с собой воспоминание о днях надежды и поражений. Что скажут они, главы семейств, переступив порог родного дома? Как поздороваются с женами? Как посмотрят на голодных детишек? Они не бездельничали, трудились в поте лица, но море, их море, посмеявшись над ними, пригнало их домой еще более нищими, чем прежде.

Я думал об этом, направляясь к себе. Вдоль моря, по набережной, наслаждаясь ночной прохладой, гуляли горожане, одетые в праздничные костюмы. Я долго бродил по людным улицам, где прямо на тротуарах за столиками кафе пили и веселились барийцы. Приглашенные волосы, чистые лица, обрывки фраз и слов, смех юнцов на углах, толпы молодых людей у кинотеатров и бильярдных залов, степенная походка господ чиновников, лица почтенных супругов цвета фруктово-ягодного пломбира — все казалось мне невыносимым.

Я с тоской вспоминал о своих молчаливых друзьях рыбаках, и мне стало больно, что мы так поспешно распрощались. Каждый словно хотел тут же и навсегда убежать от проклятой рыбацкой судьбы, сразу растворился в темноте извилистых переулков старого города. Незаметно для себя, проплутав часа два, я снова очутился в порту у своего баркаса.

Машинально я подтянул канат и влез на борт. Мои шаги дробно застучали по палубе. Этот баркас был моим домом, и отсюда звуки, огни, накрашенные лица казались далекими, и мне легче было мечтать о будущем. Я, как ребенок, радовался, что снова увижу на рассвете Пьяносу и буду слушать тишину в жаркий полдень, а кругом — одни камни, солнце, ветер...

Три дня спустя мы с Чиччилло вышли в море. Наш путь лежал в Пескичи, где нас давно уже ждали починенные сети. У Гаргано нас настиг мистраль, и, чтобы не испытывать судьбу, мы решили переждать в большой бухте, защищенной от северных ветров. Вокруг на холмах росли пинии, а на вершине скалы, высоко поднявшись над морем, белел маяк. С моря он казался нам виллой богатого синьора. Да и кто иной мог построить дом в этом чудесном, нетронutom уголке Гаргано? С вершины скалы вниз до самого берега моря круто спускалась живописная каменная лестница. Рядом был чудесный пляж — песок и белая галька.

Между тем обитателем этой великолепной виллы был смотритель маяка Джованни. Мы сдружились с ним во Вьесте, где жила его семья. Однажды он помог нам починить мотор «Святого сердца». Он не раз приглашал нас погостить у него на маяке. Сюда редко забредали люди, и он был рад поболтать с нами. Теперь мы решили принять его предложение и переждать у него, пока не стихнет мистраль.

Мы с Чиччилло быстро поднялись по крутой лестнице на открытую площадку; солнце заливало ступени, и его яркий свет буквально слепил глаза. Белые, свежоштукатуренные стены отливали голубизной неба и моря, тишина и покой были полны умиротворенной радости. Пинии доносили и сюда свой терпкий запах. Слышно было лишь, как далеко внизу плещется море да посвистывает ветер в сосновой роще. Когда мы постучались в дверь, нам ответил оглушительный крик канареек. Мы стучали уже добрых минут десять, но без всякого успеха. Казалось, будто в доме живут одни канарейки. Мы уже хотели спуститься вниз, как вдруг дверь отворилась, и на пороге появился Джованни.

— Входите, входите. Располагайтесь, как дома. Вы ели? Я немного соснул и ничего не слышал.

Глаза у него были заспанные, лицо небритое. Он был в старой одежде, которую наверняка не снимал, даже ложась спать. Но внутри, в комнате и даже в кухне, где мы уселись за стол, пока Джованни готовил нам кофе, все было идеально чисто.

— И не надоест тебе жить одному на маяке? — спросил Чиччилло.

— Я на маяке родился, — с улыбкой ответил Джованни. — Знаешь ту скалу напротив селения, во Вьесте? Там и сейчас стоит наш домик и на нем написано: «Вьесте». Но я не всегда был смотрителем маяка. Я повидал свет.

И он рассказал нам свою историю. Четырнадцатилетним мальчишкой он ночью убежал из дома с маленьким узелком и огромным желанием увидеть новые города и страны. Вскоре он нанялся юнгой на старое двухмачтовое судно, которое курсировало тогда между Южной Италией, Югославией и Грецией. С годами возмужал, стал опытным моряком. И понял, что и морякам за их нелегкий труд бывает награда. Ведь сколько красивых городов он узнал, и в каждой новой стране он выучивал несколько слов чужого языка: «да», «нет», «хлеб», «друг», «любовь», «сегодня вечером», «прощай». А сколько красивых девушек любил он со всем пылом своих двадцати лет. Словенки, египтянки, турчанки, испанки. Наверно, сладость тех встреч не совсем забылась, если и сейчас при одном воспоминании он облизывался.

Потом война бросила его в пучину бед, смертей и ужаса. Вместо честных, работающих парусников, возивших в Грецию и Югославию зерно, косилки и сеялки, море бороздили теперь бронированные чудовища, неся разрушение и гибель. А почему и за что? Сам черт не разберет. Джованни прошел и через эту кровавую бойню, но вспоминал о тех днях с неподдельным отвращением и ужасом. Теперь на склоне лет он мирно и одиноко служил смотрителем маяка на мысе Препости.

Мы провели на маяке несколько мирных часов. Нам с Чиччилло спешить было некуда, и мы охотно беседовали с гостеприимным хозяином. Время от времени Джованни брал табак из старой бисквитной коробки и свертывал мне сигарету, затем разливал по чашкам кофе, и беседа неторопливо текла дальше. Казалось, мы попали в обетованный уголок, где время остановилось и тишину нарушает лишь пение канареек.

Мы привезли немного рыбы, и Джованни предложил спуститься вниз, в селенье, где живут несколько пастухов и крестьян — все они его хорошие друзья. Захватим рыбу, сварим уху, перекинемся в картишки.

Мы спустились по тропинке вниз и за несколько минут добрались до леса. В центре бухты, на просеке, пролегающей между морем и лесистыми горами, стояло жилище пастухов, сложенное из грубого камня. Верно, такие же дома были здесь и тысячу лет назад. Рядом кособочились сколоченные из дубовых досок козы загоны. В загонах плохо утрамбованная земля была красноватого цвета. Кругом валялся козий помет. Сразу же за загоном вздымался невысокий серый холм, словно присыпанный вулканическим пеплом. Вернее всего, так оно и было. Много веков назад безвестный вулкан, устав держать в плену огромные камни и лаву, изверг их наружу. Серые скалы, густые заросли мирта, розмарина и еще какого-то незнакомого растения с желтыми цветами придавали местности необычайную живописность. Вокруг ни души. Мы сели возле дома на камень, поджидая, когда вернется стадо. Перед нами расстилась море, величавое и праздничное в ярких лучах полуденного солнца. На вершине показался человек и не спеша направился к дому. Мы степенно поздоровались, и Джованни объяснил, кто мы и откуда. Лонардо, пастух, пожал нам руки. Его ладонь была твердой, как камни, что лежали на склоне холма. Мускулистый, почти квадратный, с мощными, как у бульдога, челюстями и красным лицом, он говорил громко, даже резко. Между тем мы сразу почувствовали себя свободно и непринужденно, хотя Лонардо ничуть не старался быть любезным.

— Этот год совсем никудышный, — сказал он. — За все лето ни одного дождя. Посмотри, — он показал на поле за домом, — мы посеяли пше-

ницу, а убирать нечего. Не сегодня-завтра пушу туда коз, пусть хоть они наедятся досыта. Сеем злаки, а вырастают маргаритки и маки. Но, клянусь всеми святыми, дальше этому не бывать! — Его голос звенел, все мускулы напряглись, готовые, казалось, к борьбе. — Вчера в селении я слышал, что нами занялся министр, готовит какой-то «зеленый план». Но пока суд да дело, живется нам все хуже. Хотел бы я привезти сюда этого министра и поселить здесь. Только не на день, не на год или десять лет, а на всю жизнь. Тогда он поймет всю нашу нищету и сам увидит, что никто нам не помогает.

Я собрался было сказать Лонардо, что верю ему и все понимаю, но он не нуждался в словах ободрения и не искал утешения. Он продолжал рассказывать, и в его голосе звучала сила лемеха, вонзающегося в землю:

— Знаете, о чем я мечтаю?! Чтобы за все лето с неба не упало ни единой капли. Пусть все посохнет. Может, тогда мы расхрабимся и втолкуем этим свиньям из правительства, что хватит пить нашу кровь... Хозяин всей здешней земли маркиз Н., — после короткого молчания продолжал Лонардо. — Сам он живет в Неаполе. А мы должны отдавать ему почти весь урожай, политый нашей кровью и потом. А начнешь в конце года считать да прикидывать — и выйдет, что еле-еле на еду хватит. А уж о чем другом и мечтать нечего. А сыну, сыну моему что я оставлю? Ничего! Даже грамоте не могу его обучить. Ему и двенадцать не стукнуло, а я говорю: «Сынок, хочешь есть — иди работать с нами в поле». А на что он будет годиться, когда вырастет? Как и я, пастухом станет. И, как у меня, — нищета, и никакой надежды. Правительство нам говорит: «Хотите работать?! Отправляйтесь в Германию, в Бельгию». «Чтобы потом в угольных шахтах кровью харкать», — не мешало бы им добавить. Нет, я хочу работать здесь. Тут моя родина, тут я родился. Дайте мне работу здесь, а не гоните меня за тридевять земель искать счастья.

Я смотрел на Лонардо и думал: «Страдания и нищета не сломили его. Он понял, что дальше так жить нельзя, хотя и не нашел еще выхода».

Лонардо умолк. Снизу из леса донесся переливчатый звон колокольчиков. Он все нарастал, приближался. И вот на холме показалось козье стадо. Черные козы легко перепрыгивали через невысокие кусты. Слышны были крики пастухов и лай больших белых собак, которые изо всех сил помогали своим хозяевам гнать стадо, норовившее забраться в заросли. Наконец стадо спустилось в долину, и пастухи с гиканьем и свистом принялись загонять коз. Мимо тяжелым, усталым шагом прошли одетые в козьи шкуры пастухи, на ходу вежливо поздоровавшись с каждым из нас. Мучимые жаждой псы с полным сознанием честно выполненного долга помчались к выдолбленному в камне желобу и, сердито лая друг на друга, стали жадно пить желтую утреннюю сыворотку. Блеяние коз сливалось со звоном колокольцев, криками и свистом, грохотом ведер, которые несли пастухи, готовясь доить коз. Всех их загнали в тесный загон, где они сгрудились, как сельди в бочке. Пастухи уселись на деревянных чурбаках у ворот и загородили выход. Козам, которых выталкивали из загона, оставался лишь узенький проход. Пастухи хватали очередную жертву за шерсть и, крепко зажав коленями, принимались тискать сосцы с такой силой, словно хотели их раздавить. Нередко от нестерпимой боли козы начинали брыкаться. Но пастухи с искаженными от напряжения лицами старались выдоить все до последней капли. Ведра наполнялись свежим, пенящимся молоком. Иногда из сосцов брызгала алая кровь.

Целый час пастухи терпеливо доили одну за другой четырехста коз, порой смирных, порой отчаянно сопротивлявшихся. Нескольким удалось вырваться и удрать.

Наконец когда все козы были подоены, я услышал, как Маттео, молодой пастух, рассказывает подпаску приметы пятерых беглянок.

— У одной,— говорит он,— ухо рваное, а у другой морда чуть набок.

Подпасок зашел в загон и сразу же без труда отыскал всех пятерых преступниц. Я был так поражен, что не удержался и спросил, как они их различают. Мне все козы кажутся похожими друг на друга, как две капли воды. Маттео и остальные пастухи засмеялись.

— Если бы ты много лет подряд пас их, то сразу бы признал любую не хуже нас,— ответил Маттео и уверенно направился в загон.

Вдруг он схватил одну из коз, поднял ее и потащил к выходу. Зажав непокорную козу между ног, он с яростью принялся доить ее.

Его острое, тонкое лицо покрылось потом, и он утирал его, зарывшись в козью шерсть, не переставая при этом выжимать черные сосцы. Кончив доить беглянку, он с помощью других пастухов слил пять больших ведер в огромный котел, висевший на двух крепких деревянных распорках из дуба.

Когда мы отправились ужинать к сборщикам олив, уже совсем стемнело. Мы двигались гуськом по тропинке, которая вела от домика пастухов к узкой полосе обработанной земли, стиснутой лесистыми холмами. Мы шли в темноте по белым камням, в лунном свете, и наши шаги гулко отдавались в неподвижном воздухе. Кругом высились гигантские оливковые деревья.

От красноватой вспаханной земли, отвоеванной у леса веками нечеловеческого труда, веяло покоем, но не мирным покоем лесов и сосновых рощ, а горделивой, спокойной силой.

Я спросил у Лонардо, не ему ли принадлежит оливковая роща. Он ответил, что с радостью взял бы себе хотя бы десятую часть.

— Ведь тут пятьсот деревьев, Антонио. Понимаешь, не одно, не два, а пятьсот!

Здесь, на этом клочке земли, каждое оливковое деревцо на вес золота, и они все до одного много раз пересчитаны. Эти деревья «натуральные», иными словами — они не посажены человеком, а выросли сами, как и окружающий их лес. Поэтому, верно, они такие большие и могучие. Многие из них величиной с дуб, и пастухи мне сказали, что некоторые деревья наверняка стоят здесь еще с рождества Христова.

Сборщики олив расположились в низкой старинной постройке меж оливковых деревьев. Там мы застали двоих стариков. Пока остальные работали, они готовили ужин. Знакомство состоялось очень быстро. Достаточно назвать свое имя, так как называть кого-либо по фамилии здесь не принято. Среди нас оказалось двое Маттео, трое Джованни и двое Антонио — я и самый старый из пастухов, маленький приятный человек с длинным лицом и большим носом. Когда он начинал говорить своим низким, басовитым голосом, в каждом его слове, казалось, звучало: «Я человек, да, я тоже человек!»

Три небольшие масляные лампы едва освещали лица. Откуда-то из глубины струился зыбкий свет, переливаясь, словно вода. То были отблески огня из кухоньки, где готовили ужин. Мы уселись за три низких, сдвинутых вместе столика. Две деревянные миски, каждая величиной с тележное колесо, были полны до краев макаронным супом и фасолью, приправленной ароматными травами.

Мало-помалу я начал кое-что различать в этой темноте. Позади Лонардо, Джованни и Антонио виднелись старинные давяльные прессы. Они бездействовали уже давно, потому что в Пуньокуэзо (так назы-

вается это селение) оливкового масла теперь не изготавливают. Теперь оливки везут отсюда на мулах в ближний городок. А раньше предпочитали выжимать оливковое масло прямо на месте и потом переправляли во Вьесте баркасами. Огромные, причудливой формы давилые прессы, очень похожие на тотемы, массивными глыбами нависали над нами.

Мы мирно ужинали. Вдруг я почувствовал, что за столом что-то произошло. Оказалось, что ем я один, а остальные положили ложки. Миски стояли полукругом, и все ждали чего-то, точно приготовившись к торжественному обряду.

Я тоже положил ложку. Один из пастухов нарезал хлеб здоровенными, толщиной с весло, ломтями. Лонардо, как старший, разливал в маленькие, на четыре глотка, стаканчики вино из огромной бутылки. По кругу один за другим осушили мы свои стаканчики и снова принялись за еду. Завязался разговор, очень скоро перешедший в ожесточенный спор. Все началось с того, что наш приятель Джованни, свертывая сигарету, беззаботно улыбнулся и сказал:

— Я их по сорок штук в день выкуриваю.

Бедняга и не думал этим хвалиться, наоборот, он хотел показать, что стал рабом скверной привычки. Лучше бы он этого не говорил. Его слова были подобны искре в пороховом погребе. Ему мрачно ответил один из поденщиков, работающих на оливковой плантации:

— Конечно, чего тебе не курить, раз правительство вам шестьдесят тысяч лир в месяц платит. А за что, спрашивается?! Сидите себе целый день на маяке да за ухом чешете. А мне только и остается что красть, если я надумаю курить сигареты.

Джованни обиделся. Он вскочил и закричал:

— Каждый получает по своим заслугам. А ты оборванцем был, оборванцем и останешься. Ты и все твои друзья. Вбили себе в голову, что все должны быть равны. А где тебе понять, что такое смотритель маяка? Да мы, за жизнь людей отвечаем.

Поденщик невозмутимо отпарировал:

— Помолчи лучше, Джованни. Ты о настоящей работе и слыхом не слыхал. Помучился бы хоть день вместе со мной на жаре, сразу бы заговорил по-другому.

Каждый твердил свое, и Джованни из чистого упрямства защищал «синьоров».

Вдруг он вынул искусственную челюсть, и я испугался, что он тут же запустит ею в сидевшего напротив поденщика. Но Джованни, окончательно потеряв самообладание, завопил:

— Все вы дерьмо. Зарубите себе на носу: я государственный служащий!! Понятно вам это? А ты, оборванец, замолчи, я тебя слушать не желаю.

— Джованни, с тобой говорить — только зря время терять. Мелешь невесть что.

Старый Антонио, чтобы утихомирить спорщиков, а заодно посмеяться над закусившим удила зрителем маяка, сказал с легкой иронией:

— Конечно, так уж повелось. Один родится во дворце, а другой — в хлеве.

Лонардо молчал, скрестив на груди руки. Я заметил, однако, что он сдерживается с трудом и спор грозит перейти в драку. Джованни, готовый от ярости опрокинуть стол, совсем уже невпопад завопил обидчику:

— Сходи лучше к морю, зад вымой. Вот это работа по тебе.

Поденщик усмехнулся ему в лицо и ответил негромко:

— Я ошибся, Джованни. Думал, с тобой говорить можно, а ты, оказывается, глупец и задолбиз.

Он поднялся и спокойно вышел из дома. Слышно было, как гулко отдаются его шаги на каменистой тропинке. Где-то за домом собаки с отчаянным лаем гонялись за неуловимой лисой, которая уже две недели в самый последний момент ускользала от них и исчезала в кустарнике.

Джованни понял, что хватил лишку, и умолк. Понемногу все успокоились, и разговор перешел на политику. Один из пастухов сказал, что вся надежда на коммунистов. Другие стали ему возражать. Я видел, как у одного из крестьян задрожали руки и расширились зрачки при одном упоминании, что могут забрать его собственность.

— Я своих пятерых коз и мула буду защищать не на жизнь, а на смерть. Они мне кровью и потом достались, и я никому не дам отнять их у меня,— громогласно объявил он.

Маттео, молодой пастух, который работал с утра до вечера, чтобы получить жалкие четырнадцать тысяч лир в месяц, сказал, что никому и ничему не верит. Все — одна болтовня.

— Завтра в четыре утра, как всегда, подою коз и отправлюсь их пасти. Мне, моей жене и детям еще никто ничем не помог.

— Антонио, что ж ты все молчишь? А ведь ты грамотный и уж, верно, лучше нас разбираешься в этих делах,— обратился ко мне Лонардо.

Мне хотелось сказать им, что надежда есть и за нее надо бороться. Но я не находил точных и простых слов. К тому же мне не хотелось вступить в долгий и потому бесполезный спор. Я посмотрел Лонардо в лицо и попросил его налить каждому вина. Подняв свой стакан, я сказал:

— Друзья мои, прошло время ждать милостей от архангела Михаила!

Сквозь полумрак я разглядел, как многие, подняв стаканы с вином, дружелюбно мне улыбались.

«Быть может, мои слова не пропали даром»,— подумал я, глотая терпкое вино.

Рыба без колючих плавников

— Анто! Где это ты пропадал? Говорят, опять по морю шастал. Смотри, откусит тебе краб кусок мяса от мягкого места.

— За меня не бойся, Фафеле. У меня это место не мягкое, а такое жесткое, как чугунный стояк на молу. Крабу оно не по вкусу придется.

— Ты все шутишь... Гляди, рассердится мастр Марино¹ — ни тебе, ни твоему капитану не поздоровится.

— Анто! Не видишь разве, они шутят? — вмешался Чиччилло.— И потом знаешь, как говорил мой покойный отец? «Кто молчит — тот зло таит».

Мы сидим у фонаря на крохотной пристани Тремити. Жарко, июльское солнце жжет безжалостно. Тень смещается, и мы, следуя за ней, все время меняем место.

Туристский сезон в разгаре. Каждый день сюда прибывает видимо-невидимо горожан.

— Вот эта рыба нам по душе,— смеется Микелуччо.— Сетей не рвет, и по морю за ней всю ночь не надо гоняться. Мы, Антонио, уйму всякой рыбы переловили. Иной раз она даже на пристани не умещалась. До тысячи ящиков за ночь выгружали... Случалось, не хватало сил тянуть сети — такие они были тяжелые. По семьдесят центнеров рыбы за раз! Сидишь и до самого утра ее из сетей вынимаешь. А рыба какая! А что толку? Как родились бедняками, так бедняками и остались.

В разговор вступил Фердинандо:

¹ М а с т р М а р и н о — так рыбаки называют морского царя Нептуна.

— Теперь вот совсем другая рыба появилась, и мы понемногу наловчились ее брать. Рыбу-туриста куда легче изловить, поверь слову старого рыбака. Приезжают они сюда, живут кто неделю, кто месяц, лезят повсюду и всемо удивляются, точно дети. А уж на выдумки горазды. Прорысываешься утром, и вдруг узнаешь, что эта вот скала прозывается «слон». А она и впрямь на слона похожа. Ты вот смеешься, а я этих чудачков понимаю. У каждого человека есть имя, почему же скале не иметь? Знаешь, как они меня зовут? Старый пират! всю жизнь рыбачил, а под старость вдруг пиратом заделался! Меня от этого не убудет. Ох, Антонио, какую историю про Турецкую бухту я для них придумал! Только пока секрет. Не то кто-нибудь услышит и сам расскажет туристам, а мне и гроша не перепадет. Теперь заготовляй леску потоньше и лови на нее добрую рыбину, да вдобавок без колючих плавников и острых зубов. А называется эта рыбина «турист»!

Туристы, а с ними и деньги прибывали с континента и растекались по острову, попадая в руки трехсот его обитателей. Какая-то толика их денег попадала и к нам — двум рыбакам из далекого Бари.

Теперь мы каждую ночь выходили в море одни. Потом мы продавали наловленную рыбу тремитцам, и ее даже не хватало. Утром, едва всходило солнце, мы с Чиччилло взваливали на плечи по ящику с рыбой и начинали обходить дом за домом.

Взвесив очередному покупателю рыбу «с походом», мы заходили к нему в дом выпить чашечку кофе. Этим тремитцы выражали свою симпатию к нам. Сосчитав деньги, Чиччилло клал их в кожаный мешочек, висевший у него за поясом.

Приключение на подводной банке

Уже несколько недель мы рыбачили у Тремити. И с каждым разом рыбы в сети попадало все меньше. Море у острова — не сказочный клад. Ловишь сегодня, ловишь завтра — и рыба начинает убывать.

И что хуже всего — в разгар лета, когда вода у острова становится очень теплой, «местная» рыба, привыкшая к прохладе, уходит на глубину и прячется от палящего солнца под скалы. А забросить сети на семьдесят — семьдесят пять локтей невозможно. У кого достанет сил их вытягивать? Отяжелевшие дельфизья, они рвутся, стоит им за что-либо зацепиться. А могут и навсегда остаться на дне.

Это вынуждало нас чаще и чаще отправляться к острову Пьяноса, где рыбаков куда меньше. И если бы не дельфины, мы могли бы спокойно рыбачить, уходя все дальше от берега. Но нам не раз приходилось оставлять сети в баркасе — так много дельфинов резвилось вокруг. Обычно мы наблюдали за ними с вершины скалы.

Сколько изящества и выверенной точности в каждом их движении! Проплывая рядом с баркасом и едва не задевая корму, они вдруг, словно по команде, ложатся на спину и тут же мгновенно уходят под воду, а вынырнув, стремительно бросаются вперед и так же внезапно разворачиваются на сто восемьдесят градусов.

Нередко вдали от берега нам попадались «патрули» из двух-трех больших дельфинов. Они плыли спокойно, неторопливо и удивительно ритмично. Редкая согласность каждого поворота, их мощные рывки создавали впечатление необычайно музыкального танца в необъятном морском просторе. Но все их мгновенные красивые развороты были не чем иным, как ловким маневром в беспощадной погоне за стаей анчоусов, пытавшихся найти спасение в беспорядочном бегстве.

Похоже, что гармония и красота, заключенные в каждом движении

дельфина, не оставляют равнодушным даже самого бывалого рыбака. Конечно, особенно любить их рыбакам не за что. Но когда они говорят о дельфинах, в их словах и в самом тоне звучит уважение. Бороться с дельфинами можно, но победить нельзя. Самым ловким из рыбаков удается подбить дельфина с помощью длинного и острого гарпуна. При этом канат выбирают не меньше ста локтей длиной и поражают дельфина, когда он проплывет у самой кормы. Но бьют их редко. Что толку? Все равно всех не уничтожишь. Поэтому лучше обмануть дельфина какой-нибудь уловкой.

Послушать тремитцев, так у Пьяносы дельфины обосновались, точно у себя дома.

— Ну куда тебя нелегкая несет?! — говорил мне мой старый приятель дядюшка Лука. — Хочешь снова в дураках остаться? Ничего ты, видно, не понял! Там, у Пьяносы, они хозяева. Поставишь сеть, думаешь хоть немного краснобородок наловить, так эти бандюги поплавки и те сожрут да еще посмеются над тобой. Тебе не случалось видеть, как они с рулем озоруют? Схватят его в пасть и ну дергать во все стороны: смотри, мол, я тебя и на баркасе достану. А то вдруг начнут прыгать и кувыркаться рядом с баркасом. Мы-де уже поели и хотим с тобой поиграть...

И все же, если выдавалась хорошая погода, мы отправлялись к Пьяносе. Рыбачили всю ночь и утром возвращались на Тремити. Нас осталось всего двое — я и Чиччилло. Мы до того хорошо понимали друг друга, что каждый и без напоминаний в любую минуту знал, что ему делать.

В один из таких августовских вечеров, когда мы молча ошпаривали кипятком осьминогов, чтобы приготовить из них наживку, Чиччилло сказал:

— Антонио, сегодня ночью плывем к банке. Если найдем ее, завтра вернемся с полным баркасом рыбы.

Я удивленно посмотрел на друга. Конечно, вечер был тихий, спокойный. Но кто же рискнет отправиться ночью к незнакомой подводной банке, вдали от острова да еще вдвоем!

Чиччилло рассказал, что эти два дня он не терял времени даром. По пути в Бари он заглянул в Мольфетту под тем предлогом, что хотел повидаться со старым другом, смотрителем маяка. Прохаживаясь по пристани, где у причалов стоят самые красивые во всей Адриатике рыбацьи суда, он разведаль, какая у них оснастка, и узнал, что многие экипажи перешли на ловлю лампарой. На палубе он видел сотни корзин, готовых принять богатый ночной улов. Он сразу догадался — эти мольфеттцы не только ловят рыбу лампарой, но и частенько отправляются к подводной банке. Прежде всего потому, что мольфеттцы — лучшие рыбаки на всей нижней Адриатике, и потому, что у них есть лоты для промеров дна в открытом море.

План Чиччилло был прост. Выйти с Пьяносы ночью курсом на север. После двух часов плавания мы непременно заметим свет лампар на судах мольфеттцев. А так как их суда становятся на якорь у самой банки, где глубина не превышает тридцати локтей, мы сможем спокойно ставить сети рядом.

Ночь выдалась необычно темной, и Чиччилло решил проверить, верны ли его расчеты и предположения. Мне план друга пришелся по душе, и я не мог сдержать восхищения его находчивостью. Чиччилло улыбнулся и сказал, что надо поспать немного и набраться сил, а уж работы ночью хватит.

В два часа он разбудил меня:

— Поплыли, а то банка нас заждалась.

Кругом было тихо и темно. Пока я возился с мотором, Чиччилло выбрал носовой якорь, и баркас слегка отнесло назад. Вдвоем мы выбрали кормовой якорь. Я стоял у руля и смотрел, как баркас огибает остров, чтобы взять курс точно на север. Мимо проплыла невысокая прибрежная скала. Ночью она казалась таинственной и мрачной. С острова донесся прощальный стон чайки или альбатроса.

Баркас уходил все дальше. Чиччилло неотрывно следил за блестящим в темноте компасом, чтобы ни на градус не сбиться с курса. Два часа спустя мы заметили вдалеке огни. Это светили фонари лампар. Мольфетты выбирали последние сети с богатым уловом. С востока сквозь густую темень пробивалась еле различимая мутная полоса, предвещавшая наступление утра.

Подойдя к большому траулеру метров на двести, я приглушил мотор. Чиччилло бросил в воду самодельный лот — тонкий линь с прикрепленным к нему железным шаром. Едва шар коснулся дна, Чиччилло стал мгновенно выбирать линь, а я громко считал: примерно двадцать шесть локтей. Без долгих раздумий Чиччилло сперва начал ставить сети, а потом переметы. Я подавал, а он с удивительной ловкостью пропускал хрустящую сеть через руки, придерживая руль ногой. Я заметил, что мы все время поворачиваем вправо, описывая широкий круг. Я хотел предупредить Чиччилло, но потом догадался, что он хочет поставить сети у самой банки. Покончив с сетями, Чиччилло привязал первый груз к перемету. Четверть часа адски трудной работы: крючки мелькали в руках у Чиччилло, и он еще умудрялся придерживать руль ногой, бедром, коленом. Ведь когда ставишь перемет, нельзя отвлекаться ни на миг. Особенно это опасно на моторной лодке из-за силы инерции. Чтобы остановиться, приходится всякий раз на несколько секунд давать «полный назад».

Не отрывая глаз от нейлонового каната, Чиччилло ставил перемет с поразительной быстротой. Эту работу обычно выполняют вчетвером, а нас было только двое. При слабом свете керосинового фонаря я подавал Чиччилло звенья и по его знаку бросал на дно грузила. Время от времени Чиччилло командовал:

— Возьми-ка вперед!

Я выполнял его команды с величайшей осторожностью. Ведь при каждом резком толчке канат прямо-таки вырывало из рук Чиччилло.

Поставив четвертый перемет, мы вернулись к буйку, колыхавшемуся над нашей сетью. Круг вышел предельно точным.

Внезапно перед нами вырос форштевень крупного траулера, снимавшегося в этот момент с якоря. Мы похолодели от страха: неужели наши сети легли на якорь и цепи траулера? Ждать оставалось недолго. Стоя на корме, мы следили за маневрами траулера, моля бога, чтобы все обошлось. С палубы траулера на нас обрушились ругательства:

— Эй, вы! Ничего лучше не придумали! Свиньи вы, вот кто! Нашли куда забираться на своей лохани. Сидели бы лучше дома!

К счастью, все кончилось благополучно: якорь не зацепил наших снастей, и траулер, взяв курс к берегу, скрылся в темноте. С нас градом лил пот. Не от натуги, а от пережитого волнения. На поверхности белели маленькие буйки — единственные следы наших трудов.

Мы привязали к толстому канату большой камень, и тот с легким плеском ушел на дно. Ставить якорь на незнакомом и довольно глубоком месте мы не рискнули. Ведь лебедки у нас не было и выбирать якорь пришлось бы руками. Мы спустились в трюм. Поудобнее устроившись на скамье, Чиччилло не спеша заговорил:

— Все идет как нельзя лучше. Теперь бы еще немного удачи. Но что бы там ни случилось, ты всегда сможешь сказать: однажды ночью

я вместе с одним сумасшедшим тремитцем рыбачил на подводной банке посреди моря. Туда раз в десять лет рискуют забраться, да и то самые отчаянные.

Вскоре он умолк. Как видно, задремал или задумался о чем-то своем. Я тоже молчал, чтобы не тревожить его. Так мы просидели часа два. Я посмотрел на Чиччилло — костлявое тело под старым шерстяным свитером, тяжелые, большие руки обхватили рано поседевшую крупную голову, из рваных брюк выглядывали здоровенные ножищи. Конечно же, он спит. Вскоре и я последовал его примеру.

Когда я проснулся, сквозь люки струился веселый свет. Было только семь утра, но солнце уже начало припекать. На палубе Чиччилло готовит кофе. Еще вечером газ в нашем баллончике кончился, но мой друг и тут нашелся. Искры пламени от паяльной лампы обжигали ему пальцы, но он стойко не выпускал из рук пузатый кофейник. И даже весело улыбался, поглядывая на меня из-под темных очков.

Нарезав хлеб, мы неторопливо макали его в горячий, дымящийся кофе, чувствуя, как по телу разливается тепло.

Ташить тяжелые пружинящие снасти было нелегко. Чиччилло успевал и руль повернуть, и с мотором управляться. Еще одно усилие — и на палубе уже трепещут ослепительно красные с желтыми полосами краснобородки. Но не обычные маленькие рыбки, а рыбины с килограмм весом, какие можно поймать лишь в таких «диких» местах.

Внезапно на поверхности показался здоровенный омар. Он безуспешно пытался вырваться из сети, шелкая громадными клешнями.

— Слон! Таша осторожно, Анто.

Удивительно метки народные прозвища. И верно, это колоссальное, килограммов на десять, морское чудище чем-то напоминало слона. Тут зевать не приходилось. Попади этому «слону» в левую клешню не то что палец, а вся рука — от нее осталось бы крошево. Я не случайно говорю о левой клешне, потому что правая у этой редкой разновидности омара куда меньше. Наконец омар с грохотом стукнулся о палубу. И все же он долго не сдавался. В последний раз он испытал силу своих клешней на большом камне, лежащем, к счастью, далеко от моих ног. Я смотрел на это причудливое создание природы и представлял себе, как оно будет выглядеть на столе какого-нибудь гурмана.

Впрочем, когда тянешь сеть, для радужных мечтаний времени не остается. Эта нелегкая работа требует тебя всего, без остатка. Но вот Чиччилло хлопнул меня по плечу. Настал его черед поднимать перемет — это самое трудное, особенно если попадаются вырезубы; тут нужны сила, хитрость и опыт. Ведь когда здоровенная рыбина всюю дергает леску, нейлоновая нить натягивается, как струна, врезаюсь до кости, если даже ладони у тебя твердые, как весла.

Чиччилло, упираясь ногами в люк, начал тянуть перемет, и очень скоро мы увидели, кто же клюнул на нашу аппетитную приманку: на крючках извивались четырех-пятикилограммовые вырезубы, отчаянно пытаясь порвать леску. В среднем по одной рыбе на каждые шесть крючков. Здесь у банки в голубой прозрачной воде отчетливо видно, как большим серебряным блюдом поднимается из глубины плененный вырезуб.

Чтобы в последний момент он отчаянным рывком не порвал перемет или того хуже — не сорвался с крючка, Чиччилло подцеплял его хорошо отточенной острой и вытаскивал на палубу.

Два первых перемета принесли нам богатую добычу. А с третьим случилось неладное. Чиччилло напрягался изо всех сил, но безуспешно. Нетрудно было догадаться, что либо леска зацепилась за неровности дна, либо сами рыбы, пытаясь вырваться из плена, застряли под скалой.

Это уже беда. Я пришел на помощь другу, но все было напрасно. Мы завели мотор и сделали несколько кругов в надежде высвободить леску. Безрезультатно. Тогда мы прибегли к последнему средству. Пропустили по леске тяжелое железное кольцо. Быть может, оно, ударившись о дно, разобьет камень, в котором застряла леска. Не помогло и это. Рыбы висели на крючках, мы видели их, а взять не могли. На Чиччилло страшно было смотреть. Вены на кровоточащих руках вздулись, с лица ручьями лил пот. Сухой треск — нейлоновая нить не выдержала и лопнула. Нам оставалось одно: попытаться вытянуть перемет с другой стороны. Но, видно, фортуна повернулась к нам спиной. Вначале все шло хорошо, и палуба снова заполнилась рыбой. Но вскоре леска и тут, зацепившись за невидимое препятствие, порвалась. На дне, намертво схваченные крючками, остались лежать пойманные нами неведомые рыбы.

Когда мы вышли в обратный путь, солнце уже стояло высоко в небе. Штук тридцать больших красивых вырезубов и множество рыб поменьше были все же неплохим утешением. Мы так устали, что не в силах были выговорить ни слова. Молча завели мотор и поплыли на юго-запад, держа курс на Термоли, где был крупный рыбный базар.

На рынке

Последняя, но далеко не самая простая забота каждого рыбака — это продажа рыбы. Иной раз улов бывает просто мизерным и вся рыба умещается в одной корзине. Тогда рыбак сам ходит с корзиной из дома в дом. Хозяйка отбирает две-три рыбины и затем, поторговавшись вволю, взвешивает их на самодельных весах и расплачивается мелочью. Извлекает она ее из всех карманов старого платья, из буфета или из-под матраца.

Так продают рыбу и на Тремити. Но рыба, взятая на подводной банке, была тремитцам не по карману. Ее предстояло отвезти на крупный рынок. Ближайший такой рынок находился в Термоли. Здесь можно было получить за свой улов сносную цену. Прежде всего потому, что в Термоли съезжаются много оптовиков, которые затем перепродают рыбу торговцам из больших городов. Существует целая система продажи рыбы, начиная от торга у порога дома и кончая оборудованными вполне по-современному рынками.

Одну из любопытнейших сцен мне довелось наблюдать в маленьком селении Санта Мария ди Галлиполи — несомненно, самом жарком месте на всем полуострове Саленто. Собственно, это даже не селение, а безлюдные, голые скалы на берегу моря, где у крохотного мыса летом обычно стоит с десятков маленьких лодок. Фиолетовое море и пальмы на берегу создавали такое впечатление, будто ты попал в Африку. Днем от палящих лучей солнца не было спасения. И все же рыбаки-галлиполийцы жили здесь месяцами. Они сооружали в кустарнике или среди зарослей агавы примитивные шалаши, а некоторые находили убежище в старых, разошедшихся баркасах для ловли тунца. Эти пришедшие в полную негодность баркасы валялись на берегу, словно разрубленные надвое морские чудовища. Видел я здесь и разрушенную бурей тоннару¹. На поросших кустами соседних скалах выросло целое кладбище якорей: железных, каменных, деревянных. Они походили на оружие, брошенное на поле битвы. Жестокой, проигранной битвы.

И вот даже тут был свой торговец, скупавший весь небогатый улов

¹ Тоннара — система сетей для ловли тунца, обычно крепится на берегу при помощи якорей.

этих десяти экипажей. Чтобы первым заполучить в свои руки всю рыбу, он устроился на самом берегу, на крайней скале. Здесь он сложил из белого туфа крохотную хибару — два на два метра. Внутри стояла постель с огромным матрацем, набитым кукурузными листьями, дырявый стул, а под кроватью — большой бидон. Вокруг валялись рваные одеяла и канаты.

Торговец, жирный приземистый мужчина лет пятидесяти, топал боковыми ножищами и хриплым голосом орал на рыбака. Слово зверь в клетке, он метался по своей каморке и проклинал всех на свете.

Рыбак пытался что-то объяснить, но торговец заглушал все громовыми ругательствами. В конце концов я понял, что, по мнению торговца, рыбак совершил ужасное предательство. Торговец дал ему в долг наживку и крючки. И вот, пока он спал, «этот негодяй» продал весь улов заезжему оптовику. Продал целую лодку мурены, больше центнера мурены. Улов был поистине фантастическим, если учесть, что мурена может искушать человека до крови. Центнер мурен — зеленых, желтых, красных, с огромными зубами в яростно ощеренной пасти! Только здесь, в горячих, как огонь, водах, можно выловить столько мурен сразу.

Торговец долго еще бесился и наускаивал на беднягу рыбака, виновного только в том, что он поймал целую сотню мурен.

Так продают и покупают рыбу в крохотном Санта Мария ди Галлиполи, отданном на милость беспощадного знойного сирокко, залетающего из недалекой Африки. Совсем иное дело в Градо, расположенном на тысячу километров севернее. Сюда на рыбный базар съезжаются оптовики из Падуи, Беллуно, Триеста и Виченцы. Рано утром, вернувшись с моря, рыбаки становятся на время хозяевами прибрежной части города. Не успевают они сгрузить на пристани ящики с рыбой, как их уже нумеруют, заносят в реестровые книги, и грузчики разносят их по прилавкам крытого рынка. Рыбаку не о чем беспокоиться. Он сдал свою рыбу в надежные руки. Позже, закончив уборку баркаса, он пойдет за выручкой и получит все сполна. А пока что он заводит лодку в тихие воды близ доков и отправляется домой отдыхать. Ведь ночью ему снова выходить в море.

Рынок похож на крытый амфитеатр. На скамьях, словно в партере театра, расположилось множество покупателей. Мимо проплывает механическая тележка, груженная рыбой. В центре она останавливается, чтобы покупатели могли хорошенько разглядеть товар. Рыба продается партиями. Стоя возле тележки, рыночный «спикер» объявляет в микрофон о сорте и весе очередной партии рыбы. На большом электрическом табло в форме часов зажигаются цифры. Табло смонтировано на стене прямо напротив скамей, и оно отлично видно всем покупателям. Начинается аукцион. Большая стрелка электротабло замирает на цене, запрошенной хозяином улова. Обычно этой цены никто не дает. Постепенно стрелка опускается все ниже и ниже. Торг протекает в полной тишине. Любой из покупателей может, не сходя с места, оставить партию за собой. Для этого ему достаточно нажать кнопку. Стрелка тут же остановится на цене, которую покупатель готов уплатить. И сразу на табло появляется номер того, кто купил рыбу. Остается занести сделку в реестровую книгу.

Все протекает почти безмолвно — при ярких вспышках цифр на огромном табло. Красивые торговки рыбой из Конельяно и Удине уверенно конкурируют с многоопытными и хитрыми оптовиками. Между ними идет безмолвный поединок цифр. Но я весьма сомневаюсь, чтобы на голом, усеянном ржавыми якорями берегу Санта Мария ди Галлиполи нежный голосок венецианских прелестниц пробился сквозь поток проклятий жирного циклопа из гуфовой норы. Впрочем, в Санта Мария

ди Галлиполи продают кровожадных мурен, а в Градо — добродушных пузатых каракатиц.

Рынок в Термоли — это нечто среднее между Градо и Санта Мария ди Галлиполи. На первый взгляд, все, как в Градо: «спикер», грузчики, реестровые книги, квитанции. Но это впечатление обманчиво.

Любезные и весьма разговорчивые местные грузчики прямо на пристани забирают корзины с рыбой, укладывают их на тележки и везут на рынок. Само собой разумеется, рынок удерживает в пользу грузчиков определенную часть выручки. Но общепринято вознаграждать этих далеко не бескорыстных помощников несколькими рыбинами. Часто, однако, грузчики не удовлетворяются размерами добровольных «приношений», и, если вовремя не спохватишься, они унесут добрую четверть улова.

Следуя за грузчиком по рыночным лабиринтам, мы с Чиччилло не спускали глаз с нашей рыбы. Нам очень не хотелось, чтобы нашу благородную рыбу, добытую с прозрачно голубого дна, поросшего зелеными водорослями, спутали с простецкой рыбешкой, вытасненной волоковой сетью из прибрежной тины.

Наконец настал наш черед. Как всегда, наш улов идет нарасхват. Покупатели сразу узнают «дальнюю», привозную рыбу. Переливаясь всеми цветами, в ящиках распластались вырезубы, краснобородки и омары. Покупатели внимательно их разглядывают, щупают. Они отлично знают, что мы единственные, кто пришел в Термоли с рыбой, добытой возле Тремити.

В последний раз смотрим мы на нашу добычу и снова вспоминаем ночное приключение на подводной банке. И нам больно видеть, как небрежно кидает грузчик трепещущую рыбу на весы. Каждый раз одна-две рыбы падают на землю, и грузчик ловко загоняет их ногой под лавку. Потом он присоединит их к уже полученному вознаграждению.

Но вот здешний «спикер», благопристойный господин, очень боящийся сырости и кутающий горло в теплый шарф, равнодушным голосом объявляет:

— Тысяча двести лир.

В ответ молчание. Цена начинает быстро падать.

— Тысяча, девятьсот, восемьсот пятьдесят лир...

— Стоп! — доносится из толпы.

Нередко остальные покупатели встречают это энергичное «стоп» недовольным гулом. Значит, кто-то поторопился, и теперь остальные партии рыбы уже не купишь по совсем низкой цене. Секунда-другая — и торг возобновляется. «Спикер» произносит новые цифры все более вялым голосом, оглядывая со своей высоченной скамьи многочисленных покупателей равнодушным взглядом. Здесь он хозяин, судья и крупье несложной игры: «рыба — деньги!» Вдруг я замечаю, что левой рукой он быстро хватает большущую рыбину. «Оказывается, он совсем не такой вялый. Ну, конечно, он хочет показать рыбу стоящим позади покупателям», — решаю я. Но нет, рыба падает в корзину за его плечами. Все это проделывается с истинно бандитским хладнокровием и наглостью. Наши взгляды скрещиваются.

— Однако... — бормочу я.

Он презрительно смотрит на меня и наглым голосом опытного жулика и шантажиста с подчеркнутой вежливостью спрашивает:

— Синьор чем-то недоволен? Желаете забрать вашу рыбу?

Момент для разговора об истинной порядочности явно неподходящий. Ведь он ясно дал мне понять: «Таков обычай. А если вам тут не нравится — берите рыбу и убирайтесь. Это ваше право».

Нам остается лишь покориться.

Под вечер мы возвращаемся на баркас, чтобы уложить сети, подмести палубу и на рассвете опять выйти в море.

На узенькой улочке, ведущей к молу, мы заходим в лавку купить хлеба, оливкового масла, соли, муки, лимонов и сигарет. Все это мы складываем в ящик, на дне которого, точно старинная серебряная монета, блестит чешуя вырезуба. С берега дует легкий прохладный ветерок, жалобно поскрипывают корпуса старых, выдавших виды траулеров, белеют на песке лодки.

Этот вечер мы проведем в городке. Сходим в парикмахерскую, на почту — отправить домой денежный перевод, — с часок погуляем по людным улицам, выпьем бутылку лимонада и в заключение маленького праздника отправимся в ближайшее кино.

Клеопатра и дельфины

После приключений на подводной банке наш баркас долгие недели кружил у берегов Тремити. Рыба ловилась неважно, и часто мы сидели на берегу без дела. По утрам, стоя на якоре в бухте Матана, которую облюбовали туристы, мы перезнакомились со многими из них, особенно с молодежью. Молодые ребята забирались на наш баркас и, обшарив его сверху донизу, ласточкой ныряли в море. Наплававшись вволю, они ложились загорать на горячей палубе, куда более удобной и гладкой, чем скалы.

Чиччилло с его повадками бывалого моряка и непритворным добродушием, понятно, притягивал их, как магнит. Каждое утро с нависших под бухтой скал говорливые девушки из Милана, Рима и других городов Италии весело приветствовали его и, нырнув в воду, штурмом брали наше «Святое сердце». Очень скоро они уговорили нас покатать их шумную компанию вокруг острова Сан Домино. Да и как откажешься, если целая стайка девушек начинает выбирать якорь, их подружки уже отвязывают канат, а другие пробираются даже в люк к мотору? Незаметно юноши и девушки, на две-три недели вырвавшиеся из безжалостных тисков городской жизни, превратили нас в своих гидов. Мы возили их по всем живописным уголкам и гротам от Капраи до Сан Домино. После каждой такой прогулки мы неизменно отказывались даже от малейшего вознаграждения, чтобы туристам не пришлось в голову обратиться к нам с новыми просьбами.

Ничего плохого я в этом не видел, но тремитцы сердились: ведь мы невольно посягали на их права. По молчаливому уговору право возить туристов по островам принадлежало только им. Для этого они специально установили на своих лодках моторчики.

И все же, как я ни пытался этому помешать, туристы окончательно нас одолели. Вечером, поставив сети, Чиччилло подымался вверх по тропинке меж пиний и шел в бар на острове Сан Домино или к знакомым рыбакам. Здесь он встречал приятелей-туристов, которые рады были очутиться в компании смелого капитана баркаса и попасть в круг его друзей.

Иногда и я заходил в бар провести вечер с Винченцино или Помпео. Чиччилло обычно уже был там. Он сидел за столиком, уставленным винными бутылками и стаканами, и повествовал о своих приключениях на море, истинных, но слегка приукрашенных. Туристы слушали, разинув рты от изумления и восторга.

Проходя мимо, я испытывал сильное желание напомнить Чиччилло, что мы пришли сюда ловить рыбу, только рыбу. А теперь мы врываемся в чужие владения. И всякий раз у меня не хватало мужества. Как и все

тремитцы, Чиччилло открывал сейчас для себя совершенно новый мир с удивительными идеями, обычаями, нравами. Наверно, и ему надоело все время быть одному, наедине с морем и ветром, и он с горечью вспоминал бесконечные дни на Пьяносе, где его товарищами были лишь камни, палящее солнце и море. А тут горластые, веселые, в парадных одеждах юноши и девушки. Чиччилло нравилось называть их всех по именам, словно они были его детьми. В конце концов его новые друзья повадились на рассвете вместе с нами выбирать сети. Теперь их тянули не мы вдвоем, а сразу десятеро добровольцев. Чиччилло стоял у руля и подавал команды, а я чувствовал себя актером в довольно нелепой сцене. Разве сможешь осторожно и аккуратно тянуть сеть, когда на тебя глядят десятки любопытных глаз и все норовят сфотографировать «суровых рыбаков с диких островов Юга»? Во всем этом было что-то искусственное, неприятное.

Рыбы попадалось все меньше и меньше, а главное, мы просто не успевали чинить сети.

Однажды в знойный августовский день, когда мы, спасаясь от сирокко, пристали к острову Сан Домино, я решил позагорать немного. Лег на палубу и забылся в сладкой полудреме.

Внезапно до меня донесся нежный голосок:

— Лодочник, отвезите нас, пожалуйста, на Сан Никола.

Я знал, что зовут меня, но притворился, будто не слышу.

— Лодочник,— нетерпеливо повторил приятный женский голосок.

Я поднял голову. Мне хотелось крикнуть: «Пока я еще не «лодочник». А этот баркас купил потому, что люблю рыбачить. Ищите себе другого «лодочника» или добирайтесь до Сан Никола вплавь!»

Мне надоело «пасть» у этих берегов. Как хорошо было бы уйти одному на «Святом сердце» в Эгейское море к древним островкам Греции. Там рыбаки еще не знают этого рабского слова «лодочник» и приветствуют друг друга торжественно и просто: «Александр, живи и здравствуй, друг мой!»

Но я повернулся и взглянул на скалу. Молоденькая девушка, удивленная моим молчанием, тихо повторила:

— Лодочник!..

Она была очень красива. Ее красота и молодость взяли верх. Я подогнал баркас почти к самой скале, протянул ей руку, и девушка прыгнула на банку. Только теперь я заметил, что на скале сидит еще одна такая же молодая девушка.

— Переправьте нас, пожалуйста, на Сан Никола. Нас вызывают из Милана на телефонный разговор.

Она протянула мне несколько монет по сто лир. Одна из них упала в воду и медленно пошла ко дну. Девушка хотела дать взамен другую монету, но я отказался.

Когда мы причалили к пристани в Сан Никола, я поднялся вместе с ними — показать, где находится телеграф. Я вел их вверх по крутым ступенькам древней крепости, осторожно и бережно, словно заправский лодочник и гид. Проходя по единственной улице селения, я чувствовал на себе взгляды тремитцев. В их глазах нетрудно было прочесть упрек: «Мало тебе рыбы, Антонио, теперь ты и туристов из-под носа у нас уводишь!» Я ускорил шаги. Мне нечего было им возразить. Взойдя на бастион, мы остановились, чтобы посмотреть через пролом в стене на море.

— Вот это Роди, а чуть пониже и левее — селение Сан Менайо,— объяснял я.

Девушки восхищались дико-первобытной красотой этих мест, зарослями кактусов, белизной маленьких домиков. Телеграф размещался на

крохотной площади — самом спокойном и высоком месте острова. В просторной комнате уныло жужжали большие сонные мухи и монотонно постукивал аппарат «морзе». Я оставил моих пассажиров ждать разговора с Миланом и вышел на площадь. В самом конце площади сидел Микелуччо. Квадратный, мускулистый, в узкой, готовой, казалось, порваться майке, он печально глядел на море.

— Добрый день, Антонио. Как ты сюда попал?

— Двух туристов на телеграф привозил. А ты чего это на самом солнцепеке устроился?

— Смотрю, Анто, на море. Жду, не пойдут ли тунцы, ведь сеть у меня внизу наготове. В доме в такую жару не высидишь — задохнуться можно. И потом ведь ты знаешь, жена у меня болеет... Вот уже три месяца мучается. Высохла вся, почернела. Я и ушел, чтобы ее зря не тревожить!

Мы сели рядом и стали вдвоем следить за морем. Отсюда был отлично виден канал между Сан Никола и крохотным островком Кретацчо.

— Когда приплывают тунцы, — объяснял мне Микелуччо, — они ложатся у самого берега на песок. Сумеешь вовремя поставить сеть и не спугнуть их — можно взять сразу всю стайку. Ведь они плывут неведь откуда, здорово устают и потом долго отдыхают, зарывшись брюхом в песок. Если будет улов, отвезешь рыбу в Термоли на рынок?

— Договорились, Микелуччо. В Термоли или даже в Бари, там ее можно продать подороже.

Когда мы спустились в баркас, обе девушки попросили разрешения побыть с нами до вечера. Им очень хотелось посмотреть, как мы ловим рыбу. На закате мы поставили сети у Морского Быка на глубине сорока семи локтей в надежде поймать крупных, мясистых омаров. К острову Сан Домино мы вернулись уже в сумерках. Сотни цикад оглашали скалы жалобным стрекотаньем, словно жалуясь на сгустившуюся тьму. Прощаясь, девушки сказали:

— Заходите к нам в гости. Мы угостим вас вином.

В селение мы пришли очень поздно. За столом девушки рассказывали нам о больших городах, о Милане, решив, очевидно, что мы, кроме островов Тремити, нигде не бывали. И в самом деле, мне странно было подумать, что где-то в городе люди ходят на службу, работают на заводах, вдали от моря, скал, чаек, рыбацких баркасов.

Я сказал об этом горделивой Клеопатре, когда она с царственным видом протянула мне на прощанье руку.

Наутро, выбрав сети, мы увидели, что их в клочья изодрали дельфины.

Перевел с итальянского Л. Вершинин.



ПУБЛИЦИСТИКА

И. ЕРМАШЕВ

★

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

В это время — в начале нашего века — еще были живы замурованные в казематах легендарные герои-народовольцы, последние уцелевшие могикане отгремевшей борьбы. Они были заживо погребены в одной из страшнейших тюрем тех лет, где царил безмолвие, куда не доносился ни один звук с воли. Когда за узниками захлопнулись тяжелые, окованные железом двери, они почувствовали, что «часы жизни остановились». Большинство из них провело в Шлиссельбургской крепости по двадцать долгих лет. Двадцать лет одиночного заключения! Это как раз то, что Виктор Гюго назвал «сухой гильотиной». Многие погибли в этих каменных мешках. В полном безмолвии проходили годы. Узникам начинало казаться, что самодержавию удалось растоптать все, даже малейшие проявления общественной жизни в России, и революция, которой они посвятили себя, лежит бездыханная, мертвая, задушенная палачами, придавленная тяжелыми, свинцовыми плитами забвения...

«Часто воображение рисовало мне картину Верещагина, в натуре никогда, впрочем, не виденную мною: на вершине утесов Шипки, в снеговую бурю, стоит неподвижно солдат на карауле, забытый своим отрядом. Он сторожит покинутую позицию и ждет прихода смены. Но смена медлит... смена не приходит... и не придет никогда! А снежный буран крутится, вьется и понемногу засыпает забытого... по колена... по грудь... и с головой... И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца.

Так жили и мы, год за годом, и тюремная жизнь, как снегом, покрывала наши надежды, ожидания и даже воспоминания, которые тускнели и стирались. Мы ждали смены, ждали новых товарищей, новых молодых сил... Но все было тщетно: мы старелись, изживали свою жизнь, а смены все не было и не было...

И мнилось, что все затихло, все замерло, и на свободе та же пустыня, что и в тюрьме.

Но — нет! Мы были отторгнуты от жизни, но жизнь не прекратилась и шла другими многочисленными руслами; и то, что некогда было сравнительно небольшим течением, превращается ныне в бурный и неуправляемый поток. Только стены были слишком непроницаемы и глухи, и мы лежали, как мертвый камень лежит на русле, временно покинутом или обойденном большой рекой...»

Эти прекрасные строки написаны Верой Николаевной Фигнер, одной из героинь «Народной воли» и первых узниц «Новой тюрьмы» в Шлиссельбурге, проведшей там около двадцати лет.

Революционные силы России были живы. Полностью изжитым оказалось народничество с его волонтаристской философией, тактикой индивидуального террора и заговорщической, замкнутой организацией, оторванной от народа. После гибели «Народной воли», когда сошли со сцены революционные народники, их место заняли народники либеральные, видевшие свою задачу в борьбе не против крепостнических пережитков и самодержавного гнета, а против марксизма, начавшего в конце прошлого века свое победное шествие по России.

История посмеялась над наивными представлениями народников, будто существует реальная возможность предотвратить развитие капитализма в России и перейти непо-

средственно от крепостничества к социализму через крестьянскую общину. Последние десятилетия прошлого века были временем бурного развития капиталистических отношений в России и рождения рабочего класса. У него еще не было опыта борьбы, рабочим еще не хватало ясного понимания своих задач как класса, подтверждающегося жестокой эксплуатацией классом капиталистов, опирающимся на полицейский аппарат самодержавия. Рабочее движение развивалось стихийно, и им пытались идейно и политически овладеть различные мелкобуржуазные и буржуазно-либеральные течения — «экономисты», «легальные марксисты», отрицавшие политическую борьбу и превозносившие стихийность — зачаточную форму проявления классового сознания рабочих. Но стихийность могла привести лишь к возникновению на русской почве своеобразного тред-юнионизма, отвергающего классовую борьбу и пролетарскую партию как авангард рабочего класса и вообще всякую «политику».

Марксизм был тем научным мировоззрением, которое могло объяснить рабочему классу, какую историческую роль возложила на него история — роль преобразователя мира, вождя всех трудящихся. Но чтоб практически сделать это, была необходима партия, которая руководствуется в своей деятельности передовой марксистской теорией. Такой партией явилась Российская социал-демократическая рабочая партия, отдельные отряды которой возникли в России на протяжении последнего двадцатилетия прошлого века. Заточенные в шлиссельбургские казематы, народовольцы ничего об этом не знали, и им казалось, что всякая политическая, революционная борьба в России замерла. Но в действительности революционное движение в России быстро развивалось вглубь и вширь. Русские марксисты не были согласны ни с идеологией, ни с методами борьбы народовольцев, но питали чувство глубокого уважения к героям «Народной воли», восхищались их самоотверженностью, смелостью и отвагой, проявленными ими в борьбе против царизма. Когда в 1901 году Ленин писал свою книгу «Что делать?», сыгравшую такую большую роль в воспитании революционных кадров нового призыва, он вспомнил о революционерах-народовольцах и выразил надежду, что среди российских марксистов выдвинутся «социал-демократические Желябовы», которые смогут встать во главе мобилизованной армии и поднять «весь народ на расправу с позором и проклятьем России».

Как раз в том 1883 году, когда были схвачены жандармами последние, еще находившиеся на воле члены Исполнительного комитета «Народной воли», в Женеве возникла первая организация русских марксистов — группа «Освобождение труда», во главе которой стал Г. В. Плеханов. И в том же году в Петербурге образовалась «благоевская группа», называвшая себя «Партией русских социал-демократов», которая приступила к изданию газеты «Рабочий» — первой социал-демократической рабочей газеты в России. Несмотря на преследования полиции, аресты и ссылки, социал-демократические организации возникали во многих местностях и городах, где жили рабочие.

А в конце 1895 года под руководством Владимира Ильича Ленина в Петербурге организуется «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» — предшественник и провозвестник Российской социал-демократической рабочей партии. И хотя «Союз» был вскоре разгромлен полицией, он оставил неизгладимый след в истории рабочего движения в России, успев заложить основу великого дела: соединения научного социализма с массовым рабочим движением. Такие же союзы появились в других рабочих центрах. Идея самостоятельной марксистской пролетарской партии, выдвинутая Лениным, завоевала признание передовых слоев рабочих и революционно настроенной интеллигенции. Начался ленинский этап в развитии марксизма.

Труден был путь создания массовой революционной пролетарской партии в стране, где царил неограниченный произвол жандармерии и тайной полиции — охранки, где революционеры заточались на долгие годы в каторжные тюрьмы, централы, в крепости, ссылались на каторжные работы в рудники или насильно выселялись «в места, не столь отдаленные», — на дальний Север, на Енисей, на Лену, на Кару, на Акатуй, на Сахалин. Царская юстиция не знала удержа в свирепом преследовании и в «искоренении» революционеров — «государственных преступников». С конца девятнадцатого века Россия становится полицейским государством — она кишит жандармами, охранниками, стражниками. Полиция размножается с невероятной быстротой — открытая и тайная, местная и общегосударственная, военная и гражданская, шпионы, филеры, шпики, согладаты,

доносчики, перлюстраторы, скрытые от публики в «черных кабинетах», все виды сыска — и «собственного изобретения», и заимствованные у других реакционных режимов. Но наибольшие надежды возлагаются на систему провокации. Со времен «теоретика» охраны жандармского полковника Судейкина, казенного народовольцами в 1883 году, и патриарха провокации Рачковского и его выученика жандарма Зубатова, подвизавшихся и в двадцатом веке, царская Россия стала рассадником провокаторов и провокаций. Именно при помощи провокаторов, проникавших в рабочие организации, жандармам и охранникам удавалось вылавливать революционеров, обнаруживать тайные типографии, уничтожать революционные группы и кружки.

Русские революционеры вели непрестанную борьбу против провокаторов и жандармов, оберегая свои организации, и эта борьба приобретала важное значение по мере того, как рабочее движение становилось более массовым, а революционные организации — более многочисленными. Эта борьба требовала громадного напряжения сил, отваги, гибкости, стойкости.

И вот в таких условиях в стране, целиком отданной во власть полицейщины, из разрозненных групп и кружков с различной степенью подготовки и закалки предстояло создать самостоятельную пролетарскую марксистскую партию.

Такая партия стала объективной необходимостью. Русские марксисты сделали в марте 1898 года первую попытку организации партии. Но I Всероссийский съезд социал-демократических организаций лишь провозгласил создание Российской социал-демократической рабочей партии и избрал Центральный Комитет, который вскоре оказался разгромленным полицией. Партия была провозглашена, но она еще не была создана.

За ее создание принялись Ленин и его друзья по революционной борьбе.

Объективные условия для такой партии уже были в тогдашней России. Рабочий класс подвергался варварской эксплуатации и политическому угнетению. Человеческое достоинство рабочего грубо попиралось самодержавной властью и ее слугами. Но Россия была в то же время страной народного свободолюбия, вековых традиций революционной борьбы. Смелость, бесстрашие, массовое (правда, стихийное) действие, презрение к смерти, непримиримость к мучителям-помещикам и народившимся капиталистам — всем этим был давно славен трудовой люд России. В толще народной выростали талантливые организаторы и вожаки масс. Их надо было просветить, обучить стратегии и тактике революционной борьбы, вооружить научным мировоззрением, составить из них авангард, который был бы способен повести за собой народную революционную армию на штурм самодержавия и опиравшихся на него класса помещиков и класса капиталистов.

И субъективные условия для создания такой партии уже были в России. Были кадры революционеров-марксистов. Идеи марксизма проникали в среду передовых рабочих и трудовой интеллигенции, а затем начали распространяться и в массах. Лозунг Маркса и Энгельса — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — был понятен и близок трудящимся, куда более понятен и близок, чем, например, туманный и даже двусмысленный девиз эсеров: «В борьбе обрешь ты право свое!» В девизе эсеров нет и намек на совместные действия народа. Не случайно главный метод борьбы эсеров — индивидуальный террор — годился лишь для «героев»-одиночек и нацеливал удары не против системы, а против отдельных лиц, оберегавших ее.

Для создания партии необходима воля и готовность действовать согласованно и дисциплинированно. Без крепкой организации и строгой дисциплины между ее членами невозможно создать боевую сплоченную партию, способную играть роль передового отряда пролетариата и всего народа. Марксист в идеале — народный трибун, слившийся с массой, живущий ее думами и нуждами и умеющий поднимать ее сознание на уровень великих задач освободительной борьбы пролетариата. Известные слова Ленина: «...дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

«С чего начать?» — спрашивал Ленин. И отвечал: с организации общерусской политической газеты. При тогдашних условиях, царивших в России, издавать там такую газету было невозможно. Ленин, едва кончился срок его ссылки, объехал главные центры социал-демократического движения и заручился поддержкой местных организаций. Потом он выехал за границу, привлек к изданию газеты членов группы «Освобождение

труда». Главные заботы и труды взял на себя Ленин. В конце 1900 года вышел в Лейпциге первый номер газеты. Она называлась «Искра». Рядом с заглавием — строка из ответа декабристов, сосланных Николаем I в Сибирь, Пушкину: «Из искры возгорится пламя!» Да, из искры возгорелось пламя!

«Искра» была первым ленинским коллективным пропагандистом и агитатором и первым коллективным организатором партии. Постепенно Россия обогатилась десятками бюро «Искры»; революционное слово, разящее врага, вдохновляющее соратников, зовущее массы на бой, отныне неумолчно звучало над страной, пробуждая, обучая, объединяя революционные марксистские кадры, подготавливая идейно и организационно создание партии. «Искровцы» — так называли себя последовательные сторонники марксистской партии, которым предстояло повести рабочий класс и его союзников в бой в 1905 году, в первой народной революции эпохи империализма, явившейся вместе с тем прологом революционных битв рабочего класса Запада и угнетенных народов Востока.

Запомним вечно слова Ленина, написанные им шестьдесят два года назад: «История поставила теперь перед нами ближайшую задачу, которая является наиболее революционной из всех ближайших задач пролетариата какой бы то ни было другой страны. Осуществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также (можем мы сказать теперь) и азиатской реакции сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата».

Вот как велик был замах Ленина! Гениальный взор его видел, какой переворот происходит в мировых общественных отношениях: центр мирового революционного движения перемещается в Россию. Пролетарская партия в России должна быть на уровне новых задач, ибо от ее умения организовать трудящиеся массы своей страны для борьбы против царизма в большой мере зависит — так именно считал Ленин — развитие мировой пролетарской революции. К этой мысли Ленин — последовательный интернационалист — возвращался неоднократно.

А разве не потрясает нас сейчас вечно ленинские строки из более позднего обращения к гражданам России: «Только революционное низвержение царизма может обеспечить свободное развитие и России и всей Восточной Европы?»

Великий вождь пролетариата уже тогда, на заре революции, понимал, как велика ответственность русских марксистов перед всемирным социалистическим движением. Это движение нуждалось в новом идейном центре. И таким центром становилась рабочая, трудовая, революционная Россия. Многие известные в то время русские марксисты, не исключая и Плеханова, не вполне ясно понимали это. Но это прекрасно понимал Ленин. Марксистская партия в России должна была стать образцом для пролетарских партий во всем мире, образцом идейной чистоты и организованности.

II съезд партии, собравшийся 30 июля 1903 года в Брюсселе и закончившийся 23 августа в Лондоне, был призван создать такую партию. В этом состоит его историческое значение.

Чем жило в тот момент русское общество? Стоит посмотреть крупнейшие русские газеты за август 1903 года. Удивительная пустота! Мелочи, пустяки, сенсационные уголовные процессы — процесс А. Кара, убившего в Москве мать и двух сестер (отчеты на целые полосы в «Русском слове» и там же — серия пространных фельетонов Власа Дорошевича на эту же тему); процесс шайки мошенников в Париже («дело» Эмбер и компании); подробное сообщение из Лондона о смерти авантюриста Пфанестейля и столь же длинное сообщение из Парижа «Женщина-зверь». Та же пустота в «Новом времени» и в «Биржевых ведомостях», забавлявших читателей сногшибательными сообщениями вроде «Глухонемой предсказатель» или описанием казни убийц царского консула в Монастыре (Македонии); много места отведено в газетах «хождению» Николая II и царицы в Саровскую пустынь... Странное впечатление оставляют эти газеты за август 1903 года, менее чем за полгода до начала русско-японской войны, почти в преддверии первой русской революции. Верхушка тогдашнего общества, видимо, и не подозревала о приближении революционной бури и предавалась лени, чревоугодию, праздности. В лучшем случае — либеральной болтовне о «реформах». А в это же время совершалась

поистине величайшее историческое событие в жизни не только России, но всего мира: на общественную арену вышел большевизм!

II съезд партии — идейная битва революционного марксизма — большевизма против «рабочего либерализма» — меньшевизма. В битве этой большевизм одержал победу над всеми разновидностями оппортунизма и соглашательства. И эта победа в конечном счете сделала его гегемоном в рабочем движении России и многих других стран. Обо всем этом никакого понятия не имели тупые и невежественные царские сановники, признававшие только один «закон развития»: «Осади назад!» Но жизнь и борьба в России неудержимо шли вперед, и ничем уже невозможно было их «осадить».

В горячих дебатах на съезде — и по вопросу о месте Бунда в партии, и по вопросу об организационном строении партии (1-й пункт Устава), и по вопросу о программе, и по всем другим вопросам — проявлялись те или другие особенности позиции основных его группировок — большевистской и меньшевистской, хотя сами эти наименования утвердились позже. Вокруг Ленина сгруппировались «твердые» искровцы, вокруг Мартова — «мягкие» искровцы и все явные и скрытые оппортунисты. И на протяжении всей дальнейшей истории партии — в то время, когда в ее рядах находились меньшевики, и после того, как меньшевики были оттуда изгнаны, — все резче и очевиднее становилось величайшее значение того размежевания, которое произошло на II съезде.

Русский меньшевизм был не чем иным, как следующим изданием бернштейнианства с его лозунгом: «Движение — все, цель — ничто», то есть худшей разновидностью капитуляции перед буржуазной идеологией и приспособления рабочего движения к буржуазному либерализму. Меньшевизм был выражением и следствием отсталости определенных слоев рабочего класса, еще не отделившихся от мелкобуржуазных элементов и не освободившихся вполне от реакционных влияний тогдашнего общества.

Опыт борьбы за пролетарскую партию, опыт, приобретенный впоследствии и ценой крови, ценой тяжелой борьбы с оружием в руках, привел Ленина к выводу, который он с гениальной простотой изложил в немногих словах: «Рабочий класс при существовании капитализма проявлял две тенденции в своей политической и экономической деятельности. С одной стороны, это была тенденция удобно и сносно устроиться при капитализме, что было осуществимо лишь для небольшой верхней прослойки пролетариата. С другой стороны, это была тенденция стать во главе всех трудящихся и эксплуатируемых масс для революционного ниспровержения господства капитала вообще».

Надо ли разъяснять, что первая тенденция воплощает в себе суть меньшевизма в российских условиях того времени и современной социал-демократии на Западе, а вторая тенденция олицетворяет коммунистическую стратегию? Если бы первая тенденция утвердилась в рабочем движении России, с марксизмом было бы покончено надолго и все жертвы, принесенные пролетариатом на алтарь классовой борьбы, оказались бы напрасными. Более того, победа меньшевизма отодвинула бы на долгий срок какие бы то ни было глубокие общественные преобразования в России и вообще где бы то ни было. Высшим достижением меньшевизма могла бы в лучшем случае быть буржуазная республика, но не республика труда с пролетариатом в качестве ведущего класса во главе. Иными словами, меньшевизм уже в начале своего пути был вчерашним днем истории, пройденным этапом в развитии рабочего класса, когда он еще не вполне осознавал свои интересы и свою историческую роль преобразователя мира. Опыт международного меньшевизма за истекшие шестьдесят лет — особенно же за последние сорок лет — воочию показал, что всюду, где социал-соглашатели были у власти (а за это время они побывали министрами во многих странах), позиции буржуазии укреплялись, а позиции трудящихся, напротив, ослаблялись, ухудшались. «Социалистические» министры умели защищать интересы капитала от требований масс лучше, чем сами капиталисты. «Государственная деятельность» меньшевиков в самой России в годы черной мировой войны (в военно-промышленных комитетах, например) и особенно после Февральской революции достаточна для того, чтобы полностью была оправдана данная им сознательными рабочими презрительная кличка «социал-лакеев» буржуазии.

Острейшая борьба, развернувшаяся между большевиками и меньшевиками, начиная со II съезда, должна была решить судьбу революционного марксизма в России. Меньшевизм не дорожил партией, она мешала ему, не случайно поэтому меньшевизм стал той

средой, из которой вышли впоследствии все ликвидаторы. Если меньшевикам не удалось ликвидировать партию (за что царь Николай II вынес бы им искреннюю благодарность), то лишь потому, что этому помешали большевики во главе с Лениным. Организационное оформление большевистской партии на VI (Пражской) Всероссийской конференции в 1912 году было логическим завершением многолетней борьбы за торжество марксистских (точнее, марксистско-ленинских) принципов организации и идейных основ пролетарской партии. Большевики не смогли удержаться в партии, которая извергла их в 1912 году из своих рядов; и крайне характерно, что после этого с особой силой проявилась их неспособность создать даже подобие партии, стало видно полное разложение меньшевизма, развал его на десятки групп и клики, одна хуже другой, его организационная никчемность и идейная пустота. Вот к чему привел меньшевиков их путь развития со времени II съезда партии.

Нелегко было разбить меньшевизм и с корнем вырвать его влияние. Сила меньшевизма заключалась (на Западе заключается и теперь) в отрицательных свойствах отсталой идеологии забитых масс, в силе и живучести предрассудков, укоренившихся на протяжении веков, в стойкости иллюзий насчет легкости «обходных путей» вместо прямой дороги борьбы классов, в своеобразной политической маниловщине. В меньшевизме, как, впрочем, и в нынешнем социал-демократизме, лейборизме и т. д., воплотились все виды буржуазного влияния на эксплуатируемых: соглашательство, аполитичность, организационная расплывчатость, а главное — отказ от революционной борьбы за свержение капиталистического строя и построение социализма. Большевизм дошел до «последней черты»: в России, а затем во многих других странах, где народ взял власть в свои руки, он стал под знамя контрреволюции как один из ее отрядов; на Западе он делит с другими реакционными группировками сомнительную честь выполнять роль подпорки, призванной удержать треснувшие стены капитализма от окончательного падения.

От извращения революционной сущности марксизма до прямого отрицания учения Маркса—Энгельса и бесстыдного отречения от него — таков путь позора, который прошел мировой меньшевизм.

Хорошо известны полные исторического значения слова Ленина: «Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года». И возник он на самой прочной базе теории марксизма. Русские революционеры на собственном опыте убедились в правильности этой теории. «В течение около полувека, — говорит Ленин, — примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы. Благодаря вынужденной царизмом эмигрантщине, революционная Россия обладала во второй половине XIX века таким богатством интернациональных связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теорий революционного движения, как ни одна страна в мире».

Этот величайший опыт был воспринят большевизмом. Только им. Ибо оппортунистам громадный революционный опыт, накопленный русскими и зарубежными революционерами, был не нужен: оппортунисты мечтали о «мирных путях». Большевизм воспринял и практический опыт революционных действий в самых разнообразных его формах. В большевизме воплотился многовековой практический опыт народа, его широта взглядов, неторопливость в решении коренных вопросов жизни, его прямота и дальновидность. Ленинская партия — само олицетворение интернационализма. Она была и осталась самой мудрой партией, способной к решению наиболее трудных задач, поставленных перед Россией холмом исторического развития.

Еще в первые годы своего существования большевистская партия разработала стройное учение о партийности общественных наук и литературы и непримиримости пролетариата в борьбе против идеологии буржуазии, под какой бы маской она ни пыта-

лась проникнуть в массы. Нет необходимости цитировать хорошо известные работы Ленина по вопросам философии, литературы, эстетики, познания. Они и сегодня находятся в арсенале идейного оружия нашей партии, к ним прибавились новые важные партийные документы по идеологическим проблемам, выработанным Центральным Комитетом КПСС на основе гениальных указаний Ленина и богатейшего опыта идейной борьбы ленинцев за последние годы. Идейная чистота, строжайшее соблюдение ленинских принципов партийности идеологии способствовали тому, что большевистская партия сравнительно быстро стала неоспоримым гегемоном в громадном революционном подъеме, наступившем в России после свержения царизма.

После Февральской революции, свергнувшей царский строй, меньшевики и эсеры добровольно передали буржуазии власть. Что же дали «социалистические» министры народу, изнывавшему под тяжким гнетом войны? В сущности, ничего. Те свободы, которыми трудящиеся пользовались после свержения царизма — свобода слова, печати, собраний и организации, — были не даны, а завоеваны, взяты с бою самими массами. Оставались нерешенными громадной важности вопросы: вопрос о мире, о земле, о рабочем контроле над производством. Меньшевики и эсеры отказались решать эти вопросы. Они покорно плелись за буржуазией и уверяли, что в России нет ни одной партии, которая была бы готова одна взять на себя всю власть. Так именно заявил меньшевик Церетели на I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года. «Есть такая партия!» — ответил Ленин, находившийся в зале среди делегатов съезда. К счастью для народов России, такая партия была — партия большевиков.

Именно партия большевиков поставила в порядок дня самый жгучий вопрос момента — вопрос о мире, о том, что Россия должна выйти из войны революционным путем. Тогда, в памятные месяцы 1917 года, меньшевики и эсеры, кадеты и октябристы, корниловцы и прихлебатели Керенского гнали на все лады, уверяя и убеждая, будто большевики выдвигают лозунг мира только и единственно «в целях демагогии».

Суровая правда была в том, что Россия не могла больше воевать, не только потому, что народ ненавидел войну и рвался из окопов, не желая дольше проливать свою кровь в интересах рязбушинских и гучковых. Россия практически не могла больше воевать, силы ее были исчерпаны, исчерпаны окончательно, и продолжение войны было возможно лишь ценой полного подчинения ее англо-франко-американскому капиталу и потери независимости, превращения народов России в данников, в рабов иностранного капитала. Ленин блестяще и неопровержимо доказал это в своих работах «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Удержат ли большевики государственную власть?» и многих других, написанных в предоктябрьские недели.

Идеологи буржуазии потом сознались в том, что большевики были правы.

Откроем первый том «Архива русской революции», издававшийся кадетом Гессеном в Берлине лет тридцать тому назад, и читаемся в записки другого кадета — Владимира Набокова, одного из столпов Временного правительства. В 1917 году Набоков тоже шумел, что большевики требуют прекращения войны и заключения мира лишь в порядке пропаганды и этим сбивают с толку народ, который будто бы готов и дальше проливать потоки своей крови «во славу державной России».

Читаем на странице 41:

«Я припоминаю, как в одну из моих поездок куда-то в автомобиле вместе с Милюковым я ему высказал (это было еще в бытность его министром иностранных дел) свое убеждение, что одной из основных причин революции было утомление войной и нежелание ее продолжать... Но если бы в первые же недели было ясно сознано, что для России война безнадежно кончена и что все попытки продолжать ее ни к чему не приведут, — была бы по этому вопросу другая ориентация и — кто знает? — катастрофу (то есть Октябрьскую революцию. — *И. Е.*), быть может, удалось бы предотвратить».

Таким образом, Набоков, и не он один, понимал, что «для России война безнадежно кончена», и все-таки он сам и его коллеги упорно гнали народ на убой и нахлестывали измученную и разоренную страну, требуя от нее все новых и новых жертв.

Набоков вспоминает о письмах, полученных им в это же время от графа Н. Н. Игнатьева, видного офицера гвардии. «В этих письмах звучала такая нота: надо отдать себе ясный отчет в том, что война кончена, что мы больше воевать не можем и не будем... Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну безболезненно, иначе произойдет катастрофа...» Одно из этих писем Набоков показал лидеру октябристов Гучкову. Тот прочел и вернул Набокову, а на вопрос последнего: «Что же вы думаете по этому поводу?» — только пожал плечами и ответил «что-то вроде того, что приходится надеяться на чудо». Набоков комментирует: «Но чуда не произошло».

События надвигались неотвратимо. Лидеры русской буржуазии отлично знали, как обстояло дело накануне Октябрьской революции. Недели за две до того, как она разразилась, на квартире Набокова состоялось одно из последних закрытых совещаний верховодов кадетской партии во главе с «самим» П. Н. Милюковым специально по вопросу о войне и мире. Доклад сделал генерал Верховский, военный министр. В записи Набокова доклад генерала выглядит так: «Мы уселись в моем кабинете кругом. Верховский... сразу заявил, что он хотел бы знать мнение лидеров к.д. по вопросу о том, не следует ли немедленно принять все меры — в том числе воздействие на союзников — для того, чтобы начать мирные переговоры. Затем он стал мотивировать свое предложение и развернул отчасти знакомую нам картину полного развала армии, отчаянного положения продовольственного дела и снабжения вообще, гибели конского состава, полную разруху путей сообщения, с таким выводом: «При таких условиях воевать дольше нельзя, и всякие попытки продолжать войну только могут приблизить катастрофу».

Кадетские лидеры тем не менее наотрез отказались присоединиться к мнению Верховского. Вообще все главари российских буржуазных партий, все группировки буржуазно-помещичьего лагеря, старый генералитет, а заодно с ними и меньшевистско-эсеровские вожди категорически отвергали любое предложение о выходе России из войны. Некоторые из реакционеров говорили о катастрофе как о чем-то спасительном, о чем-то таком, что затянет в свой губительный водоворот революцию, которую они ненавидели больше всего, и покончит с нею.

А вот мнение генерала Краснова, того самого, кто после свержения Временного правительства шел со своими войсками «усмирять» красный Петроград. Еще до того, как Керенский вовлек его в эту позорную авантюру, Краснов уже понимал, что войну продолжать невозможно, и высказывался даже за то, чтобы заключить с Германией сепаратный мир.

В своих записках «На внутреннем фронте» (опубликованных в том же томе «Архива русской революции») Краснов признается, что крайне тяжелый Брестский мир, заключенный Советским правительством, был неизбежным следствием того положения, в котором очутилась тогда Россия после четырех лет войны и полного развала в тылу и на фронте, до которого довела страну царская камарилья, а затем завершило восьмимесячное бездарное правление блока буржуазии и социал-соглашателей. «Если бы большевики не заключили его (то есть Брестского мира.— И. Е.), — пишет Краснов, — его пришлось бы заключить Временному правительству».

Конечно, не нужно обладать сверхтонким интеллектom, чтобы понять простую истину: Советское правительство вынуждено было пойти на подписание Брестского мира («похабного», «аннексионистского», «унизительного», по словам Ленина), чтобы вырвать страну из тисков империалистической войны и спасти революционные завоевания народа, добытые в феврале, а особенно в октябре 1917 года. Тот «Брестский мир», который допускает Краснов, был бы сговором российской контрреволюции с германским империализмом, иначе говоря — сепаратным миром двух врагов внутри лагеря мировой реакции во имя удушения русской революции и реставрации монархического режима в России даже ценою подчинения ее германскому капиталу. Известно, что Краснов, став «атаманом войска Донского» и начав вооруженную борьбу против Российской Советской Республики, отправился на поклон к Вильгельму II и бесстыдно пресмыкался перед немецкими оккупантами, вторгшимися и в его атаманское царство.

Если другие лидеры российской контрреволюции ориентировались не на германский, а на англо-французский и американский капитал, то ведь принципиально это ничего не меняет. И те и другие торговали своей родиной.

Все фракции российской реакции и контрреволюции оказались предателями своей страны. Разница между отдельными этими фракциями свелась, пожалуй, лишь к различию цветов ассигнаций, которыми им платили за услуги, оказанные тем державам, которые пытались огнем и мечом «навести порядок» в России, где утвердился советский социалистический строй.

Романовы правили Россией более трехсот лет. Правили неумело, бездарно, расточительно; при Романовых упрочился крепостной строй, с которым дворянская Россия рассталась последней в Европе, и то крайне неохотно, только под угрозой новой пугачевщины, которую на сей раз поддержали бы трудящиеся городов. «Освобождение» крестьян не произвело коренного переворота в экономическом и политическом строе России: она оставалась слабой, отсталой страной, страной нищего крестьянства, страной сплошной неграмотности, господства сохи в сельском хозяйстве и примитивной техники в промышленности. Вольготно было на Руси иностранным дельцам, дававшим займы русским капиталистам, снабжавшим деньгами царское правительство. Столбовое дворянство, придворные клики, чиновничество и «массовая база» режима — черносотенные шайки, набранные из среды босяков, деклассированного и опустившегося на «дно» разорения мелкого люда города и деревни, стояли на страже «правопорядка», основанного на кнуте, виселицах, застенках, сознательно насаждавшемся невежестве и «казенном вине» — водочной монополии. И уцелела бы романовская империя в 1917 году или победили бы корниловцы — Россия была бы ими распродана, пушена с молотка.

«Спасение династии», о чем так усиленно хлопотали все правые партии в начале 1917 года, объективно означало готовность погубить «дорогое отечество», вернее — довершить гибель его, ибо царизм вел Россию к гибели уже давно. «Борьба с большевизмом», провозглашенная буржуазными и помещичьими партиями вкупе с меньшевистско-эсеровским охвостом, могла в случае успеха привести лишь к одному результату — к гибели России.

Для того чтобы спасти страну, необходимо было отстоять завоевания революции. Для того чтобы отстоять завоевания революции, необходимо было покончить с войной. Ни одна партия того времени не нашла в себе ни смелости, ни мудрости, ни настоящего государственного разума, чтобы взяться за решение этих задач. Только большевики во главе с В. И. Лениным обладали этими качествами; им страна и доверила великое дело: дать России мир.

Ленин знал, что задача эта невероятно трудна.

«Войну нельзя кончить «по желанию», — писал он еще в апреле 1917 года. — Ее нельзя кончить решением одной стороны. Ее нельзя кончить, «воткнув штык в землю»... Нельзя выскочить из империалистической войны, нельзя добиться демократического, не насильнического, мира без свержения власти капитала, без перехода государственной власти к другому классу, к пролетариату.

Русская революция февраля-марта 1917 г. ...сделала первый шаг к прекращению войны. Только второй шаг может обеспечить прекращение ее, именно: переход государственной власти к пролетариату. Это будет началом всемирного «прорыва фронта» — фронта интересов капитала, и только прорвав этот фронт, пролетариат может избавить человечество от ужасов войны, дать ему блага прочного мира».

Вот гениальная и научно обоснованная ленинская программа мира. Мир даст революция. Контрреволюция — это война, разорение, распад, гибель, порабощение.

Партия большевиков, возникшая в 1903 году, когда царизм казался многим всемогущим и прочным, как скала, сыграла решающую роль в организации и просвещении, в политическом воспитании, обучении тактике и стратегии тех пролетарских, народных сил, которые до основания потрясли самодержавие в 1905—1907 годах и победоносно свалили его в 1917 году, а затем совершили вторую революцию — социалистическую — и свергли власть буржуазии и помещиков, провозгласив Россию Республикой Советов,

начав тем самым мировую пролетарскую революцию, открыв новую главу всемирной истории. Выйдя из войны революционным путем, Советская республика подняла над землей знамя мира, основанного на братстве народов.

Брестский мир был неслыханно тяжелым, но, заключив его, Советское правительство не только выполнило взятое на себя обязательство — избавить народы нашей страны от бремени империалистической войны, но также обеспечило стране передышку для упрочения нового строя. «Победа» Кюльмана—Гофмана в Бресте оказалась в действительности громадным поражением германских империалистов, ибо привела к разоблачению их разбойничьих воцелений и крайне усилила ненависть к ним народов Западной Европы. Брест был пирровой победой вильгельмовского режима. Вскоре за Брестом последовал Версаль...

А Советское правительство, едва отразив контрреволюционные заговоры (первые контрреволюционные заговоры!) и подавив сопротивление эксплуататоров, сейчас же, весной 1918 года, выдвинуло программу мирного строительства, которая неразрывно была связана с большевистской программой мира.

Оставаясь на «экономической базе», доставшейся народу после Октября в наследство от трусливой, невежественной и просто глупой и бездарной русской буржуазии, — означало в перспективе неминуемое поражение. По своему политическому строю, созданному революцией, Россия в несколько месяцев догнала передовые страны. Но, указывая Ленин, этого мало. И он прямо говорит рабочему классу, крестьянству, всему народу, в чем состоит задача: «...либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически...»

Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей».

Приходило ли что-либо даже отдаленно похожее по своему гигантскому размаху, величию и масштабу в голову лидерам российской буржуазии, кичившимся образованностью и государственным опытом? Об этом они и не думали, да и не были способны думать, их занимали другие заботы: как спасти свое богатство — источник их силы, потому что ничего дороже их собственного богатства у них не было. Поэтому ни мужества, ни готовности и умения понять происшедшее, постигнуть глубину мирового перелома, которому революционная Россия положила начало своей борьбой, они также не были в состоянии. Они только чувствовали: богатство уйдет, народ отнимет его у них и вместе с богатством уйдет все — власть, сила, влияние, не говоря уже о комфорте и роскоши, к которым привыкли.

И вот тут хочется сказать несколько слов об их «патриотизме», о рекламировавшейся ими же своей «любви к отечеству» и «любви к русскому народу».

Российские белогвардейцы и черносотенцы всех видов и рангов не были слишком искусны в пропаганде своих «идей» и «взглядов». Собственно, таковых у них вовсе и не было. Поэтому они и направили на шовинистическую агитацию, на проповедь звериной ненависти к «инородцам», ко всему «не русскому», выдавая себя за единственных «истинных» представителей «всего русского» и распинаясь в любви к «русскому человеку». В этом «гвоздь» их «патриотической» пропаганды.

Однако контрреволюция вовсе не есть патриотическое движение!

Послушаем одного из бывших наиболее откровенных и красноречивых лидеров российской контрреволюции с первого же дня ее тайного рождения на свет уже в феврале—марте 1917 года, тогдашнего монархиста и крайнего националиста Василия Витальевича Шульгина. Крутыми тропами пошла жизнь этого человека с февраля—марта 1917 года. Он сумел подняться над своим тяжким прошлым, мужественно осудить его, громогласно признать свои заблуждения. Мы не полемизируем сегодня с В. В. Шульгиным, ныне живущим на родной земле и открыто заявившим, что без советской власти нет России, которую он любит теперь по-новому, по-человечески, искренне. Но из песни слов не выкинешь! То, что переживал В. В. Шульгин сорок пять лет назад, он описал в книге «Дни». Эта книга — важный политический документ, яркий, пожалуй самый яркий, «человеческий документ» тех дней, — документ, дающий возможность заглянуть в страшный омут контрреволюции, в мир опустошенных душ, в сердца, опьяненные злобой, ненавистью и жадной кровью. Это исповедь. От нее невозможно отказаться. Она открывает нам прошлое таким, каким оно было представлено талантливым пером — в лицах,

в страстях, в движении, в борьбе. Тот Шульгин, 1917 года, слишком важный свидетель, чтобы не выслушать его ценные показания, очень важные для понимания того, почему контрреволюция должна была потерпеть и потерпела полное поражение, и притом навсегда.

В книге «Дни» Россия марта 1917 года, когда пала и рассыпалась в прах династия Романовых, выглядит почти трагически. И в голосе автора звучит мрачная патетика отчаяния. Во всем этом есть расчет, игра, рисовка. Еще теплится совсем крохотная надежда спасти монархию. Шульгин рыдает, рассказывая солдатам в «толпе» на вокзале в Петрограде, после возвращения из Пскова, где вместе с Гучковым принял от Николая II акт отречения от престола, какую жертву принес царь, и говорит, что и они, простые люди России, должны следовать примеру царя в «любви к родине». Ради России, сказал он, Николай II забыл себя.

Конечно, в словах Шульгина не было ни слова правды. Николаю Кровавому не были ведомы благородные порывы. Судьба России никогда не волновала его: это факт общеизвестный. Но Шульгин продолжал: «Мы... люди разные... разных званий, состояний... занятий... офицеры и солдаты... дворяне и крестьяне!.. Инженеры и рабочие!.. Богатые и бедные!.. Сумеем ли мы все забыть для того, что у нас у всех есть единое.. общее? А что у нас — общее?.. Все вы это знаете... Это общее — родина... Россия... Ее надо спасти...»

Картина мартовского утра 1917 года, нарисованная Шульгиным, насквозь фальшивая, потому что, по совести, Василий Витальевич ни раньше, ни потом, в описанные им «дни», вовсе не считал, что Россия принадлежит и крестьянам, и рабочим, и солдатам, и бедным... Он сам нам расскажет затем, как ненавидел он и крестьян в шинелях, и рабочих, и бедных за то именно, что они требовали себе какую-то часть власти в этой самой «общей родине» — России.

В тех кругах, где Шульгин считался лидером, революцию ненавидели люто, со звериной жестокостью. И так же ненавидели народ, совершивший эту революцию и лишивший Шульгина и всех его единомышленников «обожаемого монарха», а потом и богатства...

Вот как он передает свои чувства от встречи с народом в первые дни революции: «Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди... Живым, вязким человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением...

С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность «великой» русской революции.

Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водоворота бросала в Думу все новые и новые лица... Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злое...

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство.

— Пулеметов!

Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлоги вырвавшегося на свободу страшного зверя...

Увы — этот зверь был... Его Величество русский народ!..»

И про себя: «Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет пятьдесят тысяч «февралистов», то это будет задешево купленное спасение России...»

И Владимир Набоков, «противник» Шульгина согласно табели о политическом ранжире в лагере контрреволюции, но союзник в ненависти к революции, говорит о народе такими же словами, что и Шульгин: «Те же безумные, тупые, зверские лица» или: «Обычные бессмысленные, тупые, злобные физиономии». Дальше можно не цитировать: жаргон черносотенных публицистов один и тот же.

Но что же это за «патриотизм», настоящий на столь ярко выраженной ненависти к народу, своему народу? Как можно любить страну и ненавидеть народ? Такой «патриотизм» — ложь! Такого «патриотизма» нег. не было и не будет, ибо без народа страна — ничто. Нельзя любить отвлеченно, одну природу. Но, верно, можно питать страстную привязанность к своей собственности и по чудовищной аберрации

чувств воспринимать это как любовь к стране. Такие извращения чувств типичны для тех, кто чужд народу, или для тех, кто смотрит на народ как на принадлежность, как на придаток к собственности, делающие эту самую собственность более полезной и доходной.

Вот как выглядит в реальности то «общее», о котором говорил Шульгин в Петрограде сорок пять лет назад. Для народа — пулеметов! Для господ — власть, право повелевать, богатство, покой!

А народ велик в своем благородстве. Он был готов уже через полгода после завоевания власти отложить в сторону меч и взяться за плуг. Он считал необходимым привлечь к великому труду по возрождению социалистического отечества буржуазную интеллигенцию, всех дельных и знающих людей старого общества и хорошо платить за их труд. Даже Шульгину большевики устами Ленина обещали хорошую одежду и хорошую пищу на условии работы, вполне посильной и привычной. Но вместо того, чтобы трудиться на благо страны, в любви к которой они так распинались, многие представители старого общества предпочли сбежать к бесам контрреволюции, чтобы начать опустошительную четырехлетнюю гражданскую войну против народа на деньги, по планам иноземных интервентов и при их помощи. Кончилось все это разгромом белых. После разгрома белые лидеры стали искать причины. Таких причин можно найти тысячу и одну. Но главная состоит в том, что народ был за большевиков, за Советы. Поэтому победили большевики, Советы.

Не будь этой войны, наша родина еще при жизни Ленина успела бы взять решающие высоты в экономическом переустройстве; все важнейшие линии его Ленин изложил уже в апреле 1918 года в знаменитой работе «Очередные задачи Советской власти». При непосредственном руководстве партией большевиков Ленинскими задачами экономического переустройства — главные задачи социалистической революции после свержения власти капитала — были бы решены с куда меньшими издержками и жертвами, были бы избегнуты многие ошибки и извращения.

Тот грандиозный прыжок, который совершила наша страна за сорок пять лет, необъясним без учета творческой силы большевизма. Россия всегда была несказанно богата естественными ресурсами. И она же была крайне бедна всем тем, что создает великую современную державу. И народ был беден — это главное. В стране, давшей миру великих, гениальных ученых, талантливых инженеров, первооткрывателей во многих областях науки и техники, в стране, народы которой издавна славятся своим трудолюбием, умом, изобретательностью, — еще не так давно господствовала «дубинушка», звучал на берегах рек печальный напев бурлаков, тянувших баржи бечевою. Царизм обрекал Россию на отсталость и одиночание.

А сегодняшняя Страна Советов ничем не напоминает вчерашнюю Россию. Советский Союз теперь одна из величайших индустриальных держав мира; скоро, очень скоро по уровню промышленного и сельскохозяйственного производства, по производительности труда, по энерговооруженности народного хозяйства и использованию новейших видов энергии наша страна догонит и обгонит самую могущественную и богатую страну капитализма — США.

Советский Союз выстоял в невиданной схватке с фашистским блоком и разгромил его дотла. И ныне в руках защитников нашей страны — самые мощные современные средства для отражения любой попытки нападения с какой бы то ни было стороны.

Если взять всю историю капитализма, то мы не обнаружим в ней и тысячной доли того творческого горения, который большевизм смог раздуть в народе, ставшем хозяином своей судьбы. Даже крайние проявления жадности и стремления к наживе оказались не в состоянии дать частному собственнику такой сильный импульс к движению вперед, какой свойствен социалистическому плановому хозяйству, создаваемому волей и трудом коллектива. Капитализму не выдержать соревнования с социализмом! Тем более капитализм не в силах выдержать сравнения с социализмом. Поворот всего человечества к социализму неизбежен.

Партия большевиков показала на протяжении всех лет борьбы — военной и мирной, дипломатической и хозяйственной, в области науки и техники, мысли и образования,

что она — подлинно великая партия, притом единственная во всем мире, которая правильно установила и оценила курс движения мирового прогресса и на каждом историческом повороте дала ему истинное истолкование и выразила это в идеях и лозунгах, ставших ведущими идеями и лозунгами нашего века и всего современного человечества.

В буржуазном мире политические партии давно выродились в соперничающие клики политиканов, в машины для улавливания голосов избирателей, в аппарат обмана народа. Передовые мыслители Запада откровенно презирают эти партии, защищающие власть капитала.

Вспоминается мне коротенький разговор с Бернардом Шоу в 1937 году в Лондоне. Я задал знаменитому писателю вопрос: «Каковы, по-вашему, перспективы развития культуры в Англии?» Шоу ответил: «Нет никаких перспектив. «Культура» в Англии — это, главным образом, политиканство партий и сенсационная пресса да, возможно, еще покррой мундиров королевской конной гвардии...» Сколько сарказма в этих словах!

Передовые идеи нашего времени — практически применимые в любой стране, на любом материке — это идеи большевизма.

Большевизм дал человечеству учение об условиях освобождения рабочего класса и всех трудящихся от ига капитала и уничтожения эксплуатации человека человеком.

Большевизм дал человечеству учение о социалистическом государстве и обществе, о социалистической демократии.

Большевизм дал человечеству великое учение о братстве народов и сотрудничестве равноправных наций, развеяв в прах гнусные «учения» расистов, позорящих наш выдающийся век.

Большевизм дал человечеству учение о подлинном патриотизме, освобожденном от грязной примеси власти денег и низменного национализма: том высшем патриотизме, в основе которого лежит любовь к братьям по труду, совместно обогащающим свою родную землю; патриотизме, который видит в счастье каждого согражданина, к какой бы национальности он ни принадлежал, условии всеобщего счастья народов всей страны.

Большевизм дал человечеству учение об условиях и средствах предотвращения войны и избавления всех народов от угрозы термоядерного уничтожения, выдвинув и защитив великий ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным общественным устройством.

Большевизм дал человечеству уверенность в победе прогресса над реакцией, веру в то, что у всех народов есть прекрасное, светлое будущее.

Большевизм неотделим от современного человечества, человечества эпохи торжества марксизма-ленинизма, эпохи неумолимого движения всего мира к коммунистическому обществу.

И все эти идеи, подготовляющие завтрашний день человечества, его высокий и чистый нравственный мир, не только провозглашены, но реализуются, претворяются в общественном строе, в гарантированных правах народов, в могучем расцвете всех сторон жизни еще недавно угнетенных наций, в небывалом подъеме экономики и культуры в нашей стране и во всех странах социалистического содружества, простирающегося от берегов Балтики до берегов Тихого океана.

Большевизм был мало известен шестьдесят лет назад при его возникновении. С тех пор поступательное развитие социалистического движения и прогресс коммунизма выражались в победном шествии большевизма. Из той искры, которую в глухую ночь царизма высек великий хранитель огня человечества — Ленин, разгорелся неугасимый вечный огонь. Это огонь жизни.

Большевизм, которому шестьдесят лет, есть итог борьбы человечества на протяжении многих тысячелетий.

Большевизм на тысячелетия вперед освещает путь человечеству.



ГОДЫ «ИСКРЫ»

Автобиографические высказывания В. И. Ленина
1900—1903¹

Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года.

В. И. Ленин.

В середине июля 1900 года Ленин снова выезжает за границу. Здесь — в Цюрихе и Женеве, Мюнхене и Лейпциге, Праге и Вене, Лондоне и Париже, Льеже и Брюсселе — он осуществляет свой план создания боевой, революционной политической партии рабочего класса. Здесь он редактирует «Искру» и «Зарю», пишет книги, заложившие идейные основы Коммунистической партии, разрабатывает ее первую Программу. Здесь он готовит ее II съезд, шестидесятилетие со дня открытия которого отмечается 30 июля этого года.

ЦЮРИХ — ЖЕНЕВА (1900)

В начале августа 1900 года Владимир Ильич приезжает в Цюрих для переговоров об издании «Искры» с П. Б. Аксельродом — членом плехановской группы «Освобождение труда». Этим, как и последующим за ними, беседам и встречам посвящена рукопись «Как чуть не потухла «Искра»...». Из нее, опубликованной полностью лишь в четвертом издании Сочинений, приведены далее наиболее важные отрывки, воспроизводящие не только беседы Ленина с его будущими соредакторами, но и его внутренние переживания. Первый, самый краткий, фрагмент относится к двухдневным беседам Владимира Ильича с П. Б. Аксельродом:

— Приехал я сначала в Цюрих, приехал один и не видевшись раньше с Арсеньевым (Потресовым). В Цюрихе П. Б. встретил меня с распростертыми объятиями, и я провел 2 дня в очень задушевной беседе. Беседа была как между давно не видавшимися друзьями: обо всем и о многом прочем, без порядка, совершенно не делового характера... Вообще же П. Б. очень «льстил» (извиняюсь за выражение), говорил, что для них все связано с нашим предприятием, что это для них возрождение, что «мы» теперь получим возможность и против крайностей Г. В. спорить — это последнее я особенно заметил, да и вся последующая «гистория» показала, что это особенно замечательные слова были.

Второй отрывок переносит нас в Бельрив и Корсье под Женевой. Там Владимир Ильич встречается с Г. В. Плехановым и В. И. Засулич в дни особенно резкой борьбы между группой «Освобождение труда» и «экономистским» «Союзом русских социал-демократов за границу»:

¹ Публикуемый ниже обзор автобиографических высказываний В. И. Ленина продолжает напечатанные в № 4 и 6 «Нового мира» за этот год обзоры: «Начало пути» и «В канун рождения партии», охватывающие 1886—1893 и 1893—1900 годы. Составитель обзора — В. Яковлев.

— Приезжаю в Иеневу. Арсеньев предупреждает, что надо быть очень осторожным с Г. В., который страшно возбужден расколом и подозрителен... Я старался соблюдать осторожность, обходя «больные» пункты, но это постоянное держание себя настороже не могло, конечно, не отражаться крайне тяжело на настроении.

О переговорах, продолжавшихся и 12 (25) августа, Владимир Ильич замечает:

— Наступает суббота. Я не помню уже точно, о чем говорили в этот день, но вечером, когда мы шли все вместе, разгорелся новый конфликт... Через полчаса Г. В. уехал (мы шли его провожать на пароход), причем последнее время он сидел молча, чернее тучи. Когда он ушел, у нас всех сразу стало как-то легче на душе и пошла беседа «по-хорошему».

О встрече с Плехановым 13 (26) августа Ленин записывает:

— На другой день, в воскресенье (сегодня 2 сентября, воскресенье. Значит, это было только неделю тому назад!!! А мне кажется, что это было с год тому назад! Настолько уже это отошло далеко!), собрание назначено не у нас, на даче, а у Г. В. ...Мне отпирает Г. В. и подает руку с несколько странной улыбкой, затем уходит. Я вхожу в комнату, где сидят В. И.¹ и Арсеньев со странными лицами. Ну, что же, господа? — говорю я. Входит Г. В. и зовет нас в свою комнату. Там он заявляет, что лучше он будет сотрудником, простым сотрудником, ибо иначе будут только трения, что он смотрит на дело, видимо, иначе, чем мы, что он понимает и уважает нашу, партийную, точку зрения, но встать на нее не может. Пусть редакторами будем мы, а он сотрудником. Мы совершенно опешили, выслушав это, прямо-таки опешили и стали отказываться. Тогда Г. В. говорит: ну, если вместе, то как же мы голосовать будем; сколько голосов? — Шесть. — Шесть неудобно. — «Ну, пускай у Г. В. будет 2 голоса. — вступается В. И., — а то он всегда один будет. — два голоса по вопросам тактики». Мы соглашаемся. Тогда Г. В. берет в руки бразды правления и начинает в тоне редактора распределять отделы и статьи для журнала, раздавая эти отделы то тому, то другому из присутствующих — тоном, не допускающим возражений. Мы сидим все, как в воду опущенные, безучастно со всем соглашаясь и не будучи еще в состоянии переварить происшедшее. Мы чувствуем, что оказались в дураках, что наши замечания становятся все более робкими, что Г. В. «отодвигает» их (не опровергает, а отодвигает) все легче и все небрежнее, что «новая система» de facto² всецело равняется полнейшему господству Г. В. ...Мы сознавали, что одурачены окончательно и разбиты наголову, но еще не реализовали себе вполне своего положения. Зато, как только мы остались одни, как только мы сошли с парохода и пошли к себе на дачу, — нас обоих сразу прорвало, и мы разразились взбешенными и озлобленнейшими тирадами против Г. В. ...

Далее Владимир Ильич прерывает последовательное изложение событий и вспоминает о Пскове, где он обсуждал с Погресовым планы организации работы «Искры»:

— Но прежде чем излагать содержание этих тирад и то, к чему они привели, я сделаю сначала маленькое отступление и вернусь назад. Почему нас так возмутила идея полного господства Плеханова (независимо от формы его господства)? Раньше мы всегда думали так: редакторами будем мы, а они — ближайшими участниками. Я предлагал так формально и ставить с самого начала (еще с России). Арсеньев предлагал не ставить формально, а действовать лучше «по-хорошему» (что сойдет-де на то же), — я соглашался. Но оба мы были согласны, что редакторами должны быть мы как потому, что «старик» крайне нетерпимы, так и потому, что они не смогут аккуратно вести черную и тяжелую редакторскую работу: только эти соображения для нас и решали дело...

¹ В. И. Засулич.

² Фактически, на деле (лат.).

Затем Ленин опять возвращается к переговорам с Плехановым и описывает вечер 13 (26) августа:

— Я остановился в своем описании того, как чуть было не потухла «Искра», на нашем возвращении домой вечером в воскресенье 26 августа нового стиля. Как только мы остались одни, сойдя с парохода, мы прямо-таки разразились потоком выражений негодования. Нас точно прорвало, тяжелая атмосфера разразилась грозой. Мы ходили до позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки, ночь была довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии... Мою «влюбленность» в Плеханова... как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, veneration, ни перед кем я не держал себя с таким «смирением» — и никогда не испытывал такого грубого «пинка». А на деле вышло именно так, что мы получили пинок: нас припугнули, как детей, припугнули тем, что взрослые нас покинут и оставят одних, и, когда мы струсил (какой позор!), нас с невероятной бесцеремонностью отодвинули. Мы сознали теперь совершенно ясно, что утреннее заявление Плеханова об отказе его от соредакторства было простой ловушкой, рассчитанным шахматным ходом, западней для наивных «пижонов»... Ну, а раз человек, с которым мы хотим вести близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход, — тут уже нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он — человек неискренний. Это открытие — это было для нас настоящим открытием! — поразило нас как громом потому, что мы оба были до этого момента влюблены в Плеханова и, как любимому человеку, прощали ему все, закрывали глаза на все недостатки, уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это — мелочи, что обращают внимание на эти мелочи только люди, недостаточно ценящие принципы. И вот, нам самим пришлось наглядно убедиться, что эти «мелочные» недостатки способны отталкивать самых преданных друзей, что никакое убеждение в теоретической правоте неспособно заставить забыть его от г а л к и в а ю щ и е качества. Возмущение наше было бесконечно велико: идеал был разбит, и мы с наслаждением попирали его ногами, как свергнутого кумира: самым резким обвинениям не было конца. Так нельзя! решили мы. Мы не хотим и не будем, не можем работать вместе при таких условиях. Прощай, журнал! Мы бросаем все и едем в Россию, а там наладим дело заново и ограничимся газетой. Быть пешками в руках этого человека мы не хотим; товарищеских отношений он не допускает, не понимает... Трудно описать с достаточной точностью наше состояние в этот вечер: такое это было сложное, тяжелое, мутное состояние духа! Это была настоящая драма, целый разрыв с тем, с чем носился, как с любимым детищем, долгие годы, с чем неразрывно связывал всю свою жизненную работу... Это был самый резкий жизненный урок, обидно-резкий, обидно-грубый. Младшие товарищи «ухаживали» за старшим из громадной любви к нему, — а он вдруг вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых водят за нос, пешками, которых можно двигать по произволу, а то так даже и неумелыми Streber'ами¹, которых надо по сильнее припугнуть и придавить. И влюбленная юность получает от предмета своей любви горькое наставление: надо ко всем людям относиться «без сентиментальности»... Бесконечное количество таких горьких слов говорили мы в тот вечер. Внезапность краха вызывала, естественно, немало и преувеличений, но в основе своей эти горькие слова были верны. Ослепленные своей влюбленностью, мы держали себя в сущности как рабы, а быть рабом — недостойная вещь, и обида этого сознания во сто крат увеличивалась еще тем, что нам открыл глаза «он» самолично на нашей шкуре...

¹ Карьеристами (нем.)

Переговорам, состоявшимся на следующий день — 14 августа, — посвящены такие ленинские строки:

— На другой день просыпаюсь раньше обыкновенного: меня будят шаги по лестнице и голос П. Б., который стучится в комнату Арсеньева. Я слышу, как Арсеньев откликается, отворяет дверь — слышу это и думаю про себя: хватит ли духу у Арсеньева сказать все сразу? а лучше сразу сказать, необходимо сразу, не тянуть... вхожу к Арсеньеву... Аксельрод сидит на кресле с несколько натянутым лицом. «Вот, NN, — обращается ко мне Арсеньев, — я сказал П. Б. о нашем решении ехать в Россию, о нашем убеждении, что так вести дело нельзя». Я вполне присоединяюсь, конечно, и поддерживаю Арсеньева...

Никогда не забуду я того настроения духа, с которым выходили мы втроем: «мы точно за покойником идем», сказал я про себя. И действительно, мы шли, как за покойником, молча, опуская глаза, подавленные до последней степени исцельностью, дичностью, бессмысленностью утраты. Точно проклятье какое-то! Все налаживалось к лучшему — налаживалось после таких долгих невзгод и неудач, — и вдруг налетел вихрь — и конец, и все опять рушится. Просто как-то не верилось самому себе [точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под всежим впечатлением смерти близкого человека] — неужели это я, ярый поклонник Плеханова, говорю о нем теперь с такой злобой и иду, с сжатыми губами и с чертовским холодом на душе, говорить ему холодные и резкие вещи, объявлять ему почти что о «разрыве отношений»? Неужели это не дурной сон, а действительность?.. До такой степени тяжело было, что ей-богу временами мне казалось, что я расплачусь... Когда идешь за покойником, — расплачаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния...

Ушли мы от П. Б. и В. И. Ушли, пообедали, отправили в Германию письма, что мы туда едем, чтобы машину приостановили, даже телеграмму об этом отправили (еще до разговора с Плехановым!!)¹, и ни у одного из нас нешевельнулось сомнение в нужности того, что мы делали.

Следующий отрывок снова воспроизводит беседу Ленина с Плехановым:

— После обеда идем опять в назначенный час к П. Б. и В. И., у коих уже должен быть Плеханов... Плеханова, видимо, немного коробит. Он не ожидал такого тона, такой сухости и прямоты обвинений. — «Ну, решили ехать, так что ж тут толковать, — говорит он, — мне тут нечего сказать, мое положение очень странное: у вас все впечатления да впечатления, больше ничего: получились у вас такие впечатления, что я дурной человек...» — Ниша вина может быть в том, — говорю я, желая отвести беседу от этой «невозможной» темы, — что мы чересчур размахнулись, не разведав брода... Мы молчим и затем говорим, что вот-де брошюрами можно пока ограничиться. Плеханов сердится: «я о брошюрах не думал и не думаю. На меня не рассчитывайте. Если вы уезжаете, то я ведь сидеть сложа руки не стану и могу вступить до вашего возвращения в иное предприятие».

Ничто так не уронило Плеханова в моих глазах, как это его заявление, когда я вспоминал его потом и обдумывал его всесторонне. Это была такая грубая угроза, так плохо рассчитанное запугиванье, что оно могло только «доконать» Плеханова, обнаружив его «политику» по отношению к нам: достаточно-де будет и: хорошенько припугнуть...

Но на угрозу мы не обратили ни малейшего внимания. Я только сжал молча губы: хорошо, мол, ты так — ну *a la guerre comme a la guerre*², но дурак же ты, если не видишь, что мы теперь уже не те, что мы за одну ночь совсем переродились...

Остаток вечера провели пусто, тяжело.

¹ Упомянутые здесь письма и телеграмма не сохранились.

² Коль война, так по военному (франц.).

Запись заключает рассказ о последней в те дни встрече с Плехановым — 15 (28) августа:

— На другой день, вторник 28 августа н. ст., надо уезжать в Женеву и оттуда в Германию...

Приезжаем в Женеву и ведем последнюю беседу с Плехановым.

Он... выражает... желание разузнать хорошенько, в чем же собственно дело-то было, чем мы недовольны. Я замечаю, что может быть лучше будет, если мы больше внимания уделим тому, что будет, а не тому, что было. Но Плеханов настаивает, что надо же выяснить, разобран. Завязывается беседа, в которой участвуем почти только Плеханов и я... Я говорю о необходимости допускать полемику, о необходимости между нами голосований — Плеханов допускает последнее, но говорит: по частным вопросам, конечно, голосование, по основным — невозможно. Я возражаю, что именно разграничение основных и частных вопросов будет не всегда легко, что именно об этом разграничении необходимо будет голосовать между соредакторами...

В тот же день вечером я уехал, не выдавшись больше ни с кем из группы «Освобождение труда». Мы решили не говорить о происшедшем никому, кроме самых близких лиц, — решили соблюсти аппарансы, — не дать торжествовать противникам. По внешности — как будто бы ничего не произошло, вся машина должна продолжать идти, как и шла, — только внутри порвалась какая-то струна, и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с постоянным расчетом: по формуле *si vis pacem, para bellum*¹.

Последние строки записи переносят нас уже в «N» — то есть в Нюрнберг, где Ленин останавливается проездом из Женевы в Мюнхен:

— По приезде в N, 4 или 5 сентября, мы уже выработали проект формальных отношений между нами (я начал писать этот проект еще дорогой, в вагоне ж. д.), и проект этот делал нас — редакторами, их — сотрудниками с правом голоса по всем редакционным вопросам... Искра начала подавать надежду опять разгореться.

«Ленинский сборник» I. М. 1924².

В дни, когда идут переговоры об «Искре», Владимир Ильич пишет Н. К. Крупской из Женевы в Уфу:

— Давненько уже собираюсь написать тебе о делах, но все разные обстоятельства мешают. В сутолоке я живу довольно-таки изрядной, даже чрезмерной — и это... несмотря на сугубые, сверхобычные меры предохранения от сутолоки! Почти, можно сказать, в одиночестве живу — и сутолока тем не менее! Положим, это неизбежная, неотвратимая при всякой новизне положения сутолока и на бога грех бы роптать, благо я далеко не так нервен, как наш милый книгопродавец³, впадающий в черную меланхолию и моментальную протрацию под влиянием этой сутолоки. Есть много и хорошего наряду с сутолокой!

Т а м ж е.

Восемнадцатого августа, уже из Нюрнберга, Владимир Ильич пишет М. А. Ульяновой о встрече с Анной Ильиничной в Женеве:

— ...я писал тебе уже дважды из Парижа и теперь пишу с дороги (ездил кататься на Рейн).. видел на днях Анюгу, катался с ней по одному очень красивому озеру и наслаждался прелестными видами...

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

¹ Если хочешь мира, готовься к войне (*лат.*).

² Здесь и далее ссылки даются, как правило, на первые публикации источников, датирующие появление того или иного документа в научном обиходе.

³ А. Н. Потресов.

На Париж в этом письме Владимир Ильич ссылается из конспиративных соображений. Он находится в Германии, а через столицу Франции его письма родным идут, чтобы шпионы царской охранки не смогли обнаружить подлинное место издания «Искры».

ПРАГА — МЮНХЕН — ЛЕЙПЦИГ — ВЕНА (1900 — 1902)

Ленинская принципиальная позиция побуждает. Плеханов более не претендует на единоначальное руководство «Искрой» и становится одним из ее равноправных шести редакторов. Ленин редактирует «Искру» в Мюнхене. Печатается она в Лейпциге. Вся же переписка Владимира Ильича с родными идет конспиративно через Прагу. 24 октября 1900 года он из Мюнхена сообщает М. И. Ульяновой конспиративный пражский адрес:

— Повторяю на всякий случай свой адрес.

Heerrn Franz Modráček. Směšky, 27. Prag. Oesterreich. Австрия... Я живу по-старому, занимаюсь мало-мало языками, обмениваюсь с одним чехом в уроках немецкого и русского языка (вернее, разговор, а не уроки), посещаю библиотеку.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Впервые Ленин посещает Прагу, видимо, еще в сентябре 1900 года. О Праге начала XX века он вспоминает летом 1920 года, беседуя с чешскими делегатами II конгресса Коммунистического Интернационала. Антонин Запотоцкий пишет о Владимире Ильиче:

— Прежде всего оказалось, что он понимает чешскую речь... Выяснилось, что переводчик не нужен. Ленин знал Прагу... Беседу он начал вопросом, который наверняка ни одного чеха не привел бы в замешательство. Он спросил, едят ли еще в Чехии кнедлики со сливами. Он помнил об этом любимом чешском блюде еще со времени своего пребывания в Праге. Само собой разумеется, что после такого вступления беседа протекала совершенно по-дружески...

«Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине». Часть 2. М. 1957.

О том, как Ленин знал Прагу и ее историю, свидетельствуют и воспоминания делегата Пражской партийной конференции Е. П. Онуфриева. В 1912 году, сообщает он:

— Ленин с увлечением рассказывал о Праге, о ее достопримечательностях, об исторических памятниках.

— Владимир Ильич, почему эта площадь называется Площадью крестоносцев? — спросил однажды я.

И Ленин коротко и ясно рассказал мне об истории крестовых походов, их целях и результатах. В другой раз, когда мы были на горе Святого Лаврентия, Владимир Ильич рассказал, почему воздвигнутая там зубчатая стена названа Стеной голодающих. И так каждый раз я узнавал о Праге что-нибудь новое, и передо мной вставала живая история чешского народа.

Е. Онуфриев. Встречи с Лениным. Воспоминания делегата Пражской партийной конференции. М. 1959.

Упомянутые Владимиром Ильичем «кнедлики со сливами», которые готовят в Праге лишь в сентябре, помогли Мирославу Иванову — автору очерка «Ленин в Праге» — установить, когда Владимир Ильич побывал там впервые. Именно тогда он познакомился с Франтишеком Модрачком, через которого шла его конспиративная переписка с Россией. Чешский очеркист встретился с Модрачком и записал его рассказ о беседе с Лениным:

— Один раз... постойте... уж и не припомню, в котором году... пришел ко мне иностранец, назвался Майером и сказал, что его направили ко мне из редакции «Право льду» или из партийного секретариата — сейчас уж точно не помню... Я его ни о чем не спрашивал, а сам он на слова был скуп. Сказал только, что

побывал в ссылке в Сибири, а теперь направляется на Запад... Мы говорили по-немецки. Русского я не знал. Он говорил хорошо, с каким-то особенным спокойствием и напористостью. Попросил меня раздобыть ему паспорт, но с этим у меня ничего не вышло: в Чехии не было такого опыта конспиративной работы, как в России. Потом он попросил меня о другой услуге: чтобы я время от времени переправлял к нему приходящую из России корреспонденцию... Он хотел, чтобы в России все думали, будто он живет у меня. Ко мне будут приходить для него из России пакеты с книгами и различные письма, а я должен буду пересылать их дальше, на Запад... Он сам дал мне адрес. Даже два: один — на имя Карла Лемана, Мюнхен, Габельсбергерштрассе, 20, для господина Майера, и другой — какому-то трактирщику Риттмейеру, тоже в Мюнхен. Мы договорились, что Майер тоже будет время от времени присылать мне свои письма в Россию, а я должен относить их на почту в Праге, чтобы царская полиция думала, будто он и в самом деле здесь постоянно живет...

Мирослав Иванов. Ленин в Праге.
Перевод с чешского О. М. Малевича. М. 1963.

О своей работе в редакции «Искры» и все более угрожающей ей активности шпионов царской охранки Владимир Ильич пишет Аксельроду уже 5 октября 1900 года:

...мы все не можем устроиться так, чтобы было кому переписывать необходимые для посылки вещи. Загорская все не едет, а работы по ведению переписки становится все больше и больше. Я временами изнемогаю и совсем отвыкаю от своей настоящей работы... Нам приходится получать отовсюду предостережения — и из Парижа (что приезжие из России называют всех троих по именам), и из России (что меня выследили на пути сюда и в одном уездном городе взяли совершенно невиновного и не видавшего меня человека, дальнего родственника, и спрашивали, какие я ему давал поручения!)... нервы развинтились препорядочно, — главное эта томительная неопределенность, кормят эти черти немцы завтраками, — ах! я бы их!..

Упомянутая в письме Загорская — это И. Г. Смирлов-Леман, секретарь редакции «Искры» до приезда Н. К. Крупской. Письмо живо воссоздает обстановку, в которой Ленин готовит первые номера «Искры». 26 октября Ленин снова делится с Аксельродом своими соображениями о конспиративности в деятельности редакции:

— ...насчет того, чтобы начать выступать здесь открыто, — я с Вами не могу согласиться. Что «легальность уже потеряна», этого я еще не могу думать. Помоему, пока еще не потеряна, и это пока, может быть, протянется еще несколько месяцев, в течение которых многое выяснится... я во всяком случае буду продолжать прятаться. Если предприятию суждено иметь успех, тогда это решение может скоро измениться, — но мой прежний «оптимизм» насчет этого условия изрядно поколеблен «прозой жизни»...

«Ленинский сборник» III. М. 1925.

Опасения Владимира Ильича вполне обоснованны. Царская охранка сразу после выхода первых номеров «Искры» устанавливает, что ее редактирует «Владимир Ульянов, в сотрудничестве с Александром Потресовым и Юлием Цедербаумом», причем газета «печатается в Мюнхене, но ей старательно придается вид и характер издания, выходящего в пределах России». К тому же примерно периоду относится и донесение начальника московской охранки жандармского полковника Зубатова, заявившего, что «крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого», и предлагавшего департаменту полиции поскорее «срезать эту голову с революционного тела»¹.

В 12 часов ночи (как это зарегистрировано в предваряющей письмо пометке) 1 декабря Ленин пишет Аксельроду о своей поездке в Лейпциг, где печатается первый номер «Искры»:

¹ «Красный архив», 1934, № 1.

— Мне, может быть, придется уехать на время перед выходом газеты, чтобы рассовать разные мелочи (мы здорово обсчитались в тысячах букв и выкидываем теперь многое!), но это возьмет каких-нибудь 3—4 дня.

Десятого декабря Ленин возвращается из Лейпцига и 11-го в письме к тому же адресату датирует намеченный день выхода первого номера «Искры» по новому стилю — 24 декабря 1900 года:

— Только вчера вернулся я из поездки по делу и получил Ваше письмо. Сегодня газета должна быть готова...

«Ленинский сборник» III.

Среди автобиографических страниц ленинского литературного наследия есть и совсем немногочисленные, к сожалению, дневниковые записи. Одна из них рассказывает о начавшихся 16 декабря 1900 года переговорах между редакциями «Искры» и «Зари», которую представлял Ленин вместе с Потресовым и Засулич и приехавшими в Мюнхен П. Б. Струве и его женой, делегированными группой «демократической оппозиции» «Свобода». Встрече этой Владимир Ильич придает такое, по его выражению, «знаменательное и историческое» в своем роде значение, что составляет в ночь на 17 декабря (старого стиля) точно датированную запись, которая воспроизведена далее лишь с частичными сокращениями:

— 29/XII. 1900. Суббота, 2 ч. ночи.

Мне хотелось бы записать свои впечатления от сегодняшней беседы с «близнецом». Это было знаменательное и «историческое» в своем роде собрание (Арсеньев, Велика, близнец + жена¹ + я), по крайней мере историческое в моей жизни, подводящее итог целой — если не эпохе, то странице жизни и определяющее надолго поведение и жизненный путь... На мои запросы (с которых началась деловая часть вечера), почему он, близнец, не хочет идти просто в сотрудники, он отвечал с полной решительностью, что для него это психологически невозможно работать на журнал, в коем его «разделяют под орех» (буквальное его выражение), что не думаем же мы, что мы будем его ругать, а он нам будет «политические статьи писать» (буквально!), что о сотрудничестве могла бы идти речь только при условии полной равноправности (т. е. равноправности, очевидно, критиков и ортодоксальных)...

Он стал затем настаивать на своем предложении: почему не основать 3-его политического органа на равных правах...

Дело стало ясно, и я прямо сказал, что об основании 3-его органа не может быть и речи, что дело сводится тут к вопросу о том, социал-демократия ли должна вести политическую борьбу или либералы самостоятельно и самодовлеюще (я выразился яснее и определеннее, точнее). Близнец понял, озлился и заявил, что после того, как я высказался с *aperkennenswert* Klarheit² (буквальные слова!), нечего и говорить об этом, а надо говорить только о заказах — о заказах сборников... Я спросил об условиях печатанья: издание-де NN и больше ничего, о фирме Вашей не должно быть упомянуто, кроме Verlag'a³ не должно быть связи с Вашей фирмой. — заявил близнец. Я заспорил и против этого, требуя указания нашей фирмы — Арсеньев стал возражать мне, и разговор пресекался.

В заключение — сговорились отложить решение. — на близнеца наседали еще Арсеньев и Велика, гребовали от него объяснений, спорили, я больше молчал, смеялся (так, что близнец ясно это видел), и разговор быстро пришел к концу.

«Ленинский сборник» I.

¹ А. Н. Потресов, В. И. Засулич, П. Б. Струве, Н. А. Герд-Струве.

² С заслуживающей признательности ясностью (нем.).

³ Издательства (нем.).

В середине апреля 1901 года в Мюнхен приезжает Н. К. Крупская. Она вспоминает о своих первых беседах с Владимиром Ильичем, которого она долго разыскивала в Праге как «пана Модрачека», а в Мюнхене как «герра Риттмейера»:

— Отворяется дверь, сидят за столом: Владимир Ильич, Мартов и Анна Ильинична... Я стала ругаться: «Фу, черт, что ж ты не написал, где тебя найти?»

«Как не написал? Я тебя по три раза на день ходил встречать. Откуда ты?» Оказалось попом, что земец, на имя которого была послана книжка с адресом, зачитал книжку...

Владимир Ильич, когда я приехала, рассказал, что он провел, что секретарем «Искры» буду я... Это, конечно, означало, что связи с Россией будут вестись все под самым тесным контролем Владимира Ильича... Владимир Ильич рассказывал, что ему это было не очень ловко делать, но он считал, что для дела это необходимо...

О работе редакции «Искры» Надежда Константиновна далее пишет:

— В начале первого, после обеда, приходил Мартов, подходили и другие, шло так называемое заседание «редакции». Мартов говорил, не переставая... «Мартов — типичный журналист, — говорил про него не раз Владимир Ильич, — он чрезвычайно талантлив, все как-то хватает налету, страшно впечатлителен, но ко всему легко относится»... Владимир Ильич страшно уставал от этих ежедневных 5—6-часовых разговоров, делался от них совершенно болен, неработоспособен. Раз он попросил меня сходить к Мартову и попросить его не ходить к нам. Условились, что я буду ходить к Мартову, рассказывать ему о получаемых письмах, договариваться с ним. Из этого, однако, ничего не вышло, через два дня дело пошло по-старому. Мартов не мог жить без этих разговоров.

Н. К. Крупская. Воспоминания. М. 1925.

В середине мая 1901 года выходит четвертый номер «Искры». Его открывает ленинская статья «С чего начать?». В ней излагается тот опирающийся на зарубежную революционную газету план создания в России политической партии рабочего класса, которому Ленин вскоре посвящает книгу «Что делать?».

К развитым здесь идеям Ленин возвращается год спустя в этой книге. Озаглавив один из ее важнейших разделов «Может ли газета быть коллективным организатором?», он так отвечает на этот вопрос:

— Весь гвоздь статьи «С чего начать?» состоит в постановке и именно этого вопроса и в утвердительном его решении...

Одним словом, «план общерусской политической газеты»... является самым практическим планом начать со всех сторон и сейчас же готовиться к восстанию, не забывая в то же время ни на минуту своей будничной насущной работы.

Н. Ленин. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Штуттгарт. 1902.

Еще через два года в книге «Шаг вперед, два шага назад» Ленин снова пишет об этой статье.

— В редакционной статье четвертого номера («С чего начать?») «Искра» выдвинула целый организационный план и систематически, неуклонно проводила этот план в течение трех лет... основные идеи искровской организации партии были развиты мной и в редакционной статье «Искры» (№ 4) «С чего начать?» и в «Что делать?».

Н. Ленин. Шаг вперед, два шага назад (Кризис в нашей Партии). Женева. 1904.

Летом 1901 года в Мюнхене Ленин приступает к работе над книгой «Что делать?», историческое значение которой общеизвестно. Вот одно из содержащихся в ней ленинских автобиографических высказываний, характеризующее идейную непримиримость Владимира Ильича:

— Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не отступать в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделались в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдете в это болото! — а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! — О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти, куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам сильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь тоже «свободны» идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!

Н. Ленин. Что делать?

Именно в этой книге Ленин рассказывает об идейных исканиях своей юности и деятельности в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса»; о своих первых литературных трудах и диспутах с «легальными марксистами» и «экономистами»; о своих статьях для отредактированного и подготовленного им к печати первого номера газеты «Рабочее дело» и написанных в ссылке брошюрах; статья для «Рабочей газеты» и «Протесте 17-ти социал-демократов» против «экономистского» «Credo»; о встречах и беседах в Пскове по поводу предполагавшегося тогда созыва II съезда партии и т. д.

К 1901 году относятся воспоминания Владимира Ильича и о его беседе с идеологом «экономизма» А. Мартыновым:

— Как сейчас помню, например, разговор с одним довольно последовательным «экономистом», которого мне не доводилось знать раньше. Речь зашла о брошюре «Кто совершит политическую революцию», и мы быстро сошлись на том, что ее основной недостаток — игнорирование вопроса об организации. Мы воображали уже, что мы солидарны друг с другом — но... разговор идет дальше, и оказывается, что мы говорим про разное. Мой собеседник обвиняет автора за игнорирование стачечных касс, обществ взаимопомощи и т. п., я же имел в виду организацию революционеров, необходимую для «совершения» политической революции. И, как только обнаружилось это разногласие, — я не запомню уже, чтобы мне приходилось вообще по какому бы то ни было принципиальному вопросу соглашаться с этим «экономистом»!

Н. Ленин. Что делать?

Сам А. Мартынов по этому поводу вспоминает:

— Мы беседовали с Лениным о программе, о политических задачах партии и о политической тактике, и никаких разногласий у нас как будто не было. Но вот в конце беседы Ленин обращается ко мне с вопросом: «Ну, а как вы относитесь к моему организационному плану?» Тут я сразу оштякнулся: «В этом пункте я с вами совершенно не согласен...» Владимир Ильич, прищурив глаза, усмехнулся и ответил мне: «Вы только в этом пункте со мной не согласны, а в этом вся суть, и разговаривать нам с вами, значит, больше не о чем». И мы разошлись... на долгие годы.

А. Мартынов. Великий пролетарский вождь. М. 1924.

Зимой 1902 года Ленин работает над проектом Программы Российской социал-демократической рабочей партии, критикует проект, составленный Г. В. Плехановым, и дополняет ряд его разделов. Позднее, уже весной 1905 года, Ленин в заметке «К истории партийной программы» пишет об этих идейных разногласиях:

— ...Подчеркиванием того, что проект программы писан не мной, Плеханов первый выносит на публику, в виде намека, поправка и упрека, наши споры о

проекте программы. К сожалению, он не рассказывает об этих спорах, а ограничивается сплетней, т. е. утвержденном пикантным, но неясным и непроверимым. Я должен поэтому добавить... что у меня есть документальные данные о спорах наших при обсуждении проекта программы, и эти данные я при случае опубликую. Читатели увидят тогда: 1) что совершенная неправда утверждение Плеханова, будто охлаждение отношений у нас было из-за «Что делать?». Оно было из-за деления шестерки¹ пополам при спорах о программе; 2) что я отстаивал и отстаивал включение в программу тезиса о вытеснении мелкого производства крупным... 3) что я отстаивал и отстаивал замену термина «трудящаяся и эксплуатируемая масса» термином: «пролетариат» в том месте, где речь шла о классовом характере нашей партии...

«Вперед», № 11, 10 марта 1905 года.

К мюнхенским воспоминаниям Ленин возвращается семнадцать лет спустя, беседуя весной 1919 года с Альфредом Курелла. Последний рассказывает:

...уже в начале нашего разговора... Ленин спросил меня о специфических мюнхенских вещах. Ему были известны не только Английский сад с Моноптерусом и Китайской башней, но и Аумейстер и Унгерербад². (Тогда я еще не знал, что Ленин ранее был в Мюнхене.) Он очень хорошо знал крупные предприятия этого города, из которых мне были известны только важнейшие; он знал о положении дел с кадрами в баварской социал-демократии, о чем я был осведомлен только в самых общих чертах... Но я был совершенно беспомощен в вопросе, который, очевидно, очень интересовал Ленина, — в вопросе о политических настроениях среди баварских крестьян и о влиянии нашей партии на них. Ленин затронул его, когда я уже успел о многом сообщить. При первых моих словах о «левых течениях» и «растущем влиянии» он удивленно посмотрел на меня. Его брови поднимались все выше и выше, когда я начал рассказывать о «крестьянских советах», а когда же я упомянул один крестьянский совет в Розенгейме, он прервал мой рассказ:

«Розенгейм? Это не у железной дороги на Куфштейн? Но это же город!..»

«Незабываемый Ленин». Сборник воспоминаний, подготовленный Институтом марксизма-ленинизма при Центральном Комитете СЕПГ (перевод с немецкого). М. 1958.

ЛОНДОН (1902—1903)

Шпионы царской охраны выслеживают «Искру». Ее издание приходится перенести из Мюнхена в Лондон. В марте 1902 года Ленин предупреждает поселившегося там Н. А. Алексеева³, что к нему будут приходить письма на имя Якоба Рихтера, предназначенные на самом деле Владимиру Ильичу. 30 марта он вместе с Н. К. Крупской выезжает из Мюнхена в Лондон — через Кельн, Льеж и Брюссель.

В начале апреля Ленин в Лондоне. Встретивший здесь Владимира Ильича Н. А. Алексеев приводит в своих воспоминаниях ленинские автобиографические высказывания того периода:

¹ Имеется в виду «шестерка» редакторов «Искры». При обсуждении проекта Программы партии она разделилась на две части: В. И. Ленин, Ю. О. Мартов и А. Н. Потресов — с одной стороны, и Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич — с другой.

² Усадьба Моноптерус и кафе «Китайская башня» — выдающиеся архитектурные памятники конца XVIII — начала XIX века в главном парке Мюнхена — Английском саду Аумейстер — древнейшее предместье Мюнхена. Унгерербад — один из городских пляжей и баня в северном предместье Мюнхена — Швабинне.

³ О Н. А. Алексееве В. И. Ленин писал 25 октября 1921 года И. В. Сталину: «Очень рекомендую подателя тов. Николая Александровича Алексеева.

Я знаю его с 1902 года, с Лондона, где вместе работали в Искре.

Очень образованный марксист, большевик и замечательно добросовестный к исполнению своего долга товарищ» («Ленинский сборник» XXXVI. М. 1959).

— Владимир Ильич объяснил мне тотчас по приезде, что прочие искровцы будут жить коммунаой, он же совершенно неспособен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях... Помню его негодование на ежедневные визиты покойного Лейтейзена (Линдова), приезжавшего из Парижа и зачавившего к нему. «Что у нас, праздники, что ли?» — выражался Владимир Ильич, жалуясь на это в «коммуне»...

Как-то в разговоре с Владимиром Ильичем я посмеялся над одной статьей в лондонской «Джастис»¹ о близости социальной революции... Владимир Ильич был недоволен моей иронией. «А я надеюсь дожить до социалистической революции», — заявил он решительно, прибавив несколько нелестных эпитетов по адресу скептиков...

Н. А. Алексеев. В. И. Ленин в Лондоне. «Пролетарская революция», 1924, № 3.

Четвертого апреля Ленин встречается в Лондоне с Гарри Квелчем — редактором «Джастис». Одиннадцать лет спустя — уже на страницах «Правды» — Владимир Ильич вспоминает в некрологе, посвященном его памяти, о том, в каких условиях издавалась в Лондоне «Искра»:

— 11 лет тому назад русская с.-д. газета должна была печататься в Лондоне. Английские с.-д. с Квелчем во главе с полной готовностью предоставили свою типографию. Самому Квелчу пришлось для этого «потесниться»: ему отгорожен был в типографии тонкой дощатой перегородкой уголок вместо редакторской комнаты. В уголке помещался совсем маленький письменный стол с полкой книг над ним и стул. Когда пишущий эти строки посещал Квелча в этом «редакторском кабинете», то для другого стула места уже не находилось...

«Правда труда», 10 сентября 1913 года.

Пятого апреля Ленин пишет Аксельроду:

— Заняты устройством: хлопот много. Пока пишите на адрес Алексеева — я получаю тотчас...

(Первое впечатление от Лондона: гнусное...)

«Ленинский сборник» III.

Н. К. Крупская вспоминает:

— ...наблюдая... кричащие контрасты богатства и нищеты, Ильич сквозь зубы повторял «Two nations» (Две нации)...

Н. К. Крупская. Воспоминания.

Еще пять дней спустя — 10 апреля — Владимир Ильич сообщает Аксельроду:

— Вот Вам новый адрес (который просил бы очень не сообщать никому... кроме самых близких лиц... Если можно, постарайтесь и в разговорах употреблять систематически Мюнхен вместо Лондона, а Мюнхенцы вместо Лондонцы).

Mr. Jacob Richter
(Holford).
30. Holford square.
Pentonville
London. W. C.²

«Ленинский сборник» III.

Восьмого апреля старого стиля Владимир Ильич под псевдонимом «Якоб Рихтер» пишет директору Британского музея:

¹ «Джастис» («Справедливость») — социал-демократическая газета, выходившая в Лондоне.

² Мистер Якоб Рихтер (Холфорд). 30. Холфорд-сквер. Пентонвилл. Лондон. Западный берег. На этом доме 15 марта 1942 года была установлена мемориальная доска. 22 апреля того же года там же открыт памятник (см. книгу В. М. Семенова «По ленинским местам в Лондоне». М. 1960).

— Сэр!

Обращаюсь к Вам с просьбой о выдаче мне билета на право входа в читальный зал Британского музея. Я прибыл из России для изучения аграрного вопроса...

С глубоким уважением к Вам, сэр,

Якоб Рихтер.

«Иностранная литература», 1957, № 4.

Пятнадцатого апреля 1902 года в книге регистрации читателей Британского музея появляется собственноручная ленинская запись, точно датирующая начало работы Владимира Ильича в главном книгохранилище Великобритании:

— Якоб Рихтер, доктор прав. 30, Холфорд-сквер, Пентонвилл, Западный берег.

Опубликовано впервые в статье П. Богачева «Ленин — читатель Британского музея». «Библиотекарь», 1961, № 4¹.

Двадцать седьмого апреля (10 мая нового стиля) в «Атенеум» — лондонском «журнале английской и иностранной литературы, науки, изящных искусств, музыки и драмы» — появляется такое объявление:

— Русский доктор прав и его жена хотели бы брать уроки английского языка у англичанина (или англичанки) в обмен на уроки русского языка. — Письма направляйте г. Я. Рихтеру, 30, Холфорд-сквер, Пентонвилл. W. C.

«Атенеум», № 3889, 10 мая 1902 года. По-русски полный текст впервые опубликован в шестом томе Полного собрания сочинений В. И. Ленина. М. 1959.

Н. А. Алексеев вспоминает: «После этого объявления у Владимира Ильича и Надежды Константиновны явилось три учителя-ученика из англичан. Одним был некий мистер Реймонт, почтенный старик, внешним обликом напоминавший Дарвина, служащий известной издательской фирмы «Джордж Белл и сыновья»; другим — конторский служащий Вильямс; третьим — рабочий Йонг. Кажется, эгими лицами и ограничивался круг английских знакомств Ильича»².

На тех страницах своих «Воспоминаний», которые рисуют жизнь Ленина в Лондоне, Н. К. Крупская пишет. «Раза два мы ездили наверху омнибуса вечером в дни полочки в рабочие кварталы. Вдоль тротуара широкой улицы... стоит бесконечный ряд лотков, освещенных каждый горящим факелом; тротуары залиты толпой рабочих и работниц, шумной толпой, покупающей всякую всячину...»³ Через двадцать лет — 5 ноября 1922 года, — отвечая на вопрос английского писателя Артура Рэнсома: «Каким образом эмпман не является и не показывает признаков стремления быть политической силой?» — Ленин вспоминает об именно этих лондонских впечатлениях начала века:

¹ В статье «В. И. Ленин и английское рабочее движение» Гарри Поллит отмечает «Здесь уместно напомнить молодым читателям, каким образом Владимир Ильич получил возможность проводить свои серьезные занятия в Британском музее. Он был допущен для работы в музее на основании рекомендации покойного Айзена Митчелла, бывшего тогда генеральным секретарем Всеобщей Федерации профсоюзов. До сего дня в архиве читального зала Британского музея хранится рекомендация, которую А. Митчелл представил в дирекцию музея: «Я рад рекомендовать доктора права м-ра Джейкоба Ритчера из Санкт-Петербурга для пропуска в читальный зал. Цель моего друга — изучение земельного вопроса. Я уверен, что вы сможете удовлетворить эту просьбу. А. Г. Митчелл, 20 апреля 1902 года».

Просьба была удовлетворена, и В. И. Ленин под псевдонимом «Джейкоб Ритчер» получил разрешение, которое позволило ему пользоваться читальным залом музея в течение шести месяцев. В основном Владимир Ильич в это время занимался политической экономией, социологией и философией истории («Вопросы истории», 1960, № 4).

² «Пролетарская революция», 1924, № 3.

³ Н. К. Крупская. Воспоминания.

— ...Ваш вопрос напомнил мне одну беседу в далекие, далекие времена в Лондоне. Дело было вечером в субботу. Мы гуляли с приятелем, лет двадцать тому назад. На улицах было необыкновенно оживленно. Торговцы расположились везде на улицах, освещая свои товары небольшими металлическими трубочками с нефтью или чем-то подобным. Огоньки были очень красивы. Движение на улицах прямо-таки необыкновенное. Все покупали или продавали...

Мой приятель был «экономист» и принялся сейчас же выкладывать свою премудрость: вот, дескать, за этой необыкновенной экономической деятельностью должно следовать стремление к политической силе. Я посмеивался над таким пониманием Маркса. Обилие мелких торговцев и их оживленной деятельностью несколько еще не свидетельствует об экономической большой силе класса, от которого можно и должно заключить к «политической силе». Вероятно, Лондон сложился в всемирную силу торговли, и экономическую и политическую, путем немного более сложным, чем представлял себе мой собеседник, и уличные торговцы в Лондоне, несмотря на замечательное их оживление, от «политической» силы и даже от стремления к ней были довольно далеки.

И Ленин, опираясь на живой образ, сохранившийся в его памяти, отвечает зарубежному публицисту:

— Я боюсь, что ваш вопрос, почему это «нэпман» (т.е. уличный торговец? мелкий торгаш?) не обнаруживает у нас «признаков стремления быть политической силой», вызовет у нас улыбку, и мы ответим на него: по той же причине, по которой толпа на улицах Лондона, которая вся покупала и продавала на улицах по субботам, не обнаруживала в Англии «признаков стремления к политической силе».

В. И. Ленин. Сочинения. Издание второе. Том XXVII.

Но Ленин знакомится с рабочим бытом Лондона не только на улицах пролетарских кварталов. Он посещает рабочие собрания и потом рассказывает Надежде Константиновне об срачах-пролетарях:

— «Из них социализм так и прет! Докладчик пошлости разводит, а выступит рабочий, — сразу быка за рога берет, самую суть капиталистического строя вскрывает».

Н. К. Крупская. Воспоминания.

Весной 1903 года Ленин пишет Плеханову из Лондона:

— Я засел теперь за популярную брошюру для крестьян о нашей аграрной программе. Мне очень хочется разъяснить нашу идею о классовой борьбе в деревне на конкретных данных о четырех слоях деревенского населения (помещики, крестьянская буржуазия, среднее крестьянство и полупролетарии вместе с пролетариями)... Из Парижа я вывез убеждение, что такой брошюрой можно рассеять недоумения насчет отрезков...

«Ленинский сборник» IV.

В марте Ленин заканчивает брошюру «К деревенской бедноте». Многие ее страницы, быть может, опираются на впечатления, накопленные автором в русской деревне Поволжья и Сибири конца прошлого столетия.

ЖЕНЕВА (1903)

В конце апреля 1903 года из Лондона в Женеву переносится издание «Искры». Туда и пересезжает ее редактор. Приведем в начале этого раздела некоторые из многочисленных высказываний Владимира Ильича о его работе в «Искре» за 1900—1903 годы. Во второй половине января 1903 года Ленин пишет Ф. В. Ленгнику:

— Я знаю из фактов, что люди деятельные умели «связывать» «Искру» (эту архининтергентскую, по мнению плохоньких интеллигентов, «Искру») с

массой даже таких отсталых, мало развитых рабочих, как рабочие подмосковных промышленных губерний. Я знал рабочих, которые сами распространяли среди массы (тамошней) «Искру» и говорили только, что ее мало. Я слышал совсем недавно рассказ «солдата с поля битвы», как в одном из таких фабричных захолустий центра России «Искру» читают сразу во многих кружках, на собраниях по 10—15 человек, причем предварительно комитет и подкомитеты сами читают каждый номер, намечая сообщать, как именно каждую статью использовать в агитационном сообщении...

...современный читатель, не краснея, называет себя «искряком» на том основании, что он в «Искру» жалобы пишет. И ему нисколько не совестно за то, что в «Искре» на 99/100 все же 3½-человека пишут. И ему не надо даже сожалеть, что прекратить «Искру» нельзя, что двухнедельный выход 1½—2 листов требует-таки хлопот.

«Молодая гвардия», 1924, № 2—3.

В октябре 1903 года Владимир Ильич сообщает М. Н. Лядову:

— ...привожу маленькую статистику: в 45 номерах шестерочной «Искры» из статей и фельетонов написано Мартовым 39, мной 32, Плехановым 24, Старовером 8, Засулич 6 и П. Б. Аксельродом 4. Это за три года! Ни один № не был составлен (в редакционно-техническом смысле) кем-либо кроме Мартова или меня...

«Ленинский сборник» VII. М. 1928.

Мы уже обращались к ленинским поправкам и вставкам к написанной весной 1917 года статье Н. К. Крупской «Страничка из истории Российской социал-демократической рабочей партии». Ряд из них посвящен и периоду 1901—1903 годов. Н. К. Крупская писала, что «тогдашние ленинцы повели непримиримую борьбу» против «экономизма». Владимир Ильич слово «ленинцы» заменяет словом «искровцы».

«О значении «Искры» говорить не приходится»,— писала Н. К. Крупская. Владимир Ильич добавляет:

— «Искра» создала Российскую социал-демократическую рабочую партию.

«Записки Института Ленина». II. М. 1927.

Но вернемся в Женеву весны 1903 года. Одна из старейших большевичек П. И. Кулябко, жившая тогда там, вспоминает:

— ...Я встретила с Владимиром Ильичем весной 1903 года, когда редакция «Искры» переехала из Лондона в Женеву. Я тогда давала урок в одной семье, которая жила за городом. Однажды я возвращалась пешком, вижу — впереди Владимир Ильич быстро переходит через улицу, всматривается в какой-то дом, потом так же быстро переходит обратно... Оказывается, Владимир Ильич ищет себе квартиру. Я предложила ему помочь, и мы немного походили вместе. Дорога была очень красивая, и Владимир Ильич все время восхищался видами. На мой вопрос, доволен ли он, что приехал в Швейцарию, он ответил: «Нет, не очень. Природа — вот это хорошо, мы с Надеждой Константиновной большие любители прогулок, а сама Женева ничем не привлекательна — просто большая деревня». Позже, уже после съезда, Владимир Ильич рассказывал, что на переезде редакции в Женеву настаивал Г. В. Плеханов, чтобы иметь больше влияния на всю редакцию, а Владимир Ильич всячески боролся против этого, но пришлось уступить.

Прощаясь, я спросила, почему Владимир Ильич к нам не заглянет, он ответил, что сейчас страшно занят, перед съездом очень много работы. «Зачем же вы гратите время на поиски квартиры, это можно бы и без вас сделать?». «Нет, нет, это у меня в программе, вместо прогулок. Я уже три четверти работы сделал, зачем же другому человеку начинать сначала».

Наконец, в июне того же года я в первый раз была у Владимира Ильича на его новой квартире. Это был типичный двухэтажный швейцарский домик за го-

родом... Когда вошел Владимир Ильич, я сказала, что пришла с поручением по поводу его статьи, которую нужно набирать в типографии. — «Я знаю. знаю. две статьи нужно, одна будет сегодня, она у меня уже в чернильнице, а другой пока еще и в голове нет». Мне очень понравилось это картинное выражение: «статья в чернильнице», кстати, кажется, и чернильница, где эта статья пребывала, была здесь же в комнате.

П. И. Кулябко. Мои встречи с Владимиром Ильичем.

Еще за несколько недель до открытия II съезда Ленин обсуждает с Мартовым и Потресовым свое предложение о реорганизации работы редакции «Искры» и замены «шестерки» ее редакторов (Ленин, Плеханов, Мартов, Потресов, Аксельрод, Засулич) «тройкой» (Ленин, Плеханов, Мартов). В произнесенной на съезде 7 августа 1903 года речи о выборах редакции «Искры» Ленин говорит:

— Тов. Мартов сказал, что весь этот проект двух троек есть дело одного лица, одного члена редакции (именно мой проект), и что никто больше за него не ответственен. Я категорически протестую против этого утверждения и заявляю, что оно прямо неверно. Я напомню тов. Мартову, что за несколько недель до съезда я прямо заявил ему и еще одному члену редакции, что я буду требовать на съезде свободного выбора редакции. Я отказался от этого плана лишь потому, что сам тов. Мартов предложил мне вместо него более удобный план выбора двух троек. Я формулировал тогда этот план на бумаге и послал его прежде всего самому тов. Мартову, который вернул мне его с исправлениями, — вот он у меня, этот самый экземпляр, где исправления Мартова записаны красными чернилами... Таким образом, повторяю, выход в виде выбора двух троек был совершенно естественным выходом, который я и ввел в свой проект с ведома и согласия тов. Мартова.

«Второй очередной съезд РСДРП. Полный текст протоколов». Женева. 1904.

Позднее — в рассказе о II съезде РСДРП, к которому мы еще вернемся. — Ленин сообщает:

— Я лично, за несколько недель до съезда, заявил Староверу и Мартову, что потребую на съезде выборы редакции; я согласился на выбор 2-х троек, причем имелось в виду, что редакционная тройка либо кооптирует 7 (а то и больше) лиц, либо останется одна (последняя возможность была специально оговорена мною). Старовер прямо даже сказал, что тройка значит: Плеханов + Мартов + Ленин... Старая шестерка до того была недееспособна, что она ни разу за три года не собралась в полном составе — это невероятно, но это факт. Ни один из 45 номеров «Искры» не был составлен (в редакционно-техническом смысле слова) кем-либо кроме Мартова или Ленина... Аксельрод не работал вовсе (ноль статей в «Заре» и 3—4 во всех 45-ти №№ «Искры»). Засулич и Старовер ограничивались сотрудничеством и советом, никогда не делая чисто редакторской работы.

«Ленинский сборник» VI. М. 1927.

О том же 25 и 31 августа 1903 года Ленин пишет А. М. Калмыковой и А. Н. Потресову:

— ...старая семейная редакция (за 3 года ни разу — факт — не собравшаяся в числе 6) была невозможна... De facto, скажу еще, решающим, политически решающим (а не литературным) центром была эта тройка и всегда раньше, все эти 3 года, в 99 случаях из ста.

— Я говорил (во время нашего с Вами и с Ю. О.¹ разговора о тройке перед съездом), что больше всего считаю вредным для дела присутствие в ше-

¹ Ю. О. Мартовым.

стерке одного вечно отсутствующего члена¹, я возмущался и тогда еще, сугубо возмущался непомерно личным отношением Засулич (хотя Ю. О. и забыл это), я совершенно определенно сказал (когда Вы назвали вероятнейшую выборную тройку), что и я считаю ее самой вероятной и что я не вижу ничего худого в том, если бы даже она осталась и одна, не сойдясь ни на какой кооптации (хотя тогда и намечали мы одну из возможных кооптаций). Юлий Осипович забыл и это последнее мое заявление, которое я очень хорошо помню. Но спорить тут, конечно, бесполезно. Важно не это, важно то, что при такой тройке ни одна из тех мучительных, затяжных, безвыходных драк, с которых мы начали работу «Искры» в 1900 году и которые повторялись не раз, месяцами лишая нас работоспособности, — ни одна такая драка была бы невозможна. И вот почему я считаю эту тройку единственно деловой, единственно способной быть должностным учреждением, а не коллегией, основанной на семейственности и халатности, единственным настоящим центром, в котором, повторяю, каждый и всегда вносил бы и отстаивал свою партийную точку зрения, ни на волос больше и *irrespective*² от всего личного, от всяких соображений об обиде, об уходе etc, etc.

«Ленинский сборник» VI.

Летом 1903 года Ленин в Женеве встречается и беседует с делегатами II съезда РСДРП, конспиративно съезжающимися в Женеву. Один из них — М. Н. Лядов — воспроизводит эти предсъездовские беседы с Владимиром Ильичем о разногласиях в редакции «Искры»:

— Ильич жил за городом, на берегу Женевского озера. Я пошел к нему вместе с другим делегатом — питерским рабочим Шотманом... В это время нам повстречался велосипедист. Хотя он был одет по-европейски, но что-то выдавало его российское происхождение. На мой вопрос, где номер такой-то, он сразу соскочил с велосипеда и, протягивая нам руки, спросил: «Вы, наверное, ко мне? Я Ленин»... Как сейчас помню, как мы шли тогда вдоль берега Женевского озера, прогуляли, беседуя, часа два и Ильич внимательно растолковывал нам свою точку зрения... Тогда же мы узнали, что единоумыслие в редакции только кажущееся. По каждому почти вопросу Ильичу приходилось драться со стариками, с Плехановым, который никак не мог понять, что русские рабочие уже не те, с которыми ему пришлось иметь дело в восьмидесятых годах, когда он уехал из России... Его беда, что он вынужден был жить в маленьком сравнительно городишке, вроде Женевы, в котором нет настоящих рабочих. Вот почему Ильич всегда настаивал, чтобы редакция была сначала в Мюнхене, а когда это стало невозможно, то в Лондоне. Плеханов на это очень обижался: переезжать в Мюнхен ему было невозможно, а в Лондон он не хотел. Аксельрод тоже пустил глубокие корни в Цюрихе, где он имел собственное кефирное заведение, которое доставляло ему средства к жизни. Так что почти вся работа в редакции лежала на Ленине и Мартове. Только по самым принципиальным вопросам, как например выработка проекта программы, устраивались совещания, на которых обычно Ильичу приходилось резко сталкиваться с Плехановым по очень важным принципиальным вопросам. У Аксельрода своего мнения обычно не было, он всегда соглашался с Плехановым. Засулич всегда боялась обидеть Плеханова и тоже голосовала с ним. Так что большинство голосований проходило при делении редакции на две половины... Самое лучшее было бы, говорил Ленин, редакция из трех: Плеханова, Мартова и его — Ленина. Хотя с Плехановым приходится очень часто спорить, но Плеханов представляет собой большую теоретическую силу. Сейчас особенно важно, чтобы все приехавшие из России делегаты заразили Плеханова тем боевым предреволюционным энтузиазмом, которым так и дышит каждый из нас. Остальные члены редакции — просто обуза. Аксельрод за все

¹ П. В. Аксельрода.

² Независимо (лат.).

время написал пару статей. Засулич старается, работает, но она не решается никогда выступить против Плеханова. Потресов — барин, он мог бы писать, но очень ленив и пишет редко и очень мало интересуется редакционными делами. Поэтому будет очень хорошо, если составить редакцию из Плеханова, Мартова и Ленина. — это будет самая деловая и работоспособная редакция.

«Воспоминания о II съезде РСДРП». М. 1959.

В первой половине июля Ленин выезжает из Женевы в Брюссель — там на 30 июля 1903 года назначено открытие II съезда партии.

БРЮССЕЛЬ—ЛОНДОН (1903)

Семнадцатого июля в Брюсселе собрание делегатов съезда — членов зарубежной организации «Искры» — обсуждает вопрос о мандате от ее русской — подпольной — организации. Мандат этот передается Мартову. 14 октября 1903 года Ленин так рассказывает об этом на II съезде объединившей эмигрантов «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии»:

— ...объясню, каким образом я оказался единственным делегатом от Лиги, тогда как последняя выбрала двух. Оказалось, что от русской организации «Искры», которая также должна была прислать двух делегатов, ни один не приехал на съезд. Тогда перед началом съезда, на состоявшемся собрании искровцев решено было, чтобы один из 2-х выбранных Лигой делегатов отказался бы от своего мандата, передав его другому делегату, а сам явился бы делегатом от организации «Искры», взяв себе два ее мандата, с тем чтобы, в случае приезда из России избранного делегата, он передал ему один из 2-х мандатов организации «Искры». И мне и Мартову, естественно, хотелось быть делегатом от «Искры», ввиду незначительности той роли, которую играла Лига. Спор этот мы решили путем метания жребия.

«Протоколы 2-го очередного съезда Заграничной лиги русской революционной социал-демократии». Женева. 1903.

В 2 часа 55 минут дня 17(30) июля 1903 года в Брюсселе открывается съезд, идейной и организационной подготовке которого Ленин отдал столько сил. Крупская вспоминает:

— Как мечтал об этом съезде Владимир Ильич! всю жизнь — до самого конца — он придавал партийным съездам исключительно большое значение; он считал, что партийный съезд — это высшая инстанция, на съезде должно быть отброшено все личное, ничто не должно быть затушевано, все сказано открыто. К партийным съездам Ильич всегда особенно тщательно готовился, особенно заботливо обдумывал к ним свои речи.

Так же страстно, как Ильич, ждал съезда и Плеханов... Большое окно мучного склада около импровизированной трибуны было завешено красной материей. Все были взволнованы. Торжественно звучала речь Плеханова, в ней слышался неподдельный пафос. И как могло быть иначе!

Н. К. Крупская. Воспоминания.

С момента открытия съезда Владимир Ильич пунктуально — с часами в руках! — ведет его дневник. Приведем несколько наиболее характерных ленинских записей:

— 2 ч. 55 м. Открытие Плехановым съезда, по поручению ОК Росс. СДРП (от имени бывшей группы «Освобождение труда»)...

3 ч. выбор бюро. Большинство за открытый выбор...

Списки: 1. Плеханов
Ленин 34 голоса...

2 председателя — по запискам (Ленин + Игнат)...

31 июля. 2-ое заседание.

9 ч. 30 м. открыто.

Ленин — ответ Бунду...

9-ое заседание...

Плеханов 10 ч. 40 м.

...Ленин не говорил о философских основаниях теории, а полемизировал против «экономистов» (бацилла)...

(насчет второго повешения Исуca).

Даже и в этой фразе (Ленина) нет никакой ереси.

Акимов

Взгляд Ленина сквозит во всей программе, в каждой строке и его книги и программы.

«Совершенно резко» расходится мысль Ленина с Плехановым...

12.35—12.45 Ленин и его пункты.

«Ленинский сборник» VI.

Избранный вместе с Лениным в бюро II съезда «Игнат» — это П. А. Красиков, с которым Владимир Ильич подружился еще в Красноярске весной 1897 года. Ленинское предложение, принятое вопреки мартовскому, предполагало участие в голосованиях лишь делегатов с решающим, а не совещательным голосом. «Второе повешение Исуca», упомянутое в ленинских записях, конспектирует саркастическое замечание Плеханова, заявившего, что нападки «экономиста» Мартынова на «Что делать?» напоминают «одного цензора, который говорил: «Дайте мне «Отче наш» и позвольте мне вырвать оттуда одну фразу — и я докажу вам, что его автора следовало бы повесить».

Под словами «Ленин и его пункты» имеется в виду речь Владимира Ильича о Программе партии, произнесенная им 22 июля (4 августа) и развивающая основные идеи книги «Что делать?».

Бельгийская полиция всячески преследует «русских анархистов», за которых царская охранка выдает делегатов съезда. В конце июля вместе с другими делегатами Ленин переезжает из Брюсселя в Лондон. М. Н. Лядов вспоминает о беседах с Владимиром Ильичем во время этой поездки:

— Мне пришлось ехать с Владимиром Ильичем... Эти полтора-два дня, проведенные вместе с Ильичем, навсегда остались у меня в памяти. Ильич был особенно откровенен с нами. Он подробно рассказал обо всем, что происходило в редакции «Искры», обо всех конфликтах внутри редакции.

Ильич много говорил также и о том, как, избавившись от оппортунистических элементов, вроде «экономистов» и бундовцев, мы создадим настоящую централизованную партию. Мы не должны гнаться за количеством членов партии. Она должна стать настоящей боевой, единомыслящей, чтобы каждый член партии отвечал за всю партию, а партия в целом могла отвечать за каждого члена партии. Ильич успел уже тщательно изучить всех делегатов съезда. И, вспоминая данные им характеристики, я вскоре убедился, что он дал уже тогда довольно правильную характеристику, выделив будущих своих союзников и будущих противников...

В таких разговорах незаметно прошло время, и мы оказались уже в английском порту. Мы сели на отходящий в Лондон поезд и через несколько часов уже въезжали в английскую столицу... Ильич чувствовал себя здесь совсем как дома. Он повел нас всех к старому лондонскому товарищу — Алексееву. Он снимал комнату в доме, расположенном на маленьком сквере. Ильич уверенно постучал привешенным к входной двери молотком три раза. Спустившийся с третьего этажа Алексеев приветствовал нас и потащил к себе в комнату.

«Воспоминания о II съезде РСДРП».

На тридцати семи заседаниях II съезда Ленин выступал с докладами, речами, предложениями, справками и репликами около ста сорока раз. Лишь пятьдесят из его выступлений на съезде включены в Полное собрание сочинений. Некоторые из не вошедших в него протокольных записей, при всей их порой предельной краткости, имеют существенное значение. Все они формулируют ленинские политические позиции по ряду вопросов или свидетельствуют о тех или иных эпизодах съездовской борьбы.

В протоколе девятого заседания 22 июля (4 августа) записана своеобразная даже не реплика, а «рemarka», живо характеризующая отношения между Лениным и Плехановым в дни работы съезда. Запись речи Плеханова, отвечавшего одному из лидеров «экономистов» Акимову (Махновцу), гласит:

— У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Тов. Акимов в этом отношении похож на Наполеона, — он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной. (Тов. Ленин, смеясь, качает отрицательно головой).

Четвертого августа в одном из своих выступлений Ленин указывает:

— ...контроль за партийной литературой должен быть.

На вопрос Акимова: «Значит ли это, что у нас будет предварительная цензура?» — Владимир Ильич иронически отвечает:

— Если я слежу за английской литературой, значит ли это, что я веду ей предварительную цензуру?

«Второй очередной съезд РСДРП».

Но Ленин не только выступает на заседаниях съезда, он беседует с делегатами в кулуарах. Об одной из подобных бесед Владимир Ильич вспоминает в книге «Шаг вперед, два шага назад»:

— Не могу не вспомнить по этому поводу одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов «центра». «Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде!» — жаловался он мне. — «Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика, это нетоварищеское отношение!..» «Какая прекрасная вещь — наш съезд!» — отвечал я ему. — «Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед! — вот это я понимаю. Это — жизнь. Это — не то, что бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить...»

Товарищ из «центра» смотрел на меня недоумевающими глазами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках.

Н. Ленин. Шаг вперед, два шага назад.

— В этой цитате весь Ильич, — замечает в своих воспоминаниях Н. К. Крупская.

О своей идейно-организационной позиции на съезде Ленин пишет в сентябре 1903 года Потресову. В последний раз пытается он преодолеть раскол партии личным воздействием на меньшевистских лидеров:

— ...я спрашиваю себя: из-за чего же, в самом деле, мы разойдемся так на всю жизнь врагами? Я перебираю все события и впечатления съезда, я сознаю, что часто поступал и действовал в страшном раздражении, «бешено», я охотно готов признать пред кем угодно эту **свою вину**, — если следует назвать

виной то, что естественно вызвано было атмосферой, реакцией, репликой, борьбой etc...

Конечно, обидно не могло не быть уже то, что пришлось остаться в меньшинстве, но я категорически протестую против мысли о том, чтобы мы «пятнали» кого-либо, чтобы мы хотели оскорбить или унижить кого-либо. Ничего подобного. Мы политически (и организационно) разошлись с Мартовым. — как расходились с ним десятки раз. Будучи побежден на вопросе о § 1 устава, я не мог не стремиться со всей энергией к реваншу на том, что у меня (и у съезда) оставалось. Я не мог не стремиться, с одной стороны, к строго-искровскому ЦК, — с другой стороны, к редакционной тройке, устраняющей самую почву наших старых, безвыходных драк, соединяющей людей, из коих каждый имеет свою политическую линию, из коих каждый решает и будет решать всегда «не взирая на лица», а по своему крайнему убеждению

«Ленинский сборник» IV.

В первой половине сентября 1903 года Ленин пишет «Рассказ о II съезде РСДРП». «Рассказ» предваряет такая вступительная заметка его автора:

— Этот рассказ назначен только для личных знакомых, и потому чтение его без согласия автора (Ленина) **равно чтению чужого письма...**

Из обширного «Рассказа» мы опять-таки извлекаем только фрагменты, относящиеся непосредственно к Владимиру Ильичу:

— Довольно важным актом в самом начале съезда был выбор бюро или президиума. Мартов стоял за выбор 9 лиц, которые бы на каждое заседание выбирали по 3 в бюро, причем в состав этих 9-ти он вводил даже бундиста. Я стоял за выбор только трех на весь съезд, и притом трех для «держания в строгости». Выбраны были: Плеханов, я и товарищ Т. ...Разногласие между мною и Мартовым по вопросу о бюро (разногласие, характерное с точки зрения всего дальнейшего) не повело, однако, ни к какому расколу или конфликту: дело уладилось как-то мирно, само собою, «по-семейному», как улаживались большую часть вообще дела в организации «Искры» и в редакции «Искры»...

Пункт 1-ый устава определяет понятие члена партии. В моем проекте это определение было таково: «Членом Российской социал-демократической рабочей партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций». Мартов же вместо подчеркнутых слов предлагал сказать: работой под контролем и руководством одной из партийных организаций. За мою формулировку стал Плеханов, за мартовскую — остальные члены редакции (за них говорил на съезде Аксельрод). Мы доказывали, что необходимо сузить понятие члена партии для отделения работающих от болтающих, для устранения организационного хаоса, для устранения такого безобразия и такой нелепости, чтобы могли быть организации, состоящие из членов партии, но не являющиеся партийными организациями, и т. д.

«Ленинский сборник» VI.

Итоговое описание хода борьбы между идейно возглавленными им большевиками и меньшевиками-мартовцами на II съезде партии Ленин дает в книге «Шаг вперед, два шага назад»:

— Бросая общий взгляд на развитие нашего партийного кризиса, мы легко увидим, что основной состав обеих борющихся сторон все время был, за малыми исключениями, один и тот же. Это была борьба революционного и оппортунистического крыла нашей партии... Перечислим главные стадии, явственно отличающиеся одна от другой: 1) Спор о § 1 устава. Чисто идейная борьба об основных

принципах организации. Мы с Плехановым в меньшинстве... 2) Раскол организации «Искры» по вопросу о списках кандидатов в ЦК... Мы с Плехановым завоевываем большинство (девять против семи)... 3) Продолжение споров о деталях устава. Мартова опять спасают оппортунисты. Мы опять в меньшинстве и отстаиваем права меньшинства в центрах. 4) Семерка крайних оппортунистов уходит со съезда. Мы оказываемся в большинстве и побеждаем коалицию (искровского меньшинства, «болота» и антиискровцев) на выборах.

Н. Л е н и н. Шаг вперед, два шага назад.

* * *

В 1918 году, еще при жизни Владимира Ильича, М. С. Ольминский писал: «...Наша партия неотделима от т. Ленина, как, в свою очередь, он неотделим от партии. И познать, изучить т. Ленина, как литературного и политического деятеля, это значит — в единой личности познать и изучить колоссальный революционный пролетарский коллектив». Драгоценные автобиографические страницы Владимира Ильича — составная часть истории Коммунистической партии, созданной Лениным шестьдесят лет тому назад.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Е. ГНЕДИН

★

НА ЗАПАДЕ — ПЕРЕМЕНЫ

*Новые черты стачечной борьбы в странах
«Общего рынка»*

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Стачка, забастовка... Эти слова вызывают в памяти страницы горьковской «Матери», кинокадры эйзенштейновской «Стачки», «Арсенала» Довженко: неподвижные, мертвые станки в цехах, толпа в огромном заводском дворе, кольцо карателей и расправа с рабочими...

Современные стачки в Западной Европе являют другую картину. И все же они напоминают события, давно ставшие для нас частью далекого исторического прошлого.

Конечно, аналогия с прошлым и соблазнительна и опасна, она может привести к ложным выводам, если настаивать на сходстве или подчеркивать одни контрасты. Произошли глубокие, необратимые изменения в положении рабочего класса в Европе и в его организации, изменились и условия жизни рабочих, и условия их борьбы за свои интересы.

Но порой «новое» и даже подлинная новизна есть лишь проявление в новых условиях давним — давно вскрытых общих закономерностей. Поэтому интересно сопоставить некоторые современные события с прошлым, памятуя слова Ленина, сказанные по поводу характера мировой войны: «Чистых» явлений ни в природе, ни в обществе нет и быть не может — об этом учит именно диалектика Маркса, показывающая нам, что самое понятие чистоты есть некоторая узость, однобокость человеческого познания, не охватывающего предмет до конца во всей его сложности».

«Чистых» явлений в обществе нет, в частности, потому, что прошлое переплетается с настоящим, особенно с общим.

Аналогии и контрасты между прошлым и настоящим обнаруживаются, например, при сопоставлении стачки французских шахтеров в апреле 1963 года с забастовкой французских шахтеров, описанной Золя в романе «Жерминаль».

Сто лет назад забастовка французских шахтеров начиналась так: «Слышался, подобный раскатам грома, гул голосов, грозно нависший над недвижной толпой... Это был голодный бунт из-за простоя в работе и штрафов. Им и теперь нечего есть, что же с ними будет, если еще снизят плату?.. Вечером в кабачке «Авантаж» решено было начать забастовку».

Об этом решении узнали хозяева.

Директор Энбо... признал, что «годы благополучия избаловали рабочих... А теперь им, разумеется, неохота возвращаться к прежней жалкой жизни...» Господин Энбо жаловался: «Нам самим тоже туго приходится... Заводы закрываются один за другим, и чертовски трудно сбывать накопившиеся запасы угля. А рабочие этого не хотят понять»

Когда рабочие-делегаты явились к директору, «слуга сперва попросил их подождать и запер дверь у них перед носом. Затем он вернулся, проводил рабочих в гостиную... Наконец появился господин Энбо. Он заговорил первый — Бунт, тебе кажется... — Он спохватился и добавил холодно и вежливо: — Садитесь, я рад буду с вами погово-

речь...» Старый забойщик заговорил о всеобщей нищете, о тяжелой работе, о скотской жизни, о женах и детях, которым нечего есть. «Неужели Компания хочет окончательно погубить рабочих?»

Аргументы директора: «Компания — спасение для рабочих... Я отлично вижу, что вас будто подменили... вас завербовывают в этот пресловутый Интернационал, в эту армию разбойников, которые только и мечтают о разрушении общества... Правление не примет ваши условия... забастовка — несчастье для всех. Недели не пройдет, как вы станете умирать с голоду. Что вы тогда будете делать?»

Во второй половине XX века забастовка французских шахтеров началась после того, как управление национализированной угольной промышленностью отвергло требования профсоюзов, а правительство угрожало реквизицией шахт, если будет объявлена стачка.

Очевидец событий писал в газете «Либерасьон» от 1 марта 1963 года: «В моем представлении 130 000 шахтеров Севера и Па-де-Кале — это рабочие с высокими заработками, аристократы опасной профессии и социальной борьбы, они первые у отбойного молотка и первые у телевизионного экрана; эти люди прокладывают новые пути в профессиональном движении, которое добивается бесплатной медицинской помощи и месячного отпуска. А они говорят, что стали животными, что их шахтерская гордость исчезает, как вода в песке, что внизу, в забое, перестали уважать человека, что у них ничтожный заработок... Профессия деградирует...»

Когда делегаты профсоюзов явились в министерство промышленности, чтобы изложить свои требования, то, по сообщению газет, дежурный чиновник сперва предложил им подождать в бистро напротив министерства. Затем он вернулся и пригласил их в кабинет министра. Министр принял рабочих делегатов «холодно и не очень вежливо» (позднее министр опровергал сообщения, что он не предложил делегатам сесть).

Аргументы министра: пора сказать представителям шахтеров, что он ничего не может для них сделать. Угрожает инфляция, правительство сможет рассмотреть вопрос о заработной плате только через полгода... В случае забастовки правительство объявит рабочих мобилизованными — на коксовых заводах с 1 марта, а на шахтах с 4 марта.

Сто лет назад рабочих связывали со страной непрочные нити: однажды прибыли деньги, собранные вне Монсу, где происходила стачка, единовременную помощь оказала секция Первого Интернационала.

Шахтеров пугала неведомая сила, стоявшая за дирекцией шахт: господин Энбо сказал: «О, раз вы мне не доверяете, дело усложняется. Вам придется обратиться туда». Шахтеры поняли: он говорил о «высшей инстанции», находившейся в Париже. «Раскрывалась какая-то наводящая страх даль, а за нею недоступная, таинственная страна, где царит неведомое божество, восседающее в своем святилище».

Во второй половине XX века собеседник шахтерских делегатов, министр промышленности, тоже заявил «не очень вежливо», что несговорчивость рабочих «осложняет дело», и сослался на решение «высшей инстанции» объявить фактически военное положение в районе стачки.

Однако в 1963 году просвещенные рабочие не испытывали пиетета перед «высшей инстанцией». Шахтеры противопоставили всевластному личному режиму де Голля свою сплоченную организацию; стачкой шахтеров руководили совместно все три профсоюзных центра, существующих во Франции.

Государственно-монополистическая компания, которой подчинены шахты, не обладала преимуществами «неведомого божества», наводящего страх на рабочих, подобно акционерной компании сто лет назад. Но современные руководители угольной промышленности в своей тактике недалеко ушли от дирекции частнокапиталистической компании.

В прошлом столетии господин Энбо исходил из того, что компания, на предприятиях которой занято десять тысяч шахтеров, не очень пострадает из-за стачки, потому что склады завалены углем. Точно так же, очевидно, рассуждал современный господин Энбо, которому поручено вести дела компании, на предприятиях которой занято 130 тысяч шахтеров. Конечно, генерал де Голль хорошо помнил, что французская угольная промышленность располагает огромными запасами угля на складах.

Изменились масштабы и техника управления промышленностью, совершенно изменилась обстановка в мире, а мотивация поступков, тактические приемы капиталистического деятеля, возглавляющего государственно-монополистическое государство, поразительно напоминают психологию и повадки капиталистического предпринимателя на заре образования монополий: то же циничное использование конъюнктуры (запасов угля хватит), та же чванливо-торгашеская, нарочитая медлительность, когда стачка началась, ставка на истощение сил рабочих. (Вся крупнобуржуазная печать, как бы повторяя доводы господина Энбо, утверждала, что шахтеры не продержатся и недели.)

Все эти расчеты оказались в 1963 году ошибочными, и прежде всего неверным оказался расчет французского правительства на то, что удастся изолировать шахтеров от страны, запугать их и, если понадобится, спровоцировать столкновение с армией.

Если французский премьер Помпиду, по указанию де Голля проводивший эту политику, забыл роман Золя, то теперь многие сцены могли ожить в его памяти. То была бы ассоциация по противоположности. О сцене расправы с лавочником в Монсу, закрывшим кредит голодным рабочим, могли напомнить хотя бы такие сообщения из района лотарингских рудников: «Булочник нас заверил, что он откроет кредит забастовщикам, торговец предметами хозяйственного обихода сообщил, что согласно указаниям его профсоюза он предоставит отсрочку должникам...» Золя описал разрушение шахт в Монсу; теперь газеты сообщали, что в районе Севера и Па-де-Кале, где бастовало 30 тысяч человек, в начале второй недели забастовки в шахты спустилось с разрешения стачечного комитета 326 рабочих, чтобы позаботиться о технике безопасности, а в начале третьей недели стачки 686 человек работали, чтобы обеспечить вентиляцию и выкачку воды. К удивлению восседавшего в Елисейском дворце господина Энбо, стачка не привела «к анархии» и повода для вмешательства войск не было.

Государственно-монополистический капитал попытался пустить в ход еще одно испытанное в прошлом столетии средство борьбы с забастовкой: правительство хотело использовать в качестве штрейкбрехеров иностранных рабочих. Но эта затея провалилась во Франции в марте 1963 года, точно так же как она провалилась в мае того же года в Западной Германии во время забастовки металлстов.

В прошлом веке в Монсу удалось найти штрейкбрехеров, привести их в район стачки, спровоцировать столкновение с войсками, приведшее к стрельбе по толпе шахтеров. Компания стала полновластным хозяином над дезорганизованными шахтерами, рабочие спустились во взорванные шахты.

Совсем иначе сложилось дело в 1963 году. На тридцать четвертый день стачки, после длившегося восемнадцать часов решающего тура переговоров между дирекцией национализированной угольной промышленности и профсоюзами, было объявлено собранным на улице журналистам, репортерам радиовещания и операторам телевидения, что подписано соглашение, знаменующее большой успех рабочих.

Нет, это не «Жерминаль» Золя!

Правительство французских монополий просчиталось, начав спор с шахтерами, потому что не ждало, что рабочие проявят такую высокую организованность, и не предполагало, что население страны окажет столь широкую поддержку забастовке. Однако непонимание новых черт стачечного движения в Западной Европе свойственно не только архаично мыслящему генералу де Голлю и его премьер-министру — такое непонимание обнаруживают деятели разных политических лагерей не только в Европе, но и вне ее. Тем не менее новые черты стачечного движения в Западной Европе — реальность.

История изобретательна, и, сохраняя глубокую, скрытую связь между прошлым и настоящим, она находит для ее воплощения новые формы человеческих и общественных отношений. Меняется среда, в которой разыгрываются события. Наряду с традиционными героями появляются новые действующие лица. Происходит эволюция знакомых персонажей. Так, например, привлекательные, даже трогательные, но пассивные герои из рабочей среды в фильмах итальянского неореализма — в живой действительности превращаются в более суровых, но активных героев горьковских произведений. Эта эволюция еще не отразилась в искусстве. Между тем стачечное движение в Западной Европе дает сегодня материал не только для политических выводов, но и для художественного обобщения.

НАПРЯЖЕНИЕ В «ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛЕ»

Через несколько дней после окончания забастовки шахтеров, 9 апреля 1963 года, газета коммунистической партии «Юманите» подвела выразительный итог мартовских боев: удалось добиться повышения зарплаты для 200 тысяч шахтеров, 350 тысяч железнодорожников, 116 тысяч рабочих газовой промышленности и закрепить право на четырехнедельную оплаченную неделю отпуска для 2,5 миллиона трудящихся.

Эти цифры сами по себе свидетельствуют о том, что стачечная борьба рабочих приносит повышение материального уровня жизни широким массам населения. Более того, как показала стачка французских шахтеров (и не только она одна), в стачечном движении принимают участие такие социальные прослойки, которые в прошлом обычно оставались в стороне: не только инженеры и техники, но и служащие, учителя, торговые служащие и даже университетские преподаватели. А победа итальянской компартии на парламентских выборах говорит о том, что эти слои населения все деятельнее поддерживают и политическую борьбу рабочего класса. Этому, несомненно, способствовали успехи происходивших ранее забастовок на Севере Италии.

В конце прошлого века, говоря о положении в экономически отсталой России, Ленин указывал, что «стачка открывает глаза рабочим не только на капиталистов, а также и на правительство и на законы». Теперь в странах государственно-монополистического капитализма стачки рабочих «открывают глаза на правительство и законы» союзникам рабочего класса.

По сути дела речь идет отнюдь не только о смежных с рабочим классом социально-экономических группах, а в известной мере о настроении так называемой «рабочей аристократии». Именно высокооплачиваемые рабочие в Западной Европе часто оказываются в конфликте с государственными органами, хозяйничающими в национализированных предприятиях (во Франции, Италии и ФРГ); социальные конфликты на европейских предприятиях мировых трестов сплошь да рядом затрагивают интересы высококвалифицированных рабочих, находящихся в привилегированном положении; да и против национальных монополий «рабочая аристократия» все чаще выступает единым фронтом с массой рабочих, как это случилось во время бурных и победоносных стачек в Милане и Турине летом и осенью 1962 года.

Пожалуй, впервые обширный статистический материал о новых явлениях в западноевропейском рабочем классе был получен в связи с всеобщей забастовкой в Бельгии в декабре 1960 года. Поэтому о ней надо сказать несколько слов.

В этой стачке, крупнейшей после войны и охватившей миллион рабочих, участвовали все прослойки рабочего класса, а также учителя и университетские преподаватели, мелкие служащие, а в Валлонии и большинство высокооплачиваемых служащих. (Только в Брюсселе хорошо оплачиваемые служащие саботировали стачку.)

Стачка возникла не на чисто экономической почве. Она была прежде всего протестом против намерения правительства с помощью чрезвычайного закона переложить на трудящихся бремя убытков от потери Конго и последствий вступления Бельгии в «Общий рынок»; крушение угольной промышленности наряду с другими факторами вызвало и движение за «структурные реформы» в отстающих отраслях промышленности. В этих условиях борьба за зарплату, хотя и имела большое значение, все же была лишь одной из задач. Это соответствовало интересам «рабочей аристократии». Поскольку ее материальный уровень довольно высок, «рабочая аристократия» добивается не столько повышения зарплаты, сколько устойчивой покупательной способности, стабильной занятости, защиты от возможных последствий кризиса вообще и в частности от потери колоний.

Любопытно, что и в Англии «рабочая аристократия» порой выступает чуть ли не в авангарде борьбы против наступления правительства на зарплату. Журнал «Нью Стэйтсмен» писал в августе 1961 года: «Наиболее бурно реагировали на мероприятия Селвина Ллойда «крахмальные воротнички», группы, которые по традиции всегда сдержанны и до сих пор были противниками боевых выступлений.— это учителя, чиновники, служащие местных государственных учреждений и аппарат национализированных огра-

слей промышленности. Они поистине возмущены тем, что правительство ударило прежде всего и беспощадно по государственному сектору».

Нетрудно заметить, что эта позиция служащих и части «рабочей аристократии» отражает и чисто сословные цеховые интересы, но безусловный факт, что эти слои отнеслись с живейшим сочувствием к борьбе против правительственных мероприятий, бюкших по заработной плате, чего ранее не было.

К той же группе новых явлений в общественной жизни Западной Европы относится позиция инженеров французской угольной промышленности во время всеобщей стачки шахтеров. С первых дней стачки газеты всех направлений — кто с сочувствием, а кто с нескрываемым раздражением — сообщали, что забастовщиков поддерживали инженерно-технические работники на предприятиях, а также крупные профессиональные организации инженеров и служащих. В Лотарингии члены двух профсоюзов инженеров и техников тотчас же объявили двадцатичетырехчасовую забастовку солидарности; в северных районах инженеры и техники единодушно отчислили двухдневный заработок. Это движение солидарности не прекращалось в течение всей стачки. Оно не было случайным и отражало общую позицию инженерно-технической интеллигенции в угольной промышленности Франции.

Еще в 1962 году во время нашумевшей подземной забастовки шахтеров в Деказвиле три профорганизации инженеров угольной промышленности постановили путем референдума «в случае возникновения серьезной угрозы профессии» созвать чрезвычайное собрание членов этих профсоюзов. Такое собрание состоялось в Дуэ незадолго до стачки шахтеров, в феврале 1963 года. На собрание прибыло более шестисот инженеров, они заседали одновременно в двух залах.

Когда разразилась забастовка шахтеров, во французской печати появилась информация об этом совещании инженеров-угольщиков; среди них царит сильное недовольство правительственной политикой прежде всего в угольной промышленности, но эти настроения имеют и неизбежную политическую окраску, потому что речь идет и об общих проблемах экономической политики, и о «серьезной угрозе профессии». В качестве иллюстрации приведем несколько характерных публичных выступлений инженеров накануне забастовки шахтеров.

Один из инженеров сказал: «Нас заставляют работать в условиях нехватки средств, в атмосфере психоза из-за убыточности шахт, и у нас возникает чувство вины, ибо наша специальность как-никак предполагает умение предвидеть будущее. На нас оказывают давление, предъявляя противоречивые требования: от нас требуют такого объема продукции, капиталовложений и себестоимости, которые не соответствуют положению, сложившемуся на рынке, и от нас требуют, чтобы мы свели баланс без убытка. Нас превращают в фанатиков борьбы за снижение себестоимости, между тем как в создавшихся условиях это понятие потеряло смысл. Можно ли увеличить производительность, если вас все чаще лишают квалифицированных рабочих... вследствие политики в области заработной платы? Как амортизировать капиталовложения, если заставляют перекладывать на производство потери от закрытия забоев?»

Инженер, прибывший с другого предприятия, развивал те же мысли и жаловался, что статут угольной промышленности не позволяет выйти за пределы угледобычи, создавать новые отрасли производства, например, производство пластмассы. Этот оратор выступил с далеко идущими предложениями общегосударственного масштаба: «Для того, чтобы открыть динамичные перспективы перед нашей профессией, необходимо привести в порядок поле деятельности угольной промышленности, распространить национализацию и на предприятия, перерабатывающие уголь... привлечь трудящихся к решению вопросов, руководствуясь нуждами населения района. Словом, у нас нет другого будущего, как экономика, находящаяся на службе у человека!»

Наконец молодой инженер воскликнул: «Хватит вести оборонительные бои, хватит работать без веры в будущее своей профессии!..» Как не вспомнить о жалобах рабочих-шахтеров на то, что их профессия «деградирует».

Из информации в печати не видно, был ли кто-либо из инженеров, выступавших на чрезвычайном собрании, членом коммунистической партии, не это интересует нас в данном случае. Важно то, что протест большей части инженерно-технических работников

против политики правительства монополий в основном совпадает с требованиями рабочих, а коммунистическая партия представляет интересы и тех и других, вернее: борясь за дело рабочего класса, она защищает и интересы других слоев трудящегося населения.

Конечно, проблемы и трудности, вызывающие недовольство рабочих и инженеров угольной промышленности, это специфические проблемы той отрасли западноевропейской промышленности, которая переживает кризис и перестраивается в условиях научно-технической революции: старые виды топлива вытесняются новыми видами — нефтью, газом и — в перспективе — атомным горючим. Кризис угольной промышленности — общеевропейская проблема; на этой почве возникают крупные разногласия внутри Европейского Экономического Сообщества, это арена борьбы между европейскими монополиями и мощным Левиафаном — международным нефтяным трестом, не так давно усилившим свое проникновение на заповедную территорию «Общего рынка». Тем более знаменательно, что на этой же почве в Западной Европе разыгрываются и острые социальные конфликты.

Однако сближение инженерно-технической интеллигенции с рабочим движением наблюдается повсеместно не только в отстающих отраслях промышленности, но и в тех, развитию которых техническая революция дала мощный толчок. На современном крупном предприятии самый технологический процесс таков, что — как это удачно сформулировал А. Б. Вебер в книге «Классовая структура общества в Западной Германии» — инженер и техник также стали частью того «совокупного рабочего», который создает прибавочную стоимость, присваиваемую монополистическим капиталом. Техническая эволюция ведет к стиранию граней между различными участниками производственного процесса, когда рабочие все чаще, подобно техникам, обслуживают не только «вещный поток», но и «поток информации».

Мы проиллюстрируем эти процессы на примере событий, разыгравшихся весной 1963 года в современной промышленной отрасли — гидроэнергетике на старинном французском предприятии в древнем университетском городе Гренобле.

В начале февраля 1963 года, примерно в те самые дни, когда в Дуэ собрались инженеры-угольщики, на улицах Гренобля произошла демонстрация протеста против действий главы предприятия «Нейрпик» Жоржа Глассера, расторгнувшего коллективный договор с рабочими предприятия.

Французский публицист Жак Дерожи писал, что новый генеральный директор «вызвал гнев целого города», возмущение «объединило рабочих, инженеров, студентов, университетских преподавателей». Наступление дирекции встретило решительный отпор всех трех профсоюзных организаций предприятия — Всеобщей конфедерации труда, христианского профсоюза и профсоюза инженеров. Как только конфликт принял открытый характер, на поддержку профсоюзов выступил университет города: семьдесят преподавателей во главе с деканом юридического факультета создали комитет солидарности с рабочими «Нейрпик».

Протест не был кратковременной вспышкой. В течение месяцев каждую неделю на заводе «Нейрпик» происходит двадцатичетырехчасовая забастовка. В течение всех этих месяцев интеллигенция Гренобля не прекращала компании солидарности. Уже в конце мая в университете состоялся коллоквиум при участии преподавателей юридического факультета, представителей Всеобщей конфедерации труда и католического профсоюза. Председательствовал декан факультета Горе. Тема коллоквиума — отсутствие демократии на предприятиях. «Патрон все еще считает себя абсолютным монархом», — воскликнул декан. «Каждый день, переступая порог завода, рабочие... оказываются во власти деспотии, где гражданские права уже не существуют», — констатировал профессор Олье.

Факты, давно известные на практике рабочим, университетские преподаватели открыли для себя в связи с тем, что они столкнулись, по выражению декана Горе, «с социальной агрессивней чуждых и безответственных групп». Действия представителя этих групп Жоржа Глассера и «вызвали гнев целого города».

Глассер — фигура весьма колоритная, это, можно сказать, не просто капиталистический деятель, а целая капиталистическая организация в одном лице. Глассер начинал карьеру в качестве государственного служащего, а после войны был директором в

управлении по репарациям при французском командовании в Германии; став директором авиационной фирмы, он слил ее с другой и стал уже директором крупной авиационно-электротехнической компании; он председатель-директор третьей в мире фирмы по производству электровозов «Алстом», правление которой находится в том же Гренобле; теперь он возглавил гидротехническое предприятие «Нейрпик», по прямому поручению крупных акционеров фирмы «Алстом», а в их числе брат бывшего министра финансов Баумгартена, фирма «Дассо», снабжающая армию реактивными самолетами, генеральный директор французского отделения американского банка Моргана и, наконец, штаб финансового капитала — «Банк де Пари э Пэи Ба». Кроме того, Глассер — председатель объединения французской электротехнической промышленности, председатель общества по исследованию производства ракетных двигателей. Имя Глассера называлось в числе кандидатов на пост министра финансов в правительстве де Голля. Таким образом, жители Гренобля «взбунтовались» против влиятельного члена мощной финансовой олигархии.

Надо сказать несколько слов о самом предприятии «Нейрпик». Старинная писчебумажная фабрика, эксплуатировавшая водопады в окрестностях Гренобля, превратилась в предприятие международного масштаба по строительству плотин и гидроэлектростанций во Франции, в Испании, в Мексике и других странах. До Жоржа Глассера дело возглавлял представитель «основателя фирмы», семейства, принадлежащего к гренобльской аристократии. Эта среда встретила в штыки нового генерального директора «чужака», потомка гугенотов, вздумавшего хозяйничать в католическом городке. Таков один — конечно, незначительный — ручеек, влившийся в общий поток протеста против действий Глассера.

В Гренобле находится мозговой трест мировой фирмы — ее научно-исследовательский и проектный институт. На гренобльском заводе «Нейрпик» занято 250 инженеров, 1000 техников, 120 служащих, 1650 рабочих, в большинстве высокой квалификации; в проектной организации работает: 320 инженеров, 280 техников, 160 рабочих и сотня коммерческих агентов. Таким образом, здесь инженерно-технический персонал равен по численности рабочим. Он решительно выступил против действий представителя финансовой олигархии и притом в основном потому, что Глассер, подготавливая почву для новых капиталовложений, пытался «навести экономию», сокращая ассигнования на проектные работы и сроки выполнения заказов за счет качества, что противоречило славной традиции виднейшего предприятия в области гидротехники. Как выразился Жак Дерожи, «высшие технические кадры... страдают от острого противоречия между присущей им благодаря их квалификации и их труду властью в области техники и той властью и правом принимать решения, которая принадлежит исключительно финансовым группам».

Однако и в этом социальном конфликте, к которому причастны самые различные общественные группы («чистых явлений в обществе не бывает»), противостоят две основные силы — рабочий класс и монополистический капитал. При этом значение конфликта выходит за местные рамки. Предыдущий директор предприятия, с 1951 года сопротивлявшийся требованиям рабочих, в 1962 году был вынужден подписать коллективный договор, который содержал некоторые уступки со стороны дирекции. Эти уступки — в особенности признание прав профсоюзов на самом предприятии — противоречили позиции общезападного объединения предпринимателей; уступки, сделанные гренобльским промышленником, противоречили и правительственной политике, это относится в первую очередь к проведенному на предприятии «Нейрпик» сокращению рабочего времени и снижению пенсионного возраста. Когда мощные финансовые группы решили вложить новые капиталы в это весьма перспективное предприятие, они решили под предлогом «оздоровления» фактически вполне благополучной фирмы развернуть наступление против интересов рабочих. Для этой цели и прибыл в Гренобль новый генеральный директор, крупнейший акционер компании.

Но реакция на планы монополий была такова, что создалась совершенно реальная общность интересов местных промышленников, не входящих в монополистические группы, инженеров и техников, защищающих свои профессиональные права и свою независимость, и рабочих, ведущих борьбу против наступления монополий как ради местных, так и во имя общеклассовых интересов. Так образовался единый антимонополистический поток.

Такой поток возникает из различных источников во многих европейских городах. Есть, вероятно, аналогия между условиями, сложившимися во французском университетском и промышленном центре Гренобле, и обстановкой в немецком промышленном центре и старинном университетском городе Мангейме; там в мае 1963 года муниципалитет с первых дней забастовки металлистов оказывал материальную помощь жертвам локаута, не являвшимся членами профсоюза, в том числе иностранным рабочим. Этот факт привлек даже внимание английской газеты «Таймс».

Иные предпосылки для антимонополистического движения сложились в западно-германском индустриальном центре — Дюссельдорфе, где также дало себя знать движение солидарности с металлистами. Здесь, очевидно, решающую роль сыграло то, что в Дюссельдорфе значительная группа населения (не менее 200 тысяч жителей), муниципальное хозяйство и большая часть торговой сети находятся в сфере влияния и производства одной монополии — концерна Маннесманна.

Сдвиги в западноевропейском рабочем классе и смежных социальных группах имеют большое практическое и важное принципиальное значение. Надо иметь в виду, что все правосоциалистические программы и социологические изыскания буржуазных авторов послевоенного времени построены на предпосылке, будто в современном обществе образовалось новое «среднее сословие», причем подразумевалось, что этот «промежуточный слой», охватывающий часть рабочих, служащих, часть чиновничества, инженеров, торговцев, является консервативным, «все более широким, все более расплывчатым общественным средним промежуточным полем», как писал, например, немецкий социал-демократический социолог Гейнц Клут.

На деле нынешнее среднее сословие в Западной Европе если и отличается новыми чертами, то в том смысле, что «традиционные» средние слои — мелкая буржуазия и крупное чиновничество — составляют теперь его малую часть, а большинство выросшего в своей численности среднего сословия принадлежит к социально-экономическим группам, испытывающим гнет монополий и тяготеющим к рабочему классу. Этот вывод подтверждается и опытом новейшего стачечного движения. «Промежуточное поле» вопреки предсказаниям буржуазных социологов оказалось весьма динамичным, в нем возникло высокое напряжение, вызванное усилением процессов поляризации в общественной жизни.

ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

В мае 1963 года два западногерманских деятеля, принадлежащих к различным политическим лагерям, должны были испытывать с одинаковой остротой, что происходящие события означают опасный поворот в их деятельности. Мы имеем в виду вице-канцлера Эрхарда, считающегося творцом «экономического чуда», и председателя западногерманского профсоюза металлистов Отто Бреннера, последние годы критиковавшего слева руководство социал-демократической партии. Стачка металлистов в Баден-Вюртемберге показала, что исчезают существенные предпосылки «экономического чуда», а именно: избыток рабочей силы в ФРГ, который шел на пользу экономической экспансии, и некоторая свобода маневрирования в вопросах зарплаты, которой располагали западногерманские монополисты. Это был удар по Эрхарду, только что выдвинутому в приемники Аденауэру. Но размах стачки превзошел также ожидания Отто Бреннера и других профсоюзных деятелей; несмотря на их оппозицию по отношению к капитулянтской программе правления социал-демократической партии, они отнюдь не были готовы вывести массы на арену политической борьбы. Таким образом, значение недавних стачечных боев в Западной Германии заключается в отличие от Франции не столько в новых формах самой борьбы, сколько в той новизне, которую они внесли в политическую жизнь ФРГ.

Ведь именно там публицисты нелиберальной школы и правые социалисты все последние годы доказывали, будто под воздействием «экономического чуда» западногерманское общество превратилось в какой-то студень, в котором происходит беспорядочное движение частиц чуть ли не наподобие броуновского движения атомов и молекул. Такое состояние общества исключало бы и возможность широкого стачечного движения. Этой теме посвящено большое число книг и статей, опубликованных в ФРГ после войны.

Приведем доводы одного из авторов капитального труда «Концентрация экономики», вышедшего в ФРГ в 1960 году. Западногерманский социолог исходил из того, что «согласно современной социологической теории всякому действию обязательно противостоит противодействие, и они ставят друг другу определенные границы...».

Объясняя, какие силы «ставят границы» стачечному движению в ФРГ, автор приводил такие доводы:

во-первых, имеются обязательства, зафиксированные в тарифных договорах, а также «молчаливо признанные обязательства соблюдать мир»;

во-вторых, прибегая к забастовке, «профсоюзы дадут повод для принудительного государственного третейского разбирательства»;

в-третьих, в силу переплетения отраслей промышленности в современном высокоиндустриализированном государстве борьба за зарплату затрагивает такие интересы, такие «уязвимые места»... что стачка «непрерывно приобретает политический характер» и вызывает реакцию правительства.

Иными словами, среди буржуазных экономистов существовало твердое убеждение, что в стране «экономического чуда» всякая попытка стачки будет либо сорвана монополиями при участии самих профсоюзных лидеров, взявших на себя «молчаливо признанное обязательство», либо будет запрещена правительством, либо, наконец, будет подавлена государственным аппаратом и с помощью политических репрессий.

Когда накануне 1 мая 1963 года началась стачка 130 тысяч рабочих-металлистов Баден-Вюртемберга, то монополии действительно пустили в ход те средства «противодействия», о которых писал в академическом плане ученый автор. Был объявлен локаут, и на пятый день забастовки концерны демонстративно уволили четыреста тысяч рабочих.

Своеобразие положения заключалось в том, что фронт борьбы расширился по инициативе союза предпринимателей. Об этом Отто Бреннер растерянно заговорил уже 3 мая 1963 года на пресс-конференции: «Забастовка, начатая профсоюзом, должна была остаться ограниченным и целенаправленным мероприятием, но разрослась в конфликт, по своему размаху не имеющий себе равного в германской социальной истории». А после окончания стачки, 28 мая, один из руководителей союза предпринимателей, Шлейерс, в статье, опубликованной в крупной капиталистической газете «Вельт», раскрыл карты обеих сторон.

Профсоюзы, указал Шлейерс, хотели организовать стачку только в «нескольких ключевых предприятиях», надеясь, что таким образом они вовлекут в борьбу «относительно небольшое число бастующих и этим облегчат положение профсоюзов». Когда предприниматели в ответ объявили локаут «во всем районе, на который распространяются коллективные договоры», они рассчитывали, что профсоюзы не выдержат финансового бремени, связанного с необходимостью платить пособия не ста тридцати тысячам бастующих, а четыреста тысячам человек.

Но, затеяв борьбу на истощение, современные господа энбо допустили в Западной Германии такую же ошибку, как и во Франции. Металлисты Западной Германии проявили не меньшую стойкость, нежели за месяц перед этим шахтеры во Франции. Недаром в Баден-Вюртемберге на рабочих митингах звучало крылатое слово: «Мы хотим говорить по-французски!» Обнаружились совсем иные формы франко-германской солидарности, нежели военный пакт Аденауэра и де Голля.

Каков характер стачки и каково значение ее исхода — видно хотя бы по материалам, опубликованным в немедленно созданной ежедневной газете «Стачечные известия». В первом номере газеты смысл и цель забастовки были сформулированы так:

«Позорное предложение (союза предпринимателей.— Е. Г.) продиктовано узколобым классовым эгоизмом. Его цель — спровоцировать самую сильную в мире профсоюзную организацию (? — Е. Г.).

Коллеги, мужчины и женщины!

Они недооценили вашу готовность к жертвам и ваше мужество. Единодушно и сплоченно мы вступаем в борьбу. Мы победим!»

На пятый день стачки профсоюз металлистов опубликовал свой ответ на локаут в виде объявления в газетах. В нем опровергались аргументы предпринимателей и, в частности, говорилось:

«Одна неделя локаута обойдется предпринимателям в большую сумму, чем затребованное нами повышение зарплаты в течение года. Они борются за власть. На это может быть дан только один ответ: «Спротивление!»

Подводя итоги стачки в последнем номере «Стачных известий», заместитель председателя профсоюза металлистов Верле писал: «Мы еще долго будем помнить, что металлопромышленники впервые за тридцать пять лет прибегли к оружию локаута, стремясь отвергнуть справедливые требования рабочих и нанести удар по профсоюзу металлистов. Эта попытка не удалась. Не будет замораживания зарплаты, не откладывается сокращение рабочего дня, не ослаблен профсоюз металлистов...»

Говоря о сроке в тридцать пять лет, Верле имел в виду локаут на машиностроительных заводах в 1928 году. Немецкие газеты вспоминали и другие даты. Так, «Франкфургер Рундschau» писала уже в самом начале стачки: «Первая за сорок лет большая стачка в Южной Германии протекала весьма дисциплинированно».

Но, пожалуй, с точки зрения исторической перспективы, самое важное, что впервые за тридцать лет, истекших после захвата власти гитлеровским фашизмом, уже не только коммунистический авангард, действующий в ФРГ нелегально, но легальные рабочие организации в капиталистической Германии вступили в открытое столкновение с монополиями и с правительством монополий и реваншистов.

Социальные конфликты, возникшие в ФРГ в 1963 году, еще не означают перелома в рабочем движении, но свидетельствуют о важных переменах в послевоенном развитии Западной Германии. «Это в какой-то мере неизбежный конец экономического чуда...» — писала еще до окончания майской стачки консервативная английская газета «Дейли телеграф энд морнинг пост».

Между тем в другой западноевропейской стране, в Италии, в которой не так давно также обнаружены признаки «экономического чуда», происходят стачечные бои гораздо более острого характера, чем в ФРГ.

ВПЕРВЫЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

По мнению буржуазных социологов, европейские филиалы мировых трестов (например, «Шелл», «Стандарт ойл»), а также гиганты машиностроения и автомобильной промышленности стали после войны подлинной цитаделью «модернизированного» капитализма. Эта легенда, быть может, еще не изжита, но от идиллических представлений мало что могло остаться, в частности, после великолепных стачек в Милане и Турине осенью 1962 года.

Для того, чтобы было яснее, в каких условиях происходит штурм крепостей монополистического капитала, приведем характеристику положения на крупном предприятии международного треста, опубликованную в прогрессивном, близком к международным профсоюзным центрам журнале «Кайе интернасьоно» в 1958 году.

Автор статьи Франсуа Тавер писал: «Дирекция предприятия не без основания считает, что атмосфера борьбы вредно отражается на ходе работы в цехах и на верфях... Дирекция испытывает все большую необходимость строить на доверии отношения с рабочими, занятыми на предприятии. Дело в том, что стоимость оборудования, с которым связан один рабочий, возрастает. По мере прогресса автоматизации стоимость той доли постоянного капитала, которая приходится на одного рабочего, выражается обычно во многих миллионах, а то и в десятках миллионов... Условие... успеха крупного предприятия заключается в том, чтобы каждый рабочий считал себя «доверенным лицом» дирекции... Предприятие стремится завоевать рабочего, связать его с одной из функций в работе множества колес, дабы он стал одним из этих колес...» Политика, направленная к достижению этих целей, строится на двух основных тактических приемах: с одной стороны, «крупное предприятие берет на себя буквально всю ответственность за жизнь послушного рабочего, а также мастера и инженера, и создает для него обстановку (верней, иллюзию.— Е. Г.) полной обеспеченности: занятости, обеспеченности на случай болезни, несчастного случая, старости»; с другой стороны, «дирекция старается, даже когда речь идет об одинаковых технических заданиях, установить раз-

личную оплату для отдельных рабочих». Это основная предпосылка для того, чтобы расколоть рабочих и иметь дело не с одним, а несколькими профсоюзами на одном предприятии. Весьма знаменательно, что именно это оружие постарались выбить из рук дирекции итальянские рабочие в Милане и Турине, бельгийские — в Льеже и французские — на ряде предприятий.

До последних стачек могло создаться впечатление, будто часть рабочих примирилась с пребыванием в «золотой клетке». Правда, порой и среди привилегированной группы вспыхивало недовольство; так, например, на французских заводах треста «Шелл» несколько лет назад пришлось отменить «премию за усердную службу» после того, как рабочие прозвали ее «премией раба».

Процессы, происходящие среди рабочих на самом предприятии, еще требуют специального анализа. Но кое-что следует сказать о роли молодежи. И в этом отношении начинает обнаруживаться просчет апологетов монополий. По их мысли, молодой рабочий на крупном предприятии с малых лет должен был находиться в сетях, раскинутых хозяевами. Место рождения — дом, предоставленный дирекцией; на новорожденного выдается пособие из кассы взаимопомощи, субсидируемой дирекцией; в детских садах дирекция устраивает елки, например, существует «елка дедушки Шелла (а «дедушка» безликое чудище — мировая монополия); в школу мальчик едет на автобусах дирекции, занимается спортом на площадках дирекции; а после школы он поступает на предприятие того же «добраго дяди» или «дедушки» и может рассчитывать на «премию раба»...

Но все дело в том, что рабочие не хотят быть рабами, хоть бы они и принадлежали к поколению, воспитанному при относительно благоприятной конъюнктуре. Любопытно, как характеризует настроение рабочей молодежи секретарь французского профсоюза металлургов «Форс Увриер» Антуан Лаваль. Лаваль не коммунист, но его слова можно расценивать как свидетельство человека, связанного с рабочим движением. Лаваль замечает, что у молодых рабочих «нет такого страха перед будущим, какой был у нас. Значительная часть риска теперь нейтрализуется законами и соглашениями, которых не было тридцать лет тому назад... Но они не меньше нас сознают свои права. Классовое сознание им всегда присуще... Они сознают различие между ними и буржуазией. Но им уже недостаточно удовлетворения насущных потребностей. Они революционеры другого типа, чем были мы». Они боятся одного — безработицы. «В этом притягательная сила профсоюза. Отсюда готовность бороться против неокapитализма».

Молодые рабочие нередко лучше, чем старшее поколение, разбираются в новых условиях классовой борьбы. «Они знают больше, чем мы знали в их возрасте. Они проявляют понимание экономических вопросов, какого не было у нас... Большинство из них поняло, что... именно они оплатили модернизацию заводов. Хотя они прагматики, все же нельзя сказать, что они будут менее упорны в борьбе с хозяевами... Предприятие становится основным участком профсоюзной борьбы».

Таков отзыв французского профсоюзного деятеля о рабочей молодежи, а вот выдержка из рассказа молодого итальянского рабочего — участника забастовки на заводе «Фиат». Он поступил на завод в 1959 году и некоторое время был пассивен. По его словам, пока он находился среди рабочих старшего поколения, его недовольство не находило выхода: «Все вокруг молчали». «Но в начале следующего года я оказался в цеху, где работала только молодежь... Мы не знали, что такое безработица и поражение в борьбе. И вот через несколько месяцев мы объявили забастовку. Мы воспротивились ускорению темпа конвейера, мы не соглашались больше на их систему премий, выдаваемых словно милостыня, так как неизвестно, за что они даны. Мы сказали: не могут быть свободными гражданами люди, с которыми пятьдесят часов в неделю обращаются, как с рабами».

Как не вспомнить речь французского профессора в Гренобле...

Туринская стачка была подлинным «восстанием в цитадели» современного монополистического капитала. На заводах «Фиат» почти бесперебойно функционировала та система «неокапиталистического патроната», которую мы выше вкратце охарактеризовали. Нынешний глава фирмы, Валетта, уже в 1962 году, презрительно обзывая других итальянских предпринимателей «ретроградами» и «троглодитами», хвастал, что

он — тот «умный патрон», который умеет полностью привязать рабочих к своей колеснице, предоставляя им повышенную зарплату и решительно изгоняя из предприятия профсоюзы, «не желающие сотрудничать». «Дух «Фиата», внедряемый с помощью 1600 охранников под командой трех полковников в отставке, торжествовал в течение девяти лет. Жарким летом 1962 года этот «дух» испарился...

Выступление рабочих «Фиата» было результатом длительной и организованной деятельности итальянского профсоюза рабочих металлургической промышленности, в котором решающую роль играют коммунисты. Руководитель туринской организации этого профсоюза после первых успехов летом 1962 года заявил: «Мы пожали плоды сопротивления, и только мы одни знаем, ценой каких усилий они нам достались». Трудность борьбы в Турине — по словам того же профсоюзного деятеля — заключается в том, что приходится иметь дело с «лучше всего вооруженными и самыми хитрыми во всей стране предпринимателями, которым удалось установить такой режим на фабрике, при котором рабочие оказались в полном и постоянном подчинении».

В этих условиях морально-политические последствия победы туринских рабочих столь же важны, как и ее материальные результаты. Очевидец стачки, французский публицист Мишель Боске так описал настроение рабочих: когда после третьего гудка кончились колебания отдельных групп рабочих и все рабочие туринского завода шарикоподшипников не вошли в заводские ворота, перед заводом собралось до двадцати тысяч человек. Рабочие воюли, свистели и плакали; забастовщики торжествовали, праздную коллективную победу над страхом. Сотни удостоверений «синдикатов «Фиат» были разорваны в клочки. С пяти часов утра и до часу ночи рабочие вместе с семьями и десятками тысяч туринцев ликовали... «Фиат»-гигант, символ «неокапитализма», перестал быть непобедимым, произошло возрождение пролетариата «Фиата».

Эта волнующая картина торжества рабочих у ворот гигантского завода могла бы найти достойное место в фильме, сделанном по методу Эйзенштейна и задуманном как антитеза к «Стачке»...

«Сплоченная забастовка рабочих монополии «Фиат» и их победа,— говорил товарищ Пальмиро Тольятти в своем докладе на X съезде итальянской компартии,— качественно новое явление, которое вносит значительные изменения в общую картину классовой борьбы».

Об этих изменениях говорилось и в победном коммюнике профсоюза рабочих-металлургов, опубликованном 18 февраля 1963 года: «Впервые в истории итальянского рабочего движения и впервые в истории капитализма мы добились коллективного договора, который дает право вести переговоры обо всех сторонах трудовых отношений профсоюзу, признанному в качестве единственно законного представителя рабочих на самом предприятии».

Тут есть элементы преувеличения. Тем не менее высокая оценка успеха стачечной борьбы в Италии имеет большое принципиальное значение, во-первых, потому, что она основывается на совершенно конкретных достижениях, во-вторых, потому, что успехи и методы итальянского стачечного движения приобретают все большее международное значение и оказывают непосредственное влияние на социальную борьбу в странах западноевропейского «Общего рынка».

Разумеется, существенно и обратное влияние, оказываемое на итальянское рабочее движение борьбой рабочих в других странах Западной Европы. Как бы то ни было, можно уловить явную перекличку между требованиями итальянских рабочих-металлургов в феврале 1963 года, французских рабочих на государственном предприятии «Рено» в январе того же года и бельгийских рабочих в том же месяце в Льеже на заводе англо-американского треста «Стандарт ойл».

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Взаимосвязь между отдельными проявлениями и методами стачечной борьбы в различных странах «Общего рынка» становится все явственнее и ошутимее. Это еще один весьма важный новый элемент в западноевропейском рабочем движении. «В За-

падной Европе,— сказал Тольятти в том же докладе на съезде итальянской компартии в декабре 1962 года,— мы особо чувствуем, что имеются задачи, требующие совместных усилий... Такой задачей в странах «Общего рынка» является координация экономического и политического движения рабочего класса в профсоюзной области и вне ее».

Конечно, важнейший исторический фактор, оказывающий огромное влияние на подъем рабочего движения в Западной Европе,— это победа социализма в СССР и ряде стран Европы и Азии. На стачечной борьбе в капиталистических странах все сильнее сказывается то, что мир вступил в эпоху перехода от капитализма к социализму.

Но и ограничиваясь анализом процессов, происходящих в самом западноевропейском движении — а такова задача этой статьи,— можно обнаружить о б щ у ю о с н о в у различных проявлений стачечной борьбы.

В самом деле, причина постоянных конфликтов в европейской угольной промышленности заключается в том, что европейский картель угля и стали и государственные монополии стремятся заставить рабочих оплачивать последствия упадка и стоимость перестройки угольной промышленности в условиях современной т е х н и ч е с к о й р е в о л ю ц и и (отсюда замораживание зарплаты, закрытие шахт, увольнение рабочих и odpor со стороны профсоюзов); вместе с тем неспособность как европейского картеля, так и государственно-монополистических органов эффективно (попытки делаются) планировать перестройку угольной промышленности вызывает недовольство и среди инженерно-технических работников.

Общая основа социальных конфликтов та, что переворот в технике происходит в условиях государственно-монополистического капитализма. Рост стачечного движения — одно из последствий того, что «империализм стремится удержать в государственно-монополистических рамках производительные силы, властно диктующие переход к социализму»¹.

Это положение полностью относится и к архисовременным индустриальным комплексам.

Расцвет этих отраслей промышленности принес огромные прибыли монополиям, а рабочие в новых условиях по-новому ощущают неравенство в распределении материальных и социальных благ. Еще во времена домонополистического капитализма, более ста лет назад, в 1834 году, радикальный английский автор писал: «По совести говоря, вряд ли можно обнаружить прямую связь между внешним процветанием страны и счастьем ее населения»². Спесивые деятели современного монополистического капитализма вроде главы фирмы «Фиат» или немецких монополистов, нажившихся на западногерманском «экономическом чуде», ошибочно предполагали, что процветание монополий должно составить счастье рабочих, получающих достаточно высокую «премию раба». Маркс в строго научной форме опроверг подобные иллюзии; мысли, высказанные им в работе «Наемный труд и капитал», могут служить прекрасным объяснением, почему и в условиях высокой конъюнктуры не только рабочая масса, но и «рабочая аристократия», и инженерно-технические работники на предприятиях монополий ведут борьбу не просто за зарплату, а — как гласит распространенный лозунг — за общие условия труда.

«Сколько-нибудь заметное увеличение заработной платы предполагает быстрый рост производительного капитала. Быстрый рост производительного капитала вызывает столь же быстрый рост богатства, роскоши, общественных потребностей и общественных наслаждений. Поэтому, несмотря на то, что доступные рабочему наслаждения возросли, доставляемое ими удовлетворение понизилось в виду увеличившихся, не доступных рабочему, наслаждений капиталиста, в виду более высокой ступени общественного развития вообще».

Новые черты стачечной борьбы в Западной Европе как раз и отражают тот факт, что более высокая ступень общественного развития ведет к повышению потребностей и требований рабочих и вместе с тем к сближению требований рабочих и инженерно-технической интеллигенции.

¹ Тезисы Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. «Правда», 26 августа 1962 года

² Цит. по книге Н. А. Ерофеева «Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825—1850 гг.». Издательство АН СССР. М. 1962.

Новые черты стачечного движения отражают и тот факт, что по ряду причин позиции рабочих в их борьбе против современных монополий стали прочнее.

Одна из этих причин заключается в том, что при высокоом органическом составе капитала приостановка предприятия оказывается особенно убыточной для предпринимателя, а в некоторых случаях грозит финансовой катастрофой. Эта сторона дела весьма ощутительно сказалась и во время забастовки металлистов в ФРГ. Западногерманская газета «Тагесшпигель» уже на четвертый день забастовки рассказывала, какое смятение возникло оттого, что «не было опыта, как обращаться с автоматикой, пущенной в ход, уже когда стачка объявлена». Руководители предприятий отдавали себе отчет в том, что «нельзя предусмотреть, каковы будут последствия того, что произошло, однако никто не предвидел, что последствия скажутся так быстро».

Нашедшая свое отражение в создании «Общего рынка», экономическая интеграция также оказалась важным фактором, который совершенно неожиданно для монополий придал новую силу старинному оружию пролетариата — стачке. По этому поводу журнал французской компартии «Кайе дю коммюнизм» писал в январе 1963 года: «Малейшая остановка производства стоит крупному капиталисту огромных сумм, и последствия этого ощутительны не только в национальном масштабе, но и в области международной конкуренции».

Тем большее значение приобретает международная солидарность рабочего класса. На встрече профсоюзных деятелей Западной Европы в декабре 1962 года в Лейпциге, на съездах французских и итальянских профсоюзов уже прозвучал лозунг: «Европейским картелям монополий противопоставим европейский картель профсоюзов».

Речь идет, конечно, не только о стачках. Стачка — одна из форм борьбы. Ленин отвергал мысль о возможности «чисто-стаечного, только — стачечного» преодоления капитализма. Но Ленин всегда подчеркивал значение забастовки, в частности как показателя открытой революционной энергии масс.

И теперь, во второй половине века, стачечная борьба в Западной Европе свидетельствует о том, что в западноевропейском рабочем классе гаятся большие резервы энергии. Эти события служат еще одним напоминанием об исторической роли европейского рабочего движения и его коммунистического авангарда.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЕФИМ ДОРОШ

★

ХУДОЖНИК И КНИГА

Едва успев выйти в свет, тут же и разошлись «Плоды раздумья» Козьмы Пруткова, изданные «Художником РСФСР» в Ленинграде. Этому причина, думается, не только «имя громкое Козьмы», но и достаточно хорошо известное имя Николая Васильевича Кузьмина, снабдившего мысли и афоризмы незабвенного директора Пробринной Палатки своими рисунками, оформившего книжку с изяществом и остроумием, ему присущими.

Тридцать лет тому назад, взяв в руки только что изданный том «Евгения Онегина», я испытал удовольствие от знакомства с художником, до того дня мне неизвестным, — оставаясь нашим современником, он вместе с тем словно бы принадлежал к людям пушкинского круга: с такою естественностью и непринужденностью изображены были им не то чтобы персонажи романа, а как бы самый процесс его возникновения. В манере художника было все, что сразу же позволяло определить ее принадлежность к графической культуре нашего времени, однако, рассматривая рисунки, исполненные пером, в одних случаях крошечные, служившие заставкой или концовкой, либо выглядевшие рассеянной пометой на полях, в других — большие, во весь лист, иногда иллюминированные акварелью, я не мог освободиться от впечатления, что все они набросаны небрежной, но уверенной рукой кого-либо из тех молодых людей, к которым относится следующий черновой вариант одной из строф романа:

Уже раздался звон обеден;
Среди разбросанных колод
Дремал усталый банкومت,
А я, все так же бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Гнул угол третьего туза.

Цветная вкладка на этот сюжет, предваряющая вторую главу, как и рисунок в лист, содержанием которого стала строчка: «...как Дельвиг пьяный на пиру», или другая вкладка, перед восьмой главой, где изображен кинувшийся ничком в траву курчавый лицеист с томиком в руке: «...Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал», — все эти и многие другие иллюстрации вводили в среду вольнолюбивой, блестяще образованной и разносторонне одаренной молодежи в штатских сюртуках и фраках с буфами вверху рукавов, в зеленых мундирах с высокими воротниками, в малиновых доломанах и тесных лосинах, олицетворявшей собою не одного только Евгения Онегина, но и весь пушкинский круг, декабристов, потомков Радищева и предшественников Герцена с Огаревым.

На одном из рисунков, заключающих книгу, взяв строчку из десятой главы, не вошедшей в окончательный текст романа: «...У них свои бывали сходки...» — художник нарисовал Трубецкого, Н. Муравьева, Чаадаева, Н. Тургенева, Кюхельбекера, Пушкина, Якушкина, Лунина и Пушкина. Этим рисунком он как бы и завершил и до конца раскрыл свой замысел.

Успех издания был велик и не совсем обычен — оно было с почти факсимильной точностью повторено в Италии, Чехословакии, Голландии, Болгарии, в Китае и тремя издательствами в государстве Израиль. Причиной удачи принято стало считать то обстоятельство, что художник иллюстрировал «Евгения Онегина» в манере рисунков самого Пушкина. Должен признаться, что до недавнего времени подобное мнение представлялось и мне само собой разумеющейся истиной — именно Пушкин-рисовальщик, оставивший нам на полях своих рукописей портретную галерею многих своих современников, приходит на мысль даже при беглом взгляде на свободный и энергичный штрих иллюстратора «Евгения Онегина». Но вот с полгода назад в статье Н. В. Кузьмина о рисунках поэта я прочитал, что это не совсем точное утверждение. «Дело совсем не в «манере», — пишет Кузьмин, — а в том, что я старался рисовать в «темпе» пушкинских рисунков, без предварительного карандашного контура».

Ссылаясь на свой профессиональный опыт, Кузьмин рассказывает о трудностях психологического барьера при рисовании «пером сразу». Он говорит, что когда перед художником чистый лист бумаги, а в руке такой «строгий» инструмент, как перо, обмакнутое в тушь, то сознание, что штрих, брошенный на бумагу, уже «не вырубишь топором», сковывает руку. «Поэтому, — признается художник, более пятидесяти лет работающий пером, — когда я вижу в рукописях Пушкина подряд на одной странице несколько профилей Елизаветы Воронцовой или Марии Раевской, облеченных в уверенную и точную графическую формулу, без помарок и поправок, я почтительно склоняю голову: эти рисунки и есть настоящее мастерство».

Может показаться, что я вдаюсь в подробности слишком специальные, да и отвлекусь несколько в сторону. Однако рассуждения Кузьмина о рисунках Пушкина, и вообще-то интересные, подтверждают предположение, что он иллюстрировал «Евгения Онегина», сознавая свою руку как бы рукою самого поэта, не подражая ему, а постигнув самую суть приема, сообщая свободу и жизнь рисунку. Это во-первых. А во-вторых, именно в том неожиданном, на диво «пушкинском» издании «Евгения Онегина», иными уже позабытом, а другим и вовсе неизвестном, Николай Васильевич Кузьмин заявил себя художником не только талантливый, но и остро чувствующим время, в какое создавалось то или иное литературное произведение, главенствующие идеи этого времени, литературу его во всех подробностях ее существования, известных лишь специалистам, наконец какую-либо из черт графической культуры, да и вообще книгоиздания, отвечающую характеру выбранной им для иллюстрирования вещи.

В течение последних четырех лет с рисунками и в оформлении Н. В. Кузьмина были изданы «Граф Нулин», «Записки сумасшедшего», «Левша» и «Плоды раздумья», собственно и послужившие поводом для настоящих заметок. Все это — девятнадцатый век, поистине удивительный, особенно если несколько отступить от календаря и взять эпоху, вместившую и Радищева и Ленина. Я не побоюсь упрека в преувеличении, сказав, что каждая из четырех названных мною книг, как в свое время «Евгений Онегин», ни в коей мере не будучи стилизованной, оставаясь

образчиком полиграфического искусства наших лет, пронизана духом блистательного русского девятнадцатого века.

Отзывающая веселой иронией грациозность иллюстраций к «Графу Нулину» в сочетании с суперобложкой, рисунок которой взят с бумаги, какая употреблялась для форзаца в серьезных изданиях, имевших на титуле уведомление, что в свет они выданы «в Москве при императорском Университете», как нельзя лучше отвечает пушкинской поэме, проказливости и наивной образованности прелестной Натальи Павловны, учившейся «у эмигрантки Фальбала». Иначе сказать, здесь и «Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный», над которым скучала молодая хозяйка усадьбы, и те обстоятельства, какие были причиной того, что после ее рассказа о ночном подвиге графа и поспешной его ретирады: «Смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет».

И совсем иные годы того же девятнадцатого века, иная среда, далекая от усадебной жизни александровских времен, встает в воображении, едва лишь возьмешь в руки и начнешь листать «Записки сумасшедшего». Штрих здесь по преимуществу колючий, нервный, тревожный, пожалуй, только дочка директора департамента, грезящаяся влюбленному в нее несчастному чиновнику, да еще юная испанская донья, порожденная его больным сознанием, изображены штрихом округлым, легким, причем в облике Софи, директорской дочки, есть некая кукольность, точнее сказать, нечто от ангельской красоты восковых парикмахерских манекенов. Совершенно одинаковые, разбросанные по тексту и трижды повторенные на последней странице, головки Софи, напоминающие употреблявшиеся в то время стереотипные типографские украшения, как бы намекают на маниакальное состояние автора записок. Этой же цели служат и шаржированные в некоторых случаях изображения директора департамента, начальника отделения, камер-юнкера и Софи, постоянно теснящихся в воспаленном мозгу Поприщина, — шарж, как это делали в середине прошлого столетия, достигается несоразмерностью большой головы с маленьким туловищем. Сам Поприщин, будучи похожим на заурядного петербургского чиновника, постепенно, от титульного рисунка и до заключительного, приобретает черты существа и несчастного, и психически расстроенного, куда наконец в его облике не проступает нечто, роднящее его с известным беглым смоленским семинаристом, обитателем московского сумасшедшего дома, а затем популярным среди купчих и даже в кругу светских дам прорицателем и юродом Иваном Яковлевичем Корейшей — студентом холодных вод, как он сам себя называл, потому что лечили его теми же средствами, что и Поприщина. Смотришь на одетого в смирительную рубаху маленького человека, вокруг которого — представляющиеся ему — быстрая, как вихрь, тройка, и звездочка вдали, и несущийся навстречу темный лес, и мать, пригорюнившаяся в окошке, и русские избы, и море с одной стороны, а с другой — Италия; слышишь его вздох: «Боже! Что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду!» — и на память приходит литографированная картинка с портретом пророка из Преображенской больницы. Вспоминаются и слова его: «Без працы не бенды колозацы», которые мешаются с знаменитым замечанием относительно шишки, поместившейся под носом у алжирского дея.

Вслед за этой невеселой и даже трагической книгой, работая над которой, мне думается, художник держал в памяти и те зрительные впечатления, какие формировали вкус мелкого столичного чиновника. — освещенная газовыми рожками, несказанно красивая завитая головка в витрине цирюльника, карикатура в газетном листке, литографированный портрет популярной личности, — вслед за «Записками сумасшедшего»

вышел лесковский «Левша» с пестро раскрашенными портретами на белой суперобложке; в «Записках» она желтая, отвечающая понятию «желтый дом».

Какая по-лесковски яркая, я бы сказал, звучащая книга. Первая ее заставка — будто внезапно ударивший гром церемониальной оркестровой меди. Подтянутый, зверовато насупленный, с развевающимися усами, с поднятой к правому виску, к лихо заломленной папахе козыряющей рукой идет «мужественный старик» атаман Платов, а чуть впереди — самодовольно улыбающийся, холено-розовый, придерживающий шпагу на боку и галантно делающий ручкой император Александр Павлович — и флаги по сторонам... Можно предположить, что именно так или очень похоже представлял себе поездку русского царя по заморским странам человек из народа, узнававший о всякого рода удивительных событиях по преимуществу из лубочных изданий. Верноподданническая остолбенелость Платова и казенная зелень царского мундира с желтыми эполетами и шитьем — конечно же, от лубка, от афишек и этикеток, какими солдат, мастеровой или гостинодворский сиделец оклеивал изнутри крышку своего сундучка. Зато поросычья курносость элегантнейшего из русских царей, заставляющая вспомнить, что отцом его был Павел, это уже от сегодняшней иронической улыбки художника. Улыбка эта очень идет к произведению, где государь ахает по поводу заграничной пистолы «неподражаемого мастерства», которую, как оказалось, сделал «Иван Москвин во граде Туле». К слову сказать, улыбка художника — не только ироническая, но и простодушная, озорная, а то и печальная — сквозит во многих картинках, рисует ли он с нарочитой старательностью «мерблюзы мантоны» и «смолевые непромокабли», изображает ли прямотаки свистящий храп, в виде клубочков пара вылетающий из ноздрей уснувшего атамана, или же иллюстрирует невеселые странички, повествующие о том, как «начала сильно разниться» судьба английского «полшкипера» и загулявшего вместе с ним на корабле косоного Левши, когда они оба прибыли в Петербург.

При всем том, что рисунки этой книги восходят к мастерски сплавленным традициям народной картинки и классической русской иллюстрации, всегда близкой манере художника, книга чрезвычайно современна, что опять же свойственно Кузьмину, и не только сегодняшним отношением к лесковскому сказу, к его персонажам, но и тем, что можно бы назвать кинематографичностью. Художник, например, как бы общим планом изображает мчащуюся во весь опор в клубах пыли тройку, а затем крупно, заняв этим целиком две страницы, передок и заднее сиденье той же коляски. Или же через всю левую страницу, ленточкой посреди текста, рисует он бегущих что есть духу, с клубящейся из-под сапог пылью «свистовых казаков», и рядом на правой странице, на почти чистом поле ее, помещает всего лишь одного, поспешающего прямо на зрителя «свистового».

Я бы не хотел, чтобы меня поняли так, что в каждой новой своей работе Николай Васильевич Кузьмин подчиняет себя автору взятой им для иллюстрирования книги. Об его отношениях с писателем, мне кажется, лучше не скажешь, чем это сказала два года назад в статье, посвященной семидесятилетию художника, К. Кравченко: «Кузьмин не жертвует своим графическим стилем ради писателя, и все же каждое произведение накладывает свою печать на его иллюстрации и живет в них своей особой жизнью».

Точно так же обстоит и с названными уже мною, недавно вышедшими «Плодами раздумья» Козьмы Пруткова, — они снабжены, замечу попутно, статьей Вл. Лидина «О художнике», за которую, несомненно,

читатель будет признателен издательству. В книге помещено весьма тонко воспроизведенное в духе самого директора Пробирной Палатки письмо последнего к художнику, «записанное под диктант медиума» Н. В. Кузьминым. Этим самым наш современник Николай Васильевич Кузьмин словно бы стал соавтором трех братьев Жемчужниковых и графа Алексея Константиновича Толстого, как известно, в середине прошлого столетия. играючи придумавших писателя, имя которого затмило их собственные имена. «Изрядно, но местами вольномысленно и высокоумно!» — отзывается Козьма Прутков о рисунках Кузьмина. — «Изображая меня, ты подчеркнул во мне гениального поэта и философа, но оставил в тени государственного мужа». А в конце поощрительное напутствие: «Итак, подвизайся, дерзай, но будь осмотрителен».

Сама мысль сочинить такого рода письмо, как и придуманная художником закладка с портретом Козьмы Пруткова и стихотворением его «Мой портрет», как и счастливая идея занять первый форзац изображением «гениального поэта и философа», окруженного своими создателями, а второй — памятником ему, к которому стеклись восхищенные и почтительные народы, как и то, что одна половина книги окрашена в светло-желтый, словно бы солнечный цвет, тогда как другая — в светло-зеленый, то есть лунный, что отвечает складу мышления не знавшего полутонов и нюансов прямолинейного директора Пробирной Палатки, — все это весьма характерно для Кузьмина, влюбленного в книжное дело, отлично осведомленного во всем, что называют культурой книги, на диво изобретательного.

Кузьмина узнаешь и в точном, будто с первого разу найденном, изящном штрихе, и в занимательности подробностей, неожиданных, как, например, разительное сходство с Николаем Первым извозчика, изображение которого иллюстрирует афоризм: «Хорошего правителя справедливо уподоблю кучеру», или же саркастических, как на рисунке, где тощий, согнувшийся пополам чиновник приветствует важно шествующее сановное лицо, что означает: «Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание».

И все-таки это уже не Кузьмин «Левши» или «Графа Нулина».

Самый штрих здесь, мне кажется, определенной, лапидарней, жестче, словно художник работал не быстрым, летучим пером, а решительным резцом, и это, на мой взгляд, совпадает с категоричностью суждений автора «мыслей и афоризмов», облеченных им в громоздкую, тяжеловатую форму. В духе самого произведения и выбранные художником эмблемы и символы, которые он поместил на прозрачной пластмассовой суперобложке, изготовленной издательством для части тиража, да и среди текста: песочные часы, рог изобилия, сова, светильник, недреманное око, лира, указующий перст, диогенов фонарь, толстошекий малый, дующий изо всех сил, что олицетворяет ветер... Неподоба поэтичные и остроумные, исполненные значения, все эти аллегорические знаки во времена «действительного статского советника и кавалера российских орденов» сделались достоянием афиш и вывесок, выражали собою шаблонность и пошлость мещанского образного мышления. Они сообщают книге известный колорит и одновременно подчеркивают расхожесть истин, изрекаемых Козьмой.

Впрочем, относительно последнего, как известно, не так уж все обстоит просто. Об этом весьма точно сказал тот же Н. В. Кузьмин в статье, написанной им к столетию «кончины» Козьмы Пруткова, случившейся по воле его авторов и опекунов 13 января 1863 года по старому стилю. Рассуждая о популярности этого единственного в своем роде писателя, Кузьмин удивляется ей, ибо юмор его творений довольно замысловат и

раскрывается не сразу. «Многие афоризмы из «Плодов раздумья»,— говорит он,— имеют двойное дно: сперва открывается комизм обывательского общего места, изрекаемого с глубокомысленным апломбом не сомневающегося в своей гениальности философа, а затем, вопреки желанию чиновного и подчеркнуто-благонамеренного автора, изречение неожиданно обнаруживает потаенный крамольный смысл или злободневное жало».

В этом направлении как раз и устремлены усилия иллюстратора. Он рисует, например, исполненного рвения офицера в эполетах, расшибающего лбом кирпичную стену, и это должно означать: «Усердие все превозмогает». Или же, иллюстрируя афоризм: «Бывает, что усердие превозмогает и рассудок», помещает картинку с офицером, в некоем столбняке шагающим в пропасть. Выдумке художника, неожиданности его находок приходится удивляться. «Двое несчастных, находящихся в дружбе,— гласит одна из сентенций нашего философа,— подобны двум слабым деревцам, которые, одно на другое опершись, легче могут противиться бурям и всяким неистовым ветрам». Кузьмин изображает здесь двух гуляк, взявшихся рука об руку и выписывающих ногами мыслете. Что же до матрешек, тщательно нарисованных и выстроенных по ранжиру, которые олицетворяют собою истину, что нет столь великой вещи, какую не превзошла бы еще большая, и нет вещи столь малой, в какую не вместились бы еще меньшая, то об остроумии этой иллюстрации писали чуть ли не все рецензенты, отозвавшиеся на последнюю работу Николая Васильевича Кузьмина.

«Плоды раздумья» в числе других пятнадцати книг за отличное художественное оформление были награждены на ежегодном конкурсе дипломом первой степени. По существующим правилам, этой награды удостоивается не только художник, но и художественный редактор книги, и напечатавшая ее типография. Поэтому-то я и считаю себя обязанным сказать, что этот прекрасный подарок любителям книги сделан работниками ленинградской типографии № 3 имени Ивана Федорова, а художественным и техническим редактором издания был Б. А. Денисовский. Мне кажется, было бы справедливо, и не только по отношению к награжденным, но и по отношению к знатокам и собирателям художественных изданий, чтобы книги, удостоенные наград, переиздавались, причем в выходных данных следовало бы называть имена всех, кто участвовал в издании. Каких-нибудь два или три года прошло со времени выхода в свет кузьминского «Левши» или «Записок сумасшедшего», а книг этих уже не купишь.

Следовало бы подумать и о точном воспроизведении «Евгения Онегина», ставшего библиографической редкостью. Я перелистывал эту книгу сейчас, пока писал статью, и не только дивился светлomu дару художника, но и думал о том, что рисунки его, будучи «пушкинскими», и сегодня, спустя тридцать лет, выглядят современными и что самый принцип иллюстрирования все еще продолжает оставаться новаторским.

Книги, иллюстрированные Кузьминым, листаешь медленно, его рисунки интересно рассматривать, и это последнее, по разумению моему, одна из необходимейших особенностей книжной графики. Рискуя навлечь на себя обвинение в консерватизме, осмелюсь сказать, что мне не нравятся иллюстрации художников, пускай и талантливых, которые в одинаково броской, эффектной манере изображают, например, кубанских колхозников и австралийских пастухов, индийских крестьян и сибирских строителей. Кроме лихого этого пошиба, я ничего не вижу в подобных иллюстрациях, должно быть, потому, что художник и шагу не ступил в сторону того мира, в котором обитает писатель, что его знакомство с

ним ограничилось лишь слепым вторым экземпляром рукописи, каковой, как это мне известно по личному опыту, автор обязан сдать в отдел оформления издательства.

Было время; и не столь уж давнее, когда книги оформлялись наподобие молитвенников богатых купчих. В наши дни при оформлении книг нередко прибегают к афишным шрифтам и геометрическим фигурам, иначе сказать — к стилю изданий двадцатых и начала тридцатых годов. А в иллюстрациях, причем у людей одаренных, все чаще встречаешь уже названный мною щегольской пошиб.

Я говорю об этом не ради осуждения какой-либо графической манеры,— в конце концов даже аляповатость купеческого молитвенника, иронически воспринятая, может отвечать духу иного литературного произведения. Я хочу лишь сказать, что художник не может существовать отдельно от писателя, которого он взялся иллюстрировать, какая бы ни стояла мода. В своей статье «О художнике» Лидин приводит следующие слова Кузьмина: «Чтобы понять Пушкина, мало только читать его; с Пушкиным надо пожить». К этому можно еще прибавить, что к «Плодам раздумья» Кузьмин обратился спустя тридцать лет после оформленного им полного собрания сочинений Козьмы Пруткова, что и «Левшу» он иллюстрировал дважды.

Когда размышляешь о таланте Николая Васильевича Кузьмина, об истоках его, невольно обращаешься к автобиографическим рассказам художника, печатавшимся в «Огоньке», в «Литературной России». Эти рассказы, отличные по языку, по удивительной зоркости автора, объясняют, во-первых, как изнутри, от самой жизни, питающей литературу, идет к своим иллюстрациям Кузьмин, во-вторых же, они как бы документально подтверждают то, что и прежде при рассмотрении кузьминских рисунков угадывалось — его органическую связь с той народной средой, откуда и язык, и поэтические воззрения, и столь же тесную связь с письменной, книжной культурой народа. Такое сочетание я назвал бы пушкинским, и оно лежит в основе искусства, в том числе и искусства книжной графики.



СОВРЕМЕННОКИ О МАЯКОВСКОМ

Семидесятилетие Маяковского — это не «историко-литературная» дата, но живой и радостный факт нашей сегодняшней жизни — общественной и литературной. В 1918 году, когда решалась жизнь и судьба Советской республики, Маяковский писал о молодых поэтах России, «нашедших духовный выход в революции и ставших на баррикады искусства».

Баррикады искусства! — вот всегда актуальная, неделимая формула, связывающая воедино революцию, борьбу за коммунизм, задачи жизни и искусства.

Можно сказать, что сама революция «ставила голос» Маяковскому — поэту, агитатору, горлану, певцу нового мира.

«Только Октябрь дал новые огромные идеи, требующие нового оформления.

Только Октябрь, освободивший искусство от работы на брюхастого выцилиндренно-го заказчика, дал фактическую свободу искусства».

Слова Маяковского — прямой ответ всем, кто выступает с похвалами в адрес буржуазного «свободного мира», с фальшивым сочувствием к советским художникам.

Зарубежные «специалисты» хотят доказать, что Маяковскому только и надо было «строчить романсы», заниматься «чистым стиходеланием». Но он сам недвусмысленно высказался против поэтического чириканья, против надрывного нытья — за поэзию, участницу всенародной работы и стройки.

«Поэзии мозолистые руки» — один только этот образ опрокидывает хитроумные построения любителей эстетства.

Нет ни одной задачи нашей сегодняшней литературы и жизни, которую не помогал бы решать Владимир Маяковский.

Маяковский приходит к нам победителем: нападки противников, клевета западных «специалистов по России», холодная парадность прошлых лет — все преодолел он, великий лирик великой революции.

Он дорог и нужен нам такой, какой он был и есть — без примитивной ретуши, «хрестоматийного глянца», огромный, человечнейший советский поэт, неотделимый от судьбы революции и народа, идущий своей, неповторимой походкой сквозь время и расстояния.

О Маяковском, его деятельности, его неповторимой личности написано много воспоминаний — свидетельств друзей, соратников, современников (наиболее значительные из них собраны в вышедшей в этом году в Гослитиздате книге «Маяковский в воспоминаниях современников»).

Связанные с разными периодами жизни и деятельности поэта, эти воспоминания, неодинаковые по объему, жанру, иногда спорящие между собой, подчас пристрастные, дополняя друг друга, в совокупности своей складываются в один большой коллективный рассказ о замечательном поэте и человеке нашей эпохи, без которого уже немислимо ее представить.

Рассказ этот еще не кончен. Заслуживает поэтому внимания каждое новое воспоминание о поэте, если оно чем-то расширит наше представление о нем.

Большая часть публикуемых воспоминаний принадлежит людям, которых уже нет: писателю Борису Андреевичу Лавреневу (1891—1959), Якову Захаровичу Черняку (1898—1955) — литератору, бывшему сотруднику журнала «Печать и революция»; поэту, секретарю журнала «Лэф» Петру Васильевичу Незнамову¹ (1889—1941). Их воспоминания в виде рукописей находятся в фондах Библиотеки-музея В. В. Маяковского. Все они публикуются с сокращениями.

Воспоминания Б. Лавренева написаны в 1956 году. Им дано условное название «1913-й, 1918-й...», соответственно тем отрывкам, которыми они представлены. Первые

¹ Воспоминания П. В. Незнамова полностью будут опубликованы в сборнике «Маяковский и советская литература», подготовленном Институтом мировой литературы имени А. М. Горького (Издательство АН СССР).

встречи Лавренева с Маяковским относятся к тому времени, когда он сам выступал как поэт и печатался в сборниках 1912—1913 годов.

Условное название дано также воспоминаниям Я. Черняка. Они написаны в 1942 году и представляют собой литературную обработку стенограммы его воспоминаний 1939 года, откуда внесено в публикуемый текст (описание вечера «Избрание короля поэтов») несколько фактических уточнений.

Воспоминания П. В. Незнамова написаны в 1940 году как «Дополнения» к его основным воспоминаниям, написанным годом раньше, — «Маяковский в двадцатых годах» (впервые полностью напечатаны в сборнике «Маяковский в воспоминаниях современников»).

Воспоминания критика В. Гоффеншефера наглядно показывают на примере истории сборника «Школьный Маяковский», как активно боролся поэт против попыток ограничить его писательский путь ранним периодом, превратить в «доисторического поэта», как последовательно заботился он о пропаганде своих стихов и поэм советских лет.

Редакция надеется, что предлагаемые воспоминания — разные по тону и характеру — помогут читателю ближе ощутить неповторимый облик Маяковского, услышать его живой поэтический голос.

Воспоминания Б. Лавренева, Я. Черняка, П. Незнамова и комментарии к ним подготовлены к печати Н. В. Реформатской.

Б. ЛАВРЕНЕВ

★

1913-й, 1918-й...

Осенью 1913 и в 1914 году, в разгар футуризма, я несколько раз встречался с Маяковским.

Как-то в 1913 году у меня состоялось собрание московских групп эго- и кубофутуристов. Созвано оно было по инициативе В. Шершеневича «для координации действий» обеих групп. Пришли оба Бурлюка, Шершеневич, Крученых, Большаков, С. Третьяков, художник и поэт Хрисанф (Зак), бывший идеологом эгофутуристов, и еще два-три человека. Разговор шел вяло и bestолково.

Давид Бурлюк утверждал, что никакой контакт и никакое объединение идейного порядка между обеими группами невозможно, что эгофутуристы, в сущности, вовсе не футуристы и узурпировали это название незаконно. Эгофутуристы занимаются формальным фокусничеством, будучи на деле реакционерами в основной творческой области, в языковой стихии, пользуясь тем же архаическим языком, которым пользовалась устаревшая и подлежащая выбросу за борт современности поэзия прошлого, в то время как кубофутуристы ставят вопрос о полном обновлении поэтического языка, о создании новой, заумной речи, которой принадлежит будущее. Как же можно объединить два исключаящих друг друга направления? Эгофутуристы уже самой приставкой «эго» подчеркивают свою узкую индивидуалистическую ограниченность, в то время как кубофутуристы ведут свой генезис от куба, от этого широкого, объемного трехмерного понятия.

— Вы эгоисты, а мы хлебниковцы, гилейцы¹, всемирные, — говорил Давид.

На него яростно и bestолково набрасывались, спорили путано, в повышенных тонах и ни до чего, конечно, договориться не могли.

В течение всей этой перепалки Маяковский молча сидел на диване и занимался кошкой, устроившейся у него на коленях. Он лишь изредка бросал короткие реплики. В разгаре спора Давид вскочил и, указывая на Маяковского, закричал:

— Вот настоящий гилеец и кубофутурист!

Продолжая поглаживать кошку, Маяковский спокойно и как-то очень убежденно сказал, оглядев всех с каким-то недоумением:

— Дело не в этом. Я не кубо и не эго, я пророк будущего человечества!

¹ «Гилейцами» называла себя группа футуристов, возглавляемая Д. Бурлюком, издавшим альманах «Гилея».

Фраза вызвала взрыв хохота. Но Маяковский вдруг встал, и глаза его вспыхнули так ярко, что все замолчали. Лицо его сразу потемнело и замкнулось. Он как будто хотел еще что-то сказать, но неожиданно махнул рукой и быстро вышел.

...В начале 1915 года я ушел на фронт и надолго расстался со всей московской средой, в Москве бывал редко, только наездами. О Маяковском слышал много и с радостью читал «Войну и мир». Среди воя и визга могуче зазвучал трагический голос большого поэта.

Самого Владимира Владимировича я увидел в Москве уже после Октября.

В 1918 году весной я встретил Маяковского в подвальчике, носившем название «Кафе поэтов», в Настасьинском переулке. Я пришел туда с Давидом Бурлюком. Левый эсер Блюмкин, который позже убил германского посла Мирбаха, пытался захватить роль конферансье и держался в кафе хозяином. Почти все столики были заняты матросами особого полка, которые должны были на следующий день отправляться на фронт. Матросы сидели, не выпуская из рук винтовок, обвешанные гранатами. На эстраде сменяли друг друга поэты: выступали Кусиков, Шершеневич, Панайоти, Кларк. Неожиданно выскочил какой-то безголовый пошляк и козлиным голосом запел популярную тогда у обывательщины песенку:

Солдаты, солдаты по улице идут!
Солдаты, солдаты играют и поют!

Не успел он допеть первого куплета, как раздался оглушительный удар, словно выстрел из крупнокалиберного пистолета. Все вскочили с мест, матросы вытаскивали «шпалеры». Оказалось, что это Маяковский грохнул кулаком по столу. Встав во весь рост, он во всю мощь своего голоса крикнул:

— Хватит! Вон с эстрады! Стидно давать людям, которые идут на фронт защищать революцию, паскудную пошлятину. Уберите эту сволочь!

Вспыхнул скандал. Часть матросов поддержала Маяковского аплодисментами. Другие подняли ор и ругань, мелькали револьверы, с поясов снимались гранаты. Публика потрусливее пошла к выходу.

Блюмкин орал с эстрады Маяковскому:

— Вы думаете, Маяковский, что ваши стихи понятны матросам? Им гораздо ближе эта песня!

Среди гама прозвучал спокойный ответ:

— А вот попробуем.

Спустя секунду, оттолкнув Блюмкина, Маяковский уже стоял на эстраде, засунув руки в карманы, высоко подняв голову, и читал «Революцию». Читал с огромным подъемом, вдохновенно, и после чтения матросы буквально вынесли его с эстрады на руках под бую овец.

Я. ЧЕРНЯК



В незабываемые дни

Осенью 1917 года в Петрограде я познакомился с Маяковским. Произошло это следующим образом. В августе были расклеены объявления: 16 (или 17, не помню) августа в Тенишевском зале выступает Владимир Маяковский. «Человек» (вещь). Доклад «Футуризм — искусство демократии».

В круглый Тенишевский зал в этот вечер собралось немного народа. Зал был полупустой: в разлетах рядов, широкими полукружиями подымавшимися вверх, — редкие кусты посетителей, жавшихся друг к другу.

Из маленькой дверцы в глубине эстрады вышел широкоплечий, ладный, высо-

кий человек — вышел быстро, я секунду мы не видели его лица: наклонив голову, он подымался по ступеням. Вышел, выпрямился. Какой-то оттенок вызова и озорства был в черных блестящих глазах, в резком изгибе широкого рта, в тяжелом рисунке нижней челюсти. Она странно шевелилась. Мы взгляделись — жуем. Это казалось наглостью, нарочитой дерзостью, грубостью и вызовом. Доже вывал бутерброд.

Постоял и, когда увидел, что «дошло», — помахал рукой, дескать, садитесь ближе к эстраде. И начал:

— У меня была бабушка. Во время пожара она из горящего дома вынесла самое ценное — лукошко с яйцами. Русская интеллигенция напоминает мою бабушку... Во время революции она выхватывает из огня чепуху всяческого старья...

Я не помню доклада Маяковского. Я помню только могучий голос, немного стеснявшийся малочисленности аудитории, но сплывающий присутствующих. Я понял тогда впервые, а потом разобрался в этом точнее, что Маяковский на эстраде не «укротитель публики», как кто-то о нем сказал, а великолепный мастер, отлично чувствующий театр и делавший каждое свое выступление чудесным театром. Все градации смешного или неожиданного подчинялись ему — от площадной шутки, острословия, каламбура до язвительной, жалящей реплики, которой он неизменно и мгновенно карал всякое проявление самодовольства, пошлости, скудоумия...

На вечере в Тенишевском не обошлось без скандала. После чтения поэмы выступил некий человек, привычный в те разговорчивые дни ко всяким ораторским штучкам, и обрушил на Маяковского весь арсенал обвинений из «Русского слова». И груб, дескать, и непонятен, и рекламист, и наглец, никого не уважающий. Все это преподносилось с ужимками опытного демагога, в форме «слезной просьбы» объяснить ему, ничего не понявшему, галиматью, которую только что прочитал Маяковский...

Но человек этот промахнулся: он горячился все больше и распалился наконец настолько, что забыл о роли «просителя», начал кричать, обводя широким жестом аудиторию.

Смешную сторону этого мгновенно учел Маяковский. В самый патетический момент он ровным, безмятежным голосом вставил реплику:

— А вы не кричите... — и, показывая на амфитеатр пустых мест, — там никого нет!..

Оратор осекся, но нашелся:

— Вы меня не собьете! Я перед пятидесятитысячной аудиторией выступал.

— Вот именно, а здесь двести!.. И того не наберется... Кто следующий?

Поэма «Человек» на людей, собравшихся в зале, за исключением злосчастного оратора, произвела громадное впечатление. С яростью вслушиваюсь в то, что кричит оратор с эстрады: нет, этого без ответа оставить нельзя.

Кажется, я выложил с эстрады все, что кипело во мне. Меня поддержала аудитория.

Минут через пятнадцать у стойки гардероба меня представили Маяковскому наши общие друзья...

25 — 26 октября, в дни великого восстания, я видел Маяковского однажды поздним вечером или даже ночью, в первом часу... Он вошел взволнованный, с оживленным лицом с заседания съезда Советов и рассказал: только что пришли крестьяне — делегаты крестьянского съезда, заседавшего отдельно, и объединились с большевиками. Братанье было трогательным до слез. Бородачи сбросили с себя левоэсеровскую опеку и прорвались к Ленину.

Маяковский был глубоко взволнован.

В январе — мае 1918 года Маяковский жил в Москве. Часто по вечерам можно было видеть его в «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке. В Москве в это

время был и Каменский и Бурлюк. Только Асеева не было. Он был где-то далеко, на Дальнем Востоке.

Из молодежи, выступавшей в «Кафе поэтов», хорошо помню Сергея Спасского — любимца Маяковского в это время. Маяковский охотно цитировал его строки, а однажды проявил к нему такую дружескую нежность, что об этом стоит рассказать, тем более что Спасский в своих воспоминаниях¹ из скромности умолчал об этом эпизоде.

В кафе было объявлено состязание поэтов — молодых. Призом служил кубок. Присуждался кубок простым голосованием публики. Был организован ряд выступлений молодых поэтов и до состязания. К назначенному вечеру все было ясно: первенство, как казалось, обеспечено было Сергею Спасскому — наиболее тонкому, с отличным техническим уровнем стиха.

К часу ночи все было прочитано. Предстояло голосование. У Спасского был соперник, но, казалось, он победит. В это именно время в кафе проник некий молодой человек, заявивший о своем желании участвовать в конкурсе. По условиям в конкурсе мог участвовать каждый, обладающий двумя качествами — молодостью и неизвестностью.

Молодому человеку отказать было невозможно. Он прочел гладкие вирши «О бое быков в Испании» — читал бурно, страстно и покорила публику, несмотря на очевидное отсутствие поэтического таланта. Никогда больше я этого молодого человека не встречал, и тем не менее ему был вручен кубок. Маяковский был явно огорчен и расстроен. Спасский занял второе место.

Вдруг Маяковский подходит к Спасскому и, стоя перед эстрадой и, как всегда, возвышаясь над всеми, обнимает поэта за плечи и громко говорит:

— Ничего, Сережа, вот мы пойдем ко мне — у меня дома есть кубок, замечательный кубок!.. Я дарю его тебе.

Это было сказано с такой покоряющей мальчишеской нежностью к товарищу, что запечатлелось в памяти.

Впрочем, месяц спустя Маяковскому самому пришлось потерпеть подобное поражение. В Москве в конце февраля 1918 года были назначены выборы короля поэтов. Выборы должны были состояться в Политехническом музее, в Большой аудитории.

Ряд поэтов, объявленных в афише, не приехал — например, К. Бальмонт. Стихи петербургских поэтов читали артисты. Среди многих выступающих на этом своеобразном вечере были Маяковский и Игорь Северянин. Страстные споры, крики и свистки то и дело возникали в аудитории, а в перерыве дело дошло чуть не до драки между сторонниками Северянина и Маяковского.

Маяковский читал замечательно. Он читал начало «Облака» и только что сработанный «Наш марш»... Королем был избран Северянин — за ним по количеству голосов следовал Маяковский. Кажется, голосов тридцать или сорок решили эту ошибку публики.

Из ближайшего похоронного бюро был заранее доставлен взятый на прокат огромный миртовый венок. Он был возложен на шею тощего, длинного, в долгополом черном сюртуке Северянина, который должен был в венке еще прочитать стихи. Венок свисал до колен.

Он заложил руки за спину, вытянулся и запел что-то из северянинской «классики».

Такая же процедура должна была быть проделана с Маяковским, избранным вице-королем. Но Маяковский резким жестом отстранил и венок и людей, пытавшихся на него надеть венок, и с возгласом: «Не позволю!» — вскочил на кафедру и прочитал, стоя на столе, третью часть «Облака».

В аудитории творилось нечто невообразимое. Крики, свистки, аплодисменты смешались в сплошной грохот...

¹ Сергей Спасский. Маяковский и его спутники. «Советский писатель». Л. 1940.

В конце лета 1919 года с юго-западного фронта в Москву прибыл специальный вагон политотдела 12-й армии. Среди задач, поставленных перед работниками политотдела, была и следующая: привезти в армию Маяковского, на время. И я, и мои товарищи по работе были в армии «пропагандистами Маяковского». Мне выпал на долю первый разговор с Владимиром Владимировичем. Мы условились по телефону, и я приехал в Строгановское училище днем. Разговор состоялся в пустом и холодном классе, в котором за литографским камнем работал Маяковский. Он литографировал «Советскую азбуку» — рисунки и текст, и был в разгаре работы — где-то около середины алфавита.

Я рассказал Маяковскому, как воспринимала киевская художественная молодежь его новые стихи, в особенности «Мистерию-буфф». Среди пламенных энтузиастов этой вещи в Киеве выделялись Гриша Козинцев и Сережа Юткевич, мечтавшие о том, чтобы поставить «Мистерию» на площади города. Эти известные впоследствии режиссеры, тогда еще неоперившиеся юноши, только и грезили этой постановкой...

Я рассказал ему о другой аудитории, заочно любящей и знающей его. Речь шла о красноармейцах и политработниках — словом, об армии.

Помню, я сказал ему, что не боюсь сейчас, в разгар войны, читать красноармейцам стихи из «Человека» и «Войны и мира», воплощающие страстную, горячую мечту о мире. Слушатели воспринимают эти стихи правильно, глубоко, отнюдь не с тем пацифистским духом, который приписывали им некоторые критики.

— Поедете ли с нами сейчас на несколько недель в армию, Владимир Владимирович? — спросил я.

— Обязательно поеду, — ответил он решительно и коротко.

Но командование отменило эту поездку. Началось денкинское наступление. Армия вступала в бой на очень разбросанном фронте, и многие хорошие замыслы пришлось отложить.

П. НЕЗНАМОВ



Там, где жил Маяковский

За последние восемь лет жизни Маяковского, в которые я был с ним знаком, я неоднократно бывал во всех тех квартирах, где он жил, а именно — в Лубянском проезде, в Водопьяном переулке, в Сокольниках, в Пушкине, в Гендриковом переулке.

В отличие от Маяковского кочевого, Маяковского поездов и иногородних аудиторий, который за последние годы каждый четвертый день проводил в вагоне, здесь можно было наблюдать оседлого Маяковского. И хотя слово «оседлый» плохо вяжется с Маяковским, это были последовательно именно его местожительства, его гнездо, его уют. Тут он мог принимать всех своих друзей и знакомых.

Почти каждая из этих квартир связана с определенным периодом жизни и творчества Маяковского. С Лубянским проездом связано РОСТА, а позднее поэмы «Про это» и «Ленин»; с Водопьяным — «Маф» и «Леф»; с Гендриковым — «Новый Леф», поэма «Хорошо!» и «Комсомольская правда»; с Сокольниками — детские книжки и поездка в Америку. Исключение представляет лишь Пушкино, которое было, пожалуй, единственным местом, где Маяковскому в наилучшей степени удавалось отдыхать.

Жилплощадь в Лубянском проезде по справедливости носит название рабочей комнаты Маяковского, поэтому ни знаменитых чаепитий, ни дискуссий, ни общих чтений стихов там не происходило.

В этой комнате в начале 1923 года состоялись первые два совещания редколлегии только что возникшего «Лефа». Хотя я и был секретарем журнала, но на эти два совещания не приглашался. Я лишь помню со слов участников, что первое из совещаний было «установочным» и на нем окончательно был оформлен стиль журнала. А на втором происходили жестокие споры с Чужаком, который возражал против принятия в № 1 «Лефа» повести О. М. Брика «Не попугайца».

Дальнейшие собрания редколлегии журнала происходили уже в Водопьяном, некоторые из них были широко публичными, то есть все присутствовавшие могли принимать участие в обсуждении номера.

В Лубянском же делалось большинство плакатов для трестов. Обычно с этой работой приходилось спешить, отвлекаться было невозможно — и художники являлись к Маяковскому именно туда. На тамошнем большом столе и происходила основная работа, если она не была предварительно произведена художником (главным образом Родченко) дома. В частности, художника А. Левина (Джона), который легко уходил из-под контроля, если он работал за пределами Лубянского проезда. Маяковский не отпускал от себя до тех пор, пока тот не заканчивал всех плакатов.

Я сам испытал это деловое «давление» Маяковского, когда делал в Лубянском библиографию для его первого тома. В частности, именно тогда я наблюдал, как Маяковскому надоедали и мешали работать многочисленные просители и празднующиеся.

Это происходило в период нэпа, нуждающихся было немало, доброта и отзывчивость Маяковского не являлись для них секретом. Но в конце концов под видом нуждающихся сплошь и рядом приходили тунеядцы. Все они непрерывно звонили у дверей — и Маяковский начинал свирепеть. Иных ему приходилось просто выставлять из прихожей.

Он их делил на «попрошак» и «просителей». Я спросил его о разнице. Не помню сейчас его точных выражений, но к «просителям» он причислял робких и наивных дилетантов этого дела, а к «попрошайкам» — законченных «сукиных сынов». Он объяснил мне это и потом меланхолически заметил:

— Вот так всегда, незнакомые надоедают, а знакомые недоедают.

В этой же рабочей комнате в Лубянском проезде Маяковский делал последние приготовления перед выступлениями, проглядывал свои тезисы, наполнял свой портфель бумагами и книгами — и после этого переходил дорогу в Политехнический или ехал в Консерваторию. Конечно, это не было абсолютным законом, но тут важно установить, что, как ни был Маяковский «публичным» в своей творческой лаборатории, как ни привык работать «на людях», — даже и он перед наиболее ответственными выступлениями нуждался в одиночестве.

Здесь писался «Ленин», и стены этого жилища Маяковского знают, до какого трудового энтузиазма доходил тогда великий поэт. Говоря в ту пору иронически о вдохновении, Маяковский работал именно вдохновенно.

Мясницкая улица связывала Лубянский проезд с Водопьяным переулком. Маяковский «отмахивал» это расстояние почти всегда пешком. Он ее любил, эту улицу, одну из первых асфальтированных улиц Москвы, любил ее магазины индустриального оборудования, но не любил дома Перлова (теперь Чаеуправление), бездарно подстилизованного под китайскую пагоду: плод убогой архитектурной купеческой фантазии.

В Водопьяном был задуман «Маф» с его брошюрного типа изданиями. Кроме Маяковского, тогда был, впервые после долгого отсутствия из Европейской России, издан Асеев («Стальной соловей»). Может быть, отсюда и пошло потом знаменитое: «Меня ж печатать прошу летучим дождем брошюр».

Здесь был осуществлен «Леф», этот ближайший продолжатель «Искусства коммуны», получивший от этого органа из рук в руки эстафету и еще находившийся по отношению к классикам «под прямым углом».

Здесь около Маяковского сходились, пересекались, дополняли друг друга, соотносились и отталкивались многие передовые культурные движения того времени.

Здесь раздавались голоса поэтов, здесь жила поэзия. Здесь «сорокалетний юноша» В. Каменский изумил всех однажды своим гимном молодости. А сам Владимир Владимирович, красивый, тридцатидвухлетний, читал поэму «Ленин» — вершину вершин того времени.

Здесь же дискутировались вопросы живописи и архитектуры, бывали братья Веснины, собирался Инхук¹, приходили лингвисты, разговаривал о формально-социологическом методе Борис Арватов.

Начинали присматриваться к кино. Сергей Юткевич, худенький и неустановившийся, тогда еще только художник, писал вместе с Брикком комедийный сценарий, нигде не поставленный, о команде футболистов. Эйзенштейн еще не был Эйзенштейном. Но Дзига Вертов, в полосатых брюках и визитке, уже целиком находился в кинематографии, пропагандируя «Киноправду». Принципы свои он опубликовал в «Лефе».

Некоторые из этих людей приходили по-деловому, другие — как близкие знакомые.

Перед чтением больших вещей Маяковского (а иногда после) разливался крушон. Маяковский еще с Кавказа любил виноградное вино во всех его видах, но не любил пива и водки. В пивные он не заходил даже из любопытства.

Когда хозяева квартиры очень уставали от посещений, на дверях вечером появлялась надпись: «Брики никого не принимают». Как секретарь «Лефа», я бывал в «штабе» и в такие дни.

В эти вечера или играли в карты, или Маяковский что-нибудь рисовал и придумывал подписи, а Брик читал всем вслух либо Чехова, либо «Анну Каренину» Толстого, либо пушкинского «Евгения Онегина».

...Принято думать, что Маяковский был разговорчив не только на эстраде, но и дома, в быту. Это не совсем так. Маяковский был не разговорчив, а общителен, что не одно и то же. Он был мастер хорошо просоленной реплики, умел веселиться, как никто, но особенно разговорчивым не был. Мне приходилось видеть его в Водопьяном молчаливым, иногда он молчал долго, молчал, как по обещанию. И вообще Маяковский был везде самим собой, не мог не быть таким — и не извинялся за это перед другими.

Когда журнал «Леф» кончился, Маяковского не оставляла мысль продолжать его издание в каком-либо другом виде. Он только хотел сделать его более оперативным и компактным. Причем издание это мыслилось так, что туда привлекались и... конструктивисты, с которыми тогда был некоторый контакт.

По крайней мере в № 285 «Вечерней Москвы» за 12 декабря 1924 года об этом была напечатана следующая заметка:

«Левая разведка»

Под таким названием в скором времени начнет выходить двухнедельный журнал искусств при участии Брика, Шкловского, Зелинского, Сельвинского, Асева, Катаева и других».

Издание это не осуществилось. Маяковский в момент опубликования заметки находился в Париже, и это была именно та поездка, когда он собирался в Америку, но не получил визы.

Через полтора года после этого «Леф», тоже в виде двухнедельного журнала, предполагалось возобновить с участием Н. Тихонова и ленинградских литературоведов Тынянова, Эйхенбаума, Якубинского и других. И этот контакт не осу-

¹ Институт художественной культуры.

ществился, а если через семь месяцев «Новый Леф» и возник, то возник как журнал однородный и программный.

В этот период, предшествовавший возникновению журнала, Маяковский и Брики жили на даче зимнего типа в Сокольниках. Дача была просторная, было много воздуха, особенно весной и летом. Находилась она от Сокольнического круга довольно далеко, не ближе четырех трамвайных остановок от круга, куда бегал трамвай № 20. Зимой была пропасть снега.

Естественно, что там в отличие от Водопьяного гости собирались значительно реже, поездки требовали времени. Самые часы встреч с вечерних переместились на дневные, причем знакомые съезжались большей частью в праздник. Летом туда приехала из Парижа Эльза Триоле. В день рождения О. М. Брика был устроен обед человек на тридцать в огромной столовой, был даже Чужак, с которым состоялось примирение. Фоторепортер «Известий» и «Красной нивы» Петров приезжал нас снимать.

...Маяковский читал здесь свои стихи для детей, здесь же кто-то рассказал о том, как один мальчик, увидев Маяковского, наивно спросил свою маму:

— Мама, это великан?

И большой Маяковский улыбнулся.

Здесь Маяковский наборматывал строфы из Пастернака. Он ходил, курил и вспоминал их. Помнится, что это был «Спекторский». Пастернаковский метод передачи действительности был ему чужд, философия неприемлема, но стихи возбуждали к соревнованию. Это был, пожалуй, единственный поэт, который временами ставил Маяковского в тупик. Маяковский читал его строфы и имел такой вид, как будто хотел сказать: разве это не поэзия!

...В Гендриковом делался номер за номером «Новый Леф»: собственный журнал еще нужен был Маяковскому, у него было хозяйственное чувство к литературе, он хотел на нее влиять и хотел нести ответственность за нее.

...Полухорошие стихи, доказывал Маяковский, могут быть названы и полуплохими. Его мерилом было выражение: «Ерунда не тем, что хуже других, а тем, что не лучше».

В Гендриков переулок ходило множество народу. Но это было не простое шлянье в гости на знаменитую квартиру: одними из любопытства, другими из тщеславия. Нет, это был естественный культурный центр.

Сюда приходили актеры, художники, поэты, кинематографисты, режиссеры, газетчики, чекисты, политические деятели. Для всех них это место сохраняло большую притягательность. Здесь Эсфирь Шуб была встречена аплодисментами после своей постановки в кино «Последние Романовы»¹. Здесь был задуман «Потомок Чингисхана».

Сюда сбегались телефонные звонки из редакций, театров, с заводов и фабрик. Спрос на выступления Маяковского был громаден. Отсюда же он делал свои заявки в журналы и газеты.

Он действительно работал «по телефонному звонку». Только по своему телефонному звонку в редакцию. Он уже успевал к этому времени написать на какую-нибудь текущую кровную тему и сам беспокоил редакторов, а не ждал с их стороны предложений.

Чуть не один обслужил он в это время огромное количество заводских, вузовских и иных аудиторий. Воистину он работал не покладая рук там, где многие другие писатели «поклали руки», не работая.

Здесь было написано большинство комсомольских циклов, а также сатирический цикл, составивший впоследствии книгу «Без доклада не входить».

За многие из этих стихов Маяковского упрекали, говоря, что они «написаны в лоб». Маяковский горячо доказывал, что он прав:

¹ Точное название картины Э. Шуб — «Падение династии Романовых».

— Я люблю сказать до конца, кто сволочь.

Невыясненных отношений с героем он не допускал в своей поэтической практике.

— Вы танцуете от печки — от индустриализации, — говорили ему.

— Совершенно верно, — парировал Маяковский, — мы танцуем от печки, но только от доменной печки.

И это было вполне в стиле человека, заявившего еще в молодости, что он «будет писать не перьями, а фабричными трубами»...

Пушкин написал однажды: «У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры». В своей книжке «Без доклада не входить» Маяковский именно так «коснулся сатиры». Над прохвостами он издевался, а к врагам прикасался раскаленным железом. Слово его, крупное и весомое, падало на них, как огненная капля.

...На лето выезжал он в Пушкино, на дачу.

Он ходил там по веранде, прихлебывая чай из стакана. В праздничный день за обеденный стол там садилось до четверти сотни человек.

Родченко снимал предметы на просвет, снимал воду в чуть запотевшем графине. Снимал дачу и Маяковского. Пушкинские чахлые деревья он снимал так, что они выглядели у него баобабами. Маяковский был художник, он с интересом относился к этому экспериментированию.

* * *

Маяковский был человек убежденный — и именно здесь лежит ключ к пониманию его отношений с разными людьми. У него был свой угол зрения, свой прищур — и отсюда проистекают его симпатии и антипатии.

...Николай Федорович Чужак издали, за десять тысяч километров от Москвы, показался ему сперва настоящим человеком, борцом за новое видение и новую культуру, но уже через полгода после личного знакомства Маяковский увидел, что это схематик, сухарь и тяжелодум, которому его схема была всего дороже.

Чужак много сделал для пропаганды творчества Маяковского на Дальнем Востоке, будучи в свою очередь распропагандирован в этом отношении Асеевым и Бурлюком. Он издавал неплохой журнал «Творчество». Но он, в сущности, носился там со своим собственным, выдуманым Маяковским, близким родственником Чужака. И, конечно, в Москве это «родство» несколько треснуло. Чужак оказался человеком мелких пристрастий — и повел с Маяковским по газетам и журналам даже не борьбу, а какую-то скучную тяжбу за достояние «левого фронта».

Всем своим отношением к Маяковскому он удивительно напоминал детский волчок, который сперва с шумом и треском закручивается в одну сторону, а потом раскручивается — уже в противоположную.

— Скучища ваш Чужак! — говорил Маяковский, ни к кому, собственно, не обращаясь.

И еще в Водопьяном бурно напал на него за сравнение его. Маяковского, чуть ли не с Лениным. (Чужак в «Творчестве» в 1920 году в № 5 писал о Маяковском. «...высочайший поэтический маяк революции, этот единственный, может быть, рядом с Лениным...»)

— Это и мне, — говорил взволнованный Маяковский, — не нужно, и партии не нужно, и советской литературе тоже!

Вячеслава Полонского Маяковский встречал еще в «Летописи» Горького. Оба там работали. Кажется, некоторые плакаты Маяковского, а также «Сказка о дезертире...», когда она была написана, а позднее и асеевская книжка «Софрон на фронте» проходили через руки Полонского хотя бы в порядке знакомства последнего с этими вещами по должности в Реввоенсовете.

Знаю также, что Полонский раза два бывал в Водопьяном, вел разговоры, рукопожимал. Но не это его характеризует.

...В «Переписке Тургенева с Боткиным» упоминается о немецком критике Мерке, «которого можно сравнить разве с одним Лессингом» (издание «Academia», стр. 106—107). Этот Мерк говорил: «Все у древних было местным, рассчитано на данный момент — и потому стало вечным; мы пишем для дальнего, для всех людей, для любимого потомства — и потому для никого».

Полонский никогда не мог понять всего того, что в Маяковском было «рассчитано на данный момент», ибо он с большой высокопарностью защищал литературу, взявшую патент на «вечность» и на «большие полотна». А признание-то «любимого потомства» как раз получает на наших глазах Маяковский, многие же «большие полотна» оказались большими дерюгами.

После «Протокола о Полонском», напечатанного в № 3 «Нового Лефа», Полонский попробовал отколоть от Маяковского хотя бы Асеева и Пастернака, но преуспел только в отношении последнего.

Естественно, что в дальнейшем отношения Маяковского и Полонского больше не улучшились...

Маяковский с энтузиазмом относился к картине С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», не раз ее смотрел и везде, где заходила речь о ней, подпирали эту картину всей силой своего авторитета, что было на первых порах вовсе не лишне. Но когда Эйзенштейн отснял «Октябрь», где занялся обыгрыванием вещей в ущерб показу людей пролетарской революции, Маяковский нахмурился.

Будучи в Ленинграде, он дал заметку в газете «Кино» (в ноябре 1927 года), где резко протестовал «против инсценировок Ленина через разных похожих Никандровых». Маяковскому претило, что случайно похожий на Ленина человек «делает похожие телодвижения». Возможно, что Маяковский примирился бы с блестящим, умным и действительно художественным исполнением роли Ленина, но только не с дилетантством, в котором, по его словам, наблюдалось «полное отсутствие мысли».

А когда на квартире Сергея Третьякова в Спиридоньевском переулке состоялась встреча левовцев с Эйзенштейном, Маяковский резко напал на Эйзенштейна за эстетизм. Эйзенштейн был совершенно растерян в результате этого нападения и не защищался.

Через некоторое время Сергей Третьяков, который в то время оформлял «Новый Леф», поместил в № 4 в апреле 1928 года подборку «Ринг Лефа» из поступивших трех статей об «Октябре» Брика, Шкловского и Перцова против и в защиту картины. Сергей Третьяков держал сторону Эйзенштейна и хотел создать подборкой впечатление, что картина «Октябрь» — вещь вообще дискуссионная и потому наличие разных мнений левовцев о ней вполне законно.

Это далеко не соответствовало точке зрения Маяковского на это дело как редактора. Сергей Третьяков поступил в данном случае самочинно. И Маяковский, который после этого почти отстранился от редактирования «Нового Лефа», недоумевал:

— Но позвольте, на ринге обычно боксируют двое. Что же делает третий человек?.. Очевидно, машет полотенцем...

В. ГОФФЕНШЕФЕР

★

Два разговора

С Маяковским меня не связывали ни дружба, ни даже хорошее знакомство. У меня с ним были чисто деловые встречи, когда я в конце двадцатых годов работал редактором в литературно-художественном отделе Госиздата. И я никогда не позволил бы себе выступить с личными воспоминаниями о нем, если бы меня не побудили к этому особые обстоятельства.

Однажды во время Отечественной войны, на фронте, офицеры штаба армии попросили меня сделать доклад о Маяковском. Никаких материалов, за исключением однотомика поэта, у меня под рукой не было. Когда в походных условиях приходилось делать доклады без необходимых материалов, подготовка к ним выражалась в том, чтобы вспомнить эти материалы. Так было и с докладом о Маяковском.

Понятно, что в первую очередь вспоминалось то, над чем ты сам непосредственно работал и чему сам был свидетелем. Незадолго до войны была напечатана моя статья «Маяковский, футуризм, революция», где говорилось о «просветительстве» поэта. И размышляя перед докладом о борьбе Маяковского за читателя, о его страстном стремлении довести до читателя свои произведения, с тем чтобы воздействовать на него и воспитать его в духе тех политических, эстетических и моральных принципов, которые поэт считал наиболее передовыми, я вспомнил и факты, лично мною наблюдаемые. То, чему в свое время я не придавал особого значения, позднее, при размышлении об этой борьбе Маяковского, приобрело значительность. И если два эпизода, о которых я рассказываю здесь, окажутся интересными для биографов Маяковского и читателей, моя случайная роль мемуариста будет оправдана.

Громкий разговор

В 1928 году Государственный ученый совет Наркомпроса предложил Госиздату приступить к выпуску дешевой библиотеки классиков и современных писателей для школы. В предложенном ГУСом списке числилась и книжка избранных произведений Маяковского. К списку были приложены и планы изданий этой библиотеки, выработанные научно-педагогической секцией ГУСа в связи со школьной программой.

...В дальнем углу огромной редакционной комнаты на Рождественке сидел тихий старичок-редактор К. и, заглядывая в утвержденные планы, в меру сил своих аккуратно подбирал сборничек за сборничком и сдавал их в набор. Вообще-то он занимался изданием классиков, но на сей раз ему заодно поручили и составление нескольких современных книжек, вошедших в школьную библиотечку. Последнее ему было не по вкусу, так как современную поэзию он не понимал и не любил. Но служба есть служба. А о Маяковском, в частности, у него было чисто обывательское представление: «Не поэт, а нахал в поэзии... рубленая строчка ему нужна, чтобы побольше гонорара из своей бессмыслицы выкачивать» и т. п. и т. д.

В декабре 1928 или, возможно, в начале 1929 года Маяковский пришел в Госиздат по поводу издания школьного сборника.

Меня всегда пленяла в нем корректность в обращении с людьми. И замечательно было, что чем меньше был «чин», с которым ему приходилось иметь дело, тем корректнее был Маяковский. На сей раз он был взволнован до того, что даже не поздоровался с людьми, сидевшими в комнате. Он рассказал мне, что случайно узнал о школьной библиотеке, и попросил помочь ему «найти концы этого дела».

— Ведь я не классик, я не покойник, я — живой поэт. У меня есть адрес и телефон. Чего же меня заживо хоронят? — возмутился он. — Неужели меня не могли известить о том, что издается моя книжка, и рассказать, как она здесь делается? Как можно так работать?

«Найти концы» было нетрудно. Я сказал, что школьную библиотеку ведет К., представил тому Владимира Владимировича и попросил показать план книжки. С непроницаемым и независимым видом К. протянул Маяковскому бумажку. Маяковский взглянул на бумажку, потом пристально посмотрел на К. и протянул план мне.

— Посмотрите, что включается в сборник! Меня действительно давно похоронили. Оказывается, с двадцатого года я не написал ни одной поэмы!

Заглянув в план, я увидел, что список произведений Маяковского заканчивается отрывком из «150 000 000».

— Почему от советского школьника нужно скрывать, что я написал «Ленина», что я написал «Хорошо!»? Я хочу, чтобы молодежь знала меня не как исторического поэта! Как вы могли составить такой план? — обратился он к К. — Это же издевательство надо мной, над читателем. Я не позволю уродовать себя! Я сам составлю план книжки!

— Вы напрасно горячитесь, — ехидно сказал К., — ничего вы здесь изменить не сможете, план составлен не мною.

— А кем же?

— Высшей инстанцией! — многозначительно поднял палец К.

— Какой высшей инстанцией?

— Государственным ученым советом!

— А наплевать на то, что он государственный и ученый, если он дает плохие советы, — отчеканил Маяковский.

И здесь с К. приключилось невообразимое. Сначала он обомлел, а потом сорвался со стула, подскочил к стоящему посреди комнаты Маяковскому и, уронив пенсне, взвизгнул:

— Гражданин Маяковский, не хулиганьте! Это вам не эстрада, вы находитесь в учреждении!

Маяковского всего передернуло. Неожиданно он сделал шаг назад и начал пятиться от К. к стенке. Только в следующее мгновение я понял, в чем дело. В его руках, заложенных за спину, была трость с костяным набалдашником. Маяковский дотянулся до свободного стола, стоявшего у стенки, и, не оборачиваясь, положил на него трость. Затем он снова шагнул к К.

— Как вы смеете меня так оскорблять! — сказал он, сдерживая бешенство. Видно было, что сдерживать себя Маяковскому было трудно.

Так стояли они один против другого: большой и гневный Маяковский с крепко заложенными за спину руками и дрожащий от злости К. — в черной толстовке, с седым ежиком на голове, со свисающими вниз моржовыми усами и болтающимся на шнурочке пенсне.

Подробностей горячего диалога между двумя разъяренными людьми я не запомнил. Помню лишь, что Маяковский втолковывал К., что у того чиновничье и слепое преклонение перед «инстанциями», что мы живем в своем советском государстве и что если «инстанция» ошибается, то мы имеем право заявить ей об этом и потребовать, чтобы ошибка была исправлена.

— Не пугайте меня «высшей инстанцией»; как бы высоко она ни находилась, я найду к ней лестницу! Вот прямо отсюда пойду в Наркомпрос и добьюсь, чтобы программа была изменена. Я буду настаивать и на том, чтобы предисловие к моей книге написал Осип Брик, а то вы мне еще Петра Семеныча Когана подверстаете!

Когда Владимир Владимирович уходил, я вышел его проводить.

— Что это за человек? — сказал он о К. — Это не советский редактор, а старорежимный директор гимназии! Таким надо пружину вставлять, чтобы и духа их не было в советском аппарате!

Маяковский умел разгадывать людей, и эти его слова оказались истинной правдой. Действительно, К. был директором гимназии, в которой когда-то учился кто-то из руководителей Госиздата, и только по этой причине он и был определен в редакторы.

Владимир Владимирович пошел в Наркомпрос — кажется, ходил он туда по этому поводу дважды — и добился того, чтобы состав сборника был дополнен отрывками из поэм «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» и некоторыми стихотворениями. Дал он сборнику и свое заглавие. К началу учебного года «Школьный Маяковский» с послесловием Брика вышел в свет.

В тот момент, когда разъяренные Маяковский и К. стояли друг против друга, я видел лишь непосредственные деловые причины этого столкновения и мысль

была занята только тем, как бы предотвратить еще большее обострение этой стычки. И только позже, когда я распрощался с Владимиром Владимировичем, я понял, что болезненная реакция на историю с планом его сборника объяснялась не только очередным столкновением с бюрократизмом или необходимостью преодолеть очередное препятствие на пути к читателю.

Воистину анекдотическая небрежность (а может быть, не только небрежность) составителей этого плана, ограничивших творчество Маяковского 1920 годом, совпала с обывательскими разговорами о том, что поэмы последних лет уступали по своим художественным качествам более ранним поэмам Маяковского, о том, что он «исписался» и т. п. Игнорирование этих поэм в плане сборника для молодежи сильно задело Маяковского, по-видимому, именно в связи с этими разговорами. И его восклицание: «Я не покойник!» — приобретало особый смысл. А здесь еще этот К., этот живой анахронизм, выскочивший из дореволюционного прошлого со своим «не хулиганьте!». Маленький сборничек, адресованный советскому школьнику, стоил Маяковскому немало нервов.

Тихий разговор

О взаимоотношениях Маяковского с Госиздатом писалось немало. Взаимоотношения эти были сложные и трудные. Маяковский относился к Госиздату не по-ребительски, а по-хозяйски, как участник производства. Политический деятель, горячо заинтересованный в строительстве советской культуры, он рассматривал Государственное издательство как свое издательство. Но на практике, при возникновении вопроса о выпуске той или иной книги, при прохождении этой книги через звенья издательского аппарата, между Маяковским и Госиздатом то и дело возникали трения. Поддерживаемый литературно-художественным отделом и молодыми референтами Торгсектора, он обычно натывался на сопротивление аполитичных книжных специалистов, сидевших в соответственных звеньях аппарата. Была, например, инстанция с грозным названием Тиркальком (тиражно-калькуляционная комиссия), которая утверждала, «урезала» или «резала». Никакие литературно-политические соображения не могли прошибить арифметические души большинства членов этой комиссии. Были ответственные работники Торгсектора, для которых книги Маяковского были только «товаром», частью «ассортимента». «Поэзия затоваривается», — утверждали и те и другие и в меру сил своих «урезали» и тормозили издание книг Маяковского. Как известно, чтобы опровергнуть их и устранить препятствия, Маяковский вынужден был сам собирать сведения о том, как расходятся его книги, а иногда и показывать пример, насколько успешно можно ими торговать. Все это приносило Маяковскому мало радости и вопреки его воле отравляло его взаимоотношения с Госиздатом...

Я помню торжественное заседание, состоявшееся весной 1929 года по случаю десятилетия Госиздата, на котором Маяковский представлял ФОСП. После объявления о его выступлении Маяковский широкими шагами вышел из глубины сцены и бесстрастным тоном, каким обычно актер «на выходах» объявляет, что карета подана, произнес:

— Федерация объединений советских писателей приветствует Государственное издательство, — повернулся и ушел.

Эта «речь» приводится здесь мною почти со стенографической точностью.

Но никакие препятствия не могли остановить Маяковского на пути к читательским массам. Агрессивно (я говорю о хорошей агрессивности поэта, руководствующегося не своими маленькими, а широкими общественными интересами), настойчиво он продвигал свои книги к читателю. Никогда и нигде он не забывал об этой своей обязанности, остроумно используя самые неожиданные ситуации.

Так, например, случилось в 1929 году, когда в Госиздате затормозился выпуск очередных томов собрания сочинений Маяковского.

Не помню точно, по какому случаю в Доне ученых состоялся банкет. То ли это была встреча писателей с издательствами и редакциями журналов, то ли чествовали делегацию украинских писателей. После ужина гости разбрелись по комнатам. Маяковский направился в бильярдную. И здесь я оказался свидетелем интереснейшей сценки — разговора, почти пантомимы.

В небольшой проходной комнате у бильярда в своей аскетической потертой кожанке, на воротник которой ниспадали длинные черные волосы и кудлатая борода, и в столь же потертой крохотной кубанке, которая не снималась с головы ни в рабочем кабинете, ни на торжественных приемах,— стоял заведующий Госиздатом Артемий Баградович Халатов.

— Сыграем партию,— обратился к нему Маяковский.

Молчаливый Халатов кивнул головой.

— На что играем?

Сдержанное движение головой и бровями, означающее: предлагайте, мне все равно.

— Карт-бланш?

Сдержанный, но самоуверенный жест: пожалуйста, это меня ничуть не пугает! Халатов проиграл.

Опираясь кием о стол и склонив голову набок, Маяковский глядел на него с чуть заметной торжествующей улыбкой. Тот стоял потупившись и ждал приговора.

Тогда Маяковский тихо, очень серьезно и с расстановкой сказал ему:

— Вы ускорите выпуск моего собрания. Согласны?

Халатов укоризненно покачал головой, а затем добродушно усмехнулся и кивнул в знак согласия...

Конечно, этот «ультиматум» носил полущутливый характер. Маяковский относился к Халатову с уважением и никогда не позволил бы себе подобным образом «припирать» его к стенке.

Но тем не менее он нашел остроумный способ «оштрафовать» заведующего Госиздатом. И был доволен.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Турнов. По долгу справедливости.— **Р. Зернова.** Внимательный взгляд.— **Ф. Светов.** В поисках трудностей и напастей.— **Эд. Вальдман.** О «кибернетических» повестях Геннадия Гора.— **Т. Мотылева.** Новое о Томасе Манне.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Шарапов. Живые ленинские черты.— **Я. Борисов.** Языком фактов и документов.— **Валерия Герасимова.** Расти умом и сердцем.— **О. Лацис.** Красноречивые цифры.— **Л. Клецкий.** Свет правды и туман фальсификации.— **И. Миндлин.** Вместо науки.

Литература и искусство

ПО ДОЛГУ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

С. С. Смирнов. Рассказы о неизвестных героях. «Молодая гвардия». М. 1963. 224 стр.

На экране разворачивалась история рождения советского реактивного самолета. Актеры добросовестно и талантливо «вживались» в образы конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей. И вдруг диктор объявил, что сейчас будут показаны подлинные кинохроникальные кадры об испытаниях реактивного самолета в 1942 году.

Сиявший дотопле экран как бы померк, на нем возникла какая-то мелькающая рябь. Конечно, всему виной была просто давность съемки. Но эта техническая частности создавала удивительное впечатление, будто мы и впрямь смотрим сквозь мглы-студю даль времени, сквозь висевшую тогда над миром гарь войны.

На снежном пространстве сибирского аэродрома стоял маленький самолетик на лыжах. Затем он стремительно — особенно для тех лет — сорвался с места, понесся вперед, взлетел... Скорость была такова, что при посадке лыжи, видимо, не выдержали этой нагрузки, и зал ахнул, когда машина, коснувшись земли, перевернулась — раз, другой...

На экране возникло лицо летчика, майора Бахчиванджи, и диктор сказал:

— Не волнуйтесь. На этот раз все обошлось благополучно. Он погибнет на седьмом вылете.

Я испытал тогда двойственное чувство — жаркую, до просящихся наружу слез, благодарность тем, кто нашел эти кадры и оживил перед нами давний подвиг и вместе с тем обиду: как можно было столько лет держать этот драгоценный киносюжет где-то в архиве уже тогда, когда он давно потерял всю свою первоначальную — и вполне естественную — секретность?

Подобное чувство охватывает и читателя новой книги С. С. Смирнова «Рассказы о неизвестных героях».

С. С. Смирнов уже много лет занимается благороднейшим делом, воскрешая в своих статьях, очерках и рассказах подвиги, совершенные нашими соотечественниками в годы войны и по тем или иным причинам оставшиеся неизвестными. Его работа по достоинству оценена множеством людей не только потому, что описанные им события замечательно интересны, но и потому,

что его поиски защитников Бреста и других героев отвечают насущной потребности нашего народа в исторической справедливости, желанию воздать должное людям, отстаивавшим родину ценой огромнейших усилий, жертв, а часто — ценой собственной жизни.

В новой книге С. С. Смирнова мы встречаемся и с несколькими летчиками, в первые же часы войны пошедшими на смертельный риск, таранившими вражьи самолеты; и с советским солдатом, сражавшимся в итальянском партизанском отряде, и с восставшими «смертниками» Маутхаузена, и с героическим гарнизоном Аджимушкских каменоломен.

Каждый из них мог бы повторить о себе слова Леонида Андреевича Силина, организовавшего под носом у немцев госпиталь для военнопленных, который стал подлинной советской колонией: «...скажите моим сыновьям, что в Красном знамени нашей Родины есть и капли крови их отца». Не все они обладали силинским красноречием, но бывали минуты, когда, преодолев мучительнейшие невзгоды, они испытывали живейшую потребность выразить тот необычайный подъем духа, который ими владел в борьбе. Так, перед штурмом стен, окружавших маутхаузенский «блок смерти», неизвестный пожилой полковник или генерал обратился к товарищам с чудесными словами: «Я не имею никаких полномочий от нашего командования и Советского правительства, но я беру на себя смелость от их имени поблагодарить всех вас за то, что вы вынесли здесь, в этом аду, оставаясь настоящими советскими людьми». Я называю эти слова чудесными, потому что сказавший их знал, что многие, слушавшие его, погибли в эту ночь, и не мог примириться с тем, чтобы они ушли из жизни, не услышав хотя бы из его уст признания их высокого мужества.

«Я не большой важности человек», — писал накануне своей смерти в Аджимушкских каменоломнях политрук Степан Чабаненко. Что ж, подобная скромность только украшает человека. Но мы-то сами с этой оценкой никогда не согласимся! Не согласимся потому, что деление людей на значительных и незначительных глубоко чуждо нашему обществу. Не согласимся и потому, что герои книги — это как раз люди «большой важности», они уже сыграли огромную роль в достижении победы и будут

играть такую же роль в формировании нашей морали, в нашей сегодняшней жизни, в воспитании новых поколений.

Мы много спорим о положительном герое, о значении высокого примера для подражания (хотя «подражание» — это вряд ли удачное здесь слово). Чтобы не остаться без таких примеров, многие из нас готовы даже поступиться высоким эстетическим мерилом и раскрыть объятия литературному герою, в котором нет никакой художественной плоти, а одни только кожа да кости моральных назиданий. Но рядом с нами ходят живые и положительные герои, которых мы годами не замечаем, потому что они не бросаются высокими словами, а говорят их только по действительному зову сердца. Даже те, кто сам был свидетелем подвига или во всяком случае слышал о нем, часто равнодушно наблюдают, как тускнеет и исчезает самая память о героях.

«Почему бы, скажем, Еремеевке не переименовать свое имя и не называться отныне село Силино?» — спрашивает С. С. Смирнов, рассказав об истории силинского госпиталя. Допустим, это предложение спорно: мы и без того часто без нужды меняем старые, сложившиеся в самом народе прозвища сел, городов, улиц. Допустим, что и памятник герою колхозники или районные организации воздвигнуть еще не собрались. Но вот почему в еремеевской школе, не дожидаясь совета С. С. Смирнова, не устроили если не музей, как предлагает писатель, то хотя бы какой-то уголок, посвященный этим событиям, уже непонятно. Горько читать и то, что ценнейшие материалы по истории обороны Аджимушкских каменоломен находятся «где-то» в архивах. Чья-то равнодушная рука холодно зарегистрировала их как очередную «единицу хранения», и неужели даже в последние годы работников этого архива не тревожит мысль: а не похоронены ли в их фондах живо чьи-нибудь героические, несправедливо обойденные славой имена и подвиги?

Страшная вещь — равнодушие! Оно, пусть в мелочах, коснулось даже книги. С. С. Смирнов с восхищением пишет о возглавившем Аджимушкский гарнизон полковнике Павле Максимовиче Ягунове. А под фотографией героя подпись: «Полковник Б. М. Ягунов». Заместитель Ягунова по политической части И. П. Парахин переименован в подписи в Парасина.

Остается сказать об открывающем книгу очерке «Бессменный часовой», которого я до сих пор намеренно не касался. Как ни трагична судьба солдата царской армии, засыпанного при взрыве подземного склада летом 1915 года и отрытого только спустя девять лет, как ни поразительно его самообладание — все-таки причисление его к прочим героям книги вряд ли оправданно. Здесь речь идет не о сознательном героизме, как во всех прочих случаях, а о роковом стечении обстоятельств. С. С. Смирнов приводит свидетельства бывших польских солдат, что офицеры предлагали им брать

пример с «этого храброго русского солдата». Но писатель как будто не догадывается, что в этом «совете» преобладало отнюдь не «бескорыстное» преклонение перед «бессменным часовым», а стремление добиться беспрекословного повиновения приказу, от кого бы он ни исходил. (Впрочем, думается, что и вся эта история носит скорее легендарный, нежели документальный характер.)

«Рассказы о неизвестных героях» посвящены более волнующим и благородным проблемам, чем открывающий книгу очерк.

А. ТУРКОВ.

★

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Оскар Хавкин. *Время скажет. Повесть. «Сибирские огни», № 8, 1962.*

С анонимным злом всего труднее бороться — удары приходится в пустоту.

В сибирский, забайкальский райком пришло письмо — «странно-витиеватое, нелепое, полуграмотное, холодно-обвинительное». Не письмо — донос. В нем сообщалось, что некто Никаноров, дорожный мастер, творит «Производ и Беззаконие»; что парторг за ним «по пятам» — то бишь пляшет под его дудку; что обходчик Куркин — «ничтожный человек, Хулиган и дерзкий шпион». И герой повести Хавкина молодой инструктор райкома Анатолий Беломестнов вступает в единоборство с анонимным злом. На инспекционной дрезине он едет туда, откуда пришло письмо, — оказывается, ему эти места давно знакомы: тут прошло его детство; тут, на этих самых путях, погиб перед войной его отец — путевой обходчик; тут все еще стоит дом, в котором он вырос, — только теперь в этом доме живет обходчик Куркин («Хулиган и дерзкий шпион»), тут живут и работают его старые знакомые, его друзья. Беломестнов здесь не пришлый человек; все его помнят «вот таким» и глядят на него испытующе-внимательно: ну-ка, каким ты вырос?

И в ответ встречают такой же внимательный взгляд. Необыкновенно внимательный. Винкающий, вбирающий. Этот взгляд сразу определяется как самое главное в повести.

С самого начала, в сумятице нахлынувших воспоминаний детства, автор — или герой его — словно хватается за руку читателя: останись, всмотрись! Повесть невелика — листов восемь, а время она охватывает

немалое — лет, пожалуй, тридцать. И все-таки: останись, читатель, не спеши, вслушайся, всмотрись!

Вот на глазах рассказчика сынок путейца Леша по просьбе бабушки полез в подвал за молоком: «Звякнуло колечко, крышка с облупившейся коричневой краской ушла в сторону, дыхнуло мерзлотной землей, и это не бритоголовый внук Родоначальницы, это я срываюсь по редким приступкам в ледяную мглу. Глубокое у нас подполье: спуски, повороты, закуточки — там мясо, здесь миски с холодным, у стеночки банки со сметаной, маслом, варенцом. Что-то шуршит по углам, где-то осыпалась земля, а голоса отца и сестренки доносятся глухо, издали, как будто в ночной тайге заплутался. Ох, скорей, скорей — схватить самую осклизлую кринку с отколотым горлом, скорей на приступки, скорей поставить кринку на пол и одним скоком — наверх, в тепло, к голосам, к свету».

Свое зрение художника автор дарит герою. Герой не только умеет видеть — он умеет задумываться над увиденным.

«Хорошо бы остаться, посидеть с ним за столом, может быть, выпить рюмку-другую, — сколько историй и судеб, бед и радостей за этими сухими, голубыми глазами, за этой высколенной сухостью лица, за этой чистенькой и строгой красной фуражкой...»

Нельзя. Как часто мешает нам это дурацкое «нельзя». Мешает сделать что-то внеслужбное — простое и важное, как земля, воздух, свет, и глубоко человеческое — неза-

мысловатое движение губ, рук и сердца... И вот что-то не раскрылось в человеке, чья-то судьба прошла мимо, чье-то горе не приласкано, чье-то слово не высказано, чье-то сердце не разжалось от добра. И служба не превращается в служение — остается ползучей службой...»

Поездка Беломестнова — служебная поездка. Второй секретарь райкома поручает ему проверить факты и непременно подготовить решение. «Никаких эмоций, Беломестнов!» — напутствует его Малыгин.

Но не может быть служения без эмоций. Не может быть служения без взглядывания в людей, которым служишь. В сущности, Беломестнов во время своей поездки именно это и делает — взглядывается, вслушивается, вдумывается. В каждое лицо, в каждый голос, в каждую судьбу. Именно поэтому ему и удается раскрыть «тайну анонима»: автором письма в райком оказывается Ефим Лазарев, нищий.

Из-за него, из-за одного этого негодяя, несчастен добрый и мужественный Никаноров, из-за него маяется оскорбленный Саня Коноплев, тоскует Сима, страдает Полина... Это не просто «поселковский Дон Жуан», «погубитель женских сердец», — это еще и клеветник и доносчик.

Мы не знаем, будут ли счастливы те люди, жизнь которых изломал себялюбивый и холодный Ефим Лазарев: вернется ли к Никанорову Полина, смягчится ли ожесточившееся сердце Коноплева, забудут ли дети... Но мы знаем, что зло разоблачено, объяснено и даже осмеяно. Все это случается как бы само собой — Беломестнов не производит ни дознания, ни расследования. И все-таки случается все при нем, когда он приехал, не раньше и не позже. Случается благодаря ему. Видно, правильно взялся за дело молодой инструктор!

Повесть построена сложно, населена густо, полна лирических отступлений. В сущности, драма людей, которые в ней описаны, началась задолго до тех дней, когда происходит самое «действие» — еще в довоенные годы. И постоянные возвраты в прошлое, характерные для того жанра, который теперь принято называть «лирической прозой», должны уяснить нам не только завязь конфликтов, но и становление характеров. Между тем это удалось не везде. Иные люди как вошли в повесть, так и остались загадкой. И прежде всего Ефим Лазарев.

Он вползает в повесть постепенно. Сна-

чала мы читаем отрывки из его полуграмотного анонимного письма, потом видим его в поселковой столовой вкушающим всевозможную «легкую и питательную» снедь на глазах у двух «погубленных» им женщин и наблюдаем его холодное и сытое хамство. «В общем ясно? А не в общем? Кто он такой?» Мы тоже задаемся этим вопросом. Но даже когда мы узнаем его биографию, даже когда Никаноров пытается объяснить его характер, ответа мы все-таки не получаем.

«Лазарев, хоть и безбородый был, но уже тогда славился диковинной своей и тяжелой красотой... — рассказывает Никаноров. — Работать он умел... Умел, но душой не втягивался. Пел хорошо, глуховатый голос, но за сердце брало. Пригодилось ему потом в поездках... Но и свое, непонятное нам, сказывалось. Вдруг сядет на отшибе, спиной ко всем, и в одиночку полдничает, а то деньги вытащит, считает или просто раздумывает о чем-то своем...»

Почему человек, который пел и задумывался, стал после фронтового ранения профессиональным нищим? Это загадка, которая так и не разъясняется и которая тревожит. Вряд ли равнодушие — единственный ключ к этой загадке. И все-таки кто он? Перекаати-поле? Или «бродяга из племени шутов, шпыней и скоморохов»? Просто хам и стяжатель? Отчего же тогда не живет ему за широкой спиной красавицы Полины, которая готова работать на него и день и ночь?

Почему не задумались над этим ни чуткий Беломестнов, ни сам автор повести? Претит им, что ли, этот тип? Но брезгливость — не лучшая черта человека и писателя.

Кое-где избранная автором форма «лирического повествования» мешает, оборачивается недостатком. Оттого, что мы все видим и слышим через Беломестнова, речевая характеристика персонажей бледнеет. Правда, на бытовые темы люди говорят каждый по-своему, друг на друга не похоже. Баба Лазарева, или жена Куркина, или Валя — их не спутаешь, у них свои интонации. Но едва только начинаются рассуждения или описания — тут мы теряемся. Беломестнов это говорит или Никаноров?

«Тонкая, словно солнцем опаленная, на щеках пушок, как у дикого абрикоса...» — это Никаноров описывает Полину. Красиво описывает!

А вот уже совсем неслыханная красота — письмо Ирины: «Здравствуй, мой день добрый, вчерашний, здравствуй, мой добрый дом, мое печурочное тепло... Мне хорошо: у меня есть ты в прошлом, и есть он сейчас — мое горение, моя тревога, мое дикое звездное жилье. Как бы я хотела, чтобы твои дни и ночи, твоя дремлющая душа были пронизаны острым морским ветром, пронзительным вскриком чаек и призывом в даль...»

И сам Беломестнов порою пускается в такую же красоту. «Серебряное мгновенье», «солнечная челка», «жемчужные облака» — все это из его словаря вместе со «зверушкиными глазами» девушки, знакомыми нам еще по «Последнему из удэге». И длинные периоды ритмической прозы, не всегда оправданные художественной необходимостью, — тоже Беломестнов. Вот что навязала автору избранная им форма лирического повествования.

Когда Беломестнов, не заботясь о красоте слога, стремится только к ясности изложения — проза получается твердая, точная, яркая. Как хорошо описан, например, подъемочный ремонт.

«Подъемочный ремонт! Аж руки зачесались..»

Если рельсы полегче, их кладут на песчаную постель. Рельсам поувесистей — подстилают гравий. А самые тяжелые рельсы выдержит только щебеночный балласт. И пока постель чистая, свежая — рельсы и шпалы чувствуют себя превосходно — лежат себе, как миленькие, и — ни с места! Но время и проходящие поезда делают свое дело: гравий и песок заносит пылью, в них забиваются корни растений, с открытых платформ сыплются под шпалы частички угля, руды, древесины — и сыпучая постель постепенно грязнится, темнеет, черствеет, как если бы растяпа-хозяйка год не меняла белье! И если осядет, например, шпала под идущим поездом...

Но времена приходят путейцы и начинают

перестилать постель. Старый — употевший, спекшийся, почерневший в трудах праведных балласт — вон из-под шпал, даешь туда молодой, свежий, чистый, еще влажный гравий и песок!

А для этого — подымай рельсы, подымай шпалы — подъемочный ремонт!»

Когда Беломестнов рассказывает о труде дорожных рабочих — о том, как работницы «штопают» путь, а парни подбивают гравий, — стремительный ритм этой работы захватывает читателя.

«И снова Никаноров в голове колонны, снова упал ничком на рельс, снова сигналит руками: выше, ниже, хватит, и вся колонна, волнообразно поджимаясь, подобно гусенице, подтягивается на десяток метров вперед...»

Когда Беломестнов описывает чемакинский экскаватор и вы наблюдаете плавное и стремительное движение стрелы с ковшом и когда он с невеселой иронией рассказывает о ручной разгрузке, где вся техника — старинная лопата, «царица путей», — он удивительно точно и зримо описывает самую работу. Но вот опять пошло «о чувствах» — и опять ему кажется, что простые слова и ритмы недостаточно значительны и емки: «Слушай же, Валя, слушай, девочка со зверушкиными глазами, слушай, дочь паровозного машиниста Сигаева...»

Однако форма повествования от первого лица дает автору возможность подслушать думы своего героя. И это важно, потому что Беломестнов — герой думающий, ищущий, спрашивающий и своими поисками и думами близкий читателю.

«Время скажет» — повесть о человеке, который ежедневно, ежеминутно держит ответ перед самим собой, перед каждым из тех людей, с которыми его сталкивает жизнь. О человеке, который не знает, не хочет знать готовых решений. О человеке, которого тревожит все, что тревожит и нас с вами.

Р. ЗЕРНОВА.

★

В ПОИСКАХ ТРУДНОСТЕЙ И НАПАСТЕЙ

Евгений Карпов. Синие ветры. Повесть. «Нева», № 6, 1962.

Повесть называется красиво и романтически многозначительно: «Синие ветры». Можно, конечно, как это и делает один из ее отрицательных героев, по-обывательски

«бескрыло» усомниться: «Так разве ж у ветра бывает цвет? Это, Иван Петрович, у тебя начинается синяя горячка...» Не будем уподобляться этому герою. Ведь писал же

когда-то Вс. Иванов о «цветных ветрах», а Антон Пришелец выпустил недавно сборник стихотворений и песен «Зеленый ветер»...

Я не стал бы и совсем говорить о названии повести, — в конце концов не в названии дело! — если бы для автора «Синих ветров» в нем не было некоего многозначительного иносказания, важного для понимания замысла произведения. «Синие ветры» — не каприз и не плод возбужденного воображения героя, писатель вкладывает в этот образ глубокий смысл, в нем своеобразно выражена мысль, идея повести.

Впрочем, впервые «синие ветры» возникают в сознании героя именно как бред и галлюцинация. Иван Петрович Пожого возвращается домой после семилетнего заключения. Попал он в тюрьму за то, что на свой страх и риск, воспользовавшись отсутствием начальника строительства, соорудил плотину скоростным, но неизученным и непроверенным способом. Плотина через год рухнула, Пожого был осужден на десять лет. Сейчас он возвращается домой, не предупредив — «по своей давнишней привычке» — жену телеграммой: «нежданная радость вдвое сильнее той, которую ждешь!» Но Пожого опоздал. Он приезжает на похороны. В последнем письме мужу Наташа писала: «Я умираю не от болезни — от усталости». Слишком тяжело ей пришлось, никогда она не жаловалась, работала за двоих, а Иван Петрович ее усталости не замечал, уж очень был увлечен своим делом. И вот — не дождалась.

Пожоге, очевидно, невесело. Правда, его реакция на случившееся несколько неожиданна. Увидев жену в гробу, прочитав ее последнее письмо, он «понял, чего ему хотелось, — спать» (?). И вот тогда-то, полувосне-полунаяву, примерещились ему впервые синие ветры, и он вспомнил, что «много раз встречал вот такие синие ветры». А потом возникла в его сознании покойница Наташа, и он явственно услышал ее голос: «Не бойся синих ветров. Бури — это жизнь...»

Эта грустная сцена звучит своеобразным прологом повести. Слова Наташи: «Бури — это жизнь» — воспринимаются героем как ее завещание. Центральным конфликтом повести — внутренним и внешним — становится то и дело возникающий перед героями вопрос: можно ли обойтись без «бурь» и «си-

них ветров» или без них нельзя? Пожого, а за ним и автор считают, что нельзя обойтись, и потому, когда случается, что барометр показывает «ясно», то «бури» и «ветры» необходимо придумать, даже создать, иначе всему на земле грозит затишье и запустенье, а людям — моральное разложение.

Представлена в повести и противоположная точка зрения.

Эти две «точки зрения» персонажируются в характерах двух главных героев — старых друзей-противников — Пожого и Сереброва («Мы с тобой — единство противоположностей, без которого нет движения вперед, — говорит Серебров. — Ты мой хороший враг»). Когда-то они вместе учились, долгие годы вместе работали. Серебров и был тем начальником строительства, отсутствием которого главный инженер Пожого воспользовался, чтобы попытаться осуществить на практике «свой метод»... Потом Серебров «вытащил» Пожого из тюрьмы, помог не просто досрочно освободиться, но получить при освобождении орден, звание кандидата наук, пост главного инженера на строительстве огромной Волжской гидростанции...

Это, кстати сказать, очень неясное место в повести Е. Карпова. Тюрьма как факт биографии весьма часто пересекает жизненный путь литературных героев в повестях и романах последнего времени. Но подходить к этим горьким фактам следует, разумеется, дифференцированно. Очевидно же, что между изоляцией преступников, соблюдением Уголовного кодекса — и нарушениями социалистической законности, с которыми партия ведет последовательную и непримиримую борьбу, нет и не может быть ничего общего. И уж затрагивая столь трудную тему сегодня, нельзя отделяться полунамеками или же использовать тюремный «антураж» для прикрытия какого-нибудь надуманного конфликта...

Кто же все-таки Пожого — невольный преступник или жертва? Можно, конечно, рассуждать, что с ним случилось несчастье; в таких случаях говорят: «Знал бы — соломки подстелил» или «От тюрьмы не зарекайся» и т. д. Но некоторые, так сказать, нелады с законностью налицо: по его прямой вине произошла катастрофа. Правда, вина непреднамеренная — он хотел сделать как лучше... Однако едва ли стоит путать реабилитацию честных людей, брошенных в тюрьму по наветам негодяев, извращающих

социалистическую законность, со служебными преступлениями, пускай даже не умышленными.

Но вот рассуждения Пожого о самом заключении — в его письмах. Письма эти он писал Алле — дочери Сереброва, они хранятся у нее, перевязанные розовой лентой. Пожого в день возвращения в Москву перечитывает их и сам удивляется: такими они кажутся ему «умными» и «складно написанными», «почти в каждом есть какая-нибудь мысль» (!). «Я, дорогая Аллочка, счастливый человек... — пишет дочери Пожого. — Посмотрим, что у меня было и что осталось. Жизнь была — жизнь осталась. Здоровье было — осталось. Солнце, небо, луна, воздух были — остались! Свободы, думаю, у меня отняли процентов двадцать пять. Просто (!) колючей проволокой и тюремным уставом ограничили территорию передвижения. А свобода мыслить, чувствовать, работать, радоваться земле и людям осталась при мне. Я коммунист. Конечно, отобрали у меня партбилет. Лишили права платить членские взносы, ходить на собрания. Но я-то по своим убеждениям, стремлениям не перестал быть коммунистом... Выходит, у меня отняли самую малость». «Молодец, Иван, молодец», — шепчет наш герой, перечитывая письма. И дальше — о бытовой стороне жизни в заключении, о «важном открытии», которое он сделал: «Бифштексы, шашлыки, пирожные, кофе-гляссе — это выдумки пресыщенных людей...»

Словом, тюрьма для Пожого оказалась каким-то детским наказанием, способствующим его самоусовершенствованию: поставили в угол, а потом смилостивились — пригласили к столу! Во всяком случае торжественное появление Пожого в Москве («Ой, как ты поправился, как помолодел!» — восклицает Аллочка, увидев только что вернувшегося из тюрьмы, похоронившего жену Пожого; «Поздоровел, помолодел», — отметил про себя и Серебров), лестный для героя прием, выдвигание его на руководящую работу вносят в повесть излишне триумфальную ноту.

И вот Пожого и Серебров опять на большой стройке, опять Серебров — начальник, Пожого — подчиненный. Они живут в соседних коттеджах. в «дворянском гнезде» (так называют на стройке действительно чуть ли не барский поселок, в котором расположилось начальство. В коттедже восемь

комнат, мебель «из дорогих пород дерева», золоченые хрустальные люстры, бархатные скатерти, шелковые китайские покрывала, стены облицованы дубом и т. п.).

Серебров — человек спокойный, осмотрительный, умелый руководитель; Пожого — горячий, рискованный, думать не думающий о «дипломатии», режет в глаза правду-матку, не признает компромиссов.

Приятель бесконечно и порой резко спорят, но остаются друзьями. Спорят за обедом, за «кокروشкой с сухой таранью и редиской» или за нежно-розовой паровой осетриной, «двойной ухой», свежими огурцами, помидорами, вишнями, арбузами, дынями; спорят за пивом, холодным шампанским, коньяком, кофе и тортом. Когда они спорят, то ходят по мягким коврам кабинета в коттедже или, сняв башмаки, забираются оба на широкую тахту. А иной раз спорят, «раздевшись до трусов» и поливая цветы... Спорят они и о «веселой революции на Кубе», спорят и «философствуют» о смерти. («...скажу по секрету, стал я смерти бояться», — говорит Серебров. Пожого в ответ «пошутил»: «Чего ж ее бояться? Жизнь — сказка, смерть — развязка, гроб — коляска, покойна, не тряска, садись да и катись». — «Правильно. А все-таки боязно...») Философия эта, мягко говоря, не глубокая, да ведь бог его знает, о чем только не начнешь рассуждать после выше перечисленного гастрономического изобилия, сняв башмаки или «раздевшись до трусов»...

Чаще всего и особенно ожесточенно спорят они о том, что, так сказать, важнее: «человек или план»? Как это ни странно, разговор на тему «что важнее», рассуждения о том, что экономическая выгода может быть достигнута вопреки благу человека, противопоставление «производственного» «морально-этическому» — все эти, казалось бы, давно решенные в социалистическом обществе вопросы для героев «Синих ветров» как бы в новинку.

Благодушный Серебров, безо всяких угрызений совести пользующийся удобствами своего коттеджа, полагает, что «главное сейчас — это человек»: «Мы... идем к ближайшему рабочему дню, чтобы люди могли больше и лучше отдыхать, мечтать, философствовать, чтобы они могли заниматься музыкой, литературой и стать по-настоящему красивыми людьми». Он против того, чтобы работать в «бешеном ритме, который изматывает людей», против бессон-

ных ночей, адской работы в ледяной воде и т. п.

У Пожого все не так. Его раздражает коттедж, вдвоем с воспитанником он переходит в обывочную трехкомнатную квартиру, он подчеркнуто демократичен с шофером, сторожем, рабочими, говорит Сереброву в глаза о барских замашках (что, правда, не мешает ему регулярно ходить в серебрянский коттедж то обедать, то ужинать). И упорно, настойчиво и страстно требует и добивается наконец штурмовщины в работе. Он предлагает завершить перекрытие Волги на год раньше срока, сэкономив пятьдесят или больше миллионов рублей.

Что ж, риск. Но «риск, дорогой мой Ро-мушка,— говорит он Сереброву,— отец геня. Да если бы человек не рисковал, он и ходить бы не умел, а не то что летать». Серебров отвечает «с ехидней»: «Если поднатужиться — пятьдесят миллионов (экономии.— Ф. С.), а если взмылить людей, так можно и сто пятьдесят выжать. Жми!» И далее: «Семьдесят миллионов рублей экономии? Но что такое эти миллионы в сравнении с жизнями и здоровьем наших людей?»

Пожоге порой и самому кажется, что он перебарщивает, он вспоминает жену, всю жизнь так много работавшую, не дождавшуюся его, снова вспоминает слова из ее последнего письма: «Умираю... от усталости» — и тогда думает, что ведь именно он несет ответственность за ее смерть: «Слишком большую тяжесть взвалил на ее плечи». Но Пожога отмахивается от этих воспоминаний, проявляет кипучую энергию, вовлекает в свою затею инженеров, партийную и комсомольскую организации, рабочих, много говорит о романтике и о равнодушных, спрятавшихся за план бюрократов и формалистах («Мы строители!.. Мы не можем все время сидеть в теплых комфортабельных квартирах — у нас тело начинает чесаться»). Наконец и Серебров не выдерживает: «Скажи, что я тебя поддерживаю... — говорит он Пожоге, — как товарищ, друг, как человек одной закалки я тебя понимаю и поддерживаю. А как начальник строительства — нет. Обстоятельства не те, время не то».

Не правда ли, странная, так сказать, психологическая неувязка в рассуждениях Сереброва? С одной стороны, «как товарищ, друг, как человек одной закалки»,

а с другой — «время не то». Если ты, руководитель, коммунист, понимаешь, что прошли времена штурмовщины, что планы составляются с учетом экономических возможностей, направленных прежде всего на благо человека, то как же это «с одной стороны», но и «с другой стороны»? Или Серебров просто на всякий случай здесь перестраховывается?

Между тем на стройке все-таки начинается зимний штурм Волги, «грязные, заросшие, как дикари, утомленные до последней степени» люди добиваются в конце концов успеха. Правда, бывало, что строители работали по десять—двенадцать часов в сутки, а то и бессменно несколько суток, «из-за несоблюдения техники безопасности наблюдается травмирование отдельных рабочих», во время бурана электромонтер упал с опоры и сломал ногу, были случаи обморожения, «два человека утонули в майне. Их на силу откачали». «И ты нам мозги не заправляй — сами грамотные, — кричат разнервничавшиеся строители, — ты хочешь, чтобы мы построили гидростанцию и уехали отсюда калекками?» «Четверо суток не жравши, не спавши! Пообморозились! У Кати ноги сплошь в волдырях. И это на такой стройке! Позор!»

И тем не менее Пожога и его друзья не унывают. «Сейчас на стройке трудно, возможно, будет еще труднее. Но это те трудности, которые делают человека настоящим человеком, борцом».

Впрочем, судя по повести, трудности там были несколько иного рода. Уже упоминавшаяся Алла, приехавшая на стройку «перевоспитываться», говорит Пожоге: «Я понимаю трудности при забивке шпунта новыми скоростными вибраторами, при намыве дамб в зимних условиях — это чисто инженерские трудности. Но ведь не они были главными в эти шесть месяцев, а какие-то жалкие доски, железо, способ их перевозки. Но ведь сейчас наши люди делают это легче и проще, чем раньше ткали полотно. Так зачем же этот зимний аврал?» У Пожого, в сущности, аргумент один: «Риск... отец геня». Один раз он рискнул — угодил в тюрьму и сам признавался: «Я хотел получше и побыстрее построить плотину, принести пользу своему народу, а нанес ему огромный ущерб — плохо рассчитал, не продумал хорошенько... За это меня, может, и расстрелять надо было...» Но теперь Пожога и думать позабыл и о прошлом суровом само-

осуждении, и о заслуженном наказании. Задуманный им «рывок» опять оказался плохо спланированным, не обеспеченным необходимыми орудиями и механизмами, продуктами питания — успех его был во многом вынесен на плечах «ребят».

На прямой упрек Аллы в бесхозяйственности и бестолковщине Пожого предпочитает не отвечать, а начинает обличать Аллу в том, что у нее «кость жидковата».

«Гм... Раз борьба, значит и жертвы», — резонерствует Пожого. Конечно, мол, двадцатый век, космические корабли и автоматика, но там «логичные и постоянные законы физики, химии, математики и прочее. Здесь же мы имеем дело с людьми. А человек-то крайне противоречив и часто не логичен... Ведь недаром же потребовались многие тысячелетия, чтобы Маркс и Энгельс смогли открыть законы существования и развития человеческого общества...» До чего только не додумается Пожого, чтобы оправдать свою бесхозяйственность, — и Маркс и Энгельс, и закон развития человеческого общества! А дело, разумеется, не в этом, а в необъяснимом, но вполне «принципиальном» стремлении держать человека в «постоянном напряжении». Зачем?

Очевидно, только затем, чтобы «тело не чесалось» в комфортабельных квартирах, или для того, чтобы хоть чем-то занять молодежь, а то, как говорит начальник краснознаменного земснаряда, «мои орлы, как начнем зимнюю вольнку тянуть, запыняются, захулиганят. Как нудятся, как нет настоящего дела, так милиции работы хватает». Делать не абсолютно обязательное дело, рискуя жизнью, здоровьем людей, государственными средствами, специально ориентироваться на трудности, якобы необходимые в воспитательных целях, — не правда ли, странное понимание общественной пользы? Впрочем, Пожого следующим образом формулирует Алле свое представление о жизни, которое считает непререкаемым: «Ты сам по морде получаешь, другим даешь. Кому-то ребра сломали, а кому-то и голову сняли. Ну и что?! Это жизнь, а не балабайка с одной струной!»

В чем же все-таки пафос повести Е. Карпова? Что утверждает автор, против чего негодует? Кто прав — равнодушный барин Серебров или беспокойный энтузиаст Пожого?

Казалось бы, правда на стороне Сереброва — прошли времена штурмовщины («го-

рячие стройки тридцатых годов... с кострами, землянками и главным рычагом «давай-давай» ушли», — резонно замечает Серебров). Но все авторские симпатии тем не менее, как мы видели, отданы Пожого. Все окружающие только что не боготворят его (Серебров считает Пожого «особенным человеком»; «Мы пойдем за Пожогой!» — кричат комсомольцы; на митинге, посвященном окончанию строительства, Пожого обнимают и целуют; Катя в капроновом шарфике вносит у него «на шею, плачет от радости и говорит, что любит его и т. д. и т. п.»).

Но разве способен Пожого, каким мы видим его в повести, руководить делом и людьми так, как этого требует сегодня партия, проводя решительную и последовательную борьбу со всякой штурмовщиной, неорганизованностью, бытовой необеспеченностью новостроев? Разве искусственно создаваемые якобы в «воспитательных» целях трудности имеют какое-либо отношение к тому, что составляет основной закон нашей производственной жизни — инициативе трудящихся, творческому отношению к труду, выполнению и перевыполнению государственных планов? Пожого и в голову не приходит такое понимание современных задач. Больше того, он просто не способен додумать до конца хотя бы одну мысль. Так, однажды, поднимаясь в лифте на девятый этаж, Пожого вполне трезво рассудил: «Хорошая штука штормы, но иногда человеку необходим и тихходный одноступенчатый лифт». К сожалению, пойти дальше в своем рассуждении, сделать хоть какой-то обобщающий вывод он не смог. «Единственная мысль, которую ему удалось додумать до конца, была совсем маленькой: «Хорошо, если бы лифт поднимался подольше».

Чаще всего Пожого просто отмахивается от трудных мыслей, «отдается своим чувствам». Это очень привлекательно: «тут не надо никаких усилий — только опустить поводья, дай волю скакуну настроения». А завозит его «скакун» порой далеко. «А надо было бы ему смазать разок», — думает он об одном из своих «идейных» противников. «Ух, скотина, глист! Надо бы ему нар! фонарей привесить», — размышляет Пожого, «вышвыривая в коридор» не понравившегося ему мужа Аллочки. «Я всегда таким фигурам откручиваю головы», — меланхолично замечает он, когда ругают лукавого предсе-

дателя постройкома. Трудно здесь согласиться с автором, извиняющим многие черты характера своего героя «непосредственностью, доверчивостью». Странная, скажем прямо, непосредственность!

Своеобразно отношение Пожого к литературе, искусству. «Дайте что-нибудь интересное. Про людскую гущу...» — обратился однажды Пожого к продавщице в книжном магазине. «Продавщица понимающе (?) кивнула и подала «Братьев Карамазовых». Однако «Братьям Карамазовым» не повезло: раскрытая на первых страницах книга «несколько раз ночевала на полу у кровати». Это литература. А вот музыка, кино: «Музыку Иван любит послушать и в кино не прочь сходить, если веселая картина. Вот именно — не прочь. Но не больше. Ну и что из того? Разве это как-нибудь сказалось на его судьбе инженера, повлияло на качество построенных гидростанций?» Любопытное признание. Едва ли следует устанавливать прямую зависимость между художественны-

ми вкусами, пристрастиями человека и его производственной деятельностью, отношениями с людьми. По-разному бывает. Но в нашем случае очевидно, что грубость и безответственность Пожого находятся в полном логическом и психологическом соответствии с его эстетическими запросами и умственным кругозором. А между тем в повести именно Пожого судит об искусстве весьма категорично, считает себя вправе решать судьбы людей, к искусству причастных...

Но главное — поразительная «философия», на которой Пожого настаивает и которую, при полном сочувствии автора, проводит в жизнь: да здравствуют трудности! Если их нет, то их надо создать, — ведь человек должен все время слышать молодецкий посвист «синих ветров»!

Что-то не по себе и от этого посвиста, и от этих «синих ветров», поначалу выглядящих так заманчиво-романтически.

Ф. СВЕТОВ.

★

О «КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ» ПОВЕСТЯХ ГЕННАДИЯ ГОРА

Геннадий Гор. Докучливый собеседник. Научно-фантастическая повесть. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 247 стр.

Геннадий Гор. Странник и время. Фантастическая повесть. «Звезда», № 6 и 7, 1962.

Пока ученые и философы спорят о том, может ли машина мыслить, быть «живой», иметь личность, писать лирические стихи или литературоведческие статьи, писатели-фантасты для себя давно уже «решили» этот вопрос. Робот — искусственный, машинный человек — победоносно шагает по страницам научно-фантастических романов, повестей и рассказов, мы видим его на экране и на сцене. Еще бы! Как прозаику, драматургу, сценаристу не использовать и не обыграть столь эффектное и удивительное действующее лицо! Кибернетика и кибернетические машины прочно вошли в сюжетный ряд современной научной фантастики и социальной утопии наряду с атомом, космосом, химией и биологией.

Среди опубликованных в прошедшем литературном году вещей научно-фантастического жанра внимание читателя и рецензентов привлекли две повести ленинградского писателя Геннадия Гора — «Докучливый собеседник» и «Странник и время». Первая повесть цельнее по замыслу и «чище» по жанру — жанру современной научно-технической и философской утопии. Вторая по-

весть, написанная, по-видимому, по сюжетным следам первой, бледней, анемичней, а ее жанровая характеристика резко сдвинута в сторону достаточно старомодной «волшебной сказки». Успех встретил писателя там, где он смело пошел навстречу современности — в теме, жанре, композиции, отдельных фигурах. Неудача — там, где неторопливое наблюдение и точное осознание действительности оказалось замененным обкатанными литературными стандартами и неубедительными уже для сегодняшнего читателя интеллектуальными «волшебствами».

«Докучливый собеседник», хотя там имеются и космос и биология, посвящая кибернетике и кибернетическим роботам. В книге их более чем достаточно: робот-двойник Твое Второе Я, робот Анти-Ты, запоминающий робот Ипс, роботы — геологи и инженеры и даже покашливающая механическая старушка — лаборантка-автомат. Все эти устройства составляют беспокойный штат космического Путешественника, прибывшего еще в доисторические времена на нашу Землю с далекой планеты Анеидау. «Главный» из них — по значению не техническому, а

художественному — робот Анти-Ты, двойник создавшего его анеидайца Рата, противника Путешественника. Это робот-циник, скептик, нигилист. Он-то и является докучливым собеседником Путешественника, диалог с которым занимают достаточно большое место в книге.

Но давайте по порядку. Это тем более необходимо, что повесть имеет довольно сложный сюжетно-композиционный механизм.

Первый план повести: Ленинград, научно-исследовательский институт, больница, ученые и литераторы, а также (в двух-трех сценах) Париж. Перед нами проходят: профессор Ветров, археолог, нашедший огромный череп гипотетического путешественника; его приятель Арбузов, спасший в годы войны и опубликовавший рукописи Ветрова вместе с единственной фотографией находки, уничтоженной взрывом немецкой фугаски; профессор Алугин, морфолог, оспаривающий подлинность этой фотографии и космическую гипотезу Ветрова; член-корреспондент Бородин и аспирант Богатырев, оба физиологи, математики, конструкторы, занятые работой по созданию искусственного мозга; физиолог, психиатр и автор научно-фантастических романов профессор Тмарцев; детский писатель-фантаст Виктор Марсианин; журналист и фельетонист Глеб Морской; наконец, зарубежный философ-экзистенциалист Николай Арапов.

Второй план повести — это герои и события научно-фантастической книги о космическом Путешественнике и его докучливом Собеседнике, книги, которую как раз и пишет профессор Тмарцев — едва ли не центральное лицо первого плана повести. Причем здесь, то есть в этой научной фантастике, опять-таки нужно отметить два достаточно различных слоя повествования. Во-первых, сам Путешественник — физиолог и кибернетик, единственный из оставшихся в живых анеидайцев — пассажиров разрушенного космолета, живущий на первобытной Земле в обществе своих роботов и в призрачном соприкосновении с наблюдаемыми им пещерными людьми. И во-вторых, воспоминания Путешественника (здесь ему помогают роботы-интеллектуалы) о покинутой им, по-видимому навсегда и безвозвратно, родной планете, на которой осталась его жена Дуона, а также физиолог и кибернетик Рат, создатель робота Собеседника, в которого он «вложил» «часть» своей лично-

сти и которого, так сказать в порядке мести, отправил рядом с Путешественником в беспредельный космос... Даны и другие фигуры высоко развитой цивилизации Утреннего Мира, где особенно сильное движение получили биология, биохимия, биоэнергетика, биомеханические машины и т. п.

Все три композиционных слоя повести Гора (обрисованные здесь лишь приблизительно) не только вложены друг в друга, как цветастые матрешки, но и смешаны между собой. Перед читателем поочередно возникают герои бытовые и фантастические, действующие или только вспоминаемые, так что чтение этой книги порой напоминает разгадывание хитроумной головоломки и требует чуть ли не специального, дополнительного «запоминающего устройства» у читателя.

Спрашивается: а для чего такая изощренная литературная конструкция? В принципе стремление к сложной, развитой форме повествования вызвано, по-видимому, тем, что современная философская фантастика не может уже больше довольствоваться всевозможными дядями, профессорами, начальниками и прочими, терпеливо разъясняющими своим племянникам, ученикам, подчиненным и т. п. разницу между термоэлектричеством и сегнетоэлектричеством, или удачно вклеенными прямо в сцену объяснения в любви страницами из научно-популярной брошюры о перспективах развития фотоэнергетики в сельском хозяйстве... Перенесение композиционных приемов, уже завоеванных (на ином образно-психологическом материале) «большой» литературой, в фантастический жанр — дело вполне естественное и даже похвальное. Другой вопрос — степень удачности и умелости такого перенесения. Итак, что же дают читателю наши три литературные матрешки мал мала меньше, вложенные друг в друга?

Общий пафос вещи — в ее интеллектуализме. Археология, антропология, биология, медицина, физиология, кибернетика. «Память» жизни и «жизнь» памяти. Мышление людей и «мысленные» механизмы. Сознание и информация. Информация и жизнь. И опять и опять мозг — самая удивительная из «машин», созданных природой и человеком. Внимание рассказчика все время возвращается к «гравитационному центру» книги, к роботу Анти-Ты, машинной электронной личности, Собеседнику Путешественника, демонстрирующего и утверждающего

возможность познания познания, искусственного создания — но не обязательно в биологическом материале — живого и мыслящего.

Многoproблемность книги лишь кажущаяся. Ее тема — философские вопросы кибернетики. Робот-отрицатель разговаривает с нами о сегодняшних заботах физиологии и кибернетики. Пресловутый спор на тему «человек и машина», «физики и лирики» и т. д. ведут уже не человек и человек, но человек и машина, и такая ироническая ситуация убедительно вскрывает надуманность этого догматического противопоставления.

Этот робот-новинка, искусственный мозг, кибернетическая машина, полуорганизм-полумеханизм, электронная, биохимическая личность — наиболее любопытное «лицо» в повествовании Г. Гора. Докучливый Собеседник и интеллектуальный механический тренер Путешественника воплощает в себе мифистопелевское и демоническое, противоречивое и противоречащее начало в человеке; антиномию разума и морали; отрицание разрушительное и животворное; противоречие, которое ведет вперед... Несмотря на свою известную традиционность — это самый «современный», а значит, и самый «интересный» из всех действующих лиц повести. Именно в этой фигуре больше всего, пожалуй, проявляется одна из ведущих задач книги: не поучение, но размышление; не только приобретение знаний, но и развязывание фантазии и мечты.

Все это хорошо. Ну, а как обстоит дело с остальными персонажами на страницах рецензируемой повести? Ведь в литературе — фантастической ли, детективной, приключенческой — нам все равно важен прежде всего человек и человеческое, даже когда оно изображается или проявляется в роботах из металла и пластмассы. К сожалению, социально-психологического открытия, даже самого маленького и скромного, больше не получилось. Перед нами все те же давно знакомые лица.

Вот, например, профессор Ветров — непризнанный, но хороший ученый. Вот профессор Апугин, доктор двух или даже трех наук, ученый признанный, но плохой, противник хорошего. Вот профессор Бородин, «Борода», могучий и чертыхающийся, олицетворение талантности русской науки, любящий, как говорится, жизнь во всех ее проявлениях. Вот научный сотрудник Бога-

тырев, еще юный, но уже — к удивлению гардеробщицы Архиповны и пожарника Алексеева — вполне гениальный ученый. Профессор Тмарцев? Удачи в науке и неудачи в личной жизни. Философ Арапов? Опустошенный интеллигент и разочарованный эмигрант. Есть, конечно, и глупый иностранец — профессор Бенуа, приметы которого — восхищение русской водкой и изучение русской души.

Не лучше обстоит дело и с персонажами собственно фантастическими, в том числе и с роботами. Одни из них — психологические двойники бытовых героев: Путешественник — двойник Тмарцева; Дуона — та же верная жена Клава Рябчикова; лаборантка-автомат — так же как и мать Тмарцева Вера Исаевна — существует на ампула комической старухи. Другие — например, быstroногая дикарка И-е, злой волшебник Рат — взяты напрокат из сказочной фантастики или романтической мистики.

Психологическая индивидуализация персонажей достигается путем придания им прихотей, причуд, странностей. Так, Бородин любит быструю езду на автомобиле и современную живопись; кроме того, он почему-то честолюбец и интриган. Ученый Арбузов — из бывших затейников. Приметы Виктора Марсанина — любовь к сарделькам, золотой зуб, чудовишный портфель. В книге шесть профессоров, два Анатолия, радицитолог Миша, школьник Геогобар — необыкновенные имена, экстравагантные поступки, неслыханные специальности...

Геннадий Гор довольно свободно перекрещивает и сопоставляет бытовое и фантастическое, возвышенное и комическое. Но, к сожалению, не всегда точно и удачно выбирают и употребляются краски мелодраматические и юмористические, меланхолические и иронические. Вот примеры.

В повести почему-то очень много спят. Спит Арбузов рядом с уже проснувшейся чужой женой Анастасией Сергеевной. Спит, пуская пузыри, больной Рябчиков, и спит его спокойной дышащая законная жена Клава Рябчикова. Почивают и другие персонажи: студенты-археологи, Ветров, семья Богатыревых, сын Тмарцева Геогобар. Спит, «разбросав руки и ноги», похищенная роботом красавица из первобытной орды, и позорно просыпает ее бегство из кибернетического плена забывшийся недолгим сном космический Путешественник.

Через всю книгу проходит уныло-элегиче-

ская вереница ушедших, потерянных, разлученных со своими мужьями жен. Тамарцева не любит жены: ни первая, которая умерла, ни вторая, которая уходит к Арбузову. На долгие месяцы разлучен со своей женой Рябчиков; и хотя его Клава находится здесь же, в больнице, потерявший способность к запоминанию больной ее не узнает. Гибнет чуть ли не на глазах у Николая Арапова его жена Жермена — ее уведут гестаповцы. Разлучен — и, по-видимому, навсегда — со своей горячо любимой женой Дуоной Путешественник — их разделит космос, беспредельный, равнодушный...

Фантазия автора, иногда очень живая, в сценах на планете Анеидау принимает расплывчато-беспредметный характер: все эти аппараты «Внутри мгновения», «Быстрее минуты», музыкальная архитектура, оптические приборы, свободно управляющие не только погодой и ландшафтом, но и вообще пространством и временем. Это, строго говоря, уже разрушает жанр хотя бы и «философской» фантастики и переносит нас в детски-беззаботное царство сказочных волшебств и чудесных превращений. Чем иным, как не заколдованным замком злого волшебника, является, например, неприступное жилище Рата, расположенное в горах и защищенное грозвыми тучами и шаровыми молниями?

Итак, как, очевидно, уже убедился читатель, книга Гора несовершенна, достоинства и недостатки в ней противоречиво переплетены. И все-таки нам кажется, что достоинства «Собеседника» перевешивают его недостатки. В повести привлекает пафос логики и раздумий, фантастика и поэтика познавательного и ищущего, за введение в языковую и сюжетную ткань более сложных, чем в привычном повествовании, приемов литературного письма и композиционного построения. Да и самый путь, переход от примитивной популяризации и бойкого очерка к размышлению — это в конечном счете путь и перехода к читателю более зрелому и требовательному, думающему, знающему.

К сожалению, все эти моменты ослабли, а то и вовсе исчезли в новой повести Геннадия Гора — «Странник и время».

«Странник и время» — это нечто вроде своеобразного продолжения «Докучливого собеседника», не столько, впрочем, развивающего, сколько повторяющего его темы и мотивы. Перед нами опять смещенное про-

странство и время, кибернетика и биология, чапековские роботы и гофмановские двойники... Сюжет вещи — встреча нашего «замороженного» на триста лет современника Павла Погодина со своими потомками, а также знакомство его с жителем далекой планеты Тиомы — Бомом, прибывшим на Землю из другого астрономического пространства и исторического времени. Кроме того, разумеется, и разлука Погодина с женой Ольгой, и ожидаемая встреча с ней, возвращающейся из космического путешествия, «эйнштейновская» скорость которого сжала три столетия всего лишь до нескольких лет. В разлуке со своей оставшейся на Тиоме возлюбленной Лелорой живет и тиомец Бом. Все это дополнено рассуждениями и воспоминаниями, профессорами, знаменитостями, чудесами — энергетическими и информационными. Там имеются свои Бородины и Апугин (Обидин и Чемоданов), свои путешественники и собеседники, своя комическая старуха Людмила Сергеевна и т. д. Есть тут, конечно, и роботы, например, Митя, Женя, Валя, Миша и Владик, экспериментальные роботы-эмоционалы, почти люди, причем один из них — двойник Погодина — в тоске по Ольге даже пытается покончить с собой. Есть также и знакомые нам машины быстрого движения, оптические пейзажи, быт без вещей, материализация предметов, принципиально новые формы искусства и прочее. Но философской, интеллектуальной остроты «Собеседника» нет.

В фантастическом колорите новой повести слишком много произвольного и беспричинного. Написанная писателем сказка — это не волшебная сказка, наивная пленительность которой была связана с куда более низким уровнем технических и социальных сил общества. В то же время это и не фантастика нашего многосложного двадцатого столетия. Просто «чудеса» в век чудес никого не удивляют. Не получилось и современной интеллектуальной, философской сказки: ей нужны ирония, гротеск, иносказание — все то, что в первой повести столь обильно и свободно демонстрирует нам робот Анти-Ты.

И еще одно замечание. Немалое место в обеих повестях Гора занимают рассуждения о фантастическом жанре, вообще тема искусства, литературы будущего и т. д. Какова же «эстетика» писателя в интересующей нас области научной фантастики?

Наш автор совершенно недвусмысленно

выступает против фантазии только «близкой мечты», «близкого предела», «реально допустимого», державшей на привязи советскую научную фантастику еще в столь недавнем прошлом. Так же как и против сведения мышления к здравому смыслу, фантазии — к популяризации, научной фантастики — к «производственному» или «шпионскому» жанру. Писатель стоит за превращение технической фантастики в фантастику научную и философскую, умную и смелую; он защищает жанр реальной интеллек-

туальной сказки о далекой, но могущей завтра же оказаться неожиданно близкой гносеологической и социальной мечте.

Но для того, чтобы все это осуществить в своей творческой практике, нужно пореже оглядываться на литературное прошлое — Гофмана, Уэллса, Бабу Ягу и т. д., и пристальней всматриваться в развертывающийся перед всеми нами новый интеллектуальный век — космический и коммунистический.

Эд. ВАЛЬДМАН.



НОВОЕ О ТОМАСЕ МАННЕ

Thomas Mann. Briefe 1889—1936. S. Fischer-Verlag, 1961.

Томас Манн. Письма 1889—1936. Издательство С. Фишера. 1961.

Бывают прозаики, личность которых отчетливо просвечивает сквозь эпическую ткань повествования. Томас Манн был не из таких. Лиризм и патетика всегда были чужды художественному строю его книг. Томас Манн не только прячется за своими героями, но чрезвычайно мало обнаруживает себя и там, где он говорит от своего собственного имени. Порою кажется, что он сознательно отказывается от эмоционального общения с читателем. Эта сдержанность художника, умная объективность повествовательной манеры, иной раз переходящая в аристократический холодок, органически свойственна творческому методу Т. Манна, и отчасти именно на этом основана его неповторимая прелесть. Но отчасти именно это делает его книги столь трудными для восприятия.

А что же все-таки за человек был Томас Манн? На этот вопрос теперь, после его смерти, все полнее отвечают его письма. В недавно вышедшей объемистой книге, подготовленной дочерью писателя Эрикой Манн, собраны письма Т. Манна к разным адресатам; из тысяч документов, которые были в распоряжении составительницы, она постаралась отобрать самые важные (а сколько еще осталось под спудом!). Мы видим здесь различные аспекты многогранной личности писателя. На страницы этой книги — наконец-то! — прорвалась лирическая непосредственность, задушевность — то, чему заказаны пути в многотомные собрания сочинений.

Письма Томаса Манна наталкивают на общий вывод об автобиографичности всех основных его героев. Они очень различны,

эти герои. Но писатель вложил частичку самого себя и в великого Гёте из «Лотты в Веймаре», и в обаятельного и ничтожного авантюриста Феликса Круля, и в демонического композитора Адриана Леверкюна, и в летописца Леверкюновой жизни, старомодного, честного и робкого гуманиста Серенуса Цейтблома, — наверное, и в Иосифа из библейского цикла, и, уж конечно, во всех героев новелл, где речь идет о судьбах искусства в современном мире. Именно в этих новеллах наиболее отчетливо выступает драматизм судьбы самого писателя, ставится проблема, мучившая его с молодых лет: отрыв новейшей буржуазной культуры от истоков будничного, трудового человеческого бытия. И хрупкий, по-своему очень чистый душой принц Клаус-Генрих из романа «Королевское высочество», и беззлобно циничный Феликс Круль — по мысли Томаса Манна, тоже своего рода художники: они живут показной, ненастоящей жизнью, проходя по касательной мимо того, что радует, огорчает, тревожит или обременяет громадное большинство людей. Сближение явных социальных бесполезностей, ведущих паразитическое существование, с людьми искусства, то есть людьми творческого труда, может показаться советскому читателю странным и надуманным. Но для Томаса Манна в этом сближении была своя горькая логика: оно отражало его тягостные раздумья о греховности искусства, которое создается немногими и доступно немногим, — «господского» искусства, как сказал бы Л. Толстой. Ведь частичку самого себя Томас Манн вложил и в Савонаролу из драмы «Фиоренца» — в сурового Савонаролу, который го-

тов проклясть великолепные создания искусства Ренессанса, ибо, мол, нечестива та музыка, которая заглушает стоны угнетенных...

Сопоставление самого себя со своими героями — частый мотив в письмах Томаса Манна. И мотив этот особенно настойчиво возникает там, где писатель размышляет над призрачностью, искусственностью существования одаренной личности, отъединившейся от будничных дел и забот всех остальных людей. Молодой Томас Манн вставал перед дилеммой, которая была для него почти трагической. Он дорожил своим призванием, но чувствовал ненормальность положения художника в современном ему мире. В письме к старшему брату Генриху двадцатипятилетний Томас рассказывает о приступах душевной подавленности, доходивших до «совершенно серьезных планов самоуничтожения», и о том, как радостные переживания личного характера, пусть на время, облегчили его муки. «Одно они мне доказали, эти очень нелитературные, простые и живые переживания: а именно — что во мне еще есть что-то честное, теплое и доброе, а не одна лишь «ирония», что не все еще во мне опустошено, извращено и съедено проклятой литературой. Ах, литература — это смерть!.. Страшно подумать, что я скоро буду опять заперт с нею один на один, и я боюсь, что эгоистическое опустошение и извращение пойдет тогда вперед быстрыми шагами». Немного времени спустя Томас Манн опять пишет брату о том, как сильна в нем «потребность в энтузиазме, преданности, доверии, рукопожатии, верности...». Тоска по добрым и честным отношениям между людьми, по живой непосредственности человеческого общения — тоска, оставшаяся неутоленной и у Тонио Крёгера, и у Адриана Леверкюна, была хорошо знакома Томасу Манну. По письмам видно, насколько будущий создатель «Доктора Фаустуса» был душевно близок своим одиноким и опустошенным героям — и насколько он в о з в ы ш а л с я над ними. Достаточно хотя бы прочитать письма 1904 года к невесте Кате, чтобы убедиться, как трезво молодой романист осознавал опасности, которые таились в окружавшем его артистически-снобистском мире, и какие серьезные усилия он делал, чтобы не поддаваться духу «эгоистического опустошения». Эти письма дышат горечью самокритики: «Вы знаете, какую холодную, обедненную, чисто показную, чисто представительскую жизнь я вел в течение ряда лет;

вы знаете, что я в течение лет, в а ж н ы х лет, сам себя, как человека, ставил ни во что и хотел чего-либо достичь только как художник...» Подобные признания — а они повторяются не раз — начисто разрушают ставшее шаблонным на Западе представление о Томасе Манне как об аристократически-высокомерном сверхчеловеке от искусства.

Письма позволяют уточнить наше представление о пресловутой манновской иронии. Писатель склонен был ставить это слово в неодобрительные кавычки, когда речь шла об иронии как жизненной позиции, как о выражении брезгливой отрешенности от всего окружающего. Но он высоко ценил и отстаивал иронию как элемент свойственного ему художественного видения мира. Томас Манн обижался, когда иные литературные собратья пытались создать ему репутацию человека холодно-бездушного. Т. Манн хвалит педагога Э. Аккеркнехта за удачный разбор «Будденброков»: верно, что художественная зрелость этого романа проявляется в определенной дистанции между повествователем и изображаемым; правы те, кто «иронию «Будденброков» и все ироническое вообще не отождествляют с холодной насмешкой, а рассматривают как тенденцию к объективности». Тут уж становится совершенно ясно, для чего была нужна ирония Т. Манну-художнику. Она была для него средством для того, чтобы отделить себя от буржуазного мира и выразить свой критицизм по отношению к нему.

Незадолго до смерти Томас Манн процитировал в известном этюде о Чехове его слова: «Недовольство собой — основа всякого подлинного таланта». Тут он нашел нечто близкое строю собственных мыслей — критицизм Т. Манна всегда обращался не только вовне. Творческий труд, писал он Кате, дается легко разве только дилетантам и невеждам. «Ибо талант не есть нечто легкое, играющее, и это не просто умение. В корне своем это потребность, критическое познание идеала, неудовлетворенность, в силу которой умение приобретает и нарастает в муках. А для самых великих, наиболее склонных к неудовлетворенности, талант — величайший бич». Почти об этом же говорится в письме 1906 года к литератору К. Мартенсу: «Я убежден, что сегодня нельзя служить двум господам, наслаждению и искусству — для этого мы недостаточно сильные и недостаточно совершенны. Не

верю, чтобы сегодня кто-либо мог быть в одно и то же время художником и бонвиваном. Надо выбирать, и моя совесть выбирает созидание». Тут русскому читателю слышится отзвук уже не чеховского, а толстовского голоса: гладких, журущих и самодовольных мыслителей и художников не бывает!

Томас Манн был реалистом по главной своей творческой сути — это общепризнано в марксистской критике. Но задачи реалистического искусства он понимал очень по-своему. Он решительно отменяет мнение, будто задача романиста и вообще повествователя — выдумывать персонажей, изобретать фабулу: пусть этим занимаются посредственные беллетристы. «Я утверждаю, что величайшие художники в течение всей своей жизни ничего не выдумывали, а лишь наполняли своим душевным содержанием, пересоздавали заново то, что воспринято ими. Я утверждаю, что творчество Толстого по меньшей мере столь же строго автобиографично, как и мои собственные малозначительные сочинения». И тут же Т. Манн — как ни неожиданно может это показаться — сам себя называет по сути дела лириком! Весь контекст приведенных размышлений подтверждает, что источником искусства Т. Манн считает окружающую художника действительность, а не «выдумку», не «фантазию». Но, по его мысли, нельзя «практически отождествлять действительность с ее художественным отображением»; художник вправе обогащать картину жизни, дополнять реальный план аллегорического «идеального» планом. Томас Манн писал об этом известному поэту и драматургу Гуго фон Гофмансталу: «Мне кажется, что поэтическая аллегория больших масштабов — это высокая художественная форма, и, на мой взгляд, лучший способ возвысить роман — это внести в него идеальный, конструктивный элемент». Много лет спустя, по другому поводу, Томас Манн возвращается к той же мысли: «Реальное необычайно выигрывает в притягательной силе, когда через него просвечивает идея, символ». Так обосновывается в письмах Т. Манна совмещение реального и аллегорического планов — один из коренных принципов строения крупнейших его вещей, включая и «Волшебную гору» и «Доктора Фаустуса».

Однако любопытно, что именно по поводу «Волшебной горы» Томас Манн счел нужным сделать оговорку: философская, аллего-

рическая природа произведения не исключает в нем актуальных общественно-критических мотивов. В письме к австрийскому критику и публицисту (ныне видному коммунистическому деятелю) Эрнсту Фишеру Т. Манн говорит об иронической стихии романа «Волшебная гора»: он представляет собою как бы пародию на немецкий классический «роман воспитания» и тем самым выражает «состояние кризиса, в котором находится искусство». Но Манн признает, что «эпоха довоенного капитализма символически отражается в картинах мира Волшебной горы, и тут нет недостатка в социально-критическом свете, в моральном осуждении этого мира, которому предстоит погибнуть в грозах войны».

Томас Манн не раз пояснял свою точку зрения: писатель не обязан поучать; роман «Королевское высочество» написан не для того, чтобы осудить систему воспитания принцев, а «Волшебная гора» — не для того, чтобы раскритиковать постановку дела в высокогорных санаториях. Важен не столько непосредственный повод, по которому создана та или иная книга, не столько бытовой материал, который в ней переработан, сколько та идея, то обобщение, которое «просвечивает» сквозь образы реального мира. Однако Манн видел, что роман уже по своей жанровой сути толкает художника на разностороннее, многообъемлющее изображение действительности; роман охватывает разные сферы жизни — и уже в силу этого обязательно включает в себя важное общественное содержание. «Социальное — это моя слабая сторона, — писал Т. Манн вскоре после выхода «Волшебной горы», — это я признаю, и мне понятно, что я тем самым прихожу в противоречие с избранной мною художественной формой, романом, который стимулирует и несет с собой социальное... Роман — это значит социальный роман, и «Волшебная гора» до известной степени стала им — критика довоенного капитализма набежала как бы сама собой. Правда, «другое» — сплетение идей жизни и смерти, музыкальное начало — было мне гораздо, гораздо важнее». В творческой практике Томаса Манна — начиная, пожалуй, с «Будденброков», а тем более в последующих больших произведениях — конкретно-общественный и философски-аллегорический планы нерасторжимо связаны. Собственный творческий опыт давал писателю основание говорить, что роман — это

Gesamtkunstwerk, подлинно всеобъемлющее, синтетическое искусство. В противовес нынешним модернистским теоретикам, пытающимся вопреки очевидности объявить роман то ли умирающим, то ли мертвым, Томас Манн утверждал жизнеспособность этого вида искусства и придавал ему громадное значение.

Проблема романа приобрела для Т. Манна неожиданную остроту в годы фашизма, когда перед ним по-новому раскрылась связь искусства с общественной жизнью. В 1936 году в открытом письме к швейцарскому журналисту Э. Корроди Томас Манн выступил против попыток преуменьшить силы антифашистской эмигрантской литературы. Корроди утверждал, будто далеко не все видные писатели покинули Германию, будто в эмиграции оказались по преимуществу прозаики, но не поэты. Т. Манн сослался на имена Иоганнеса Р. Бехера и Бертольта Брехта: как можно говорить, что среди изгнанников нет подлинных поэтов? С другой стороны, нет оснований удивляться, что среди писателей-эмигрантов преобладают романисты: ведь роман — искусство, проникнутое критикующей мыслью по самой сути своей, — может существовать только вне границ фашистского рейха. «Чистое стихотворство — чистое, поскольку оно осторожно держится в стороне от общественных и политических проблем, что с лирикой далеко не всегда бывает, — подчинено иным законам, нежели современная прозаическая эпопея, роман, который в силу своего аналитического духа, осознанности, в силу неотъемлемо присущего ему критицизма должен был бежать из социальных и государственных условий, где искусство иного рода может продолжать невозмутимо цвести в сладостной отрешенности от мира сего».

Сознание социальной ответственности художника, высокое понимание его гуманистических задач, — понимание, ставшее у Т. Манна особенно отчетливым и острым в годы эмиграции, — кладет резкую границу между Манном и литературой модернизма, несмотря на все те дружеские и духовные связи, которые запечатлены в его письмах к Франку Ведекинду или Артуру Шницлеру, к Зигмунду Фрейду или Андре Жиду. Можно и по многим ранним письмам проследить, насколько Томас Манн был принципиально отличен от литераторов и мыслителей декаданса даже и тогда, когда он сам не слишком заботился о том, чтобы отмежевать се-

бя от них. Он не раз говорил о том, что темы болезни и смерти представляют для него как художника особую привлекательность. Но еще в дни первой мировой войны Т. Манн пишет по поводу своей новеллы «Смерть в Венеции»: согласно авторскому замыслу смерть предстает там как «искушающая и противная нравственности сила» — такой взгляд предельно далек от декадентского культа смерти... А после выхода «Волшебной горы» Томас Манн решительно отводит попытки истолковать ее в духе иррационалистической, пессимистической «враждебности к жизни» и сам определяет свой роман как «книгу доброй воли». «Встречали ли Вы где-либо в истории литературы и искусства попытку подать смерть как комическую фигуру? А ведь буквально это происходит в «Волшебной горе»... Не только герой «Волшебной горы», но и ее автор хочет быть в своих мыслях свободным, разумным и добрым. Вот это, — говорит Манн, — я и называю доброй волей и не хотел бы, чтобы это называли враждебностью к жизни».

Добрая воля, присущая художнику-гуманисту, влекла его в последние десятилетия жизни к активной политической, антифашистской деятельности: письма дают этому множество новых подтверждений. Они убеждают и в другом: живейший интерес к политике возник у Томаса Манна задолго до ухода в эмиграцию.

О сборнике антивоенных статей Роллана Т. Манн писал: «Книжка под самообманном названием «Над схваткой»...» Это замечание не лишено меткости: выступая против зачинщиков первой мировой войны, Роллан, конечно же, не стоял над схваткой, а вмешивался в схватку. Но и название книги Т. Манна «Размышления аполитичного» было столь же самообманным: это была остро политическая книга.

По письмам можно проследить трудный путь, каким шел Т. Манн на исходе первой мировой войны и после нее, преодолевая бюргерски-консервативные, националистические предрассудки и иллюзии.

Отходя мало-помалу от того особо утонченного националистического почвенничества, которому он поддался в годы первой мировой войны, Томас Манн еще задолго до установления гитлеровской диктатуры все более резко и пронизательно судил о надвигающейся опасности, о деятельности «псевдополитической молодежи», объединявшей-

ся в реакционные группировки. «Имеет ли этот так называемый национализм что-либо общее с отечеством, с какой бы то ни было идеей отечества? По-моему, нет».

Защищаясь от нападков со стороны молодых фашиствующих «динамитчиков», Т. Манн с глубоким чувством достоинства утверждал: «Я отстаиваю не мою славу, а национальную подлинность дела моей жизни — и отстаиваю наперекор людям, которые для защиты своей немецкой сущности не вооружены ничем, кроме крика». Эти строки как бы предвосхищают написанные десять лет спустя гневные слова Гёте из «Лотты в Веймаре»: «Мнят, что они — Германия. Но Германия — это я». Почти так же, кстати сказать, писал и сам Томас Манн в эмиграции, обращаясь к заслуженному литературо-антимилитаристу Рене Шиккеле: «Вы, и я, и мой брат, от работы которого над «Генрихом IV» я ожидаю многого, должны делать наше дело очень хорошо, чтобы про нас в будущем могли сказать, что в это время мы и были, собственно, Германией».

Томас Манн вполне отчетливо понимал, что гитлеризм не есть простая историческая случайность, что он имеет глубокие корни в германской истории. Стоит отметить, что в годы эмиграции Т. Манн оценивал прочность фашистского режима, пожалуй, более трезво, чем те передовые писатели, которые склонны были принимать желаемое за действительное. В 1934 году Т. Манн писал Рене Шиккеле, что не следует обольщаться признаками растущего недовольства фашизмом. «Ведь немецкий народ податлив, и так как он не любит свободу и воспринимает ее как разнузданность, — он, несмотря на тяжелые разочарования, все же будет чувствовать себя под новой, грубо дисциплинарной властью все же в более правильной форме, более «счастливым», чем при республике. К этому еще добавляются неограниченные средства одурачивания, одурманивания и оболванивания, к которым прибегает режим. Умственный и моральный уровень давно так низко пал, что просто нельзя будет добиться того порыва, который необходим для настоящего возмущения».

Все это не мешало Т. Манну твердо надеяться на падение фашизма, пусть даже и не в близком будущем: «Я — оптимист au fond et à la longue¹. Эти люди неминуемо, даже заведомо и вопреки самим себе совер-

¹ В сущности и в дальней перспективе (франц.).

шают ошибки (не говоря уже о преступлениях), которые должны привести их к гибели. Да и вообще третьему рейху обеспечена судьба всех дурачки националистических, враждебных миру и духу немецких начинаний».

Письма Томаса Манна говорят не только о силе и последовательности его антифашистских убеждений, но и о том, насколько чутко и в конечном счете трезво он осознавал революционно-преобразующий смысл нашей эпохи, и в этом смысле они особенно убедительно опровергают воззрения тех западных исследователей, которые изображают Томаса Манна либо художником иррационалистически-декадентского толка, либо охранителем устоев буржуазного общества.

В апреле 1917 года Томас Манн пишет: «То, что сейчас происходит, — это вообще не «война», а некий переворот, последствия которого еще трудно предвидеть и для которого еще не нашли имени. Так же как во время французской революции, жизнь идет своим ходом для невоющих (в той мере, в какой кто-то может быть невоющим)...» Томас Манн вряд ли тут имел в виду революционные события в России: о них здесь вовсе не упоминается. Тут скорее подразумевается весь комплекс явлений мировой политики, все события, так или иначе связанные с первой мировой войной; в этих событиях, в их возможных, ближних и отдаленных, последствиях Т. Манн прозревал потрясение основ всего господствующего строя жизни — потрясение не менее глубокое, чем то, каким была в свое время Великая французская революция.

Эпоха, наступившая вместе с первой мировой войной, мыслилась Томасу Манну и в последующие годы как полоса неожиданных и грозных событий, как период, богатый острыми конфликтами, несущий с собой созидание чего-то неизведанного, нового и — по необходимости — разрушение старого.

Томас Манн еще в начале двадцатых годов задумывался о социализме, о коммунизме как о чем-то исторически неминуемом — как о закономерности, которая по-разному отзовется на судьбах каждого народа. И эта перспектива не столь уж смущала его. «Коммунизм, как я его понимаю, заключает в себе много доброго и человеческого: ведь его цель в конечном счете — постепенное исчезновение государства, которое не может не быть орудием власти, очеловечение и обезвреживание мира путем его деполити-

тизации. Кто может по существу быть против этого? Правда, при мысли о «пролетарской культуре» я дважды и трижды осеняю себя крестным знаменем». Мы тут видим противоречивость позиции писателя: недоверчивое отношение к политике как таковой, застарелые предубеждения против той культуры, которую будет строить победивший пролетариат, и вместе с тем смутное и стойкое ощущение тех новых горизонтов «очеловечения» жизни, которые раскроются с торжеством коммунизма.

Новая публикация писем Томаса Манна

доведена пока до 1937 года. Нам еще предстоит полнее познакомиться с документами последних двух десятилетий его жизни. Но уже сейчас личность художника вырисовывается перед нами полнее, чем мы представляли ее себе ранее. Письма Томаса Манна говорят о необычайном богатстве его внутреннего мира, о глубоком драматизме его идейного пути и о той притягательной силе, которую обладали для этого сына старой, бюргерской Германии гуманистические идеалы нашей эпохи.

Т. МОТЫЛЕВА.

★

Политика и наука

ЖИВЫЕ ЛЕНИНСКИЕ ЧЕРТЫ

О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900—1922 годы. Ответственный редактор Ф. Н. Петров. Госполитиздат. М. 1963. 662 стр.

Хайгетское кладбище в Лондоне. Могила Карла Маркса. Сюда в августовский день 1903 года пришел Ленин с группой делегатов только что закрывшегося II съезда РСДРП. Тесной группой окружали они своего молодого вождя, звавшего к непреклонной борьбе за свободу народа.

Драгоценно каждое воспоминание тех, кто в те давние времена ощущал силу и теплоту ленинской руки, кто получил счастливую возможность хоть раз заглянуть в глубину ленинских глаз, ощутить удивительное волшебство его мысли — той мысли, что подняла ныне уже треть человечества в многотрудный путь к вершине человеческого счастья, к коммунизму.

Вот почему с таким интересом откроет читатель новую книгу воспоминаний о В. И. Ленине, подготовленную инициативной группой старых коммунистов и Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Большинство их публикуется впервые. Авторы этих мемуаров — участники трех революций, партийные и советские активисты, деятели зарубежных коммунистических партий, ближайшие соратники В. И. Ленина.

При всей большевистской сдержанности и даже суровости авторов, в целом текст этого фундаментального тома складывается в яркую картину ленинского стиля работы — картину, рисующую политическую пронацательность Владимира Ильича, его справедливость, скромность и простоту, его внимание и чуткость к людям.

Читая книгу, видишь — из этих качеств

Ильича, из его революционной практики органически вытекают ленинские требования к партийным органам и работникам партии: коллективность руководства, ответственность перед партийными массами, критика и самокритика, укрепление связи партии с массами, охрана единства и сплоченности партии — требования, с новой силой восторжествовавшие в практике КПСС после ее исторических XX и XXII съездов.

Сборник открывается воспоминаниями члена КПСС с 1896 года Героя Социалистического Труда Ф. Н. Петрова. Это волнующий рассказ о его встрече с В. И. Лениным в 1900 году, о различных эпизодах, связанных с деятельностью Владимира Ильича в предреволюционные годы и после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Злободневно звучит упоминание автора о том, что В. И. Ленин лично разработал проект реорганизации Академии наук, подчеркнув в этом документе, что необходимо добиваться, чтобы научные теоретические исследования тесно увязывались с конкретными задачами социалистического строительства, чтобы теория сочеталась с практикой. В соответствии именно с этими указаниями Ленина в 1921—1922 годах академики А. Е. Ферсман, С. Ф. Ольденбург, тогдашний президент Академии наук А. П. Карпинский, А. Ф. Иоффе занялись активной перестройкой научной работы и началось создание новых институтов, в научную проблематику которых уже тогда были включены актуальные и ныне вопро-

сы — работа над полупроводниками, решение ряда современных физико-химических проблем, изыскания заменителей, исследование полимеров и многие другие.

Авторы воспоминаний рисуют необычайно яркий образ В. И. Ленина, отчетливо видимый и как бы осязаемый.

«Нетрудно представить себе,— пишет Л. И. Рузер,— с каким чувством волнения я ожидал момента, когда в первый раз увижу и услышу Ленина...

Безотчетно я ждал, что Ленин предстанет перед нами в образе некоего героя, со всеми присущими таковому по законам романтики внешними атрибутами. А пришедший человек был определенно похож на среднего петербургского горожанина. Вид его с первого взгляда меня несколько обескуражил... Но вот Владимир Ильич начал говорить. Внимательно вслушиваюсь и... испытываю большое разочарование. Я слышал простые, самые обычные слова, речь Ленина не была украшена никакими ораторскими эффектами, он не зажигал сразу же первыми звуками своего голоса, скудные жесты также не привлекали внимания слушателя. Потом в этой спокойной речи послышались нотки иронии и сдержанного гнева, и вскоре... я перестал следить за своими впечатлениями и ощущениями. Даже не заметил, как мысль моя начала усиленно работать, всецело поглощенная тем, что говорил Владимир Ильич. Все, что было раньше неясно, стало понятным и определенным».

Г. Н. Котов, написавший «О том, что больше всего присуще Ильичу» на материале личных бесед с Лениным, так резюмирует свои впечатления: «Простота, товарищеская задушевность, внимание и всеохватывающий интерес к людям, умение открыть душу человека и своим наиострейшим взглядом высмотреть в ней все интересное...»

Приводимый в книге фактический материал еще и еще раз убеждает в том, каким смелым и последовательным поборником мира был В. И. Ленин. Из воспоминаний ветерана болгарского рабочего движения С. Л. Гольдштейна мы узнаем, что в условиях империалистической войны Ленин рассматривал гражданскую войну отнюдь не как средство захвата власти, а лишь как единственный выход из мировой войны, вернейший путь к миру. Эта мысль развивается и в воспоминаниях М. Н. Кожовихина, где в записи ранее не опубликованной

речи В. И. Ленина говорится: «... мы не можем согласиться с «левыми коммунистами» начать революционную войну с Германией и стать соучастниками в азартной и авантюристической игре».

Из воспоминаний Е. Д. Стасовой читатель узнает, сколь высоко ставил В. И. Ленин авторитет ЦК партии и партийную дисциплину, если даже на своего близкого товарища Клару Цеткин обрушил резкую критику за недисциплинированность.

Е. Д. Стасова рассказывает и другой характерный случай. Шли «споры в ЦК в отношении одного старого партийца, против которого было выдвинуто обвинение. Помню резкие жесткие возражения Ильича, который яро нападал на обвинителей — требовал от них не общих суждений, а точных конкретных фактов. Но фактов не было, были только намеки.

Владимир Ильич указывал, что слишком легко решается вопрос о чести человека, старого товарища, что нельзя так необдуманно набрасывать тень на заслуженного работника, и в конце концов добился своего: обвинение было признано недостаточным, а товарищ реабилитирован».

Поучительны воспоминания Г. Ф. Трушаева, слушавшего ленинские лекции о государстве, во время которых В. И. Ленин развил свой наказ большевикам — держаться ближе к массам. «Вы начали с практики революционной работы,— записал в те далекие годы Г. Ф. Трушаев слова Ильича,— надо вам теперь и с теорией ознакомиться». И далее следовало ленинское предостережение: «Бойтесь угара власти, не закомиссаривайтесь».

В непосредственной связи с ним находится рассказ О. Б. Розена о том, как сам Ленин относился к своему высокому положению. Владимир Ильич пришел в Кремлевскую больницу навестить наркома земледелия. Он спросил у дежурной сестры: «— Как бы мне пройти к товарищу Серееде?»

Сестра строгим голосом отвечает:

— Сейчас у нас, товарищ, час отдыха после обеда и к больным входить нельзя. На это Владимир Ильич все так же тихо ответил, что он — Ленин и, к сожалению, потом ему будет некогда зайти вновь.

Никогда не забуду, каким извиняющимся тоном были сказаны эти слова, как будто Ленин чувствовал себя виноватым в том, что загружен государственными делами и

вынужден нарушать порядок, чтобы посетить больного товарища».

Интереснейший материал содержат воспоминания Б. Г. Скундина. Автор рассказывает, как в сложнейшие моменты внутрипартийной борьбы, в связи с дискуссией о профсоюзах, В. И. Ленин оставался непоколебимым в своей принципиальной позиции о необходимости теснейшей связи с массами, как в острейших ситуациях Ленин боролся против паники и провокаций, как неустанно учил этому своих соратников. Линия ЦК, ленинская линия восторжествовала. Собрание партийного актива Москвы и области бурей аплодисментов откликнулось на заключительные слова доклада В. И. Ленина. А когда зал стих, Владимир Ильич сказал: «Нам некогда заниматься овациями, у нас впереди большие хозяйственные дела, перед нами хозяйственный фронт».

Сборник богато иллюстрирован рисунками, фотографиями и репродукциями исторических партийных документов. В нем даны развернутые биографические справки об авторах воспоминаний. И хотя набраны они мелким шрифтом и помещены в конце книги, эти справки имеют первостепенное значение для понимания той огромной роли, которую сыграл Ильич в жизни каждого из них.

Для того, кто хоть однажды встречался с Лениным, жизнь приобретала новый смысл, биография наполнялась новым, богатым содержанием. Именно так произошло, например, с Анной Никифоровой — девушкой, работавшей экспедитором и техническим секретарем большевистской газеты «Звезда». Летом 1914 года в качестве подпольной связной Анна Никифорова прибыла из Самары через Петербург в поронинскую эмиграцию к В. И. Ленину. Три недели прожила она в семье «Ильичей», присутствовала на важных совещаниях членов большевистского ЦК. Она выросла в организатора партийной издательской деятельности, опытного подпольщика в колчаковских ты-

лах, крупного партийного работника на Урале, где работала до 1955 года и где живет ныне.

С несомненным интересом читатель встретит включенные в сборник воспоминания о речах и выступлениях В. И. Ленина, по тем или иным причинам не записанных. М. Н. Коквихин воспроизводит речь В. И. Ленина на заседании ЦК партии 8 января 1918 года о заключении Брестского договора; Ю. К. Милонов восстанавливает содержание речи и заключительного слова В. И. Ленина 14 марта 1921 года на совещании с участниками X съезда РКП(б) о единстве партии; А. М. Дурмашкин излагает содержание речи В. И. Ленина 18 мая 1921 года на фракции IV Всероссийского съезда профсоюзов; Г. А. Моргунов — участник беседы В. И. Ленина с рабочими завода «Динамо» — рассказывает о содержании речи Ильича, посвященной четвертой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Шестьдесят лет миновало с тех пор, как В. И. Ленин вместе с группой товарищей пришел на Хайгетское кладбище поклониться в верности идеям Карла Маркса. Уже не тесной кучкой, а миллиардной социалистической семьей идем мы ныне к вершине, которую во всем ее блеске различает нынешнее поколение советских людей, наши друзья, все трудовое человечество. Ныне, когда мы беремся за руки, как это сделали недавно на волнующем митинге в Москве Никита Сергеевич Хрущев и Фидель Кастро Рус, на просторах Атлантики соединяются материки в необоримом общем стремлении идти к коммунизму.

И мы безмерно благодарны тем, кто, увидев Ленина и поработав с ним, донес до нас живые черты ленинского облика, страстное течение его речи, гениальную работу ума самого человеческого «изю всех прошедших по земле людей».

Ю. ШАРАПОВ.

★

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ И ДОКУМЕНТОВ

Дружба великая, вечная. Составитель Б. Жучков. Госполитиздат. М. 1962. 256 стр.

Тайна бессмертия «вечных образов» искусства — в обобщении художником действительности. Но порой обобщает и типизирует сама жизнь. В одном факте отражает она

глубинные исторические процессы. На примере одной личности раскрывает лучшие качества людей класса, народа, эпохи. Так рождаются Чапаев и Кочубей, Матросов и

Гастелло, молодогвардейцы и Маресьев...

Книга «Дружба великая, вечная», выпущенная в конце прошлого года Госполитиздатом, рассказывает о дружбе советских народов языком фактов и документов. Иногда они суховаты, но зато как содержательны и значительны!

...Колхозники хакасского улуса из-под Абакана помогают разоренной гитлеровцами белорусской деревне Григоровцы. Советская Армия сражается еще на берегах Волги, а за тысячи километров от Белоруссии, в Хакасии, составляют генеральный план реконструкции Григоровцев, собирают полтора тысяч рублей на поддержку разоренных врагом друзей. Не менее примечательна братская связь грузинского колхоза «Шрома» и украинского «Партизаны».

Дружба советских народов выдержала все испытания войны, несмотря на дополнительные трудности, порожденные культом личности Сталина, когда за злодеяния кучки предателей подвергались репрессиям целые народы. Но советские люди оставались интернационалистами.

Вот записка, обнаруженная нашими солдатами на полях книги из тюремной библиотеки берлинского фашистского застенка Моабит: «Я... Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму за политику и приговорен к расстрелу... Прошу передать мой привет А. Фадееву, П. Тычине, моим родным».

Да, Муса Джалиль, как и миллионы других советских патриотов, отдал жизнь «за политику» — политику мира и дружбы между народами. Умирая, татарский поэт обращается с прощальным словом к русскому и украинскому писателям.

Очерки сменяются на страницах книги историческими документами, пословицы — статистическими справками, поэтические отрывки — публицистическими откликами. И все они мозаически складываются в цельную и колоритную картину многонациональной советской жизни. Здесь представлены не только русские, украинцы, белорусы, народы Закавказья, Средней Азии, Прибалтики, но и ногайцы и уйгуры, калмыки и кабардино-балкарцы, ингуши и башкиры, карелы и чувашы, ненцы и нанайцы, орочи и эвечки...

Здесь и неведомо откуда появившиеся на Балканах, переселившиеся в первой поло-

вине прошлого столетия в Южную Бессарабию гагаузы. Тайна их происхождения и поныне не известна науке, но это не помешало им получить при советской власти письменность и даже издать в 1959 году первый в истории литературы сборник произведений своих поэтов и прозаиков «Буджакстан селлар» («Буджакские голоса»). Сколько таких голосов вызвала к жизни и творчеству ленинская национальная политика!

О ее плодах говорит и такая статистическая справка. В числе Героев Советского Союза, получивших это звание с начала войны по 1 апреля 1945 года, 5588 русских, 1401 украинец, 164 белоруса, 124 татарина, 81 казах, 72 еврея, 65 армян, 57 грузин, 56 узбеков, 34 башкира, 32 азербайджанца, 13 туркменом, 11 таджиков, 8 карелов, 8 эстонцев, 7 киргизов, 6 латышей, 5 литовцев. Героями Советского Союза стали и якуты, буряты, представители народов Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Отметим кстати, что сводка эта — одна из почти ста своеобразных заметок на полях, изобретательно разбросанных по всей книге. Исторические, фактические, статистические, документальные справки содержат множество немаловажных сведений. Мы узнаем, к примеру, что в Молдавии на одного человека приходится по 3,6 книги, тогда как в Англии — лишь 1,2; что электростанции Советской Армении производят энергии на душу населения в 16 раз больше, чем в Турции, и в 41 раз больше, чем в Иране; что за двадцать дней Советская Украина выплавляет столько же металла, сколько Швеция за целый год...

О первооснове достижений советских народов хорошо сказал Н. С. Хрущев: «Чем объясняются наши великие успехи? Что мы — самые умные и самые способные?.. Все народы способны успешно развивать свою экономику и культуру, если им будут созданы нормальные условия, позволяющие свободно трудиться и проявить свои таланты. Дело не в том, что мы — русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки, грузины, армяне, народы Средней Азии и Прибалтики, Юга и Севера нашего Советского Союза — обладаем какими-то исключительными особенностями. Дело в том, что именно наш советский строй, социалистический строй создает такие условия для народа, при которых он может полностью развернуть свои творческие силы...»

Такой вывод подсказывают все страницы

книги. Построенная в основном по газетным и журнальным материалам, она вводит в нашу политическую литературу несколько первые публикуемых документов, в том числе постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26 июня 1918 года о помощи армянам-беженцам и листовку агитационного поезда ВЦИК «Советский Кавказ», почему-то не датированную составителем. Впрочем, в книге вообще названы далеко не все источники. Так, в указателе нет ссылок на источники перепечаток публицистических выступлений и очерков М. Горького, А. Серафимовича, М. Шолохова, М. Водопьянова, С. Стальского, С. Эйзенштейна, В. Василевской, Л. Первомайского, П. Павченко, Г. Гуляма, Б. Полевого, М. Рыльского...

Столь же необъяснимо, почему составитель, перепечатав материалы подборки «Ленин и народы СССР», опубликованные в журнале «Дружба народов» за 1960 год, не сослался на источник заимствования.

Еще загадочнее материалы, включенные в сборник не только без указания источника, но и без имени автора (стр. 123—126 и др.). Все это лишает сборник документов в совершенно необходимой для него документальности. Слабое место книги — и пояснительные тексты, написанные крикливыми и трескучими фразами, против которых вслед за Лениным столько раз выступали М. И. Калинин, С. М. Киров, Н. С. Хрущев и другие мастера большевистской пропаганды.

Авторы этих текстов зачем-то считают своим долгом многословно комментировать говорящие сами за себя, как они пишут, «слова приветия, благодарности, любви и восторгов, идущие от самого сердца простых людей» (стр. 11). Совсем не «простые», не заурядные, а паразитично талантливые люди подготовили и совершили Октябрьскую революцию, изгнали интервентов, построили социализм. К тому же «слова восторгов» — отнюдь не лучшая характеристика суровых документов тех лет, так же как «пронизанные любовью» — не лучшее из словосочетаний. Еще хуже, когда высокие слова переходят в совсем уж досадные канцелярские обороты: «инициатива по оказанию», «являлись донорами», «занимались изготовлением», «является ярким выражением» и т. д.

Огорчает подчас не только форма, но и содержание пояснительных текстов. Так, автор одного из них восклицает на страницах 201—202: «Норма! О каких нормах, а следовательно, о взглядах: «Я свое отработал» — может идти речь в высокообразованном коммунистическом обществе?» О каких? О самых конкретных, товарищ комментатор! Выступая на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, Н. С. Хрущев подчеркнул, что и «при коммунизме воля одного человека должна подчиняться воле всего коллектива», а значит, и нормам. Напрасно они так легкомысленно отвергаются в приведенном отрывке, умахивающем в человеке будущего лишь «одержимого страстью творца», чей труд вопреки многочисленным высказываниям классиков марксизма-ленинизма якобы никак нельзя «уложить в отведенные нормы часы». Однако нормы, именно нормы сокращенного рабочего времени предполагают в коммунистическом обществе активное участие всех его граждан в общественной и культурной жизни. Без таких норм немислима слаженная и четкая организация деятельности любого производственно-технического или научно-исследовательского коллектива, объединяющего многих творцов.

Автор предисловия к сборнику Никола Бажан с полным на то основанием пишет: «Не пышными фразами, а героическими делами крепка наша дружба...» Зачем же столько пышных слов и фраз? Это тем прищербнее, что книга продуманно составлена и отлично иллюстрирована.

Мы не разделяем традиционных соображений рецензентов, добродушно считающих, что «отмеченные недостатки» якобы «не снижают достоинств»... Снижают, явно снижают, не заглушая, разумеется, главного — того, что так точно сформулировал казахский поэт:

Всё мы делаем сообща,
Нет дороги у нас иной,
Украинец или таджик,
Мы мечтою живем одной.
Общий берег у наших рек,
Общий хлеб у нас на столе,
Общий к миру и счастью путь,
Общий враг у нас на земле.

Я. БОРИСОВ.

РАСТИ УМОМ И СЕРДЦЕМ

Мораль как ее понимают коммунисты. Сборник. Госполитиздат. М. 1962. 208 стр.

Содержание сборника «Мораль как ее понимают коммунисты» интересно и значительно.

В небольшой сравнительно книге собраны самые разнообразные материалы: письма, документы, высказывания крупнейших представителей коммунистической мысли по вопросам морали. Закономерно, что сборник открывается страницами из созданного свыше столетия назад бессмертного «евангелия» мирового коммунистического движения — «Коммунистического манифеста». Этот величайший в истории человечества документ органически сочетается с Программой КПСС, выдержки из которой, опубликованные на страницах сборника, свидетельствуют, что в ходе строительства бесклассового общества коммунистическая мораль обогатилась новыми принципами, новым содержанием, что живой, конкретный облик строителя нового мира предстает перед нами с наглядной, зримой конкретностью.

Знаменательным является сам факт, что принятая на XXII съезде партии Программа предъявляет к советским людям высокие требования, четко сформулированные в моральном кодексе строителя коммунизма. Духовное формирование свободного от скверны собственнического мира, подлинно нового человека является одной из главнейших задач партии.

Однако было бы ошибочно предполагать, что этот новый человек возникнет, как выращенный в реторте гомункулос. Его формирование неотделимо от практической, боевой работы «на человечество», как метко определял эту благороднейшую задачу Карл Маркс.

Опубликованные в сборнике многочисленные высказывания великих борцов за дело коммунизма свидетельствуют о кровном, органическом единстве — идейной устремленности с практической, боевой деятельностью.

На страницах сборника с острой злободневностью звучат голоса Маркса, Энгельса, Ленина.

Как бесконечно далеки их глубоко оригинальные, смелые, блестяще выраженные мысли от ханжеского доктринерства, от краснойбайской выпренности, от всей той мутно-розовой водички, конми привыкли пользоваться зарубежные трубадуры «сво-

бодного», «христианского», «гуманного» мира...

Поборники марксистской мысли, исходя из строго научных положений, всю структуру собственнического мира находят глубоко безнравственной.

О какой нравственности, о каком гуманизме и свободе можно говорить в обществе, основанном на эксплуатации человека человеком, на звериной конкуренции в международном масштабе, принимающей форму кровопролитных войн, и с растлевающим проникновением «власти чистогана» в такие заповедные человеческие отношения, как любовь, дружба, художественное творчество?

«В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и индивидуальностью, между тем как трудящийся индивидуум лишен самостоятельности и обезличен». Как исчерпывающе точно эта диалектическая формулировка «Коммунистического манифеста»!

И если выделить главное, что объединяет собой почти все материалы сборника, — то прежде всего это мысль о Человеке, о полном раскрытии всех его индивидуальных способностей и дарований, о расцвете его личности в ее ярком, неповторимом своеобразии. Раскрепощение личности от обезличивающих ее капиталистических отношений и есть глубоко моральная — и обязательная — предпосылка истинной свободы человека, залог полного и богатого проявления его индивидуальности.

«Условия для всестороннего развития личности созданы благодаря историческим социальным завоеваниям — освобождению от эксплуатации, безработицы и нищеты, от дискриминации по признакам пола, происхождения, национальности, расы», — говорится в Программе КПСС.

Только здоровая, очищенная от собственнических пут социальная почва даст богатейшее цветение человеческих способностей и дарований. Напрасно противники коммунизма пытаются приписать строителям нового мира плоский утилитаризм, желание все свести к узкокоматериальным вопросам.

На страницах сборника в одном из писем Н. К. Крупской М. Горькому хорошо гово-

рится о широте задач, стоящих перед строительством нового общества.

«Строить социализм — это значит не только гигантские заводы и зерновые фабрики строить — это условие необходимое, но недостаточное для строительства социализма. Расти люди должны и умом и сердцем».

Расти «умом и сердцем»! Какие простые, далекие от всякого педантизма, но глубокие, проникновенные слова!

Об этой же задаче созидания многогранной, духовно богатой, истинно человеческой личности говорили и предвозвестники нового, подлинно морального мира — Маркс и Энгельс:

«...возникшее общество производит, как свою постоянную действительность, человека со всем... богатством его существа, производит богатого и всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях человека».

За глубину чувств и восприятий всесторонне развитого человека! Для ревнителей якобы свободной, а по сути дела стандартизированной личности капиталистического мира эта окрыленная мысль основоположников марксизма, конечно, неожиданна. С каждым годом нашего поступательного движения в коммунизм им все труднее твердить, что, мол, коммунизм — это лишь грубое удовлетворение самых примитивных потребностей, царство серой казармы и обезлички!

Каждодневная практика нашей жизни все шире, все полнее помогает человеку расти «умом и сердцем». Достаточно напомнить о рабочих, что получают высшее образование без отрыва от производства (нередко здесь же, на заводской территории), или о сугубо «кабинетных» ученых, в наши дни кровно, непосредственно связанных с производством. Следует вспомнить и о могучем размахе нашей самостоятельности, о постоянном выявлении народных дарований и талантов.

«Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации», — говорил В. И. Ленин.

И добавлял: «...разве во имя этой величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать всех сил?»

Передовые борцы за новое общество — живые носители самой высокой, претворенной в действие морали. Перед нами предстают их незабываемые лица...

Вот в недрах царского каземата записывает в свой дневник Феликс Эдмундович Дзержинский: «...если мы здесь тоскуем по цветам, то здесь же мы научились любить людей, как любим цветы. Именно здесь, где нет отчаянной борьбы за кусок хлеба, здесь, где всплывает на поверхность то, что там по необходимости было скрыто в глубине человеческой души».

Мечтает узник и о книге, посвященной революционной борьбе... «Одетый камнем» арестант говорит о своем, заповедном: «В ней были бы отражены не только наши страдания и наше учение, но и та жажда полноты настоящей жизни, ради которой человек не пожалеет никаких страданий, никаких жертв...» «Я не проклиная ни своей судьбы, ни многих лет тюрьмы, так как знаю, что это нужно для того, чтобы разрушить другую огромную тюрьму, которая находится за стенами этого ужасного павильона. Это не праздное умствование, не холодный расчет, а результат непреодолимого стремления к свободе, к полной жизни».

Нельзя без волнения читать строки, где Феликс Дзержинский говорит о детях. «Я страстно люблю детей...» — признается он в письме к сестре. А позднее, уже став «железным наркомом», практически борется за детские жизни. «Я хочу бросить некоторую часть моих личных сил, а главное сил ВЧК, на борьбу с детской беспризорностью... Ведь когда смотришь на детей, так не можешь не думать — все для них!»

Закаленные борцы, профессиональные революционеры руководствуются не «холодным расчетом», что обычно приписывают им враги, а глубокой, органической человечностью.

Эта любовь к человеку — будь то ребенок или взрослый — звучит почти во всех строках сборника: и в напутственных словах М. И. Калинина, обращенных к молодежи, и в пламенных речах С. М. Кирова, и в памятных выступлениях Н. С. Хрущева. «Социализм утверждает иную мораль — сотрудничества и коллективизма, дружбы и взаимопомощи», — говорил Н. С. Хрущев

в докладе на XXI съезде КПСС.— Здесь на первое место выдвигается забота об общем благе народа, о всестороннем развитии человеческой личности в условиях коллектива, где человек человеку не враг, а друг и брат».

Читателя сборника «Мораль как ее понимают коммунисты» обогатит и ряд фактов, раскрывающих истинно гуманистическую целеустремленность борцов за коммунизм. В статье «Облик Ленина как человека» Н. К. Крупская пишет: «Никогда я не слыхала от Ильича, что ему было некогда, когда дело шло о помощи людям». И приводит интересный факт: «Он мне постоянно говорил, что я должна больше заботиться о товарищах по работе, и однажды, когда во время чистки партии необоснованно нападали на одного из моих работников по Наркомпросу, он нашел время рыться в старой литературе, чтобы найти материал, что этот работник, еще будучи бундовцем, еще до Октября защищал большевиков».

Следует подчеркнуть еще одну характер-

ную для истинных коммунистов черту — их органическое неприятие возвеличения собственной личности, человеческую скромность не в ханжеском смысле этого слова, а истинную и благородную. Как ярко выступает это качество в письме К. Маркса к партийному товарищу: «Из неприязни ко всякому культу личности я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран,— я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал».

Единство горячего чувства и ясной, проникновенной мысли, неразрывность слова и дела, свободная от всякой позы скромность.— вот что характеризует духовный облик великих коммунистов. Героическая работа на человечество — вот органическая основа их жизни. Цель же этой титанической работы — созидание свободного от грязи и крови собственнического мира высоко морального бесклассового общества.

Валерия ГЕРАСИМОВА.

★

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ

СССР в цифрах в 1962 году. Краткий статистический сборник. Госстатиздат. М. 1963. 360 стр.

Может ли быть интересной книга, в которой триста шестьдесят страниц сплошных цифр? Да, может быть интересной — и не только для специалистов. Языком цифр может говорить сама история — надо только уметь читать эти цифры, видеть, что за ними скрывается.

Вдумайтесь: в 1928 году в нашей стране было два зерноуборочных комбайна. В тот год конные жатки считались завидной техникой; чуть не половину зерновых убирали косами и серпами. А в 1962 году комбайнами убрано девяносто четыре процента зерновых; число этих машин перевалило за полмиллиона.

В 1928 году в пору пахоты на полях царствовал конный плуг. Да и это считалось за благо: в тот год сохами вспахали в десять раз больше, чем тракторными плугами. Нынешняя молодежь в глаза не видала сохи, а многие — и конного плуга, разве что в кино. Зато тракторов ныне в сельском хозяйстве страны больше двух миллионов (в пересчете на пятнадцатисильные).

Статистический сборник «СССР в цифрах в 1962 году» содержит важнейшие данные о развитии народного хозяйства страны за 1913—1962 годы. Он позволяет также сопоставить основные показатели развития экономики и культуры СССР с аналогичными показателями США и других капиталистических стран. Есть в нем и краткая характеристика развития всего социалистического лагеря.

Вот цифры, рисующие политическую карту мира. 1919 год. В единственной в ту пору социалистической стране живет меньше восьми процентов населения земного шара. В крупных империалистических державах и их колониях — почти половина. А во всех колониях, полуколониях и доминионах — больше двух третей человечества.

А вот как выглядит карта к началу 1963 года. Свыше тридцати пяти процентов населения земного шара — в социалистических странах, около семнадцати процентов — в крупных империалистических державах и их колониях, и менее двух про-

центров во всех колониях, полуколониях и доминионах.

Сколько томов нужно исписать, чтобы рассказать словами все то, о чем говорят эти цифры? Напомним лишь два события, которые отразились на политической карте совсем недавно; скажем о них двумя словами: Куба, Алжир. Этого достаточно, чтобы увидеть шаги революции в сухой статистической справке.

Мирное экономическое соревнование — это спор, в исходе которого мы не сомневаемся, — призвано завершить поворот человечества к социализму. В историю соревнования шестидесятые годы войдут как особый — пожалуй, самый интересный — период. В эти годы — уже совсем скоро — наша промышленность догонит и перегонит американскую.

Догонит и перегонит... О промышленности в целом мы говорим пока в будущем времени. Но о многих отраслях уже можем сказать в прошедшем: догнали и перегнали. Еще несколько лет назад тогдашний шеф американской разведки Аллен Даллес спохватился: «В то время как мы, американцы, ежегодно производим в пятьдесят раз больше легковых автомобилей, чем русские, русские производят четверо больше станков, чем мы, американцы».

Одна из интереснейших таблиц в сборнике — «Место, занимаемое промышленностью СССР в мире и в Европе». Около двух десятилетий в ней почти ничего не менялось — с тех пор как наша промышленность и большинство ее отраслей вышли на первое место в Европе и второе в мире. Но вот мы выходим на первое место в мире по коксу, углю, железной руде, тракторам (в пятнадцатисильном исчислении), сборному железобетону, сахару, шерстяным тканям. Теперь почти каждый год вносит поправки. Прошлый год принес нам мировое первенство по цементу. Данные справочника позволяют предвидеть, в какой еще строке цифра 2 будет заменена единицей в ближайшее время: например, уже сократилось до минимума отставание в производстве чугуна.

Одна из таблиц сборника вдруг возрождает в памяти «Сладкую каторгу» Н. Ляшко — ежедневную каторгу рабочих на конфетной фабрике в старой России. Таблица называется так: «Средняя установленная продолжительность рабочего дня взрослых рабочих промышленности». Сравниваются

1913 и 1962 годы. Оказывается, до революции в пищевой промышленности России рабочий день был самым длинным: почти одиннадцать часов против примерно десяти часов по промышленности в целом. Сейчас в пищевой промышленности средний рабочий день, как и в целом по всем отраслям, — семь часов.

Цифры повествуют о великих переменах во всем укладе жизни людей. Вот еще одна говорящая страничка — массовые библиотеки в союзных республиках. 1913 год. Против Узбекской, Киргизской, Таджикской, Туркменской ССР — прочерки: какие уж там библиотеки, когда целые народы были бесписьменными, десятки миллионов людей — неграмотными. Сегодня же книжные фонды массовых библиотек среднеазиатских республик четверо превосходят фонды массовых библиотек всей царской России в 1913 году. Да что там тринадцатый год! Недавно в «Правде» сообщалось, что в Японии — развитой капиталистической стране с почти стомиллионным населением — менее восьмисот библиотек. У нас же их больше даже в самой маленькой по численности населения союзной республике.

Скучное и не каждому понятное слово: «индекс». Ну, а если взять его в таком сочетании: «индекс продажи хлеба». Мы помним дни, когда ценность любой вещи определялась количеством хлеба, которое можно за нее получить. Так было всего два десятилетия назад, во время войны. Сборник сравнивает объем продажи важнейших товаров в государственной и кооперативной торговле в прошлом году с уровнем наиболее благополучного предвоенного года — сорокового.

Как известно, хлеба сейчас в магазинах предостаточно и стоит он недорого. Однако объем продажи муки, хлеба и хлебобулочных изделий в 1962 году составил лишь сто семьдесят четыре процента к уровню 1940 года. Если учесть, что городское население — основной покупатель хлеба — за это время почти удвоилось, то можно предположить, что душевое потребление хлеба изменилось мало. Это означает, что хлеб перестает быть основным продуктом питания — точнее, главным средством насыщения для большинства людей в нашей стране, как это было прежде. Совсем иное положение с другими продуктами: продажа сахара возросла впятеро, мясопродуктов — в пять с

половиной раз, молока и молочных продуктов — в шесть с половиной.

То же самое происходит и с промышленными товарами. Если продажа хлопчатобумажных тканей возросла за тот же период в полтора раза, то шелковых — в десять раз, радиоприемников — в двадцать пять.

В. И. Ленин писал: «Статистика была в капиталистическом обществе предметом исключительного ведения «казенных людей» или узких специалистов, — мы должны понести ее в массы, популяризировать ее, чтобы трудящиеся постепенно учились сами понимать и видеть, как и сколько надо работать, как и сколько можно отдыхать...» За последние годы поток статистической литературы, издаваемой в нашей стране, заметно возрос. Центральное статистическое управление СССР выпускает много весьма интересных и полезных книг. Особое место занимают среди них краткие справочники «СССР в цифрах...» и более полные «Народное хозяйство СССР...» — сборники, выпускаемые ежегодно. Эта литература — никак не для «казенных людей». Помимо собственно статистиков и вообще экономни-

стов, такие сборники нужны пропагандистам, учителям, студентам, учащимся экономических кружков и школ — людям самых разных специальностей, разного положения и разных интересов. Но все эти читатели находят в магазине сборник «СССР в цифрах...» лишь в мае, спустя четыре с лишним месяца после окончания года, о котором он рассказывает. Думается, что их можно выпускать раньше.

Сделаем в связи с этим последнее в этих заметках цифровое сопоставление. Загляните на самые последние страницы сборников — в выходные данные. «СССР в цифрах в 1959 году» издан в пяти тысячах экземпляров, нынешний сборник — тиражом в пятьдесят тысяч. Нужно ли иное подтверждение того, как необходима эта книга людям? Но зато в сроках — никакого прогресса. «СССР в цифрах в 1959 году» подписан в печать 22 марта, все последующие — позднее. «СССР в цифрах в 1962 году» подписан лишь 30 марта. А хотелось бы и в этом деле видеть изменения к лучшему.

О. ЛАЦИС.

★

СВЕТ ПРАВДЫ И ТУМАН ФАЛЬСИФИКАЦИИ

- Х. Ш. Иноятов.** Ответ фальсификаторам истории Советской Средней Азии и Казахстана. Госиздат УзССР. Ташкент. 1962. 198 стр.
- К. Новоселов.** Против буржуазных фальсификаторов истории Средней Азии. Туркменгосиздат. Ашхабад. 1962. 320 стр.
- Д. Рзаев.** О фальсификаторах истории Советской Средней Азии. Киргизгосиздат. Фрунзе. 1962. 44 стр.

Вопрос о выборе путей развития стран Азии и Африки — один из участков фронта идеологической борьбы социалистического лагеря с капиталистическим. Прикидываясь бескорыстными друзьями освобождающихся народов, идеологи империализма делают вид, что спасают «афро-азиатскую Красную Шапочку» от опасного «коммунистического Серого Волка». С этой же целью они беззастенчиво извращают историю Советского Востока.

Поток клеветнической литературы растет из года в год. Чем разительнее успехи советских республик Средней Азии и Казахстана, чем привлекательнее их опыт, тем гуще поток лжи.

К «штатным» фальсификаторам истории Средней Азии в разное время присоединились вышвырнутые с Советского Востока буржуазные националисты. Мустафа Чокаев,

Вели Каюм-хан, Тахир Чигатай, активный участник басмаческого движения Ахмед Зеки Велиди Тоган. Особое место в этом «союзе нечестивых» занимает Баймирза Хаит, с чьим опусом «Туркестан в XX столетии» (Дармштадт, 1956) на Западе носятся как с писаной торбой. Между тем Б. Хаит — ординарный ренегат. В трудное время Отечественной войны он изменил родине и переметнулся в стан немецких фашистов, а после войны устроился в ФРГ под крылышком аденауэровских благодетелей.

Космополитствующие националисты ушами льют грязь на социалистические нации Востока. Респектабельные мужи из Нью-Йорка, Лондона, Парижа пытаются делать ту же работу в белых перчатках. Джеффри Уилер время от времени признает успехи советской власти в Туркестане; Вальтер Колларз кокетничает тем, что будто бы прене-

брегает писаниями откровенных антикоммунистов; Уильям Дуглас восхищен своей «объективностью», которая сводится к признанию того, чего не признать нельзя.

Изучив обширнейшую литературу (К. Новоселов, например, анализирует более ста тридцати монографий и статей), авторы рецензируемых книг показывают полную несостоятельность фальсификаторов. Читатель видит, что буржуазные авторы, специализирующиеся по Советскому Востоку, преднамеренно и беззастенчиво фальсифицируют факты. Из не слишком ароматного букета антисоветских мифов Х. Иноятов, К. Новоселов и Д. Рзаев останавливаются на тех, которые особенно часто кочуют по трудам «востоковедов-советологов» (точнее, антисоветологов). Каковы же главные из этих клевет?

— Миф о том, что «мусульманская община» была бесклассовой, и поэтому революция в Средней Азии — дело рук русских коммунистов (тезис А. Парка, Г. Фишера, Б. Хаита, В. Коларза);

— миф о том, что гражданская война в Средней Азии — это не борьба классов, а борьба «всех мусульман против всех русских» (тезис Ч. Хостлера, Р. Пайпса, М. Чокаева, П. Генце, У. Бачковского);

— миф о том, что международный империализм не вмешивался в борьбу, развернувшуюся после революции в Средней Азии (тезис К. Элиса, А. Тогана, Г. Коха, Б. Хаита, А. Парка);

— миф о том, что на Советском Востоке продолжается идеологическая борьба между русским, советским, с одной стороны, и турецким, националистическим, — с другой (тезис Б. Хаита, Г. Уинта, Г. Коха, Д. Кэроу).

Авторы рецензируемых книг подчеркивают, что фальсификаторы особенно упорно пытаются доказать, что в Средней Азии не было классовой дифференциации, классовой борьбы. Но вот данные по одной лишь Фергане: миллионер Миркамилбай Муминбаев имел более семи тысяч десятин земли, а девять тысяч дехкан — лишь три тысячи десятин. Далеко не однородным было и городское население. В дореволюционном Туркестане насчитывалось около шестидесяти пяти тысяч рабочих, которые эксплуатировались «единокровными братьями» не менее жестоко, чем в других странах.

Многие буржуазные историки пытаются доказать, что советскую власть в Средней

Азии установили только русские. Красная Армия состояла только из русских. Коммунистами в Средней Азии были только русские... Нетрудно доказать, что утверждения эти голословны. Они опровергаются фактами. Уже в первые недели 1918 года в Ташкенте, Андижане, Ашхабаде, Верном (Алма-Ате), Коканде и других районах были сформированы отряды Красной гвардии. Против басмачества бесстрашно сражались отряды Абдурахмана Мадьярова, Юлдаша Байматова, Нуриддина Алиходжаева и других. А сколько осталось в памяти народной имен скромных солдат Великого Октября, гражданской войны, социалистического строительства! Туркмен Джура Аннамурадов, узбек Бабаджан Атабаев, татарин Исмаил Барамыкин, каракалпак Юсуп Буранов, казах Избасар Эсиркепов...

Если этих фактов и имен фальсификаторам мало, пусть откроют книгу профессора Хамида Иноятова и на страницах сорок третьей и сорок четвертой прочтут отрывок из постановления собрания железнодорожников и рабочих и служащих завода Ходжаева на станции Горчаково: «Мы, рабочие-мусульмане, единогласно решили поддержать всеми имеющимися у нас средствами рабочее правительство». Узбекские рабочие, называя себя по старой привычке «темными мусульманами», благодарили русских братьев по классу за помощь в освобождении «от нагайки чиновников и кулака бая».

С видом оскорбленной невинности англосаксонские авторы пытаются отвести обвинения в том, что Англия и США действовали в Советской Средней Азии как союзники крайней реакции, как палачи-интервенты. Однако от фактов истории не уйти. В работах Х. Иноятова и К. Новоселова приведены документальные данные о злодеяниях незваных «друзей» в Туркмении и других районах Средней Азии. Стоит вспомнить, например, договор (сентябрь 1918 года) между белогвардейцами и эмиссарами Англии о том, что после уничтожения советской власти бухарский эмир получит власть над Туркестаном, а Англия всемиловейше установит над этим краем свой протекторат. И всего на каких-то пятьдесят — пятьдесят пять лет...

Схваченные за руку «стыдливые» фальсификаторы пытаются обелить агентов мировой реакции. Так, например, Тоган утверждает, что английские офицеры полковник Бейли и капитан Блекер прибыли в Среднюю

Азию только для противодействия турецкой и германской пропаганде. Не в порядке ли этой «контрпропаганды» войска британских колонизаторов в ночь с 14 на 15 октября 1918 года разграбили туркменский город Теджен, а его население, в том числе детей и стариков, уничтожили? Не с целью ли «антитурецкой пропаганды» эти же британские джентльмены организовали расстрел девяти ашхабадских комиссаров? А преступные интриги американского консула в Туркестане Тредуэлла и английского консула в Синьцзяне Эссертонга, которые сколачивали единый антисоветский фронт империалистов и буржуазных националистов? Разве это не факты истории, подтверждаемые документально?

Нечистая совесть фальсификаторов вынуждает их маневрировать и в другом вопросе — при оценке итогов культурного развития Советского Востока. Успехи здесь столь очевидны, что совершенно игнорировать их опасно — можно вконец разоблачить себя как архилжецов. Как же действуют ученые-жонглеры? Они делают полупризнания, которые пытаются тут же опровергнуть. Так поступает, например, Б. Хаит. Он признает культурный прогресс Советского Востока, отмечает достижения в области высшего образования. А рядом — потрясающий «перл»: «При советском режиме не было издано ни одного классического произведения Туркестана, так что молодежь забыла сокровища прошлого». И это говорится о стране, в которой большими тиражами издаются произведения великих сынов Средней Азии Алишера Навои, Рудаки, Ибн-Синны, Махтумкули... Поистине нет предела низости недругов Советского Востока!

Рецензируемые книги привлекают внимание своей достоверностью, убедительностью, аргументацией. В работах К. Новоселова, Х. Иноятова и Д. Рзаева проявился тот новый подход к научно-публицистическому труду, который становится у нас нормой. Без чуждой подлинной науке крикливости, без брани авторы уверенно разоблачают реакционеров от науки. Читателю imponирует большая внимательность к фактам, забота о доказательности каждого положения. Радует насыщенность книг архивным материалом. Ряд фактов К. Новоселова и Х. Иноятова впервые вводят в научно-публицистический оборот.

Разоблачая фальсификаторов, советские историки не уходят от острых вопросов,

требующих вдумчивого исследования. Они не отмахиваются от теневых сторон периода становления советской власти и культуры личности Сталина. Это видно в объективном анализе таких вопросов, как ошибочное решение третьего краевого съезда Советов Туркестана, как участие некоторых трудящихся в так называемой «Кокандской автономии», в басмаческом движении...

Однако рецензируемые книги не свободны от недостатков. Вызывает, например, сомнения подразделение Д. Рзаевым истории антисоветских фальсификаторов на два периода: «сначала эту клеветническую кампанию возглавляли буржуазные националисты», а «затем, после второй мировой войны, когда начался стремительный распад колониальной системы, место буржуазных националистов заняла группа буржуазных социологов Запада». Надуманная периодизация! Разве мало «произведений» фальсификаторов из Западной Европы вышло до второй мировой войны?

Трудно также согласиться с утверждением Д. Рзаева о ряде фальсификаторов, что они «не выражают открыто ненависть к социалистическому строю». А само название книги В. Коларза «Россия и ее колонии», а утверждение А. Парка о том, что и после Октябрьской революции Россия эксплуатирует Восток? Здесь каждое слово дышит зоологической ненавистью к Стране Советов.

Не понятно, почему авторы рецензируемых книг не вступили в полемику с «энциклопедией» колониального произвола — коллективным трудом буржуазных авторов «Идея колониализма» (Нью-Йорк, 1958), выпущенным под эгидой столпов буржуазной истории Ф. Страус-Хюпе и Г. Хазарда. К. Новоселов лишь упоминает этот сборник, но должного отпора ему не дает.

Следовало, на наш взгляд, уделить серьезное внимание полемике с политическими деятелями, чьи работы, касающиеся Советского Востока, имеют хождение на Западе. Речь идет о Ч. Боулсе, У. Дугласе и других.

Книги, разоблачающие фальсификаторов, — острое оружие в борьбе за истину. Это меткие идейные снаряды, разрушающие горы лжи, выросшие за многие десятилетия. Их выход в свет можно лишь приветствовать. Перевод на иностранные языки книг К. Новоселова и Х. Иноятова имел бы, на наш взгляд, большое значение для стран

Азии и Африки. Значительная часть информации о Советском Востоке сюда по-прежнему поступает из мутного антисоветского источника, и книги советских авторов, переведенные на западные и восточные языки, способствовали бы восстановлению исторической правды.

...Смог. Так называют англичане густой, плотный туман, который не позволяет видеть то, что происходит рядом, затрудняет дыхание, вызывает удушье. Но смог, к счастью, не долговечен. Солнце и ветер очищают города и села от тумана. Сложнее обстоит дело с другим «смогом», одной из столиц которого является тот же Лондон. Речь идет о «смоге» политическом. Он поднимается из пухлых томов фальсификаторов. И цель этого «тумана» совсем не туманная: закрыть

от глаз зарубежного Востока «маяк процветания», «зажженный Великим Октябрем над Ташкентом, Ашхабадом, Алма-Атой, Фрунзе, Душанбе... Люди Востока понимают это и перестают верить басням о «красном империализме», «московском колониализме» и т. д. Хорошо ответил клеветникам арабский литератор Али Ахмад Бакасир, чьи слова приводит в своей книге Х. Иноятов: «Я знаю Узбекистан не хуже родного Египта. Пустыни здесь превращаются в цветущие сады, а если американцы называют Узбекистан колонией, что же,— я хотел бы жить в такой колонии».

Лучше не скажешь!

Л. КЛЕЦКИЙ,

кандидат исторических наук.

Ленинград.



ВМЕСТО НАУКИ

А. И. Арнольдov. Социализм и культура. Культурная революция в европейских странах народной демократии. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 431 стр.

С олидный том в нарядной суперобложке. На переплете золотым тиснением обозначено название книги. Титульный лист украшен грифом Института философии Академии наук СССР. Естественно, что монография А. Арнольдова «Социализм и культура» привлечет внимание, тем более что в своем предисловии автор подчеркивает, что в его задачу входит теоретическое обобщение новых процессов, происходящих в интеллектуальной жизни общества в условиях социалистической системы, исследование закономерностей в развитии культуры, характерных лишь для социалистических стран.

В какой же мере на самом деле книга эта может претендовать на философское обобщение важных и актуальных проблем?

Уже первые главы настораживают читателя. Так и бросаются в глаза существенные упущения и ненужная отсебятина в изложении даже общеизвестных истин.

Автор пишет: «Все досоциалистические общественные формации прошли период восходящего и период нисходящего развития», и далее утверждает, что в первый период имеет место соответствие между производительными силами и производственными отношениями, а во втором периоде между ними возникают антагонистические противоречия. Такое утверждение неверно, ибо антагонистические противоречия имеют место не

только во втором, но и в первом периоде.

Тут же следует прямолинейное уверение, что для второго периода, как правило, характерен регресс во многих областях культуры. Но ведь общеизвестно, что в первый, восходящий период развития феодальной формации наблюдался упадок почти во всех областях духовной культуры, когда же соответствие нарушилось и обозначился упадок феодальной формации, произошел тот всемирно-исторический взлет культуры, который вошел в историю под именем эпохи Возрождения.

Дальше — новая, еще более серьезная погрешность. А. Арнольдov пишет, что при социализме достигается «полное соответствие между производственными отношениями и производительными силами, что исключает возможность антагонистических противоречий между ними». Наша философская наука отказалась от употребляемого автором понятия «полное соответствие», ибо оно исключает не только антагонистические, но и неантагонистические противоречия, которые сохраняются не только при социализме, но и при коммунизме.

Переходя непосредственно к проблемам культуры, автор сразу же вносит изрядную путаницу в определение самого понятия «культура». Как известно, слово «куль-

тура» латинского происхождения. Первоначально оно означало возделывание, обработку почвы. В дальнейшем этим словом стали обозначать результаты как материального, так и духовного производства. В самом широком смысле понятие «культура» противопоставляется «натуре», «природе». Таким образом, в понятие «культура» включается все то, что является результатом материальной и духовной деятельности человека. Вот почему различают культуру материальную и духовную.

Стремясь во что бы то ни стало усложнить определение понятия «культура», А. Арнольдов сначала приводит ряд определений из числа тех 257, которые разыскали А. Кребер и К. Клакхон в работах буржуазных исследователей, и сообщает, что в «современной марксистской философской литературе нет всестороннего определения культуры», да, собственно, добавляет он, «это не так уж и обязательно». Затем он тут же заявляет, что выразить понятие «культура» «в кратком формально-логическом определении представляется невозможным». И, несмотря на это, А. Арнольдов решает дать собственное определение понятия «культура» «в широком и в узком смысле».

«В широком понимании слова — культура — это многогранное общественное явление, выступающее как органический синтез достигнутых обществом материальных и духовных ценностей; явление, выражающее и оценивающее (?) материальный и интеллектуальный уровень развития общества...»

И хотя все это выделено курсивом, из того, что приведено, и из того, что следует далее, видно, что автор сам до конца не понимает роли материальной культуры и что он оказался не в состоянии охватить понятие культуры в его истинном единстве. Что же касается «широкого» понятия культуры, то оно у А. Арнольдова настолько «широко» и расплывчато, что к нему можно отнести все, что угодно. Свое малопонятное определение автор, к удивлению читателя, подкрепляет ссылкой на характеристику культуры, данную в решениях Каирской конференции стран Азии и Африки, и завершает свои рассуждения таким расширением понятия «культура», что объявляет ее даже «важным фактором информации» (!). Но это не все. Противоречивость и путаница у А. Арнольдова имеется и в таком важнейшем вопросе, как соотношение

классового и общечеловеческого моментов в культуре. На странице 41 сказано: «Конечно, культура носит классовый характер, никакой «культуры вообще» не существует». Но, во-первых, этим положением автор отвергает свое же определение культуры «вообще». Во-вторых: как можно, написав такое, буквально на следующей странице утверждать, что надо «видеть в ней (в культуре.— И. М.) и классовый и общечеловеческий характер»?

То, что автор не справился с определением и характеристикой понятия «культура», не могло не отразиться на его трактовке такого сложного общественного явления, как культурная революция.

«Между капитализмом и социализмом, — пишет он, — лежит период революционного превращения первого во второе, во время которого совершается переворот в духовной жизни общества». Это верно, но далеко не достаточно. Марксизм-ленинизм рассматривает культурную революцию как органическую часть не только переходного периода от капитализма к социализму, но и как необходимое условие построения коммунистического общества.

В частности, важнейшей задачей культурной революции является воспитание коммунистического отношения к труду. Этой проблеме А. Арнольдов не уделил должного внимания. А ведь известно, что В. И. Ленин видел в культурной революции прежде всего условие сознательного и массового движения вперед к высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на базе достигнутого капитализмом. Культурная революция — это движение масс, подъем культурно-технического уровня миллионов, создание собственной социалистической интеллигенции, раскрепощение женщин (к слову сказать, эту важную сторону культурной революции автор обходит), развертывание творческой инициативы трудящихся на основе социалистической демократии. Автор не учел и того, что В. И. Ленин рассматривал культурную революцию как одно из решающих средств преодоления бюрократизма — этого тяжелого и живучего наследия прошлого.

Можно указать и на многие другие существенные недостатки, упущения и неточности монографии. Автор никак не аргументирует свое утверждение о существовании некоего «подготовительного этапа культур-

ной революции» в таких странах, как Чехословакия и Румыния. Нельзя согласиться и с его подходом к такому важному вопросу, как культурное наследство. Рекомендую различать «культуру буржуазную» от «культуры буржуазного общества», А. Арнольдов сам же игнорирует свою рекомендацию, утверждая, что в Чехословакии в период правления Масарика и Бенеша «музыка, живопись, театр, кинематография развивались только (подчеркнуто нами.—И. М.) по западноевропейским и американским образцам». И это говорится о периоде, отмеченном появлением музыки Я. Беллы, И. Станислава, Э. Шультца, созданием национального театра в Братиславе, постановкой пьес К. Ванчуры и К. Чапека, рождением картин Я. Штурса, М. Швабинского, Й. Лады и многих других творений прогрессивных деятелей культуры. Вряд ли чехословацкие исследователи в области культуры согласятся с утверждением А. Арнольдова, как, впрочем, и с другим неверным его положением, что в то время «произведения чешских классиков Бедржиха Сметаны и Божены Немцовой, Яна Неруды, Алоиса Ирасека и многих других были преданы забвению».

Не меньшее удивление читателя вызовут и рассуждения об атеистическом содержании культурной революции, где вместо общепринятого требования «свободы совести» автор говорит об обеспечении «свободы религии».

Но, может быть, недостатки и упущения, так сказать, общетеоретических частей книги как-то компенсируются достоинством глав, где излагается и анализируется конкретное содержание революционных преобразований в области культуры, которые произошли в странах народной демократии? К сожалению, и этого сказать нельзя.

Конкретно-фактические главы, занимающие половину всей книги, страдают отсутствием продуманной системы изложения и методики обобщения. Нагроможденные друг на друга факты (многие из них мелкие и устаревшие) не служат исходным материалом для анализа и выводов, а нагромождены часто безо всякой необходимости. Эти главы, как и другие, до предела заполнены цитатами и изречениями. По примерным подсчетам, добрая треть книги состоит из цитат, часто следующих одна за другой без логической взаимосвязи.

Так, говоря о формировании новой, социалистической интеллигенции, А. Арнольдов

обрушивает на читателя очередной цитатный залп: Поль Лафарг называл интеллигенцию пролетариатом высшего труда... Морис Р. Козэн писал... Лео Гурко характеризует... Трагически звучит высказывание Джона Стейнбека... Митчел Уилсон описывает... И все это — не переводя дыхания, «навалом».

Нагромождение приводимых к стати и более всего некстати цитат, ссылок, имен становится просто назойливым. И так по всей книге — трескучие общие сентенции, сопровождаемые армией цитат и цифр, легионом имен, и время от времени какое-нибудь странное открытие вроде: «И если в СССР на первых этапах строительства социализма на сторону народа переходила инженерно-техническая интеллигенция, то в странах народной демократии этот процесс захватил одновременно все слои работников умственного труда». А разве в СССР «на первых этапах строительства социализма» не перешли на сторону народа, скажем, учителя, агрономы, работники искусства?

Ничем не обосновывает автор и такое сомнительное утверждение: «В качестве характерной для Болгарии и некоторых других социалистических стран особенности следует отметить, что подготовка специалистов осуществляется одновременно с внедрением в хозяйство новой техники. В отличие от Советского Союза, лозунги «Техника решает все» и «Кадры решают все» выдвигаются одновременно, так как в этих странах одновременно создаются материальные и культурные основы социализма».

А разве — возникает опять-таки вопрос — в Советской стране не одновременно создавались материальные и культурные основы социализма?

Примерно на таком же уровне и тем же цитатно-декламационным методом излагается проблема «Народная демократия и наука». Вначале выдержка из Ф. Энгельса о зависимости науки от техники и тут же неожиданное уверение, что такой же позиции придерживается... Бертран Рассел. Новый поток цитат и утверждение, что в «изучении мозговой деятельности (?) Советский Союз является ведущим в мире». Потом опять серия выписок из самых различных источников, завершаемых высказыванием Д. И. Менделеева. Комментарии А. Арнольдова к этому высказыванию великого ученого свидетельствуют, что автор книги явно смеши-

вает понятие планирования научной деятельности при социализме в государственном масштабе с понятием плана в научном исследовании, за который ратовал Д. И. Менделеев,— того самого принципа, который так часто нарушается А. Арнольд-вым.

Нельзя не отметить и такой недостаток книги. Автор, приводя высказывания реакционных философов и социологов (вплоть до ссылок на радиостанцию «Свободная Европа»), иной раз добровольно отказывается от развернутой критики их утверждений и отделяется общей фразой, обозначающей, что не стоит, мол, и вступать в големику. Почему же не стоит? Часто не только стбит, но и необходимо.

Пожалуй, наиболее тягостное впечатление остается от вторжения А. Арнольдова в сферу художественной культуры. Начав в характеристике нового искусства стран народной демократии с утверждения, что «оно творит о народе» (?), и призвав для подтверждения этого цитату из... Гегеля, автор туманно и путано характеризует сущность партийности и народности социалистического искусства. Поскольку, пишет А. Арнольд-ов, оно призвано «содействовать» строительству социализма и коммунизма, оно партийно, а так как новое общество строится в интересах трудящихся, то «содействие этому процессу смыкается (?) с осуществлением принципа народности». Так наукообразно, нечетко выглядит в изложении автора принцип единства партийности и народности социалистического искусства.

Говоря о реализме, А. Арнольд-ов опять-таки пускается в путаные, искусственно осложненные рассуждения, механически перенося принципы научного мышления в область художественного творчества.

Трагую о проблемах литературы и искусства, автор на каждом шагу соскальзывает на стезю примитива. Так, желая противопоставить буржуазное и социалистическое киноискусство, он пишет: «Буржуазное искусство, культивируя парадоксальную исключительность, психосоанализ, эстетские копания, обслуживая узкий круг снобов, теряет свою художественную ценность; голливудские боевики и ковбойские фильмы, несмотря на свою доступность,—лженародны, в то время, как новое, народное, социалистическое искусство близко людям...» Такими сентенциями подменяется серьезная критика буржуазного искусства. Подлинно научного ис-

следования в этих главах нет и в помине.

С калейдоскопической быстротой мелькают имена писателей, художников, композиторов разных стран, эпох, направлений, и все это бессистемно, поверхностно и, конечно, в сопровождении армады цитат: Г. Димитров и А. Луначарский, Анри Барбюс и Салтыков-Щедрин, американский социолог Жак Бараэн и Христо Ботев, Гёте и Маяковский, «один великий француз» и Уолтер Липман, французский журнал «Эроп» и румынская «Скынтейя», «Курьер Юнеско» и польский статистический ежегодник — все это механически подверстано и по сути ничего не дает читателю, тщетно ищущему живой мысли, творческого обобщения новых явлений, обещанного автором.

Нельзя не отметить небрежность редактирования книги, множество несуразностей, которые лежат на совести как автора, так и редактора Н. Злобина. Не говоря уже о некоторых, прямо-таки недопустимых опечатках (как, например, на стр. 106), в книге имеются «вольные» определения, не имеющие ничего общего с наукой. А. Арнольд-ов, например, делит революции на «большие» и «малые», «тихие» и «нашумевшие» (!). Он говорит о некоей «эпохе Просвещения XVIII века» и «буржуазных революциях XVII века», несущих свои знания «лишь буржуазии». А чего стоит утверждение, что «в конечном счете культурная революция совершается только для трудового человека, во имя его счастья и процветания». Это, безусловно, так, но почему только «в конечном счете», можно спросить и автора, и нетребовательного редактора.

В другом месте А. Арнольд-ов пишет: «Коммунизм... есть общество изобилия, где полностью удовлетворяются не только материальные, но и духовные потребности всех его членов». Автор не учитывает, что в области духовных благ всегда будет действовать сила творческой неудовлетворенности достигнутым. В этом главное, а не в том, как уверяет автор, что при коммунизме армия деятелей культуры избавится от случайных элементов, которые из меркантильных, корыстных, карьеристских соображений проникали в эту область. Какой прямолинейный вульгаризм! Истинная культура во все времена создавалась людьми, свободными от такого рода стимулов. И для борьбы с тем, что А. Арнольд-ов называет «низ-

копными произведениями искусства, всякого рода халтурой, лженаучными трудами», право, вовсе не следует ждать коммунизма — с этим злом надо бороться сегодня.

В предисловии А. Арнольдов пишет, что в процессе работы над темой он опубликовал ряд статей и брошюр, которые «частично использованы» им в книге «в обновленном виде». На деле весь этот объемистый том не что иное, как непомерно раздутое

изложение брошюрно-статейных материалов с той лишь разницей, что все это для придания «научной солидности» увенчано аннотацией на английском языке и обширной библиографией.

Мы подошли к последним страницам книги. Итоги очевидны и бесспорны. Книгу эту никак нельзя причислить к трудам, обогащающим науку.

И. МИНДЛИН,
кандидат исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



А. ИЛЬИН, В. ИЛЬИН. Рождение партии. 1883—1904. Соцэкгиз. М. 1962. 280 стр. Цена 50 к.

Шесть десятилетий назад Владимир Ильич Ленин пророчески воскликнул: «...дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» Такой организацией стала созданная в 1903 году на II съезде РСДРП революционная партия нового типа — ленинская большевистская партия. Воспитанная на идеях марксизма-ленинизма и тесно связанная с трудящимися массами, она выросла ныне в десятиллионную армию коммунистов и превратилась в авангард советского народа, стала партией всего народа.

Как зародилась наша партия, кто был у ее истоков? В простой, доступной читателю форме авторы книги повествуют о давно минувших годах, насыщенных борьбой славных революционеров, которых собирал, сплачивал и повел за собой великий Ленин...

Книга открывается главой, в которой рассказывается о начале рабочего движения и проникновении марксизма в Россию. Марксизм постепенно, но неуклонно подрывал теоретические основы народничества, оказывал беспрецедентное в истории влияние на умы передовых людей. Большую роль в этом сыграла группа «Освобождение труда», которую организовал Г. В. Плеханов вместе со своими единомышленниками. Плехановская группа, как указывал В. И. Ленин, «теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению».

На большом фактическом материале авторы книги показывают ленинский этап в развитии марксизма.

В главе, посвященной революционной деятельности В. И. Ленина среди петербургских рабочих, рассказывается о создании им осенью 1895 года «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

В. И. Ленин писал, что петербургский «Союз борьбы» действительно был первым серьезным зачатком революционной марксистской партии в России, которая опирается на рабочее движение и руководит классовой борьбой пролетариата.

Листая страницу за страницей, убеждаешься, какую поистине титаническую организационную работу провел Ленин по собираванию когорты рыцарей революции, составивших руководящее ядро партии.

В книге показывается роль ленинской «Искры» и книги Ленина «Что делать?» в создании партии. Большое место занимает рассказ о II съезде РСДРП, о непримиримой борьбе большевиков с меньшевиками и о победе в конечном счете ленинского большинства.

Книга оставляет глубокий след в сознании читателя. Авторам ее удалось не только собрать материал, но и обобщить его, показать, что Российская социал-демократическая рабочая партия родилась в процессе могучей революционной борьбы русского пролетариата против царизма и капитализма. В своей деятельности она руководствовалась марксизмом. Марксизм-ленинизм стал боевым идейным оружием и мировоззрением трудящихся всех стран.

В. Светцов.



И. Б. ЛИСОЧКИН. По заданию Ильича — за океан (Документальная повесть). Лениздат. 1963. 84 стр. Цена 14 к.

Двадцатого августа 1918 года В. И. Ленин написал знаменитое «Письмо к американским рабочим». Как оно дошло до них? Ведь Россия находилась в блокаде: шла гражданская война. Республика не имела почти никаких международных связей.

Владимир Ильич начинал письмо словами: «Один русский большевик, участвовавший в революции 1905 года и затем много лет проведший в вашей стране, предложил мне взять на себя доставку моего письма к вам».

Было известно, что большевик, доставивший в Америку ленинский документ, — Слетов. Но кто он? Жив ли? Не так давно выяснилось, что Слетов жив и настоящая его фамилия Травин. После гражданской войны П. И. Травин работал за границей торговым представителем. Затем был оклеветан, исключен из партии. Сейчас Петр Иванович полностью реабилитирован, живет в Москве, работает.

История, рассказанная в книжке И. Б. Лисочкина, и есть повесть о том, как большевик Травин доставил письмо Ленина в Америку. Долго пришлось добираться Петру Ивановичу, много опасностей подстерегало его в пути. Под видом корабельного плотника ему удалось устроиться на пароход, идущий в Америку; письмо было положено

в жестяную коробочку и спрятано в вентиляционном канале. Кажется, все трудности уже позади. Но в Америке таможенные чиновники заподозрили что-то неладное в документах и запретили выпускать Травина на берег. С помощью моряка-датчанина, сочувствовавшего коммунистам, Травин бежал с парохода.

И вот документ доставлен по адресу. «Письмо к американским рабочим» было опубликовано в журнале «Классовая борьба», в еженедельнике «Революционная эпоха» и в газетах «Голос Нью-Йорка», «Новый мир».

Велико интернациональное значение этого ленинского документа. Обращенное к пролетариям Америки, письмо рассказывало правду о революции в России. Уильям Фостер в статье «Октябрьская революция и американский народ» так оценивал ленинское письмо: «Когда Октябрьская революция нанесла смертельный удар капитализму и империализму в России, ее встретили с большим воодушевлением. Но даже в Социалистической партии лишь немногие были знакомы с деятельностью Ленина, вождя революции, и еще меньше людей знало и понимало программу его партии... Несмотря на отчаянные попытки оклеветать и уничтожить русскую революцию, сочувствие к ней охватило широкие народные массы. Великую вдохновляющую роль сыграло ленинское «Письмо к американским рабочим».

И. Куликова.

★

В. КОНДРАТЬЕВ. Их имена в истории Москвы. «Московский рабочий». М. 1963. 192 стр. Цена 42 к.

Улица Мантулинская, площадь Пряникова, клуб имени Горбунова, институт имени Карпова, фабрика имени Капранова... Кто эти люди? Почему их имена вошли в историю Москвы? Дать более или менее обстоятельный ответ на эти вопросы могут очень немногие. Вот почему нельзя не порадоваться выходу в свет хорошо иллюстрированных очерков о славных москвичах, чьи имена увековечены в названиях улиц и площадей, заводов и фабрик, институтов и парков.

В. Кондратьев осуществил попытку восстановить, хотя и в очень краткой форме, образ ряда замечательных революционеров-большевиков, жизнь которых была тесно связана с Москвой. Весьма различны судьбы и пути в революции героев очерков, но их объединяет, как верно подчеркивает автор, одна общая присущая им характерная черта — преданность делу рабочего класса, верность идеям Ленина.

Однако далеко не все очерки достаточно обстоятельны. В некоторых автор пытается восполнить нехватку документального материала беллетристкой. Этот прием, по нашему мнению, нельзя признать удачным. Хочется надеяться, что вторая книга «Их имена в истории Москвы», готовящаяся к изданию, будет больше насыщена фактическим, документальным материалом. Этого

можно достигнуть, если привлечь к подготовке очерков широкий круг работников архивов и музеев.

Несмотря на некоторые недочеты, книга «Их имена в истории Москвы» в какой-то мере заполнит ощутимый пробел в нашей справочной литературе исторического характера.

М. Попов,
кандидат исторических наук.

★

В. АНТОНОВ. Русский друг Маркса. Герман Александрович Лопатин. Соцэкиз. М. 1962. 94 стр. Цена 14 к.

«Не многих людей я так люблю и так уважаю, как его», — писал о Германе Александровиче Лопатине Маркс. Кто он, этот наш соотечественник, столь высоко ценимый великим основоположником коммунистической теории?

Лаконично, но достаточно полно знакомит книжка В. Антонова с его личностью, мировоззрением, деятельностью. Это безусловно личность необычайно яркая, героическая и романтическая. Убедленный революционер, он был членом Международного товарищества рабочих, его Генерального совета и в то же время пытался возродить разбитую царизмом и предательством «Народную волю». Он пытался спасти из сибирской каторги Чернышевского, но был арестован и посажен в Иркутскую крепость. Он первым перевел на русский язык первый том «Капитала» и другие произведения Маркса. Лопатин около двадцати лет провел в каменном мешке Шлиссельбургской крепости. Он был свидетелем Февральской и Октябрьской революций. Провожая его в последний путь в декабре 1918 года, М. Горький писал: «Хоронили Германа Лопатина, одного из галантливейших русских людей. В стране культурно дисциплинированной такой даровитый человек сделал бы карьеру ученого, художника, путешественника, у нас он двадцать лет, лучшие годы жизни, просидел в Шлиссельбургской тюрьме».

Жизнь этого человека — образец служения передовым идеалам своего времени, пример необыкновенного мужества и самопожертвования.

Л. Лерер.

★

Ф. И. ЖАРОВ. Подвиги красных летчиков. Воениздат. М. 1963. 120 стр. Цена 29 к.

Наша литература о героическом прошлом советской авиации довольно скудна. Особенно мало книг о действиях советской авиации в героические годы гражданской войны, когда почти каждый полет на вкопеч изношенных самолетах и моторах, на всевозможных смесях вместо бензина был подвигом.

Вот почему следует высоко оценить благородную задачу, которую поставил перед собою автор этой небольшой, но содержательной книги — рассказать о зарождении

советской авиации, показать ее боевые действия в годы гражданской войны, восстановить историческую правду в отношении ряда летчиков, имена которых были несправедливо опорожены или незаслуженно забыты. Сам автор — ветеран авиации, прошедший путь от солдата до генерала. Он удачно сочетает собственные воспоминания со свидетельствами многочисленных архивных документов.

Книга, как это отмечается в предисловии, не претендует на всестороннее освещение истории авиации в СССР. Рассказы о зарождении советской авиации, о роли партии и лично В. И. Ленина в ее создании, автор в последующих двух разделах пишет о действиях красных летчиков только на Восточном и Туркестанском фронтах и лишь в те периоды, когда ему довелось быть там. Он приводит немало ранее неизвестных или забытых фактов, напоминает о таких летчиках-героях, как И. У. Павлов, Ф. А. Ингаунис, И. В. Сатуниин, Г. С. Сапожников, и, что самое ценное, — о ряде летчиков, забытых нашей печатью.

Известно, что в нескольких ранее изданных книгах были оклеветаны летчики, приданные дивизии В. И. Чапаева. Об их судьбе после Лбищенской трагедии долго ничего не было известно. Ф. И. Жаров, опираясь на архивные документы и воспоминания уцелевших участников событий, убедительно доказывает, что эти летчики проявили подлинный героизм; некоторые из них отдали жизнь за дело рабочих и крестьян. А бывший офицер-летчик Железнов, попавший в день гибели В. И. Чапаева в плен к белым, сумел снова перелететь в ряды Красной Армии.

В заключительной части книги кратко описываются боевые действия советских летчиков против басмачей в сложнейших условиях Туркестана. Эти малоизвестные страницы истории нашей страны читаются с особым интересом. И здесь также перед читателями проходит блестящая плеяда красных летчиков, совершавших беспримерные для того времени полеты и атаки по врагу с воздуха. Особенно приятно, что в этой плеяде не забыт отважнейший летчик, любимец всех, кто знал его лично, — Юрий Арватов, награжденный за короткое время четырьмя боевыми орденами.

Вероятно, о многих подвигах можно было рассказать подробнее, красочнее, ярче. Имеются в книге и некоторые неточности. Однако и в нынешнем своем виде книга Ф. И. Жарова — ценный вклад в нашу авиационную литературу.

Евг. Бурче.

★

Г. ГЕОРГИУ. Солнце над селом. Государственное издательство «Картия Молдовеняскэ». Кишинев. 1963. 192 стр. Цена 18 к.

В рассказах Г. Георгиу, составляющих сборник «Солнце над селом», подкупает зоркость писателя, его умение подметить в жизни своего героя такое событие, которое станет **этапным** в формировании ха-

рактера. Глубокие социальные преобразования в послевоенной Молдавии выступают в лучших рассказах этого сборника не как фон, на котором разворачивается действие, — они активно влияют на ход событий. Рассказы «Полнолуние», «Анкуца», «Дом тетушки Ликсандры», «Счастье рядом с нами» показывают, как человек преодолевает драматический конфликт между старыми представлениями и чертами нового в молдавском селе.

...Плотник Пинтилие — мастер золотые руки — дорого расценивал свое умение, и за его работу всегда платили полновесной монетой. Поэтому он без всякой радости отнесся к решению колхозников — всем селом в общественном порядке построить старой труженице тетушке Ликсандре новый дом. «Сегодня будем работать бесплатно для Ликсандры, завтра для Акулины, послезавтра — черт знает для кого!» — доказывал Пинтилие самому себе. Но оказалось, что плохо он знал самого себя. Не смог он остаться в стороне, когда все принялись за работу: он ведь был мастером, рабочим человеком. И этот общий труд открыл ему какую-то новую сторону его души и его мастерства.

Гораздо менее точны по образному строю, композиции и приметам времени рассказы, посвященные любви и семье («Играла гармонь», «На распутье», «Золотой крестик»): в них преобладает риторика, борение чувств подчас подменяется сентиментальным умилением.

С. Корытная.

★

И. МЕРАС. Желтый лоскут. Повесть. Детгиз. М. 1963. 144 стр. Цена 27 к.

Анна Франк погибла. После войны отец нашел дневник дочери. Литовский мальчуган Бенюкас остался жив. Погибла вся его семья. В предисловии сказано, что повесть И. Мераса «Желтый лоскут» во многом автобиографична. Эта книга — рассказ о своей судьбе, о себе, о семилетнем мальчишке, убежавшем из сарая: из этого сарая всех взрослых уже вывели и расстреляли. Автор смотрит на мальчика, которого он называл Беней — Бенюкасом, — с расстояния двадцати с лишком лет. Смотрит и просто рассказывает о его судьбе.

«Хозяевами поместья были барон фон Венцель и его овчарка Рекс», — так начинается глава «Похороны». Овчарка загрызла маленькую Верике. Когда овчарку убили, рядом с бароном стал ходить черный обер, человек. Черный обер застрелил старика Вайткуса. Немецкий солдат, предложивший женщине с желтым лоскутом на груди буханку хлеба для голодного мальчугана, читал у Шиллера о Вильгельме Телле. Поэтому он и поставил буханку хлеба еврейке на голову, отсчитал соответствующее количество шагов и меткими револьверными выстрелами сбил хлеб в грязь. После этого мать Бенюкаса — тогда она была еще жива — получила право взять хлеб и идти в гетто. Но мальчику уже расхотелось есть.

Повесть Мераса — это повесть о страшных людях. Но это и повесть о людях, которым очень хотелось быть добрыми. Милые старички — католики Моцкусы знали про доброту все слова. И Бенюкас, во имя этой доброты крещенный ими, тоже узнал их слова и их молитвы. Но вот однажды старый Моцкус сказал жене: «В десяти заповедях что сказано? Люби ближнего, как самого себя. Какая же это любовь, если себя под пулю подставляешь?» Бенюкас очутился на улице. Доброта не жила в ласковых словах и тихих молитвах.

Мальчугана подобрал подвыпивший батрак Диникис. «Где шесть, там и седьмой прокормится», — сказала жена батрака. Доброта жила в этой семье и в десятке других батрацких семей, работавших в поместье. Доброта жила у русского военнопленного Александра, защищавшего мальчика от кулачки Суткене. Александр ушел к партизанам, а несколько времени спустя Бенюкас по поручению приемного отца и его друга установил на древней башне поместья красный флаг — знамя рабочей солидарности.

«Желтый лоскут» — это повесть о человеческой солидарности, о солидарности людей труда и борьбы. Это повесть о подлинной доброте, о возмездии и справедливости.

Она издана для детей, но взрослые прочтут ее с напряженным интересом. Прочтешь ее взрослым тем более полезно, что для ребят война — это уже история. Но историю эту смогут объяснить детям только отцы.

Ю. Айхенвальд.

★

МАРК ПОПОВСКИЙ. Судьба доктора Хавкина. Издательство восточной литературы. М. 1963. 132 стр. Цена 42 к.

«Весь мир и особенно мы в Индии премного обязаны доктору Хавкину. Он помог Индии избавиться от основных эпидемий — чумы и холеры». Эти слова известного индийского государственного деятеля Раджендра Прасада поставлены эпиграфом к книге. Выдающийся общественный деятель Индии С. Сокхей в предисловии подчеркивает заслуги Хавкина и указывает, что созданная им вакцина против чумы «выдержала проверку временем и спасла жизнь миллионам людей в Индии, Западной Азии и Северной Африке».

Жизнь этого выдающегося микробиолога — напряженная жизнь борца. В молодости он был близок к «Народной воле», принимал участие в революционной работе. После исключения из Новороссийского университета был вынужден уехать за границу.

В Париже в знаменитом Пастеровском институте Хавкин закончил свое формирование как ученого. Он пришел к решению, что поле деятельности, на котором ему предстоит воевать, — борьба с эпидемиями на основе новых возможностей, открытых микробиологией.

Холера была первой инфекцией, на которой молодой ученый попробовал свои силы.

В 1892 году в России за одно лето холерой заболело шестьсот тысяч человек. В. Хавкин взялся за отыскание противохолерной вакцины и сумел создать ее. Решающий опыт был В. Хавкиным поставлен на самом себе. В Индии он имел возможность не только убедиться в правильности найденного им пути, но и защитить жизнь сотен тысяч людей.

Однако не в борьбе с холерой, а в борьбе с другой страшной инфекцией — чумой — В. Хавкин снискал себе мировую славу. По приглашению индийского правительства он возглавил борьбу с чумой и добился огромных результатов. Уже первые шаги в 1897 году дали поразительный эффект: из шести тысяч отказавшихся от вакцины Хавкина умерли 1482, а из двух тысяч двухсот привитых — только шестеро!

Свыше двадцати лет провел ученый в Индии. Именем его назван крупнейший микробиологический институт в Бомбее. Последние двенадцать лет своей жизни В. Хавкин жил во Франции.

Теперь наш читатель получил первую книгу о В. Хавкине. Яркое, интересно, убедительно рассказывает автор об одном из самых интересных микробиологов мира, имеющем большие заслуги в медицине и в укреплении дружеских связей между русским и индийским народами.

Проф. Б. Петров.

★

ВЕРА СМЕРНОВА. О детях и для детей. Дом детской книги. Детгиз. М. 1963. 383 стр. Цена 1 р.

В этой книге собраны статьи автора о советских детских писателях. Критик не открывает читателю новых имен; речь идет о книгах наиболее известных и признанных. Кроме статей, в сборник вошла изданная в 1961 году работа о Гайдаре, о которой нам уже приходилось писать.

Статьи о К. Чуковском и С. Маршаке, начинающие сборник (если не считать авторского «Необходимого предисловия», которое кажется как раз наименее необходимым), ближе всего напоминают хорошо знакомый жанр «Краткого очерка жизни и творчества». Но в его рамках поставлены определенные проблемы. Автора интересует, например, не поэта, а главным образом «смысловое содержание детских сказок Чуковского, так часто смущающее взрослых — педагогов и исследователей детской литературы». В. Смирнова показывает, что в сказках Чуковского, «несмотря на все потасовки, сражения и схватки, всегда присутствует доброе начало». Необходимость таких разъяснений, видимо, еще не отпала.

«...Нынче Муха-Цокотуха
Имениница!»

— Не наш быт, — говорят опасливые воспитатели. — Даже умывальники такого типа, как Мойдодыр, нынче вышли из обихода.

— Ну и что же? — спросим мы. В самой прекрасной сказке нашей литературы, в

пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке», в руках у старика — невод, корыто у старухи деревянное, старуха становится «дворянкой» и даже «царицей» — профессии, знакомые нашим нынешним детям...» Это замечание автора справедливо и имеет отношение не только к сказкам Чуковского.

Книга В. Смирновой имеет, пожалуй, свой адрес — в частности, тех самых «взрослых», которые еще не освободились от косного и предвзятого отношения к детским книгам. В этом аспекте понятно и включение в сборник статьи «Борис Житков и его мысли о воспитании и детской книге».

Наиболее удачна в сборнике большая статья о Льве Квитко. Здесь получился и живой облик человека, и литературный портрет. По статье же о Л. Пантелееве трудно представить себе особый «почерк» писателя. В статье «Об одной классической советской детской книге» высказано немало верных мыслей о повести В. Катаева «Белеет парус одинокий», но все подчинено одному: показать, как убедительно и доступно для ребенка написана эта книга. Этого, конечно, мало для серьезного разговора о книге.

Удачно оформление книги — многочисленные фотокопии с титульных листов первых изданий книг Чуковского, Маршака. Хотелось бы видеть в статьях несколько больше живых фактов того ставшего уже историей литературного быта, который автору книги так хорошо знаком. Жаль еще, что в сборнике нет указаний на первые публикации некоторых из включенных материалов.

М. Чудакова.

★

Л. ФРЕЙДКИНА. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. Летопись жизни и творчества. Издание Всероссийского театрального общества. 1962. 643 стр. Цена 3 р.

В книге больше сорока печатных листов. Летопись длинна хотя бы потому, что длинна жизнь, восстанавливаемая тут в ее бытовых и творческих записях. Немирович-Данченко рецензировал первые постановки «Бесприданницы» и «Талантов и поклонников» и выпустил премьеру «Кремлевских курантов». Но Немирович-Данченко не просто долголетен. Ему было дано понимать десятилетия, прочитые им, как десятилетия истории, как время в движении.

В ранних спектаклях МХТ так удивительно передавалась тоска медлительного существования, быта, стоящего на месте, вязкого, связывающего. То и дело раздавался вздох: «а жизнь идет...» — и звучал он как вздох: «а жизнь стоит, ничего не меняется». Немирович-Данченко знал, что жизнь все-таки идет. В 1889 году он с небольшим опозданием читал «Иванова», получив от Чехова в подарок еще даже не томик, а оттиск. Пьеса была свежая, сегодняшняя, о сегодняшнем. В 1904 году Не-

мирович-Данченко ставил «Иванова», ставил как пьесу историческую. Вел беседу о ситуациях и характерах так, как за год до того объяснял исторические характеры «Юлия Цезаря». Объяснял: «Эту пьесу нельзя отнести ни к 60-м, ни к 90-м годам». «Иванов» — типичное явление помещичьей жизни на развалинах идей 60-х годов, когда новые формы жизни еще не создались...» Медлительность быта оставалась, но Немировича-Данченко интересовал вектор истории, ее «направляющая».

Очень интересно читать подряд эту книгу, вовсе не рассчитанную на такое чтение, задуманную и с образцовой добросовестностью выполненную как пособие для историков театра, как свод и публикация разбросанных по малодоступным архивам творческих документов. Очень интересно читать ее именно «насквозь». Читать, как Немирович-Данченко будет жаловаться на то, что мы зовем «текучкой»: «меня теребят декорации, бутафория, звуковые и световые эффекты и недовольные актеры», «я бы уже приступил к пьесе, если бы меня не замучивали скучные работы,—во-первых, все текущие дела, которые, как никогда еще, навалились на меня...» Приходилось дипломатничать, «пробивая» пьесы через царскую цензуру, иметь дело с начальством, вплоть до митрополита Владимира: в репертуар МХТ вмешивались прямо с каким-то сладострастием — если не запретить, то уж искромсать, извести постоянной возможностью неприятностей, если не самими неприятностями... Это все быт, самый что ни на есть обыденный,— день за днем. Кажется, даже даты великих спектаклей для их создателей не слишком четко отбиты красной строкой. Сознание значительности творимого дела проступает больше всего в тревогах за это дело, в сознании опасности — не довести до конца свои художественные идеи. Едва ли не через страницу в «Летописи» приводятся записи тревожные. Изо дня в день недовольство собой. Боязнь быть мелким. Боязнь быть приятным и привычным. Изо дня в день — так. А на расстоянии лет видны победы, раскрывается величие и направленность. (Под конец жизни Немирович-Данченко угадывал опасность обратного: похвалы изо дня в день его настораживали...)

«Текучка» жизни и историзм жизни — вот что больше всего раскрыто в летописи дней и годов Немировича-Данченко. В этой книге с ее объективной научностью есть своя лирическая тема. Стоит найти время, чтобы медленно, от страницы к странице, прочитать ее...

И. Соловьева.

★

Ю. И. МАСАНОВ. В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1963. 320 стр. Цена 1 р.

Мир, в который вводит читателя эта книга, увлекателен и таит в себе много неожиданного. И если карта этого мира сегодня

хорошо известна, если на ней остается все меньше и меньше белых пятен, то это заслуга нескольких поколений русских исследователей и библиографов. Одним из них был Иван Филиппович Масанов — отец автора этой книги. По крупице собирая факты, рассеянные в бесчисленных источниках, подвергая их кропотливому анализу и придирчивой проверке, он создал «Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей».

Сын продолжает дело отца. В своей книге Ю. Масанов стремится не столько раскрыть то, что еще требует разгадки, сколько проследить конкретные историко-литературные обстоятельства, которые вызвали к жизни уже раскрытые псевдонимы, разгаданные анонимы и литературные подделки.

Будь литературные мистификации продиктованы корыстными мотивами и низменными побуждениями, они разделили бы судьбу плагиатов и подлежали бы не литературному исследованию, а уголовному наказанию. Но в том-то и дело, что значение литературных мистификаций нередко выходит далеко за границы индивидуальных чудачеств того или иного автора и внутрилитературных курьезов.

В 1827 году в Париже вышла книга «Гузла, или Избранные иллирийские стихотворения, собранные в Далмации, Боснии, Кроации и Герцеговине». В предисловии к этому сборнику анонимный собиратель песен сообщал, что они записаны со слов гуслера Иакинфа Маглановича, и рассказывал его биографию. Предупреждая возможные сомнения, анонимный собиратель песен прилагал к сборнику портрет гуслера. Никто, естественно, не заподозрил здесь подвоха. Пушкин перевел вольно несколько стихотворений из этого сборника и поместил их в «Библиотеке для чтения». Лишь потом Пушкин узнал, что эти стихи принадлежат перу французского писателя Проспера Мериме, решившего своей мистификацией позабавиться над идеей «местного колорита» — краеугольным камнем романтической поэтики. Эта литературная мистификация, исполненная блеска и глубины, послужила поводом к появлению в русской литературе замечательного пушкинского цикла «Песни западных славян» — вполне оригинального, несмотря на то, что сюжеты этих стихов были заимствованными.

Далеко не всегда, конечно, литературные подделки имеют такое благотворное значение, как мистификация Мериме.

В свою книгу «Вечные спутники» Д. С. Мережковский включил эту оду Пушкине, основанный на воспоминаниях А. О. Смирновой, прятательницы великого поэта. Однако литературоведами было неопровержимо доказано, что подлинным автором записок была не А. О. Смирнова, а ее дочь — О. Н. Смирнова, занимавшая крайне реакционную позицию, ярая сторонница самодержавия. Эти записки были наполнены измышлениями и неточностями. Таким образом, концепция Мережковского,

основанная на ложных свидетельствах, оказалась несостоятельной.

О мистификации Мериме и подделках в записках Смирновой, равно как и о наиболее примечательных псевдонимах, анонимах и литературных подделках, бывших в русской литературе, обстоятельно рассказывается в книге Ю. Масанова.

Профессор П. Н. Берков — автор содержательного предисловия, не только объясняющего, но и дополняющего работу Ю. Масанова, — справедливо пишет: «...это одновременно и увлекательная книга для чтения, и научный труд, к которому станут обращаться и который будут цитировать специалисты».

Л. Левицкий.

★

А. СТАРЦЕВ. Марк Твен и Америка. «Советский писатель». М. 1963. 308 стр. Цена 57 к.

А. Старцев, видный исследователь американской литературы, занимается Твеном давно. Основные положения его книги были им изложены еще в 1937 году во вступительной статье к одному томику «Избранных произведений» Твена и с тех пор широко вошли в наш литературоведческий обиход.

Книга написана сжато. Фактический материал — во многом новый — тщательно отобран. Автор не пересказывает общеизвестных исторических и биографических сведений: он стремится выснить закономерности творческого развития Твена. А. Старцев не обходит острых углов, не рисует великого писателя ни более передовым, ни более смелым, чем тот был на самом деле. Главная тема книги, ее «сквозное действие» — сложная история взаимоотношений Марка Твена с американским буржуазным обществом. Исследователь проникает в суть этих взаимоотношений — и непонятное становится понятным. Почему великий сатирик не создал после «Приключений Гекльберри Финна» (1885) ни одного крупного произведения на современную тему, почему он после этой книги и до самой смерти, в течение четверти века, не работал как художник в полную силу?

Твен долгое время был не чужд иллюзий американизма. В «Приключениях Тома Сойера» мир солнечного детства становится материалом для реалистического изображения естественно и без натяжки. В книге о Геке Финне, написанной десять лет спустя, встает иная Америка — рабовладельческая, жадная, с дикими, захолустными нравами. Здесь уже, в сущности, остается мало места для традиционного американского оптимизма (известно, что Хемингуэй считал «Гека Финна» источником всей современной американской литературы).

А. Старцев анализирует опубликованную недавно в Америке речь Твена «Рыцари Труда — новая династия» (1886). Это была переломная точка в развитии писателя. Обострение классовых боев в США выдвигает

нуло перед Твенем проблему пролетариата, заставило думать с надеждой о грядущем социальном перевороте. С надеждой — но и со страхом.

Исследователь приводит слова из «Записных книжек» Твена за 1904 год: «Только мертвые имеют свободу слова. Только мертвым позволено говорить правду. В Америке — как и повсюду — свобода слова для мертвых». Буржуазная Америка не запрещала произведений Твена, не подвергала его репрессиям. Но тирания общественного мнения действовала и на автора «Гека Финна». Его антимпериалистические памфлеты далеко не всегда попадали в печать. В последние годы жизни Твен, по словам Старцева, «ушел в глубокое «рукописное подполье».

Марк Твен и поныне обвиняет капиталистическую Америку — не только блестящими страницами своей сатиры, но и драматизмом собственной писательской судьбы. А. Старцев показал этот драматизм и помог нам глубже понять Твена.

Т. М.

★

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ США, АНГЛИИ И ФРГ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. Госэкономиздат. М. 1962. 419 стр. Цена 1 р. 44 к.

В этой книге читатели найдут много интересных данных о новейших изменениях в структуре капиталистической промышленности. Значительный интерес представляет интенсивный процесс индустриализации сельского хозяйства, строительства, торговли, быта. Большое развитие в капиталистических странах в последние годы получила химическая отрасль. Растет производство химических волокон, пластмасс, синтетического каучука. Опережая другие отрасли, развивается электроэнергетика и в особенности электроника...

Однако, несмотря на развитие техники в ряде капиталистических стран и достижения известные успехов в некоторых отраслях промышленности, советский читатель не может не видеть глубокой и безнадежной болезни капиталистической экономики. Вопреки всем достижениям в технике производства среднегодовой рост промышленной продукции в США составляет всего лишь 2—3 процента (а у нас — 9 процентов!). В США более пяти миллионов безра-

ботных. По словам такого авторитетного свидетеля, как президент США Кеннеди, тридцать два миллиона американцев находятся на грани нищеты. Такова действительная картина экономического положения богатейшей капиталистической страны.

Изучение структурных и экономических изменений в промышленности передовых по технике капиталистических стран представляет большой интерес для работников нашей промышленности, да и для широких кругов читателей.

М. Аронович.

★

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОСМОСУ ОТ «А» ДО «Я». Издательство «Известия». М. 1963. 172 стр. Цена 20 к.

Что такое «ангстрем», «антигравитация», «сурдокамера», «хлорелла»? Как устроена многоступенчатая ракета? Как обеспечивается жизнедеятельность человека в условиях космического пространства?

На эти и многие другие вопросы ответит небольшая по объему, но богатая содержанием книга «Путешествие по космосу от «А» до «Я».

Выдающиеся достижения в освоении космического пространства за годы первой «космической пятилетки» вызвали небывалый интерес ко всему, что связано с космосом — бесконечным, неизведанным миром, лежащим за пределами земной атмосферы. Этот краткий справочник поможет разобраться в потоке новых понятий и терминов, входящих в нашу жизнь вместе с замечательными успехами советской науки и техники в завоевании Вселенной.

Прочитав книгу, вы узнаете об открытии с помощью искусственных спутников радиационных поясов Земли; об условиях, существующих на планетах Солнечной системы; о фотонных ракетах будущего, на которых наши потомки полетят к звездам, и о многом другом. На страницах книги, написанной простым, ясным языком, раскрывается содержание более восьмидесяти терминов из области астрономии, физики, ракетной техники и космической медицины.

Книга безусловно принесет пользу широкому кругу читателей, впервые отправляющихся в интереснейшее «путешествие» по космосу.

В. Иванов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗАТ

Постановления Пленума Центрального Комитета КПСС. Июнь 1963 года. Об очередных задачах идеологической работы партии. О предстоящей встрече представителей ЦК КПСС с представителями ЦК КПК. 30 стр. Цена 3 к.

Н. С. Хрущев. Все резервы промышленности и строительства — на службу коммунизму! Речь на совещании работников промышленности и строительства РСФСР 24 апреля 1963 года. 80 стр. Цена 9 к.

Л. Ф. Ильичев. Очередные задачи идеологической работы партии. Доклад на Пленуме Центрального Комитета КПСС 18 июня 1963 года. 80 стр. Цена 9 к.

Тринадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. Май 1924 года. 907 стр. Цена 1 р. 60 к.

И. Гееский, Г. Гарасова. «Ультра» рвутся в Белый дом. 96 стр. Цена 11 к.

В. Любовцев. Сердце у меня одно... О бесмертном подвиге пограничников заставы Алексея Лопатина. 127 стр. Цена 14 к.

Мир через 20 лет. 1000 писем о будущем. 191 стр. Цена 28 к.

П. Никифоров. Записки премьера ДВР. Победа ленинской политики в борьбе с интервенцией на Дальнем Востоке. 1917—1922 гг. 287 стр. Цена 75 к.

А. Осипов. Катихизис без прикрас. Беседы бывшего богослова с верующими и неверующими о книге, излагающей основы православной веры. 328 стр. Цена 57 к.

П. Подляшук. Товарищ Инесса. Документальная повесть. 167 стр. Цена 20 к.

Б. Н. Пономарев. Ленинизм — наше знамя и всепобеждающее оружие. Доклад на торжественном заседании в Москве, посвященном 93-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 32 стр. Цена 3 к.

Президент Хо Ши Мин (Политическая биография). 80 стр. Цена 13 к.

Справочник партийного работника. Выпуск четвертый. 736 стр. Цена 1 р. 20 к.

У истоков партии. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. 575 стр. Цена 95 к.

СОЦЭНГИЗ

Л. Архангельский. Категории марксистской этики. 271 стр. Цена 78 к.

О. Козлова, М. Бишаев, С. Ленская, К. Мурзов. Общественный труд в период развернутого строительства коммунизма. 336 стр. Цена 92 к.

Коллектив авторов. Социалистические преобразования в сельском хозяйстве европейских стран народной демократии. 336 стр. Цена 1 р. 3 к.

А. Колосов. Основные фонды и их роль в социалистическом воспроизводстве. На примере промышленности. 247 стр. Цена 79 к.

И. Помелов. Программа КПСС — новый этап в развитии научного коммунизма. 254 стр. Цена 47 к.

О. Соколов. На заре рабочего движения в России. 287 стр. Цена 68 к.

П. Фридендер, Х. Шиллинг. Неоколониализм Западной Германии. Сущность, особенности и методы. 232 стр. Цена 46 к.

Хрестоматия по новой истории. В 3-х томах. Том I. 1640—1815. 767 стр. Цена 1 р. 13 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Бруштейн. Вечерние огни. Рассказы. 368 стр. Цена 65 к.

А. Вальцева. Енисей, Енисей... Дорожная тетрадь. 150 стр. Цена 20 к.

Я. Волчек. Мои учителя. Рассказы. 159 стр. Цена 20 к.

В. Гиллер, О. Зив. Вам доверяются люди. Роман. 586 стр. Цена 95 к.

Н. Гнедич. Стихотворения. 486 стр. Цена 51 к.

Д. Гранин. Иду на грозу. Роман. 498 стр. Цена 70 к.

С. Заречная. Подвиг поколения. Роман. 519 стр. Цена 85 к.

В. Звягинцева. Вечерний день. Стихи. 120 стр. Цена 17 к.

В. Инфантьев. Когда человек любит. Повесть и рассказы. 214 стр. Цена 28 к.

Р. Кутуй. Дождь будет. Повести и рассказы. 430 стр. Цена 53 к.

В. Лацис. Зов предков. Поздняя весна. Повести. Перевод с латышского. 259 стр. Цена 46 к.

Мастерство перевода. Сборник. 624 стр. Цена 1 р. 38 к.

А. Перегудов. Суровая песня. Роман. 475 стр. Цена 79 к.

Г. Приеде. Пьесы. Перевод с латышского. 294 стр. Цена 60 к.

Б. Рахимзаде. Зеленый лист. Стихи. Перевод с таджикского. 92 стр. Цена 11 к.

Ю. Рыхтэу. В долине Маленьких Зайчиков. Роман. 359 стр. Цена 62 к.

А. Саинян. Пути-дороги. Роман. Перевод с армянского. 415 стр. Цена 70 к.

А. Сидки. Все тот же Джуга. Повести. Перевод с таджикского. 191 стр. Цена 38 к.

И. Снегова. Август. Стихи. 114 стр. Цена 13 к.

А. Тонтомушев. Саженец. Стихи. Перевод с киргизского. 36 стр. Цена 4 к.

А. Церетели. Стихотворения и поэмы. Перевод с грузинского. 427 стр. Цена 51 к.

О. Чайковская. Болотные огни. Роман. 332 стр. Цена 58 к.

ГОСЛИТЗАТ

Ш. Арагвиспирели. Разбитое сердце. Роман-сказ. Перевод с грузинского. 256 стр. Цена 44 к.

Субраманья Баради. Стихотворения. Перевод с тамилского. 157 стр. Цена 23 к.

Э. Басс. Цирк Умберто. Роман. Перевод с чешского. 548 стр. Цена 1 р. 60 к.

К. Ваншенкин. Избранное. 255 стр. Цена 40 к.

Волшебное зернало. Дотанские новеллы. Перевод с китайского. 136 стр. Цена 15 к.

В. М. Гаршин. Сочинения. 448 стр. Цена 82 к.

Мехти Гусейн. Утро. Роман. Перевод с азербайджанского. 776 стр. Цена 1 р. 38 к.

Вл. Лидин. Повести и рассказы. 431 стр. Цена 83 к.

А. Межиров. Стихотворения. 191 стр. Цена 41 к.
И. Муратов. Жила на свете вдова. Перевод с украинского. Повесть. 264 стр. Цена 40 к.
А. Мюрже. Сцены из жизни богемы. Перевод с французского. 456 стр. Цена 54 к.
Л. Попов. Снегопад. Стихи и поэмы. Перевод с якутского. 240 стр. Цена 35 к.
Г. Ременин. Шолом-Алейхем. Критико-биографический очерк. 204 стр. Цена 50 к.
Уильям Теккерей. Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим. Роман. Перевод с английского. 391 стр. Цена 85 к.
В. Тушнова. Лирика. 272 стр. Цена 39 к.
Кузьма Чорный. Третье поколение. Роман. Перевод с белорусского. 236 стр. Цена 53 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Н. Агеев. Родниковые звезды. Стихи и поэмы. 104 стр. Цена 15 к.
Н. Бажанов. Рахманинов. 447 стр. Цена 80 к.
М. Барышев. Пан-озеро (Северные рассказы). 288 стр. Цена 57 к.
Ш. Бейшеналиев. Путь к счастью. Роман. Перевод с киргизского. 602 стр. Цена 1 р. 3 к.
Г. Голубев. Заболотный (Житие Даниила Заболотного). 256 стр. Цена 53 к.
Дебби, уходи домой. Рассказы и повесть современных южноафриканских писателей. Перевод с английского. 160 стр. Цена 28 к.
Л. Лиходев. Местное время. Путевые очерки. 128 стр. Цена 17 к.
В. Монастырев. Норд-ост. Рассказы и повести. 208 стр. Цена 46 к.
Ю. Рытхэу. Нунивак. Повесть. 239 стр. Цена 49 к.

ДЕТИЗ

А. Кондратов. Число и мысль. 144 стр. Цена 30 к.
Н. Кондратьев. Надежный товарищ. Эпизоды из жизни Эйно Рахья — связанного В. И. Ленина. 176 стр. Цена 37 к.
Э. Найт. Ласси возвращается домой. Повесть. Перевод с английского. 176 стр. Цена 39 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Н. Г. Бережков. Хронология русского летописания. 376 стр. Цена 2 р. 26 к.
С. Б. Веселовский. Исследования по истории опричнины. 540 стр. Цена 2 р. 37 к.
В. В. Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. 256 стр. Цена 85 к.
П. А. Вяземский. Записные книжки (1813—1848 гг.). 508 стр. Цена 2 р. 36 к.
В. Л. Гинзбург, С. И. Сыроватский. Происхождение космических лучей. 384 стр. Цена 1 р. 50 к.
И. К. Горский. Польский исторический роман и проблема историзма. 264 стр. Цена 56 к.
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Том I. Февраль 1917 г.—ноябрь 1918 г. 546 стр. Цена 1 р. 23 к.
В. П. Зубов. Аристотель. 367 стр. Цена 1 р. 6 к.
История европейского искусствознания от античности до конца XVIII века. 436 стр. Цена 3 р. 89 к.
В. М. Кабузан. Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX в. 231 стр. Цена 1 р. 40 к.
Б. Г. Кузнецов. Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна в свете современной науки. 512 стр. Цена 2 р. 3 к.
В. В. Орешкин. Вольное экономическое общество в России 1765—1917 гг. Историко-экономический очерк. 196 стр. Цена 60 к.
Русско-польские музыкальные связи. Статьи и материалы. 456 стр. Цена 3 р. 78 к.
А. М. Самсонов. От Волги до Балтики. Очерк истории 3-го Гвардейского механизиро-

ванного корпуса. 1942—1945 гг. 451 стр. Цена 2 р.

Г. К. Селезнев. Крах заговора. Агрессия США против Советского государства в 1917—1920 гг. 152 стр. Цена 23 к.
Н. А. Серно-Соловьевич. Публицистика, письма. 432 стр. Цена 2 р.
Современная психология в капиталистических странах. 407 стр. Цена 1 р. 78 к.
Теория государства и права. Основы марксистско-ленинского учения о государстве и праве. 535 стр. Цена 2 р. 23 к.
Б. С. Украинцев, А. С. Ковальчук, В. П. Чертков. Диалектика перерастания социализма в коммунизм. Особенности действия основных законов диалектики в развитии социализма. 328 стр. Цена 1 р. 45 к.
Г. А. Федоров-Давыдов. Монеты рассказывают (Нумизматика). 136 стр. Цена 21 к.
К. Э. Циолковский. Ракета в космическое пространство (Исследование мировых пространств реактивными приборами). 112 стр. Цена 30 к.
Акад. Н. С. Шатский. Избранные труды. Том I. 622 стр. Цена 4 р. 26 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Африканский сборник. История. 301 стр. Цена 1 р. 35 к.
Р. С. Белоусов. В тысячах иероглифов. 258 стр. Цена 45 к.
А. К. Боровков. Лексика среднеазиатского тевсфира XII—XIII вв. 365 стр. Цена 1 р. 30 к.
П. А. Гринцер. Древнеиндийская проза. 266 стр. Цена 85 к.
Пьер-Доминик Гэсо. Священный лес. Перевод с французского. 182 стр. Цена 60 к.
А. И. Левковский. Особенности развития капитализма в Индии. 588 стр. Цена 1 р. 90 к.
К. В. Малаховский. Система опеки — разновидность колониализма. 142 стр. Цена 50 к.
Е. М. Мелетинский. Происхождение героического эпоса. 460 стр. Цена 1 р. 80 к.
Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей, или Четыре беседы. Перевод с персидского. 170 стр. Цена 45 к.
Персидские анекдоты. Перевод с персидского. 182 стр. Цена 50 к.
Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. 483 стр. Цена 3 р. 10 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Герберт Берч. ХДС/ХСС без маски (Христианско-демократический союз ФРГ без маски). Перевод с немецкого. 540 стр. Цена 2 р. 26 к.
Уилфред Бэрчетт. Вьетнам и Лаос в дни войны и мира. Очерки журналиста. Перевод с английского. 279 стр. Цена 60 к.
Дж. М. Будиш. Изменение структуры рабочего класса США. Перевод с английского. 125 стр. Цена 39 к.
Станислав Выгодский. Хлеб и цветы. Перевод с польского. 581 стр. Цена 1 р. 70 к.
Памела Хенсфорд Джонсон. Кристина. Роман. Перевод с английского. 304 стр. Цена 98 к.
Жак Дюкло. Будущее демократии. Перевод с французского. 198 стр. Цена 39 к.
Урхо Калева Кекконен. Финляндия и Советский Союз. Речи 1960—1962 гг. Перевод с финского. 215 стр. Цена 49 к.
Фарли Моузт. Отчаявшийся народ. Перевод с английского. 255 стр. Цена 66 к.
Милтон Педроза. Ночь и надежда. Рассказы. Перевод с португальского. 82 стр. Цена 20 к.
Владимир Познер. Место казни. Очерки. Перевод с французского. 207 стр. Цена 56 к.
Ярмила Свага. Переполох. Роман. Перевод с чешского. 237 стр. Цена 64 к.
Современная арабская новелла. Перевод с арабского. 423 стр. Цена 1 р. 13 к.

Дидо Сотириу. Мертвые ждут... Перевод с новогреческого. 304 стр. Цена 80 к.
Сунь Ли. Кузнец и плотник. Повесть. Перевод с китайского. 83 стр. Цена 17 к.
М. Харрингтон. Другая Америка. Перевод с английского. 210 стр. Цена 41 к.

«ИСКУССТВО»

История западноевропейского театра. Том III. 688 стр. Цена 1 р. 63 к.
К. Кундзинь. Латышский театр. Очерк истории. 232 стр. Цена 84 к.
В. Н. Прокофьев. Теодор Жерико. 256 стр. Цена 2 р. 30 к.
Эллен Терри. История моей жизни. Перевод с английского. 376 стр. Цена 1 р. 5 к.

СЕЛЬХОИЗДАТ

Е. В. Бобко. Избранные сочинения. 360 стр. Цена 1 р. 6 к.
А. Г. Дояренко. Занимательная агрономия. 188 стр. Цена 26 к.
Г. С. Зайцев. Избранные труды. 350 стр. Цена 88 к.
З. П. Качалова, Д. М. Харитонов. Борьба с вредителями и болезнями полевых культур. 208 стр. Цена 27 к.
Коллектив авторов. Справочник по кукурузе. 520 стр. Цена 1 р. 5 к.
Коллектив авторов. Технология производства мяса птицы. 104 стр. Цена 13 к.
Коллектив авторов. Справочник овцевода. 420 стр. Цена 57 к.
Коллектив авторов. Рациональное использование земли. 264 стр. Цена 50 к.
Коллектив авторов. Кормовые бобы за рубежом (Сборник переводов). 288 стр. Цена 68 к.
И. С. Кувшинов и другие. Экономика социалистического сельского хозяйства. 664 стр. Цена 1 р. 24 к.
В. Н. Прокошес и другие. Основы сельского хозяйства. 562 стр. Цена 1 р. 26 к.
Д. Н. Прянишников. Избранные сочинения. В 3-х томах. Том I. Агрохимия. 738 стр. Цена 2 р. 7 к.
А. И. Ревенкова. Николай Иванович Вавилов. 274 стр. Цена 59 к.
В. А. Тихонов. Экономика и организация использования техники в колхозах. 264 стр. Цена 58 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Авдеенко. Дунайские ночи. Роман. 296 стр. Цена 62 к.
Д. М. Беркович, И. Е. Велькин. Сегодня и завтра советского машиностроения. 88 стр. Цена 13 к.
М. Васильев, С. Гущев. Репортаж из XXI века. 340 стр. Цена 1 р. 8 к.
Всероссийское совещание по промышленности и строительству. Сокращенный стенографический отчет. 22—24 апреля 1963 г. 294 стр. Цена 58 к.
Всероссийское совещание по сельскому хозяйству 11—12 марта 1963 г. Сокращенный стенографический отчет. Материалы совещания секретарей партийных комитетов и начальников производственных колхозно-совхозных управлений Российской Федерации. 208 стр. Цена 22 к.
Ю. Когинев, Е. Яковлев. Восьмой день... Документальная повесть. 112 стр. Цена 14 к.
Юрий Нагибин. Страницы жизни Трубинова. Повесть. 104 стр. Цена 12 к.
Широкие просторы. Туристские маршруты. 184 стр. Цена 33 к.
Никол Эрнай. Березовая вода. Повесть. 144 стр. Цена 38 к.

ГОРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. К. Варгин. Любовь Юрия Коротеева. Рассказы. 152 стр. Цена 38 к.
Поэтический год. 1962. Стихи. 159 стр. Цена 20 к.
Е. В. Сосипатров. Записки народного судьи. 152 стр. Цена 33 к.

ДОНЕЦКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. А. Гревцов. Конец романа. Рассказы. 197 стр. Цена 18 к.
А. З. Москаленко. Свояки. Повесть. 163 стр. Цена 35 к.

КАЛИНИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. И. Кириллов. Достоверная повесть. 128 стр. Цена 35 к.
С. С. Шейнкман. Куражская быль (Воспоминания о А. С. Макаренко и о колонии им. Горького). 55 стр. Цена 8 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),
Б. Г. Закс (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 31/V 1963 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/VII 1963 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/8}. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 120,750.
 А 07020. Зак. 1060.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70637